

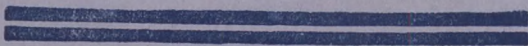
||| 6 |||

НОВОБЫТЪ МИРЪ

НОВОБЫТЪ МИРЪ

||| 1954 |||

6



1954

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXX

№ 6

Июнь, 1954 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСИС ПАРНИС — Сказание о Белояннисе. Перевод с греческого Н. Разговорова	3
В. ТЕНДРЯКОВ — Не ко двору, повесть	42
ТАМАРА ЯН — Возница, стихи	95
БОРИС РАБИЧКИН — Два стихотворения	96
НОРА АДАМЯН — Трудная встреча, рассказ	98
М. ПРИШВИН — Корабельная чаща, повесть-сказка. Окончание	117
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — У очага, стихи. Перевод с аварского Н. Гребнева	186

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.

РОБЕРТ БЕРНС О СЕБЕ. Перевод и примечания Р. Райт-Ковалёвой	187
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДЕМЕНТЬЕВ — Партия и вопросы литературного языка. (Краткий обзор материалов)	215
Т. МОТЫЛЕВА — Мария Пуйманова	248

КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	263
А. Павловский. «В дальней стороне». — В. Кардин. Серый роман. — К. Лапин. «Дети большого дома». — Г. Рабинович. Книга о Ванде Василевской.	
<i>Политика и наука</i>	276
В. Волгин, А. Алексеенко. Разоблачение политики боннских реваншистов. — Д. Уманский. Правда о войне во Вьетнаме. — И. Крупеников. Теория и практика северного земледелия.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва

АЛЕКСИС ПАРНИС

★

СКАЗАНИЕ О БЕЛОЯННИСЕ

С греческого

*О родина, склони знамёна к изголовью
Того, кто высоко всю жизнь гвoй стяг держал,
Колена преклони к земле, покрытой кровью
Того, кто пред врагом колен не преклонял.*

Над Парфеноном в вышине, как древний хор трагедий,
Скользя по глади голубой, плывёт венец созвездий.

Выходит месяц из-за гор, как вестник с поля боя,
Несущий горестную весть о гибели героя.

По всей Элладе слышен плач — от Вици до Парнона
Склонили сосны и дубы своих ветвей знамёна.

По-братски с ними скорбь деля, роняют горько слёзы
И пальмы южных островов и русские берёзы.

И обращаются к нему, к погибшему герою,
Устами матери родной, что над сырой землёю

Стоит и так своей рукой могилу оправляет,
Как будто детскую постель простышкой застилает.

СЛОВО МАТЕРИ

Когда на небе март погас последнею зарёю
И первую зарёй — апрель зарделся над землёю,

Когда зелёные в садах листочки развернулись,—
Твои глаза, твои уста, сыночек мой, сомкнулись.

То не коротким сном уснул ты на исходе ночи,
То чужеземцы-палачи твои закрыли очи.

Ушёл ты в землю от меня, когда весна вернулась
И каждой веточкой земля к её лучам тянулась.

Мать — это синий небосвод, сын — это месяц ясный,
Мать — это изумрудный луг, а сын — цветок прекрасный.

Мать — чуть поблэкшая листва, а сын, как ветер с моря,
Прохладой дышит на неё, с палящим солнцем споря.

Горело сердце у меня лампадой негасимой,
А фитильком в лампаде той был ты, мой сын любимый.

Как пряжу, солнце на станок лучи мне посылало,
 По ним проворным челноком моя мечта летала,
 Так я трудилась день за днём ткачихой терпеливой,
 Пока не вырос ты большим и, как поток бурливый,
 Из дома, что служил тебе, мой мальчик, колыбелью,
 Не устремилась жизнь твоя в долины и ущелья.
 В народном море тот поток стал быстрою волною,
 А я — лежащей у воды песчаную косою,
 Что смотрит в голубую даль — туда, куда умчалась
 Волна, которая вчера вблизи неё плескалась.
 Ты юным в партию вступил, росток мой непокорный,
 Живыми соками она твои поила корни.
 И я, когда её назвал ты матерью второю,
 Гордилась тем, что стала ей названною сестрою.
 Она заботою своей тебя не обделила,
 Как всех других своих детей, бороться научила.
 Как всех других, вела тебя прямой дорогой чести,
 И оставалась я одна, чтоб ты был с нею вместе.
 Клонились горные хребты под вражьим ураганом,
 Но вера в вас росла во мне негнушимся платаном.
 Когда под голову себе ты камень клал, сыночек,
 «Придёт!» — шептала дома я твоей подушке ночью.
 Когда дремал ты на снегу в короткий час привала,
 Я дома простыни твои надеждой вышивала.
 Дождавшись, крепко обняла б тебя одной рукою,
 Твою жену к своей груди прижала бы другою.
 И стала б каждая рука тогда крылом чудесным
 Счастливой птицы, что летит по стёжкам поднебесным.
 И, как мальчонкой мой рассказ ты слушал сам когда-то
 Про славный двадцать первый год¹, — так про отца-солдата
 Теперь вела бы я рассказ, взяв на колени внука...
 Когда же смерть, придя за мной, открыла б дверь без стука,
 Твоя б ладонь подушкой мне последнею служила,
 Твоя б рука, любимый мой, глаза мои закрыла.
 Но не вернёшься ты, сынок. Мечты мои отныне —
 Как мёртвый конь, что пал в песках, не перейдя пустыни.
 Как на пути твоём смогла могила лечь преградой?
 Не ты ль шагал через леса и горы всей Эллады?
 Как смерть пробила грудь твою горошиной свинцовой?
 Не ты ли сеял и берёг посеvy жизни новой?

¹ В марте 1821 года началось на Марьясе (Пелопоннесе) массовое восстание против турецкого ига. Участники этого восстания — «клефты» — в течение 1821—1822 годов одержали ряд побед над турками.

И как сошёл ты, мальчик мой, под свод могилы тесной?
Не ты ль в широком сердце нёс всю родину невестой?

У той могилы, где ты спишь, стоят деревья-свечи,
Как пламя, теплится луна над ними каждый вечер,

А солнце, плача, как вдова под чёрною фатою,
Скрывает днём своё лицо за тучей дождевою.

И я на твой могильный холм лью слёзы горемыкой,
И всходит каждая слеза кровавою гвоздикой.

Но знай, мой мальчик, сил меня те слёзы не лишили,
И я сильнее становлюсь, припав к твоей могиле.

От слёз моих бегут ручьи струёю животворной
И, орошая твой посев, сжигают плевел сорный.

Как валят дерево в лесу на землю ветры злые,
Но от корней его растут побеги молодые,

Так, сын мой, у меня в душе, страданьем опалённой,
Святая ненависть к врагу растёт, как лес зелёный.

Твоей великой правды свет могильной тьмой не станет,
Он, как мечом, своим лучом везде врага достанет.

Когда ж, поверженный, падёт последний враг презренный,
Народ на серп перекуёт тот меч благословенный.

И будет серп наш пожинать в то лето золотое
Плоды победы на полях, засеянных тобою.

Знай, не осталась я одна, мне жить не сиротою,
Теперь мне стала вся земля подругой дорогою.

Везде есть сёстры у меня, везде — друзья и братья,
И каждый дом готов открыть мне двери, как объятья.

А письма! Если их сложить, гора до неба встанет,
На той горе меня тоска вовеки не достанет.

Там, где ты пал, кипит родник твоих речей, и каждый,
Кто юн и смел, спешит к нему, томимый правды жаждой.

Там сердце жаркое твоё в ночи, как горн, пылает,
И каждый юноша свой меч в том горне закаляет.

И, как пчела несёт пыльцу с цветка к цветку другому,
Твоя улыбка слово «мир» несёт от дома к дому.

Мой храбрый воин, знаю я: ты присягнул отчизне,
Что даже мёртвым не свернёшь с прямой дороги жизни.

Пусть саван смерти на тебя рука врагов надела,
Плащом бессмертия народ твоё закроет тело.

Я мать, мне жизнью в сыновья был мальчик дан простой,
Великой партией мне дан бессмертный сын-герой.

Так гордо высказала мать своё святое горе
И, встав с могильного холма, пошла на паригорьи¹.

От дома к дому всей страной шла матери дорога,
И, выходя навстречу ей, у каждого порога

Стояла Родина; в руке она стакан держала,
Но с глаз её слеза в вино ни разу не упала:

Героя память оскорбит, а спесь врага удвоит
Вино, где мужества огонь погашен слёз водою.

Не плачут, сев за красный стол, потомки клефтов гордых,
Здесь, как в былые времена, под мерные аккорды

Старинной лиры песнь свою поёт певец народу
И славит подвиги борца, что умер за свободу,

Поёт о том, что он метнул, как древние атлеты,
Народной славы светлый диск до новой дальней меты.

Певец — как ветер, а народ вокруг певца — как море,
Чем громче ветер запоёт, тем громче волны вторят.

Но, как показывают путь тому, кто из долины
По горным кручам ввысь идёт, стремясь достичь вершины,

Так говорит народ певцу, что вышел в путь далёкий,
Какой итти ему тропой, свои слагая строки.

СЛОВО НАРОДА

Возьми для песни наш напев: и гордый и свободный,
Он обнимает целиком всю ширь души народной.

В нём слышен жизни чуткий шаг: то, кажется, весною
Шумят цветущие сады зелёною листвою,

То где-то горный водопад гремит, срываясь с кручи,
То где-то, весело журча, звенит ручей певучий.

Бывают песни, что живут, как тучки в небе ясном:
Уйдут — придут, придут — уйдут, всем ветеркам подвластны.

Но есть другие — человек хранит их в сердце с детства,
Как дар от деда и отца, полученный в наследство.

И, как в бою от уст к устам баклажка переходит,
Так песни те из века в век идут — живут в народе.

СЛОВО ПЕВЦА

Чем ты была б, моя страна, чем ты сегодня б стала,
Когда бы партия тебя, как плугом, не вспахала?

Была б ты статуей немой с отбитыми руками,
И украшал бы сад чужой твой неподвижный камень.

Была б ты ветхим кораблём, посудиною дырявой,
Что умирает на мели своей минувшей славы.

¹ Паригорьи — поминки (гр.).

Вернула партия тебе и силу и надежды,
Под ветром юности ты вновь летишь в простор безбрежный.

Под ветром тем, что Октябрём был поднят на планете,
Плывёт, отчизна, твой корабль сквозь вихри бурь к победе.

Дни коммунистов — гимн борьбы за вас, края родные,
На лире Греции они — как струны золотые.

И в дружном хоре струн-сестёр звенит, не умолкая,
Жизнь Белоянниса — струна, всем сёстрам дорогая.

Она поёт на тот мотив, что носит, словно крылья,
Легенды наших давних лет и дней недавних были.

Так ни к кому ещё не шёл костюм национальный,
Как он к лицу тебе, борцу! И песней величальной

Хочу прославить я дела героя-коммуниста,
Который жизнь, как факел, нёс тропею каменистой.

Рука отчизны подняла тот факел над горами,
И ныне свет его лучей сливается с лучами

Других сияющих огней, что всей земли народы
Зажгли, чтоб ярче осветить путь мира и свободы.

СЛОВО НАРОДА

«Здравствуй, гордая Свобода!
Ты идёшь с мечом в руках.
Величав твой шаг широкий,
Блещут молнии в очах»¹.

Как мосты соединяют
Берега глубоких рек,
Так твой меч соединяет
Старый век и новый век.

Острый меч из стали чистой,
Меч борцов былых времён,
Ныне в руки коммунистов
Перешёл по праву он.

Возмужавший на Марьясе
Коммунист, борец, герой,
Твой, Свобода, гимн украсил
Новой гордою строфой!

СЛОВО ПЕВЦА

Родился Никос в том краю, где клефтов труд суровый
В огне сражений заложил отечества основы.

Здесь видел грек, как в первый раз на синем небосводе
Гилянды серебристых звёзд сплели венец Свободе.

¹ Слова из греческого национального гимна, написанного поэтом Соломосом (1798—1857), основоположником новой греческой поэзии.

И нежно звёзды-бубенцы кружились и звенели
Над юной нацией, что к ним тянулась в колыбели.

Рос Никос, отчий край любя сильнее всего на свете,
Любил он слушать, как шумит в листве оливы ветер,

Любил он солнце, чьи лучи, как сладкий мёд, струятся,
Глядишь — то в спелый виноград на лозах превратятся,

То в апельсины, что висят, как чаши золотые,
Душистой свежестью долин и светом налитые.

А то в лимоны, что, таясь в листве тенистой, зреют,
Желтея в зелени густой, как стайка канареек.

Любил он море, — в бури час оно, сердито воя,
Летит на скалы и трясёт лохматой головою,

Но пронесётся, отшумит порыв свирепой бури —
И скалы дремлющим волнам расчёсывают кудри.

Глядишь на красоту земли, и радость, словно птица,
Подняться выше облаков в лазурь небес стремится,

Но горе меткою стрелой её тотчас пронзает,
И радость вниз летит и грудь о камни разбивает.

Насколько этот край богат и красотой славен,
Настолько греческий народ и беден и бесправен.

Тень горя на твоём лице, оно чернее ночи,
Не сыщешь в Греции людей бедней, чем ты, рабочий.

Как широка твоя ладонь! В ней мог бы мир вместиться,
Но в ней и в праздник для детей простого нет гостинца.

Краюшку хлеба фабрикант на свой крючок насадит,
И, словно рыбу, он тебя приманкою привадит,

А там, глядишь, туберкулёз тебя сачком подденет
И блузу рваную твою на саван переменит.

Тень горя на твоём лице, оно без света вянет,
Бесправней всех в родном краю — ты, греческий крестьянин.

Твой дом так мал, но сколько он вместил в себе страданья.
В одном углу здесь люди, скот... И только лишь дыханье

Зимой холодной и людей и скот здесь согревает.
Твой дом так мал, но сколько он большой нужды скрывает!

На взморье он, но нету в нём порой ни горсти соли.
И часто мать солит слезой похлёбку из фасоли.

Ты любишь землю, но глухой тюремною стеною
Стоит господский частокол меж нею и тобою.

По ней тоскуешь, как жених по пленнице-невесте,
Одной живёте жизнью вы, да только врозь — не вместе.

И лишь тогда твоя с землёй кончается разлука,
Когда в могиле наконец обнимете друг друга...

Рос мальчик Никос, видел он, как и под отчей сенью
На золотистый солнца свет ложится горе тенью.

Он рос и видел — всякий труд в руках отца спорится,
Они свершают чудеса, но не дано свершиться

Такому чуду, чтобы прочь ушла нужда с порога
И стало меньше в доме слёз, а хлеба стало много.

Зардеет ленточка зари, отец окно откроет
И так задумчиво стоит, смотря перед собою,

Как будто солнце в дом свой ждёт, как дорогого брата,
Что был в плену в чужом краю и держит путь обратно.

Но раньше, чем лучи зари зальют восток пожаром,
Уже гремит по мостовой тяжёлый шаг жандарма,

Грохочет сабля по камням будильником проклятым
И возвещает новый день, который вновь к богатым

Придёт с бездельем и вином, а к бедным — со слезами
И горьким потом, что течёт с усталых лиц ручьями.

Но, как бы ни была жестка рука суровых буден,
Немного ласки иногда приносит праздник людям.

Сбор винограда! По садам идёт-шагает ветер,
Свистит-шумит, как Дионис, и кажется в тот вечер,

Напившись свежего вина из красных чаш заката,
Сама земля пьяным-пьяна и радостью объята.

И сердце каждого в тот час — как лопнувший бочонок,
И песня льётся из него на скатерть ночи чёрной.

Народ раздался у костра, и юный Белояннис
Заводит шумный хоровод, лихой «Каламатянос».

Как стрекоза, легко парит смычок над звучной скрипкой,
Заводит Никос хоровод с задорною улыбкой.

В нём сердце радостью живой наполнено до края,
В его руке большой платок, как бабочка порхает.

«Если будешь в Каламате ¹,
Не забудь, дружок,
Мне оттуда привези
Шёлковый платочек».

Горит костёр, и, как танцор, совсем от пляски пьяный,
Дрожит, дрожит его огонь и к небу над поляной

Взметает сотни алых рук, и звонкие ладони
Бьют в бубен золотой луны на синем небосклоне.

Стоят в сторонке старики, усы седые крутят,
И так над Никосом они по-стариковски шутят:

- Эй, Никос, в наши времена так шапок не носили.
- Что шапка набок — не беда! Прямыми б мысли были.
- Ты ловок прыгать, да смотри, чем выше — ветер злее.
- Тому, чьи крылья широки, чем злее — тем милее.

¹ Каламата — город на Марьясе.

— Остёр ты, Никос, на язык. На всё ответ готовый.
— Дубок родится от дубов, и лист на нём дубовый.

Довольны старики и так между собою судят:
— Умён и вежлив. Молодец! Да, толк с такого будет!

Не умолкают песни, смех до самой поздней ночи.
И время девушкам домой, да кто домой захочет
В такую радостную ночь! В году их много разве?
Но гаснет праздничный костёр, и гаснет шумный праздник.

Смолкает хор. И в тишине под звёздным небосводом
Лишь песня Никоса звучит... Пройдут, промчатся годы —

И кровь горячая певца, из свежей раны брызнув,
Зажжётся тысячами звёзд на небесах отчизны.

Поёт он... Кажется, дрожит от песни той долина,
Как материнская рука от нежной ласки сына.

«Как имя той,
Что в час ночной,
Вся в белом, горною тропой
Идёт ко мне навстречу?..»

Поёт, и лёгкий ветерок сквозь уличную дрёму
Ту песню бережно несёт к его родному дому.

У приоткрытого окна — отец и мать в молчанье.
Им песня Никоса несёт и радость и страданье.

Отцу ли с матерью не знать, не чувствовать душою,
Что это к сыну жизнь сама идёт тропой крутою.

Что это к ней, с высоких гор идущей в белом платье,
Он вышел с песней и простёр широкие объятья.

Как родники лугам, полям и рощам дарят воду,
Так отдают своих детей отец и мать народу.

Уходят дети, как ручьи; у всех различна доля:
Один смеётся и звенит, струясь в широком поле;

Другой прохладною водой посева орошает;
Иной в болото затечёт и там свой путь кончает.

Иной, ища себе простор, — мятежный и могучий —
Упрямо точит камни гор и, низвергаясь с кручи,

Летит безудержно вперёд, стремясь достигнуть моря,
Ещё не ведая, — найдёт в нём счастье или горе.

Когда в мученьях и слезах ребёнка мать рождает,
О муках матери своей он ничего не знает...

Тропинкой детства он идёт — и вот за поворотом
Он видит взрослых трудный путь, политый горьким потом.

И мать-отчизна предстаёт в страданиях перед сыном,
И вновь родится он на свет, родится Гражданином.

Настал тяжёлый чёрный год. Весь август над Марьясом
Ливня лил дождь: ненастный день сменялся днём ненастным.

И виноград, что собран был и во дворах сушился,
Гнил от дождей, разбух, размяк и плесенью покрывлся.

Везде бежавшая вода его с земли смывала,
Как будто с жадностью свою утробу набивала.

В сердцах крестьян поток смывал последние надежды:
Опять им не на что купить ни хлеба, ни одежды.

Казалось так: своих даров природе жалко стало,
И у народа их она в досаде отнимала.

Боролись люди, чтоб спасти хоть крохи урожая,
Но на спасённое беда обрушилась иная.

Как жадный ливень, что других и яростней и хлеще,
Спешил спасённый виноград себе забрать помещик.

В пустынных гаванях суда британские стояли,
Их люки чёрные, как рты беззубые, зияли,

Но оставались без тюков судов британских трюмы,
Зато жандармы до краёв людьми набили тюрьмы.

В долинах каждый дом служил ареною сражений,
И в том изюме, что везли жандармы из селений,

То прядь волос была видна, то женской кофты клочья.
Но рано враг торжествовал. Уже рука рабочих

Вставляла палку в колесо проклятого обоза.
Все бастовали. Ни гудка, ни свиста паровоза.

Из края в край пылал Марьяс пожаром забастовок,
И день настал, когда везде узнали из листовок,

Что хлеба требовал народ голодной Каламаты,
Но накормил его свинцом и кровью враг проклятый.

«Если будешь в Каламате,
Не забудь, дружок,
Мне оттуда привези
Шёлковый платочек».

Как эта песенка в тот день всем вспоминалась часто!
Но не платочек расписной, что дарится на счастье,

А знамя красное — в крови любимого и брата —
Во все селения тогда прислала Каламата.

И, как стремительный поток, кипящий гневной мощью,
Шли в Амальяде¹ в этот день рабочие на площадь.

Унять голодных страшный крик, что сотрясает небо,
Одной лишь силе по плечу — священной силе хлеба.

Перед нагайкой и штыком не умолкает голод,
А только громче над землёй свой поднимает голос.

¹ Амальяда — город на Марьясе, родина Никоса Белоянниса.

И громкий крик потряс дома: «На площадь! Там стреляют!»
На площадь бросился народ, — но часто так бывает:

Спасти кого-нибудь спешишь, бежишь, теряешь силы
И успеваешь только гроб спустить на дно могилы.

И пули многих жён в тот день кровавый обогнали
И раньше многих жён к мужьям дорогу отыскивали.

По грязным улицам с толпой мать Никоса бежала,
За мужа своего она всем сердцем трепетала,

За сына не боялась: он, придя домой из школы,
Ушёл к товарищам своим, спокойный и весёлый.

В крови топили палачи священный гнев народный,
Но, как в свирепый шторм видна над чёрной хлябью водной

Макушка мачты корабля, который скрыли волны,
Так с телеграфного столба, отваги дерзкой полный,

Один смельчак, державший флаг, не раз пробитый пулей,
Кричал толпе... Что он кричал? Его слова тонули

В проклятьях, в столах. Крики, плач сливались в вопль
единый.

Что он кричал, как разобрать?.. Но мать услышит сына

И в страшном грохоте грозы и в бури злобном рёве,
Услышит всей своей душой и каждой каплей крови.

И мать услышала его и закричала дико,
И наземь рухнула без чувств с протяжным стоном: «Нико!»

Допрос. Угрозами враги хотят сломить подростка,
Но не боится он угроз. В нём сердце — не из воска,

Из прочной стали. Сила в нём надёжно с волей слита,
Их не разнять, как не разнять два полюса магнита.

— Эй, парень! Стадо не идёт вперёд без головного.
Кто подучил тебя, скажи! А то смотри, сурово

Тебя накажем. И не ври! Плохие шутки с нами!
Кто подстрекал тебя, юнец? Откуда взял ты знамя?

Молчит. На сомкнутых губах — крупинки крови чёрной.
Молчит, а палачи к нему подводят заключённых.

— Его ты знаешь? А его? — Я не скажу ни слова. —
Трясёт прямо головой. И вот в цепях седого

К нему подводят старика, что сложен крепче дуба.
— Его ты знаешь? Говори! — Нет, — отвечают губы.

«Нет» — говорит упрямый взгляд. «Да» — сердце отвечает.
Его он знает хорошо. О, как его он знает!

Он, этот опытный кузнец, работая упорно,
Сталь в сердце Никоса ковал при тусклом свете горна.

В его подвале, что всегда был полон серой мглой,
Впервые Никос правды луч увидел пред собою.

И от него, от старика, он, юноша, впервые
Узнал, что значат голова и сердце молодые.

Есть старики, чья седина, как белый флаг, который
Устало выбросила жизнь, сдаваясь смерти скорой.

Но есть седины, как снега, венчающие кручи,
Откуда, пенясь и клубясь, летит поток кипучий

И воду чистую несёт в долины быстрым рекам.
«...Знай, Никос, не глядит борьба на возраст человека.

Кто стар, кто молод — все с одной идут у нас поклажей,
Одной дорогою крутой, и делу дорог каждый».

Как света луч быстрее, чем звук, несётся над землёю —
Быстрее, чем губы, говорят глаза между собою.

За миг один повторено, что говорилось годы.
Всё держит память... Полумрак, подвал, сырые своды,

Горит неяркий каганец, он света льёт немного,
Но ясно каждому видна далёкая дорога.

Как от волшебного огня искусного Гефеста,
Струится ровный красный свет с обложки «Манифеста»,

На окружившие чтеца внимательные лица
Румянцем жизни в полутьме тот красный свет ложится.

«...Есть люди, воля в их сердцах, как свечка, что готова
Погаснуть, Никос, каждый миг, от ветерка любого.

Но есть другие — в их сердцах она, как яркий факел,
Чем ветер злее, тем сильнее горит она во мраке.

Каков ты будешь? Погоди, не отвечай заране.
Ты дашь ответ, когда придёт минута испытанья».

И вот сейчас, свои уста сомкнув пред палачами,
Он отвечает старику — не словом, а молчаньем.

Молчит... А палачи теперь бьют старика седого.
— Его ты знаешь? Говори! — Нет, — раздаётся снова.

— Нет, — твёрдо говорит кузнец и головой качает,
Но так его он никогда не знал, как ныне знает!

С какою гордостью старик ему пожал бы руку,
Когда б могли они сейчас приблизиться друг к другу.

Но кровь их по полу течёт — и две багряных струйки
Слились на каменной плите, соединясь, как руки.

Очнулся Никос. Ночь прошла. С ним в камере тюремной
Три заключённых — их сюда пригнали из деревни.

На их одежде там и тут темнеют пятна крови.
— Проснулся?! Добрый день, орёл! — Вам доброго здоровья! —

Ворчливой шуткою один другого поправляет:
— Вот говорят все «добрый день», а он лишь злой бывает.

День не приносит никогда нам доброго гостинца,
Уж разве ночью иногда хороший сон приснится.

Сынок, крестьянская судьба — с двойным горбом калека,
И ей леченьем никакой помочь не может лекарь.

Ну, вот вчера был крик и шум и кровь лилась. А толку?
Помещик — дома, мы — в тюрьме. Овце ль перечить волку? —

— Нет, — отвечает Никос. — Нет! Не сразу солнце всходит,
Не сразу пряжа со станка готовой тканью сходит.

Нам ничего, отец, враги не отдадут без боя,
И самый трудный бой пойдёт за самое простое:

Чтоб хлеб дешевле солнца был и всем его хватало,
А человеческая жизнь дороже солнца стала.

— Наш враг — скала! И нам его вовек не сдвинуть с места...
— Да, он из золота и зла, то каждому известно.

И хорошо, что он тяжёл — спихнём мы эту глыбу, —
Быстрее пойдёт она тогда на дно морское к рыбам. —

Смеются... Как волна волну порой настигнет в море,
Морщинки смеха по щекам бегут к морщинам горя

И закрывают их собой на посветлевших лицах...
— Возьмём-ка этот смех себе, пускай у нас хранится

Задатком, что уплачен нам днём радости великой. —
Опять смеются... И ведёт беседу дальше Никос.

Идут часы... Молчит тюрьма... Но вот вдоль коридора
Шаги, и завизжала сталь тюремного запора.

Открылись двери, и фонарь блеснул в провале чёрном.
— Здесь член парламента сейчас заходит к заключённым,

Так вы смотрите, чтоб при нём держать себя прилично!
— Как? — шутит Никос. — К нам в тюрьму пришла такая
личность?

Пока что лишь один народ бывает в этом «храме»,
А господам не пробил час, но он не за горами. —

Охранник руку на него занёс было со злостью,
Но опустил, чтоб козырнуть влиятельному гостю.

Честь отдавать и бить с плеча — для двух движений этих
Тирана раб, народа враг — жандарм живёт на свете.

Перешагнул через порог сановник именитый,
А вслед за ним, как лисий хвост, его вползает свита:

Журнальный хлыщ, инспектор школ и поп сладкоречивый,
Три лицемера — три дыры на флейте той визгливой,

Что знает лишь один мотив — «Великую идею»¹ —
И нищий греческий народ годами кормит ею.

Украл народные права, лжецы и лицемеры
Зовут голодных бедняков «потомками Гомера».

Но жаждут хитрые певцы, чтобы народ Эллады
Лишь слепотой был схож с творцом бессмертной «Илиады».

Чтоб лишь одним он походил на древнего поэта:
Чтоб не могли его глаза, прозрев, увидеть света.

Поп начинает первым: — Мы пришли за вами, чада,
Как скорбный пастырь за овцой, отбившейся от стада. —

Инспектор, к юноше шагнув, в такую ж дует дудку:
— О сын мой! Юности вино разбавь водой рассудка. —

Подходит толстый депутат к крестьянам отошальым
И, потрепав их по плечу, так говорит сначала:

— Друзья! Я вас освобожу. Домой вернётесь снова.
Но обещайте навсегда сойти с пути дурного.

Известно ль вам, кто вас на бунт и смуту подстрекает?
— Никто, как голод! — так один крестьянин отвечает. —

Он хлещет нас, как хлещет кнут измученную клячу,
Покуда из последних сил она вдруг так поскачет,

Что всё ломает на пути... Нас беды одолели,
Начни рассказывать о них — не хватит и недели... —

— Их много, потому что здесь земли на всех нам мало.
Там, за границами, земля, что всех кормить бы стала.

Но, словно стены крепостей, чужих краёв границы,
Чтоб их разрушить, мы должны сперва вооружиться.

Зато, когда у нас страна в два раза шире станет,
Тогда богато заживём и мы и вы — крестьяне!

Кто скажет иначе — не верь! Нам нет пути иного! —
— Есть! — в наступившей тишине звучит, как выстрел, слово.

— Есть! — твёрдо Никос говорит. — Народу войн не надо!
Земля, что может всех кормить, — за вашей оградой,

Её разрушить, и тогда — не в два и не в четыре,
В сто раз! — для греческих крестьян отчизна станет шире. —

Фальшивый глянец доброты с лица у депутата
Вмиг стёрла ненависть, как грим с лица стирает вата.

— Ты мал ещё, но, вижу я, в тебе упрямства много,
И ты задумал из себя здесь корчить педагога.

Ну что ж, твоих учеников мы уведём из школы,
А ты читай свой курс наук тюремным стенам голым. —

¹ «Великая идея» — теория, насаждаемая в Греции господствующими классами. Согласно этой шовинистической теории, Греция должна расширить свои владения до пределов древней Греции и Византийской империи.

Крестьян уводят, но успел тайком старик-крестьянин
 Оставить Никосу в дверях подарок на прощанье,
 Оставить лучшее, что он всегда носил с собою:
 Дешёвый кожаный кисет с потёртою тесьмою.
 Закрылись двери... И кисет, нагнувшись, Никос поднял.
 Подарок мал, но дан он в знак большой любви. Сегодня
 Ладонь соседа для него подушкой быть не сможет,
 Но он подарок старика под голову положит.
 Впервые в жизни держит он подарок от народа.
 Впервые... Но ещё не раз потом, в иные годы,
 Ему — и в тюрьмах и в горах — народ подарит снова
 И хлеб, и воду, и табак, и ласковое слово.

СЛОВО МАТЕРИ

Так начал он свой путь, и я, не отставая,
 Повсюду вместе с ним шла много долгих лет.
 Где ноги не могли, там письма попевали,
 Где письма не могли, летели мысли вслед.
 Я первые шаги учила делать сына,
 А сын мой, в свой черёд, помог мне совершить
 Мой первый шаг в борьбе, когда за середину
 Уже успела жизнь моя перевалить.
 Шли годы. Быстро шли. И редким было счастье,
 Когда я Никосу могла к груди прижать.
 «Где он?» — его друзей я спрашивала часто.
 Не спрашивала так о нём отчизна-мать,
 Ведь с ней он был всегда... Порой о сыне вести
 Мне приносил язык скупых газетных строк:
 Коль стачка победит, я знала — Никос весел,
 А разгромят её — невесел мой сынок.
 Бывало даже так: сам враг в наш дом являлся,
 Как вестник радости: «Где сын твой?! Знаешь?! Ну!!»
 По бешенству врагов любой бы догадался,
 Что снова из тюрьмы он где-то ускользнул.
 Как ветер, по стране из края в край летал он,
 Порою за год с ним увижусь только раз,
 И чаще с ним побыть мне счастье выпадало,
 Когда судьба в тюрьме на миг сводила нас.
 Есть в Греции дворцы, есть храмы вековые,
 Однако не пришлось их все увидеть мне,
 Но знаю твёрдо я, где тюрьмы и какие:
 Я обошла их все — все, сколько есть в стране.
 Шла от одной к другой... Эгина... Корфу... Патры...
 Курс географии своей земли родной
 Мой Никос проходил по атласу за партой,
 А я прошла его с котомкой за спиной.

Я помню, в Патрах дождь меня мочил весь вечер,
Но он не погасил боль сердца моего:
Одна я у тюрьмы ждала желанной встречи,
А Никос был в тюрьме, и жажда жгла его.

Эгина! Кажется, из пены этот остров,
Так чист, так лёгок он! А держит груз какой!
Придавлен он тюрьмой, как каменным наростом,
Грозящим потопить Эгину под водой.

Морскими губками там всё покрыто взморье,
Их сушат, разложив рядами на песке.
Нешадно солнце жжёт... Одни лишь слёзы горя
Не высохли и там на выцветшей щеке.

Но если солнце слёз моих не осушало,
Сын словом осушал, когда встречались мы.
То не постичь умом, но боль моя стихала,
Когда входила я под мрачный свод тюрьмы.

«Сынок, — скажу ему, — в тюрьме — как в душном склепе:
Без света вянет здесь цвет юности твоей».

«Не бойся, мать, в тюрьме ржавеют только цепи,
А сильные сердца становятся сильней».

Судьба борца всегда жестока и сурова.
Он — радости солдат — век с горестью знаком.
Идёт он день за днём от битвы к битве новой,
Чтоб вечно мирный день сменялся мирным днём».

Но мир нарушил враг. Война в наш дом вломилась,
Надеясь спящими врасплох застигнуть нас,
А нам спокойно спать давно не приходилось,
Годами спали мы, закрыв один лишь глаз.

И ночью был наш слух распознавать приучен,
Где фалангисты в дверь рабочего стучат.
И услышали мы, как бронечастии дуче
В границы Греции стучатся рокоча¹.

С врагами родины внутри страны сражаться
Компартия давно учила наш народ.
И эту выучку незванным чужестранцам
На шкуре собственной узнать пришёл черёд.

На бой своих детей Эллада провожала,
Туда, где шла в горах за родину война.
И Никос был бы там, когда бы не стояла
Преградой перед ним тюремная стена.

О, если б прямо лечь мог от тюремной двери
Тот путь, который он, по камере кружа,
В тревоге за страну в своей тюрьме отмерил,
Он первым бы стоял в те дни у рубежа.

¹ 28 октября 1940 года итальянские фашистские войска вторглись в Грецию. Только под давлением народных масс, руководимых находившейся в подполье компартией, правительство отдало приказ о сопротивлении агрессии. Греческая армия остановила наступление итальянских войск и вскоре сама перешла в контрнаступление, преследуя итальянцев на оккупированной ими территории Албании.

СЛОВО НАРОДА

«Греки! Смерть или свобода!» —
 Клич несётся над страной.
 В час суровый честь народа
 Не идёт иной тропой.

Встали грозными рядами
 Дети греческой земли.
 Все пути перед врагами
 Лишь обратно в Рим вели.

Вор-сосед ушёл побитый,
 Но домашний подлый вор
 Снял перед другим бандитом
 С рубежей страны запор¹.

На колёсах танков цепи
 Грохотали по камням.
 Самолёты вились в небе
 Чёрной стаей воронья.

И, цепям на танках вторя,
 Словно эхо в час ночной,
 Цепи рабства, цепи горя
 Зазвенели над страной.

Перед гостем из Берлина
 Пали ниц дворцы тотчас.
 Но пред ним негнули спины
 Патриоты из ЭЛАС².

Солнца свет враги затмили.
 Но на кручах древних гор
 Мы, как солнце, засветили
 Партизанский наш костёр.

Бой кипел, но Белояннис
 В первый час борьбы святой
 Не был с теми, кто, сражаясь,
 Защищал свой край родной.

За тюремную стеною,
 У захватчиков в плену,
 Начинать пришлось герою
 Эту новую войну.

Получил наш враг проклятый
 От афинских слуг своих
 Все сокровища Эллады
 И ценнейшее из них:

¹ 6 апреля 1941 года в Грецию вторглись войска гитлеровской Германии. Греческий народ героически сражался против фашистских захватчиков, в то время как греческие правители в страхе перед собственным народом пошли на сделку с врагом.

² В сентябре 1941 года по инициативе Греческой коммунистической партии демократические организации Греции создали в условиях подполья Национальный освободительный фронт (ЭАМ). В декабре 1941 года ЭАМ объединил разрозненные партизанские отряды в единую народно-освободительную армию (ЭЛАС), которая к лету 1943 года освободила от фашистов примерно одну треть материковой части Греции.

Сыновей её любимых,
Самых верных сыновей,
В тюрьмах греческих томимых
За любовь к стране своей.

СЛОВО ПЕВЦА

Враг заключённых взял в ту ночь из крепости Акроса,
Их ожидает эшелон — темница на колёсах.

Маслины, рыба, виноград, лимоны — на платформе,
Бесценный груз — чужие рты в чужом краю он кормит.

И здесь, где бочки и тюки, корзины и бидоны,
Безмолвно узники стоят и ждут, когда в вагоны —

Вслед за награбленным добром — враги грузить начнут их.
Ночь. Словно ощупью, во тьме едва идут минуты,

А мысль стремительно летит встревоженною птицей:
В другую ли хотят враги отправить их темницу,

Или та станция, куда их эшелон прибывает,
Поездка их и жизни их конечным пунктом будет?

Поверка узников. К толпе по шпалам вдоль вагонов
Идёт гестаповец. Во тьме блестят его погоны.

По знакам, что видны на них, — он в звании майора,
Блестят под каскою глаза, по ним — он зверь матёрый.

Читает быстро по листку предатель-переводчик.
— Здесь Белояннис?.. — Здесь, — ответ звучит из мрака
ночи.

Читает дальше... Сверху вниз растёт крестов полоска,
Как будто быстрый карандаш рисует план погоста.

Окончен список. И в толпу, как хищный клюв кондора,
Холодный белый сноп лучей вонзил фонарь майора.

Как будто хочет отыскать в сердцах борцов убийца
Страх перед смертью, чтоб своим могуществом упиться.

— Чего вы ждёте и на что питаете надежды?
Ваш красный идол, ваш кумир, отныне в прах повержен!

Москва сдана! У нас в руках советская столица! —
Он говорит — как плетью бьёт по измождённым лицам.

И всё ж не слышно там, в толпе, ни стопа, ни движенья.
Как? Разве речь его для них не худшее мученье?

Лишились, видно, языка они, смертельно струсив!
— Москва сдана! Понятно вам? Вы слышите?!

— А русских

В России всех убили вы? — бросает Никос смело,
И переводчик на него глядит оторопело:

«Какой бессмысленный вопрос!» Но слышит не впервые
Нацист слова: «А русских всех убили вы в России?»

«Москва,— в глазах читает он от лютой злобы бледный,—
Не может пасть, покуда жив её солдат последний...»

Втолкнули узников в вагон. Свисток. Отходит поезд,
И монотонный стук колёс свою заводит повесть.

И вдруг, когда уже состав выходит из предместья,
Доносит ветер, как привет, обрывок дальней песни.

Как волны масло потопить не могут в бездне моря,
Так песня родины плывёт поверх пучины горя.

Кто шлёт её издалека им вслед в ночи ненастной?
Притихли. Слушают... Но вот и песня та погасла.

Идут часы. Идут часы. Проходит ночь. Светает.
День настаёт. Но что тот день от ночи отличает?

Столпились люди у окна... В нём, словно в чёрной раме,
Картины горя и войны плывут перед глазами.

Здесь прах и пепел деревень. Разбитые халупы
Лежат, как в поле боевом неубранные трупы.

Там — обгоревшие леса, как будто в страшной муке
Земля простёрла к небесам обугленные руки.

Льёт дождь, и на корню гниёт полёгшая пшеница.
Вновь не земле кормить людей, самой — людьми кормиться

Поля пустынно, ни души на мокрой глади жёлтой.
Зато на станциях везде кишат людские толпы.

Часами люди, под дождём промокшие до нитки,
Ждут поездов, держа в руках последние пожитки,

Надеясь выменять на них хоть горсть гнилой фасоли,
Хоть корку хлеба для детей... Шум, толкотня,— но боли

Не чует тело. Голод взял его в тиски стальные,
Зажал, как спрут, и эта боль сковала все другие.

Сын, утром схоронив отца, на этом страшном рынке
Стоит и, плача, продаёт отцовские ботинки.

Кормильца-сына схоронив, сама полуживая,
Его рубашку продаёт старуха-мать седая.

А голод с каждым днём людей всё яростнее косит,
И всё дешевле тот товар, что смерть на рынок носит.

— Подайте хлеба! — Человек глядит в окно вагона,
Но отшатнулся от окна, увидев заключённых.

Ещё бледней, чем у него, их высохшие лица.
Нет, этим людям за окном с ним нечем поделиться.

— Нет хлеба! Хлеба и воды давно не выдавали,
Но что в стране?.. — Ответных слов они не разобрали,

Протяжно свистнул паровоз и оборвал свиданье,
Но корку хлеба бросил им голодный на прощанье.

И корка эта, как цветок, всех обошла в вагоне,
И каждый подержал её в раздумье на ладони.

Был чёрств и чёрен этот хлеб, он камнем мог казаться,
Но говорил, что не убить в народе чувство братства.

Состав замедлил ход. Конец большого перегона,
И вдруг со смехом распахнул охранник дверь вагона.

Ударил ветер им в лицо холодною струёю,
В тревоге люди поднялись, глядят перед собою

И видят — в нескольких шагах от станции сожжённой,
На чёрном клёне, труп висит, по пояс обнажённый.

Бумага на его груди, приколота к коже,
Косые строки: «Коммунист. Повешен как заложник.

За акт диверсии, что здесь свершили партизаны». Глядят... И в их сердцах слились боль муки несказанной

И радость, словно два вина в одной глубокой чаше.
Погиб товарищ... Пал в борьбе... Но не сдаются наши!

Есть партизаны! Бьют врага!.. Казалось им — в объятья
Они попали наконец к своим свободным братьям,

Казалось, снова руки их оружие сжимали...
На скольких станциях они за эти дни стояли,

Но тысячи живых людей им не смогли поведать
Того, что мёртвый им сказал о битвах и победах.

Он мёртв, но к жизни он зовёт, зовёт на подвиг ратный,
Не труп холодный там висит, а колокол набатный.

— И вас! И вас мы вздёрнем так! — нацист кричит, хохочет.
О, если б так!.. Любой из них готов принять, как почесть,

Такую смерть, чтоб, мёртвый, он рассказывал народу
О тех, кто жив и бьёт врага, сражаясь за свободу.

Никто не знает, что их ждёт. Куда их поезд мчится?
Что на рассвете встретит их — петля или темница?

СЛОВО МАТЕРИ

Нет, вечной не была ещё разлука эта,
Не скоро, но смогла я сына вновь обнять.
В другие дни, палач с другого края света
Пришёл в наш край, чтоб жизнь у Никоса отнять...

Мой Никос вырвался из лагерей нацистских,
И весть о том принёс клочок бумаги мне,
Немалый путь пришлось проделать той записке,
Через десятки рук прошедшей по войне.

Заветное письмо успело истрепаться,
Но много и без слов могло б сказать оно.
Как штемпеля на нём — следы вспотевших пальцев,
Как марка в уголке — кровавое пятно.

О Никосе моём рассказывали строки,
Но если б вдруг сумел заговорить листок
И рассказать о том, что видел он в дороге,
О тысячах борцов поведать он бы мог.

Кто первым нёс его?.. Кто в бой вступил упорный?
Подпольщик? Партизан?.. И где был ранен он?
В предместье городском или в теснине горной?
Кто посылал его — Тайгет или Парнон?

Кто пролил кровь свою? Рабочий ли? Крестьянин?
Безусый юноша или старик седой?
Что с ним сейчас? Где он? Опасно ль был он ранен?
Кому должна сказать: «Спасибо, дорогой?..»

Но если я тогда его в лицо не знала —
По имени он был известен всей стране.
«Спасибо, наш ЭАМ», — в ту ночь я повторяла,
Когда ушёл гонец, письмо принёсший мне.

В ту ночь... Её храню я в памяти поныне.
Заговорю о ней — всё предо мной встаёт.
Сидела я одна и думала о сыне...
Нет от него вестей уже который год...

О муже... Он в тюрьму посажен как заложник.
Туда ему ношу я скудную еду...
Сидела я одна, полна своих тревожных,
Как раны ноющих, печальных, горьких дум.

Родители меня назвали — Василики,
Жизнь — мужа мне дала и назвала женой,
Мать — стали звать меня, когда родился Никос,
И вот осталась я бездетною вдовой.

Нет сына здесь, чтоб он сказал мне «мать»... Нет мужа,
Чтоб мне сказал «жена». Из трёх имён опять
Мне именем одно лишь Василики служит,
Лишь это имя враг ещё не смог отнять.

Так все меня зовут, чьё ласковое слово
Пытается порой мою развеять грусть.
Придёт ли час, когда те два услышу снова
И новым — «бабушка» — от внука назовусь?

Так я в ту ночь одна, задумавшись, сидела.
Вдруг слышу стук в стекло и голос за окном:
«Товарищ! Выходи, здесь ждут тебя, есть дело.
Не бойся. Это свой... от партизан... с письмом».

Товарищ!.. Как могла забыть я это имя?!
Им нарекли меня моя борьба и труд.
Оно всегда со мной! Всегда! Неисчислимы
Родные, что меня тем именем зовут.

Погибнуть могут муж и сын в борьбе жестокой,
Исполнив до конца, что им велела честь,
Но и тогда не быть мне в жизни одинокой,
Покуда у меня такое имя есть.

Накинула платок, скорей с крыльца сбежала,
Какой-то человек навстречу мне шагнул.
«Ваш сын сейчас в горах. Вот вам письмо», — сказал он
И, вытащив конверт, его мне протянул.

Отдав, ушёл... Гонца другое ждало дело,
И каждый миг враги могли схватить его,
Но если б даже ночь со мною просидел он,
Ему бы не могла сказать я ничего.

Я в этот миг была, как жаждущий, который
В пустыне на родник внезапно набредёт.
Он пьёт, и пьёт, и пьёт, готовый выпить море,
И плотно у него закрыт водою рот.

Вернулась я домой... И как когда-то прежде
Смотрела я с крыльца, как шёл из школы сын,
Так на горы теперь смотрела я в надежде:
Не шёл ли Никос мой с далёких тех вершин.

СЛОВО ПЕВЦА

Бушует бой. Объят Марьяс народною войною,
В дыму разгневанный Парнон, гремит Тайгет грозою.

Могилы роют день и ночь нацистские снаряды,
Но гонят гитлеровцев прочь защитники Эллады.

За Белояннисом вперёд идут бойцы в сраженье,
Ведёт их смелый комиссар в большое наступленье.

Вот он стоит в кругу солдат среди огня и дыма,
Как будто выброшен толчком из недр земли родимой,

Как будто матерью-землёй рождён для битвы этой.
О, как на мать походит сын любой чертой-приметой!

От глаз его нигде врагу не спрятаться, не скрыться:
Не погасил их мрак тюрьмы — в них прежний свет искрится.

Так, сколько б враг ни сеял зла на родине любимой,
Над ней всё так же солнце льёт свой свет неистребимый.

А бой идёт... Идёт-кипит нелёгкая работа,
И кажется, что спины гор — и те черны от пота.

Отряды движутся в горах извилистой тропою,
С бойцами женщины идут. Они несут с собою

Патроны, хлеб, грудных детей — священной нет поклажи,
И мать свой материнский долг здесь исполняет дважды.

Идут. Босые ноги их изрезаны камнями,
Идут, грядущий день неся в котомках за плечами.

То здесь, то там на их пути лежит нацист убитый,
Как дохлый пёс, он будет тлеть, в могиле не зарытый.

Поднявший меч, чтоб шар земной забрать в своё владенье,
Пал от меча, и нет ему земли для погребенья.

Идут. И с каждым из бойцов идёт победа рядом.
Пусть раны тело жгут огнём и пот струится градом,

Идёт боец путём войны, идёт без остановок.
Ты стал — стоит победы час. Идёшь — шагает снова.

Бесстрашно Никос всюду шёл на громкий зов победы,
И так с бойцами говорил в короткий час беседы:

— Когда голодным ты, солдат, с врагами в бой вступаешь,
Подумай, скольким людям хлеб ты с бою добываешь.

Когда усталость валит с ног на дальних переходах,
Подумай, скольким принесёт твоя победа отдых.—

Знал Никос, чтобы комиссар в сражение был спокоен,
Он должен сердце партизан проверить перед боем.

Такое ли солдат в груди большое сердце носит,
Что раньше всех других даёт и всех позднее просит?

Способно ль это сердце «здесь» ответить зову чести?
Стоит ли в этом сердце долг всегда на первом месте?

И знает ли боец, за что готов лишиться жизни?
За дымом боя видит он грядущее отчизны?..

Закончен трудный день. Привал. Отряд в часы привала
Походит чем-то на корабль, стоящий у причала.

Устал боец — и от жары вспотевший, запылённый,
Он рад немного отдохнуть в волнах травы зелёной.

«Железный меч — моя постель,
Ладонь — подушка белая,
И ты, винтовочка, со мной,
Моя подружка верная...»

Поют бойцы. Умолкнут вдруг. И вот опять запели.
С бойцами рядом комиссар, прилёгший на шинели.

— Мы вместе шли в бою сквозь дым, теперь садись-ка с нами,
Цыгаркой вместе подымим, — шутивными словами

Был остановлен с час назад у этого отряда
Уставший Никос. И связной, что был всегда с ним рядом,

Уважить просьбу партизан просил его: — Сегодня
Большой, товарищ комиссар, был путь тобою пройден.

И всё пешком. Я на коне совсем тебя не видел.
Давай немного отдохнём... А то ребят обидим.

— Бывает так, Костис, что труд нам прибавляет силы. —
Наверно, шутит комиссар, связной подумал было,

Но он не шутит — на лицо легло раздумье тенью,
Как будто в мыслях перед ним минувшего виденья.

Всю жизнь на родине он жил, но целыми годами
Своей родной земли не мог коснуться он ногами.

Годами на пол он ступал из камня и бетона
Или на грязный скользкий пол тюремного вагона.

И всё мечтал коснуться вновь он почвы, сердцу милой,
И от неё теперь ноги не оторвать и силой.

«Железный меч — моя постель,
Ладонь — подушка белая.
И ты, винтовочка, со мной,
Моя подружка верная...»

Как сизый дым над их костром всё время вид меняет,
То прямо к небу он летит, то кольца заплетает,

Так партизанский разговор то ровной лентой ляжет,
То шутка бойкая на нём свой узелок завяжет.

Сейчас от шуток больше всех Костису достаётся,
Но каждый раз от шутки сам он шуткой отобьётся.

«С берсальера¹ твой мундир,
А штаны с нациста,
По наряду ты, Костис,
Европеец чистый».

«Бой для нас — универмаг,
Продавцом там служит враг.
Он за пулю из винтовки
Всё отпустит по дешёвке.

Этот новый автомат
У врага был мною взят,
А врага — своим трофеем —
Потащили черти в ад.

Я такого автомата
Не видал ещё, ребята,
Он, наверное, с душой
Честной человеческой,
Овладел он хорошо
Нашей речью греческой».

«Ты оружие и мундир
Справил честь по чести
И похож на жениха,
Что спешит к невесте».

«У орла на скале
И осанка гордая
И перо на крыле
Самое отборное!»

— Ну что, ну что ты там поёшь?! —

вставляет Никос слово. —

Впервые в жизни слышим мы философа такого.

Нет, нет, Костис, на этот раз ты провалил экзамен.
Как? По одежде хочешь ты судить о партизане?

— Я? По одежде? Нет, всегда смотрю я в корень темы.
Вот, скажем, здесь на женихов похожи ныне все мы.

Чуть выстрел прогремит вблизи или в ущелье дальнем —
Курок на пальце заблестит колечком обручальным.

¹ Берсальер — итальянский пехотинец.

Идут невесты — Жизнь и Смерть. С какою ни венчаться —
В нарядном виде жениху положено являться. —

Костис доволен: хорошо сумел ответить снова.
Блестит улыбка на лице у парня молодого.

ЭЛАС — эмблема у него над козырьком сверкает.
Кто вышивал её? Про то пока никто не знает.

Никто не знает. Разве тот, на чьих кудрях фуражка,
Да кто по тем густым кудрям тайком вздыхает тяжко.

Скрывал Костис, когда и где нашёл себе он пару,
Но рассказать о том давно задумал комиссару.

Да всё не знал, с чего начать, — ведь трудность вся в начале!
А хорошо бы всё сказать сегодня на привале.

Сказать, как встретились они у родника в селенье,
Когда вернулся как-то он из жаркого сраженья.

И как в его душе тогда бой новый завязался,
И как впервые в жизни он врагу на милость сдался.

Одну он жажду утолил водою родниковой,
Но губы девичьи зажгли в нём пламя жажды новой.

И всё б, казалось, хорошо, да вот одно несчастье,
Одна беда: встречаться им приходится не часто.

Они б хотели, чтоб конца не знали их свиданья,
Но на войне в шинель бойца одеты все желанья.

На жизнь, на счастье, на любовь, на боль разлуки долгой —
На всё положено бойцу смотреть глазами долга.

Задумал всё-таки Костис послать к невесте свата,
Чтоб тот уже сейчас словцо замолвил за солдата,

Сказал отцу, каков Костис, как он воюет смело,
Вот если б взялся комиссар исполнить это дело,

Тогда б удобней было им и видеться друг с другом...
— Скажи, товарищ комиссар, — связной собрался с духом,—

Знаком со старостою ты в деревне Микрокоми?
Знаком ты с дочерью его?.. У той деревни, помнишь,

Когда сначала нас враги к ущелью оттеснили,
Крестьянки раненых бойцов из боя выносили.

Одной из них издалека ты крикнул: «В красном платье
Сейчас, красавица моя, ходить совсем не кстати».

«Так красным не было оно, а — что поделать — стало», —
Тебе та девушка в ответ на твой упрёк сказала.

И ты увидел, что её обидел понапрасну:
От крови раненых на ней всё платье стало красным.

Так вот мы с ней... — Да нет, никак язык не повернётся,
С другого, видимо, конца начать теперь придётся.

— Эх, и крепка ж у них семья! Семья на редкость прямо:
Отец её, тот с первых дней, конечно, член ЭАМа,

Есть младший брат, тот эласит, отважный парень! Очень
Крепка семья, но крепче быть могла бы, между прочим, —
Нет коммуниста в ней... А жаль, хорошие ведь люди...
— Так вступит в партию отец, вот коммунист и будет.

— Отец, тот стар, ему уже, пожалуй, поздновато,
А брат, тот мал, ему ещё, пожалуй, рановато.

— Брат тоже вступит. Погоди. Сейчас взростлеют быстро.

— Эх, комиссар! Зачем им ждать?.. В зятя б им коммуниста!

Я, скажем, в партии уже с конца сорок второго
И мог бы зятем в той семье не хуже быть другого. —

Смеётся Никос: — Так, орёл... Так, дипломат прожжённый...
А что невеста говорит? — Да, тут вопрос решённый...

А кто бы мог с её отцом вступить в переговоры?
Но нужен здесь не кто-нибудь, а человек, который

Меня не первый знает день и мог бы поручиться,
И мог бы так сказать отцу: «Крепка рука Костиса,

И молодой семьи она легко поднимет тяжесть...»
Ведь хватит силы у меня? А, комиссар? Что скажешь?

— Рука, державшая в бою оружие достойно,
Удержит всё, и можно всё доверить ей спокойно.

И тот, кто заслужил любовь товарищей по части,
Достоин всяческой любви и всяческого счастья.

— Раз так, товарищ комиссар, ты всех счастливей будешь,
Тебя у нас во всех полках всем сердцем любят люди! —

Ночь. Тишина. Едва шуршит листвою деревьев ветер.
С ответом медлит комиссар... Что юноше ответить?

Казалось Никосу — сейчас здесь не Костис с ним рядом,
А жизнь сама ему в глаза глядит упорным взглядом:

«Да, Никос, скоро тридцать лет, как ты живёшь на свете.
Где ж счастье?.. Только впереди?.. Или за годы эти

Уже со счастьем довелось тебе не раз встречаться?»
С ответом медлит комиссар, чтоб с мыслями собраться.

«В чём счастье? Если в том, что ты служил отчизне верно,
Тогда ты много счастья знал и счастлив ты безмерно.

И если счастье в том, что там сегодня лес высокий,
Где посадил ты деревца в дни юности далёкой,

И пламя там, куда занёс ты искорку когда-то,
То счастьем жизнь твоя сейчас воистину богата.

И если счастье в том, что ты друзей обрёл надёжных,
Тогда счастливейшим тебя назвать сегодня можно.

И если счастье в том, что ты, когда идёшь в сраженьё,
С собою матери родной несёшь благословенье,

Как талисман, что оградит от пули и снаряда,
То счастье всюду на войне с тобою было рядом.

И если счастье для тебя есть счастье всей отчизны,
То щедро ныне наделён ты высшим счастьем в жизни:

Ты по родной земле идёшь с винтовкою сегодня,
И там, где ступишь, мать-земля становится свободна.

Полжизни, говорят, пловец в разлуке с морем будет,
Но, сколько б ни был, всё равно, как плавать, не забудет.

А он? Да разве он забыл те танцы, что когда-то
Он танцевал вокруг костра под песнь про Каламату.

«...Если будешь в Каламате,
Воротись, дружок...»

— Ну ладно, не горюй, Костис, считай: нашёл ты свата...—
С травы поднялся комиссар: — А знаете, ребята,

Ногам, уставшим от ходьбы, приносит отдых танец.
А ну, кто первым хоровод вести сегодня станет? —

Все встали. Дважды молодцу не нужно приглашенье
На кружку доброго вина, на танец и сраженье.

И так уже заведено давно у нас в народе:
Кто впереди в бою идёт — тот первый в хороводе.

И партизаны свято чтут обычай этот старый
И просят хоровод вести героя-комиссара.

Как радость сразу озарит детей счастливых лица,
Лишь только взрослый просьбу их исполнить согласится,

Так лица партизан сейчас от радости сияют:
Глядят бойцы, как комиссар, став у пенька, снимает

Блестящий жёлтый ремешок с пристёгнутым планшетом
И пояс кожаный с большим трофейным пистолетом.

«Эх, гора, гора, гора
Не умеет кланяться,
Потому на века
Высока останется!

А трава, трава, трава
Перед каждым гнётся,
От неё и следа —
Эх, не остаётся!»

Танцует Никос... Хоровод за ним, как змейка, вьётся,
А мысль его к далёким дням, к дням юности несётся.

Нет, ничего он не забыл в своей борьбе суровой:
«...Дубок рождается от дубов, и лист на нём дубовый».

Ночь пролетела. Новый день. Весёлый, оживлённый,
Вернулся Никос поутру на пункт дивизионный.

И в этот день, спеша на съезд¹, со всех концов Марьяса
В деревню ту, где штаб стоял, народ с утра стекался.

¹ В освобождённых районах Греции создавались органы первой народной власти (народные Советы, народные суды), проводились съезды народных представителей.

Шумит толпа: здесь — звонкий смех, там раздаётся пенье,
Отрадно Никосу итти по улицам селенья.

Отрадно видеть торжество и радость в каждом взгляде.
— Постой, товарищ комиссар, — вдруг слышен голос сзади, —

Один старик тебя искал... Он из-под Амальяды. —
Остановился комиссар всё расспросить как надо:

— Что за старик? Да где же он? — Но только было начал,
Вдруг слышит: — Никос! — и, едва от радости не плача,

К нему какой-то человек бежит через дорогу:
— Ну, наконец тебя, сынок, нашёл я, слава богу. —

Всмотрелся Никос и узнал: да это ж тот крестьянин,
Что подарил ему кисет когда-то на прощанье.

Какая встреча!
— Добрый день!

— Да, да! — И рассмеялись.
— А верно, верно — добрый день, что говорить, дождались!—

У старика на шее шрам... — Ты ранен был, я вижу?
— Задела пуля... Ничего, не дался смерти, выжил.

Во время боя полз к бойцам, нёс хлеб, чтоб сыты были,
А тут нацисты вдруг по мне такой огонь открыли...

А помнишь, Никос, были мы на смерть итти готовы,
Чтоб не отдать свой скудный хлеб, свой урожай грошовый.

Теперь, чтобы отдать его, себя щадить не стали..
Другие нынче времена, другие дни настали,

Другой народ, — и хлеб и кровь — всё отдаём, что можем,
Всё отдаём: и сыновей своих последних тоже...—

Чуть дрогнул голос старика, блестит слеза во взоре,
Она лишь капля от волны его большого горя.

Всё понял Никос...— Да, сынок, он был убит в сраженье,
Когда прогнали прочь врага из нашего селенья.

Я вижу, Никос, как сейчас... Друзьями окружённый,
Стоит он, прислонясь к стене, весь кровью обагрённый.

Стоит и головы своей пред смертью не склоняет,
Как сокол на крутой скале, он гордо умирает.

Вдруг что-то на землю в траву из рук его упало.
Нагнувшись, начал я искать, рука моя дрожала.

Я долго шарил, наконец нашёл я то, с чем сын мой
Никак расстаться не хотел перед своей кончиной.

О Никос, то была печать. Из сердцевины бука
Искусно вырезал её народный мастер. Буквы

На ней виднелись, как призыв: «Эллада. Власть народа».
А в центре — горы и звезда в прямых лучах восхода.

Однако, Никос, съезд ~~сейчас~~ начнётся... Остальное
Там расскажу тебе и всем... Пойдём, сынок. Большое

Спасибо партии сказать мне люди наказали...
Пойдём, пора.— Открылся съезд в просторном, светлом зале:

В нём крышей служит небосвод, колоннами — платаны,
И стол, покрытый кумачом, стоит среди поляны.

Не счесть людей. Здесь много их, за правду грудью вставших,
Здесь в сердце каждого стучат сердца его пославших.

Как сердце шлёт по жилам кровь, всё тело согревая, —
Всеми народу служит съезд, законы принимая.

Ликуют люди, а вокруг смеётся день счастливый,
Доносит ветер запах лоз, морской травы, оливы,

И вместе с ароматом трав, плывущим над лугами,
Приходят вести о больших победах над врагами,

Приходят быстро, но быстрее — опережая сводки —
Шагает воин со звездой на выцветшей пилотке,

Как будто поперёк реки течёт река другая —
Идут советские полки через мосты Дуная.

Идут потомки тех, кто взял Адрианополь с бою
И тучи рабства разогнал над греческой землёю¹.

Течёт безудержно вперёд поток неукротимый,
Его прихода жадно ждут народы-побратимы.

Победа твёрдой ногой ступила на Балканы.
Кипит жестокий бой, и кровь народа-великана,

Как Волга новая, течёт, чтоб силы дать живые
Бутонам красных роз в садах Тираны и Софии.

В дни сбора видно, для чего трудился виноградарь²,
На каждой ветке ждёт его за честный труд награда.

Свершились Никоса мечты. В счастливый месяц сбора
Он с партизанами пришёл под свой родимый город.

Пришёл те радости собрать, которых долго жаждал
Не только всей своей душой, а крови каплей каждой...

Ночь. Небо в звёздах, а бойцам, стоявшим в карауле,
Казалось, что небесный свод изрешетили пули.

В глубоком сумраке ночном не видно Амальяды,
Осколком у неё в груди — предателей отряды.

И кто-то шутит: — На заре — большая операция,
Осколок будем мы тащить, он станет упираться. —

¹ В августе 1829 года русские войска, разгромив турецкую армию, взяли город Адрианополь. В соответствии с условиями подписанного в 1829 году Адрианопольского мира Греция получила самостоятельность.

² Греческая пословица.

Другой смеётся: — Сколько б враг ни вздумал упираться,
Да только всё равно ему придётся убраться. —

Вот с комиссаром командир обходит лагерь снова,
Чтобы проверить, всё ль у них к сражению готово.

И шутит командир слегка над Никосом при этом:
— Хирург, я слышал, к своему не подойдёт с ланцетом.

Лечить своих и лучший врач зовёт врача другого.
Так что ж не доверяешь ты мне города родного?

Мне всякий дал бы одному за это дело взяться,
А ты, смотрю, наоборот, один готов сражаться,

Как комиссар, как командир и как боец. Неверно? —
Смеётся Никос: — Не совсем. А впрочем, так примерно,

Так, если сердце назовём мы комиссаром нашим,
Бойцами руки назовём, ум — командиром старшим, —

Всё этой битве я отдам, всё — руки, сердце, разум —
И только те, кому дано коснуться счастья сразу

Руками, сердцем и умом, всё счастье обнимают...—
Да, всюду Никос в эту ночь. Везде его встречают:

То он над картою своей сидит, склонившись, в штабе,
То помогает протянуть в глухом овраге кабель,

То с детства памятной тропой ведёт отряд в засаду,
То смотрит вдаль, ища во тьме родную Амальяду.

Ночь на исходе. Заалел восток, зарёй объятый,
Ползёт над городом туман, как клочья красной ваты,

Как будто чью-то он прикрыл зияющую рану...
И поднял руку командир, и дан сигнал, и грянул

Ружейный залп, и поднялись, пошли вперёд отряды,
И завязался жаркий бой в предместьях Амальяды.

Удар стремителен и смел. Враг выбит из предместий.
Уже успели эту весть сменить другие вести.

Уже идёт жестокий бой на улицах Калицы¹
И возле школы городской, где вздумали укрыться

Цольядес² вместе со своим главою — депутатом.
Сейчас винтовки партизан предателям проклятым

Дадут истории урок, короткий и наглядный.
Годами депутат срывал своей рукою жадной

Плоды в саду, в котором был народными руками
Посажен каждый черенок и убран каждый камень.

Сегодня в том саду блестит ружьё за каждой веткой
И каждый куст разит врага своею пулей меткой.

¹ Калица — часть города Амальяда.

² Цольядес — отряды греческих фашистов создававшиеся гитлеровцами для борьбы с ЭЛАС.

Да, этим летом на земле всё быстро созревает,
Быстрее проходит ночь, и день быстрее наступает.
Миллионы солнечных лучей штыками золотыми
С просторов неба гонят тьму — и тьма бежит пред ними!

Так от несметных пуль бегут — спасаются бандиты.
Куда бегут?! Для них одни ворота не закрыты —
Ворота смерти. Жизнь! Плотней свои захлопни двери,
Чтоб даже в щёлку не смогли пробиться эти звери.

Большой парад народных войск сегодня в Амальяде,
И только зрителей совсем не видно на параде:

Где взять их! Зрителем в бою никто не оставался,
Здесь каждый — воин, каждый здесь с отвагою сражался,

Здесь, охватив кольцом врага, в рукопожатье братском
Рука подпольщика-бойца сошлась с рукой солдатской.

Встречают матери детей, сестёр встречают братья,
Но каждый Никосу спешит открыть свои объятия,

И так ликующий народ его, как эстафету,
К отцу и матери несёт... В мечтах минуту эту

Он много раз переживал, и вот мечты свершились—
И снова с ним отец и мать. Как оба изменились!

Как постарели!.. У отца глаза и щёки впали,
Густые волосы его совсем седыми стали.

Изрыли материнский лоб глубокие морщины —
Неизгладимые следы разлуки и кручины.

Да, сильно постарела мать, но сердце в ней осталось
Таким, как прежде, иссушить его не может старость.

Стареет мать, но никогда в ней нежность не стареет,
И слово матери всегда утешит и согреет.

Слабеют руки, с каждым днём их сила покидает,
Но крепко мать своих детей, встречая, обнимает.

Слабеют у неё глаза, но глубже всех на свете
Они с любовью заглянуть умеют в сердце детям.

О многом сыну мать сказать при встрече собиралась,
Но только «Нико!» в этот миг с дрожащих губ срывалось,

И сын не меньше слов берёт для этого мгновенья,
Но всё, о чём хотел сказать, забыл он от волненья,

Из всех рассказов помнил он сейчас одно начало,
Одно лишь слово — слово «мать» — в его устах звучало.

Но обо всём, что на душе скопилось в дни разлуки,
Не умолкая, говорят сейчас глаза и руки.

И эта речь понятней слов, душевнее и проще...
С народом вместе мать, отец и сын идут на площадь.

И видят солнце, что уже высоко над долиной,
И видят знамя, что сейчас на каланче старинной

Два крепких, рослых молодца на древке поднимают,
И все на площади пред ним колена преклоняют.

Как солнце в небе поднялось, как в небе знамя вьётся,
Так гимн народный из сердец навстречу солнцу льётся:

«Здравствуй, гордая Свобода!
Острый меч в твоих руках,
Величав твой шаг широкий,
Блещут молнии в очах».

СЛОВО НАРОДА

Удаляясь, гложет, гаснет
Шум войны. Эллада ждёт:
С песней новой и прекрасной
Время новое придёт.

В ликование и волнение
Шлёт Москве от всей души
Благодарность за спасенье...
Далеко сейчас ушли

Краснозвёздные солдаты,
Их порыв неудержим:
Вспять бежит огонь проклятый
Перед пламенем святым.

Да, мы ждали песни новой,
Песни мирной и простой,
Но опять борьбы суровой
Гимн раздался над страной.

Раньше, чем последний воин
Пал в сраженье за Берлин,
Чтоб ещё покончить с тою
Несконченной войною,
Здесь, на улицах Афин,

Пали первые герои
Первых битв войны другой...
Кто принёс её с собою?
Кем был начат новый бой?

Смерть пришла в английской форме.
По-английски в этот раз
Отдан был приказ позорный —
Начинать войну приказ.

Снова глухо бьют орудья.
Льёт кровавый свет заря...
Кто простит и кто забудет
Дни и ночи Декабря?¹

Полный мужества и силы,
Смелый греческий народ,
Как живые Фермопилы,
На борьбу с врагом встаёт.

¹ Английские войска, начавшие в октябре 1944 года оккупацию Греции, и их ставленники — монархо-фашисты — предприняли безуспешную попытку военного разгрома ЭЛАС (конец 1944 года).

Вновь рассеять вражьи тучи
 Призывает греков честь,
 И на клич её могучий
 Отвечает каждый: «Здесь!»

СЛОВО ПЕВЦА

Висит на здании в одном из городов портовых
 Простая вывеска — на ней написано два слова:

«Свободный голос»... Здесь, где стук машины типографской
 Не умолкает по ночам, где пахнет свежей краской,

Наносит Никос по врагу ответные удары:
 На стол редактора сменил он сумку комиссара,

Сменил винтовку на перо... Но и сейчас порою,
 Когда заходит кто-нибудь поговорить к герою,

В беседе с ним зовёт его, как прежде, комиссаром.
 И это звание народ хранит за ним недаром.

Нет, этот дом не просто дом, как все, обыкновенный,—
 Нередко служит он сейчас позицией военной,

Вступая в бой, когда враги, воспрянувшие снова,
 «Свободный голос» захотят лишить свободы слова.

Хитоса¹ на руку свою надев перчаткой чёрной,
 Рвёт Сити в клочья договор, в Варкизах² заключённый.

Ночь... Небо, море и земля, покрывшись тьмой кромешной,
 Слились в единый океан, бездонный и безбрежный,

И дом походит на корабль, готовый к встрече шквала:
 Ещё спокойней и дружней его команда стала.

Шаги людей, движенья рук, вопросы и ответы
 Тверды, как буквы на листе развёрнутой газеты.

В работу Никос погружён. Склонился над статьею,
 Как в дни боёв склонялся он над картою штабною.

Приёмник рядом на столе, и из страны соседней,
 Откуда изгнан навсегда свободы враг последний,

Звучит мелодия сейчас; подобная улыбке —
 Легка и радостна она... Да, на балканской скрипке,

Как струны радости, в те дни сердца людей звучали,
 Но бедной Греции струна исполнена печали.

Насколько музыка легка, настолько у герся
 На сердце нынче тяжело, и нет в душе покоя.

¹ Хитосы — фашистская организация, использовавшаяся английскими интервентами для борьбы с движением Сопротивления.

² 12 февраля 1945 года монархо-фашистским правительством при поддержке английских империалистов было заключено так называемое Варкизское соглашение с ЭАМ о прекращении гражданской войны. ЭЛАС была распущена. В нарушение соглашения, разоружение монархо-фашистских банд не было произведено. В стране усилился террор.

Но отчего? Не от стыда ль, что своему народу
Он всё ещё не смог добыть желанную свободу?
Но разве он когда-нибудь хотя бы на мгновение,
Сложив оружие, прекращал вести с врагом сраженье?..
Тогда, быть может, в этот час его гнетёт усталость?
О нет, бороться тот устал, в чьём сердце не осталось
Ни ненависти, ни любви... В его же — год от году
Сильнее ненависть к врагу, сильнее любовь к народу.
Тогда, быть может, это страх? Нет, страх берёт начало
Там, где солдату жизнь его дороже чести стала.
А он, держа, как стяг в крови, газету над собою,
Идёт и презирает смерть, всегда готовый к бою.
Идёт... Хотя и знает он, послушный зову долга,
Что там, где долг сегодня ждёт, там смерти ждать недолго...
Струятся звуки и плывут в глубокий сумрак ночи,
И в кабинете у окна дежурящий рабочий,
Забывшись, глядя в темноту, им песней отвечает,
Её волнующий напев то гневен, то печален.

Песня Стратиса — портового рабочего

«У ловца морских губок невеста больна,
С постели не может подняться она.
О-эй, налегайте на вёсла дружной,
Без борьбы не достигнем мы цели своей.
Вышел к синему морю ловец молодой:
«Я жить не могу без своей дорогой».
И, как жизнь, что порой то гневна, то нежна,
Ему отвечает морская волна:
«Чудотворный коралл на дне моря лежит.
Его семиглавый дракон сторожит.
Если этот коралл ты достанешь, ловец,
Недугу любимой положишь конец».
О-эй, налегайте на вёсла дружной,
Без борьбы не достигнем мы цели своей.
И на утлой лодчонке туманной зарёй
Отправился в море ловец молодой.
Он спустился на дно и поднялся со дна:
Глубокая рана на теле видна.
И опять он нырнул и вернулся назад:
Две новые раны на теле горят.
В глубь морскую отважно он бросился вновь,
На синих волнах его алая кровь.
Но он кровью всё море окрасить бы мог,
Чтобы только опять, как гранатовый сок,

На ~~печках~~ у любимой румянец играл.
Он должен достать чудотворный коралл!

О-эй, налегайте на вёсла дружной,
Без борьбы не достигнем мы цели своей.

Снова юноша воздух глубоко вдохнул
И в бездну морскую к дракону нырнул.

Добывая лекарство невесте больной,
С чудовищем бьётся отважный герой:

Лишь одно есть лекарство — волшебный коралл.
Достать его юноша клятву ей дал.

О-эй, налегайте на вёсла! Вперёд!
Кто бежит от борьбы, только гибель найдёт!»

Бывает так, что человек впервые встречен вами,
А кажется, что много лет вы были с ним друзьями.

И сердцу задаёт тогда вопрос смущённый разум:
«Чем этот новый человек вам стал вдруг дорог сразу?»

Вглядится сердце — и в чертах того, с кем свёл вас случай,
Оно ответ на тот вопрос находит самый лучший:

Родные, близкие черты, давно их сердце знало,
В другие дни, в других друзьях с любовью примечало.

И чувство дружбы, что едва, казалось, зародилось,
Давно уж в сердце рождено и в нём давно хранилось.

Так дорог Никосу Стратис, хотя его впервые
Совсем недавно встретил он... Знакомые, родные

Нашёл он в юноше черты. Давно их сердце знало,
В другие дни, в других друзьях с любовью примечало.

«О-эй, налегайте на вёсла! Вперёд!
Кто бежит от борьбы, только гибель найдёт!»

Умолк Стратис, и в тишине скрипит перо стальное,
Но с шумом отворилась дверь, и входят сразу двое:

Один — рабочий-коммунист, шофёр из Амальяды,
И Никос вмиг узнал его. Но кто это с ним рядом?

Кто эта девушка?.. Вошла, кивнула — и ни с места.
Робеет, видимо... Постой, да это же невеста

Костиса! Лена! Не узнал её сначала Никос.
Она запомнилась ему цветущей розой дикой.

Теперь, в дешёвеньком платке, в потрёпанной жакетке,
Казалась кустиком она, чьи тоненькие ветки

Запорошил сырой снежок... Где смоляные косы?
Глумясь над девушкой, их обрезали хитосы.

И вместо длинных кос сейчас из-под её платочка
Лишь робко выбились на свет два чёрных завитушка...

— А где Костис? Зачем ты здесь? — подходит Никос к Лене.
— Беда сюда нас привела! Беда, что к нам в селенье

Пришла в одежде англичан... —

Как в час грозы суровой
Ударит гром и вслед за ним дождь хлынет с силой новой,
Так на мгновенье горький стон речь Лены прерывает,
И уж без робости она рассказ свой продолжает:

— Они явились к нам вчера... Костиса первым взяли...
Деревня вся окружена... С большим трудом бежали

Лишь я да староста, твой друг, ушельем, через скалы,
Чтоб в Амальяде рассказать о том, что с нами стало... —

Шофёр кладёт на стол пакет:— Здесь наши сообщенья.
Налёты сделаны ещё на многие селенья.

Об этом надо написать сегодня ж непременно.
И ты письмо от старика дай Никосу, Елена.

Мне не давал письма старик: «Пускай она доставит!
Что не сумел я написать, её рассказ добавит.

Она видала, — говорит, — сама мои страданья». —
И держит Никос пред собой тревожное посланье.

Так осторожно он конверт потрёпанный вскрывает,
Как будто бы присохший бинт от раны отрывает.

«Тепло и снег равно нужны, чтоб вырос дуб высокий,
Равно дают они корням живительные соки.

И чтобы сердце у бойца мужало год от года,
Равно должны его питать и радость и невзгода.

Такой испытанный боец всё с твёрдостью встречает»...
Так пишет Никосу старик. Рассказ он начинает

Старинной притчей. Слог его в письме, как в разговоре,
Широк, спокоен, как река, струящаяся в море.

«Когда-то люди меж собой заспорили, какое
Несчастье больше всех других. У каждого иное

Об этом мнение. Один считает — разоренье.
Другой считает — глухота или потеря зренья.

А тот — смерть сына или жизнь в изгнание на чужбине.
Все на своём стоят, и спор тот шёл бы и поныне,

Да мимо проходил мудрец. Они к нему: «Какое
Несчастье больше всех других?» И самое простое

Решенье спора он им дал: «Тягчайшее несчастье —
То потерять, в чём находил ты истинное счастье».

Да, Никос! Я на склоне лет увидел свет свободы.
В его лучах мечтал дожить оставшиеся годы.

Но погасило этот свет свирепое ненастье.
И я познал — что для меня тягчайшее несчастье...

На нашу землю, Никос, вновь поганую ногою
Ступил предатель-депутат, что изгнан был тобою.

Он здесь! И с теми, кто ему помог спастись от казни,
Пирует в наших деревнях! Жесток их дикий праздник!

Пьют не вино — потоком кровь на том пиру струится,
Горят не факелы — дома в селеньях жгут убийцы.

Толкают в бездну палачи своей рукой кровавой
И нашу жизнь и нашу честь... О Никос, знаком права

На землю, где живёт народ, являются могилы
Его достойных сыновей, отдавших ей все силы,

И кровь, и жизнь. Народ хранит их имена святые
И с благодарностью глядит на камни гробовые,

Как на страницы книги той, где вписано, какую
В борьбе был куплен край родной высокою ценою.

Могила сына моего, убитого в сраженье,
Была, как орден на груди у нашего селенья.

Тот орден славы боевой предатели сорвали:
Разбили белую плиту, ограду разломали.

Бежал я в горы от врагов троюю потаённой,
Но, как заложник, там в своей могиле осквернённой

Мой сын остался. Он зовёт: «Отец, не выдай сына!
Спаси!» И этот крик гремит, как горная лавина,

Он всюду, всюду, он везде... Он властно и сурово
Ответа требует. И ждёт он дела, а не слова.

Какой могу я дать ответ?! Вернуться вновь в селенье
И ночью, с заступом придя на место погребенья,

Останки вырыть из земли, и унести с собою,
И тайно схоронить в горах под древнею сосною?..

Так сделать — сыну нанести двойное оскорбленье!
Живой, он никогда не шёл дорогой отступленья.

Так неужели мёртвым он перед врагом отступит
И мир за гробовой доской ценой позора купит?

Нет, Никос, нет! Старик-отец не опозорит сына
И на сыновний зов — «Спаси!» — ответит, как мужчина».

В письме последняя строка — как тетива тугая,
И, как стрела, с неё взвилась вдруг песня боевая:

«Железный меч — моя постель,
Рука — подушка белая,
И ты, винтовочка, со мной,
Моя подружка верная!»

«Да, Никос, ждёт мой сын, чтоб так народ ему ответил,
Он требует, чтоб мир в борьбе родился, прочен, светел,

Мир, что у мёртвых и живых предательски украден.
Он мира требует себе! Себе и всей Элладе!»

Полёт, и сила, и перо — свои у каждой птицы.
Речь старика парит меж туч, как горная орлица.

Речь Лены, в первый раз с большой столкнувшейся бедою,
Подобна ласточке, врасплох застигнутой грозой..

В испуге мечется она, и страшен грохот грома
Ей, вдруг оставшейся одной — без друга и без дома.

Всё, что её Костис любил любовью неизменной,
Всё было так же горячо теперь любимо Леной.

Одно лишь не могла она любить с такой же силой:
Не может девушка себя любить, как любит милый.

Всё в Лене говорит сейчас о горе и страданье.
Сегодня Никос видит в ней живое изваянье

Того, не знавшего весны и мира, поколенья,
Что лишь в бойницы и сквозь дым сурового сраженья

Смогло увидеть в первый раз цветок любви прекрасный
И жило с той поры мечтой: настанет мирный, ясный,

Счастливым день — и в окна все бойницы превратятся.
Те окна будут по утрам широко растворяться

И, словно юные уста, пить из кувшина солнца
Свет — золотистое вино, что щедро с неба льётся.

Разбита светлая мечта порывом новой бури,
И смотрит молодость на мир из-за решёток тюрем.

— Вы прошлым летом, комиссар, Костису сватом были
И за него меня отдать родных уговорили.

Сегодня мой пришёл черёд к вам с просьбой обратиться,
Чтоб ваше слово из тюрьмы вернуло мне Костиса.—

Так говорят уста, глаза — прикованы к газете,
Что перед Никосом лежит... Как будто взглядом этим

Вопрос суровый задаёт взволнованная Лена:
«А что, газета не могла б вернуть его из плена?»

Немой вопрос, но на него ответить громко надо,
Так громко, чтоб ответ могла услышать вся Эллада.

И есть такой ответ! Его уже страна узнала —
Вчера народу своему так партия сказала:

«Враг должен изменить свой курс. Не то, как прежде, скоро
Услышат наши города, долины, реки, горы

Наш громкий клич: «Вперёд, ЭЛАС, за Грецию!..»
И Лене

Газету Никос протянул с последним выступленьем

Захариадиса... А сам не сводит с Лены взгляда.
Теперь в его глазах вопрос: «Как? Если будет надо,

Пойдёшь ты против палачей, когда мы станем гнать их?
Тебе придётся много раз врага в своих объятьях

Душить безжалостно — душить, чтоб права вновь добиться
В свои объятия заключить спасённого Костиса».

И Лена, словно тот вопрос безмолвный услышала,
Кладя на стол газетный лист, так Никосу сказала:

— Надеждой каждый дорожит и с ней не расстанется,
Как бы надежда ни звалась. И если нам придётся

Надежду нашу в эти дни назвать винтовкой снова,
То я винтовку в руки взять сегодня же готова...—

Уходит Лена... Перед ней дверь Никос открывает
И молча смотрит, как она по лестнице ступает.

Её тяжёлые шаги терзают сердце болью...
Не так ли родина сейчас, томясь в цепях неволи,

Идёт, спускаясь, вся в слезах, по лестнице мученья?
Держись, Эллада! Близок час! Держись — ещё мгновенье,

И над тобою стяг борьбы поднимут партизаны,
Живой водою горных рек твои омоют раны

И вновь наденут на тебя военные одежды.
И ты пойдёшь всё вверх и вверх по лестнице надежды,

По кручам гор! Твой твёрдый шаг повсюду отзовется,
И ты потребуешь назад украденное солнце!

СЛОВО НАРОДА

Шли герои, босы, голы,
По камням в мороз и в зной,
Побеждал голодный — голод,
Побеждал болезнь — больной.

Из винтовок в них палили —
Два встают, где пал один!
Пулемётами косили —
Три встают, где пал один.

Враг звереет, враг снаряды
Из гремящих пушек шлёт,
А в ответ народ Эллады
Целой армией встаёт¹.

Занял горные твердыни
Этот ставший в грозный строй
Гнев, подвластный дисциплине,
Гнев в одежде боевой.

И уже орудья мести
Под Салониками бьют,
И афинские предместья
Сердцем чувствуют: «Идут!..

¹ В октябре 1946 года была создана Демократическая армия Греции (ДАГ).

Близко наши! Близко!» Ближе
Волн морских, что день за днём,
Час за часом жадно лижут
Берег мокрым языком.

Лижут берег, предвкушая
Миг, когда, вконец разбит,
Враг, повсюду отступая,
В море броситься решит.

Англичан сменили янки,
Шлют в наш край из-за морей
Генералов, пушки, танки
С маркой «Мейд ин Ю Эс Эй»¹.

Но ещё упорней горы
Бьют врага — в борьбу вступил
Грозный, смелый, непокорный,
Гордый Граммос, полный сил.

На его вершине древней
Знамя родины — оно
На винтовке вместо древка
В эти дни укреплено.

И винтовку твёрдо держит
Нашей партии рука.
Знамя родины, как прежде,
Недоступно для врага.

Заводи же песню снова,
Продолжай рассказ, певец!
Пусть твоё шагает слово
В бой с врагами, как боец.

Там, в лесу густого дыма,
Среди огненных ветвей,
Белоянниса найди нам!
Пой! Мы песни ждём твоей.

Конец первой части

Перевод Н. Разговорова.

¹ В марте 1947 года в греческие дела открыто вмешались США. Made in USA — сделано в США (англ.).



В. ТЕНДРЯКОВ

★

НЕ КО ДВОРУ

Повесть

1

Снеделю стояла оттепель. Но подул еле приметный ветерок, окаменели размякшие было сугробы, ночи вызвелились, снег под луной усеяли крупные искры, зелёные, как голодный блеск волчьих глаз.

В самую глухую пору, в два часа ночи, в селе — ни души. Попрятались собаки, старик-сторож зашёл домой почаявать и, верно, прикорнул, не раздеваясь, у печи. Сияют облитые луной снежные крыши, деревья стоят, как голубой дым, застывший на полпути к тёмному небу. Красиво, пусто, жутковато в селе.

Но в одном доме во всех окнах свет, качаются тени, приглушённые голоса доносятся сквозь двойные рамы.

Хлопнула дверь. По крыльцу, недовко нащупывая ногами ступеньки, спустился на утопанный снег старик, качнувшись, схватился за столбик и, постояв, запел скрипуче: «Когда б имел златые горы...»

Испугался тишины, замолчал и, покачиваясь, стал оглядываться на крыльцо. В сенцах со звоном упало порожнее ведро, распахнулась дверь, и на освещённый двор высыпали люди. Завизжал под валенками снег.

— Дед Игнат! Игнат! Эй!

— Не кричи, он тут. Вон стоит, ныряет.

— Тяжелу бражку Ивановна сварила!

— Ты и рад... набрался!

Хмельные голоса нарушили тишину, исчезла таинственность.

С крыльца, прижавшись друг к другу под одним полушубком, провожали гостей парень и девушка. Парень деловито наставлял:

— Старика-то домой доставьте. Как бы ненароком на улице спать не пристроился. Пусть бы у нас до утра оставался.

— Я?.. Ни в жизнь!.. Я сам-мос-стоятельный!..

— Ладно уж, ладно. Пошли, дед. Ещё раз — ладу да миру вам в жизни.

— Дитя вам в люльку поскорее..

Звонкий скрип шагов смолк, где-то за домами вознёсся снова было голос старика: «Когда б имел...» И оборвался. Опять красиво и пусто в селе.

— Всё, Стеша... Значит, жить начинаем, — произнёс парень.

Она плотнее прижалась под полушубком тёплым, нетерпеливо вздрагивающим телом.

Свадьба была немногочисленной и нешумливой, гости не засиделись до утра.

У бригадира тракторной бригады Фёдора Соловейкова лёгкий характер — любил позубоскалить, любил сплясать, любил на досуге схватиться с кем-либо из ребят, дюжих трактористов, «за пояски». Высокий, гибкий, с курчавящимся белообрывым чубом, он был ловок и плясать, и бороться, и ухаживать за девушками.

В селе Хромцово, где работала его бригада, секретарь сельсовета Галина Злобина и учительница начальной школы, круглолицая Зоя Александровна, при встрече отворачивались одна от другой.

«Легкомысленная особа», — говорила одна, вторая выражалась проще: «Хвостом любит крутить». Это у обеих считалось тяжким грехом. Фёдор же, видно, не находил в том порока; в один вечер он провозжал Зою под сосновый бор, к школе, в другой — Галину на край села, к дому, по крышу затянутому хмелем. Но что бы сказали они, если бы узнали, что недавно прибывшая в МТС девушка-агроном каждый раз, как приезжает бригадир Соловейков, надевает глухое, под подбородок, платье и, встречаясь, словно невзначай роняет:

— Фёдор, у вас талант, вы небрежно относитесь к нему. Пойдёмте сегодня в Дом культуры на репетицию.

И у Фёдора в эту минуту на самом деле появлялась любовь к своему таланту, он шёл на репетицию, отплясывал там «цыганочку», а если репетиции не случалось, охотно соглашался сходить в кино.

Но вот, как выражался шофёр хромцовского колхоза Вася Любимов, по прозвищу «Золота-дорога», Фёдор «врезался намертво, сел всей рамой».

В Хромцове в начале зимы, по первому снегу, был свой праздник. Назывался он по старинке «домолотками», праздновался по-новому: говорились торжественные речи, выступала самодеятельность, тут же, в колхозном клубе, раздвигали стулья, выставляли столы, разумеется, выпивали, а уж потом ночь напролёт молодёжь танцевала.

На эти танцы приходили парни и девушки километров за пятнадцать из сёл и починков. Начиналось всё чинно, кончалось шумно. Радиолу подвигали, садился Петя Рыжиков с баяном, и стёкла звенели от местной «топотухи». Фёдор плясал немного и всегда после того, как его хорошенько попросят, но уж зато старался, долго потом ходили о его пляске разговоры.

Из села Сухоблиново, что стоит за рекой Чухной и отходит к соседнему, Кайгородищенскому району, пришёл на танцы знакомый лишь одному шофёру Васе Золота-дорога тракторист Чижов. Пришёл не один, привёл девушку. В голубом шёлковом платье, медлительная, белолицая, с высокой грудью, подбородок надменно вздёрнут, — обидно было видеть её рядом с большеголовым, скуластым и низкорослым Чижовым. Фёдор на этот раз недолго ломался, когда его попросили выйти и сплясать. Где с присвистом, где с лихим перестуком, где вприсядку оторвал он «русского» и ударил перед гостьей в голубом платье. Та ленивенькой, плавной походкой, так, что лежавшая вдоль спины коса не шелохнулась, прошла по кругу и снова встала около Чижова.

Начались танцы, и Фёдор пошёл с ней.

Глаза у неё были выпуклые, голубые, ресницы длинные, щёки, ещё на улице обожжённые холодком, малиново горели румянцем, под горлом, в разрезе платья — белая нежная ямка. Но пока Фёдор танцевал, как ни странно, всё время где-то рядом держался лёгкий мажорочный запах.

— У вас в Сухоблинове все кавалеры такие? — насмешливым шёпотом спросил он, кивая на Чижова.

— Какие — такие?

— Да вроде бы не откормленные. Может, промеж нас, хромцовских, кого повидней выберете?

Гостья в ответ улыбнулась одними глазами и сразу же спохватилась, строго смахнула улыбку ресницами.

— Вас, что ли?

— А разве не подхожу?

И всё же после танца она не отошла к Чижову, осталась с Фёдором, как бы невзначай. Стояла она рядом спокойная, невозмутимая, видно, не сомневалась нисколько, что Фёдору приятно быть с ней. А ему и на самом деле было приятно, весь вечер не отходил от гостьи.

Чижев, забившийся в угол, смотрел исподлобья. Фёдор не обращал на него внимания и не смущался. Её воля: она решит, она выберет.

Бесшумно падал крупный снег, ложился на пуховый платок, на плечи дублёной шубки. Фёдор прижимал к себе локоть девушки. Путь был не близкий, шли в ногу торопливым широким шагом, молчали. Она с достоинством умела молчать, и обычные шутки как-то не клеились у Фёдора, непривычная робость охватила его... В пяти метрах ничего нельзя было разглядеть, лишь в чёрном воздухе — сплошной, ленивый поток белых хлопьев. Из-за пушистого снега на дороге не слышно было даже своих шагов. И баянист Петя Рыжиков, освещённый неярко зал, шум, крики, смех — казалось, всё это снилось, нет ничего, только они вдвоём живут на тихой, засыпанной снегом земле. И им не страшно, а приятно — вдвоём, не в одиночку, что ещё надо?..

Фёдор проводил Стешу до её села. Прощаясь, притянул её к себе и поцеловал наудачу, пониже глаза, в холодную щёку. В свежем снежном воздухе снова на него пахнуло залежавшимся листом махорки, но и этот запах был приятен сейчас: он напоминал обжитое, домашнее, крестьянское тепло.

Галина Злобина и учительница Зоя Александровна помирились. Ссориться стало не из-за чего — и ту и другую перестал провожать по вечерам Фёдор. Он через день бегал теперь за двенадцать километров в Сухоблиново.

С Галиной, с Зоей, с агрономшей из МТС — всё это были шуточки, не настоящее.

А Стеша всегда встречала ровно — в мягких, тёплых ладонях задерживала его руку, из-под полуопущенных век глядела ласково, словно бы говорила спокойно: «Никуда ты, милый, от меня не уйдёшь. Тебе хорошо со мной, я это знаю, ну и мне хорошо, скрывать незачем...»

Как-то даже пожаловался Фёдор дружку Васе Золота-дорога: «Хороша девка, да пресновата чуток, молчит всё». Пожаловался, опомнился и с неделю в душе горел от стыда, клял себя, боялся, как бы ненароком эти слова не долетели до Стешы. И сердце особо вроде не болело, и кровь не сохла, а и дня не прожить без Стешы — трудно! Тянет к ней, к её тёплым рукам, к спокойным глазам. Через день бегал — двадцать четыре километра, туда и обратно.

Стеша жила на окраине села в пятистенке, раздавшемся в ширину, работала приёмщицей на маслозаводе. Её родители при первой встрече понравились Фёдору.

Отец, костлявый, крепкий старик со свислыми усами и большим хрящеватым носом, опустив заскорузлую от мозолей ладонь на стол, как-то заговорил:

— По старинке-то мне вроде бы не к лицу начинать. Но нынче на то не смотрят. Слушай, парень... Ты частенько к нашей Степаниде заглядывал. Что ж, у нас со старухой возражений нету... Бога гневить нечего, мы, сравнить с остальными, в достатке живём. Видишь, дом у нас какой?

Пустует наполовину. Переезжай к нам. Одним-то двором способнее жить.

Стеша сидела тут же, стыдливо и горячо краснела. Мать её, старушка с мягким, полным лицом, с добрыми морщинками вокруг голубых, как у дочери, глаз, покачивала ласково головой:

— Перебирайся-ко, перебирайся, так-то ладнее будет. Сыновьями бог нас не наградил. Заместо сына нам будешь.

Фёдор на улице жаловался Стеше:

— Жалко мне колхоз и свою МТС бросать. Работал трактористом, теперь бригадиром, сжился я с ними.

— Мне-то с домом расставаться жалче, — ответила Стеша. — И здесь тебе работа найдётся. Не хватает трактористов, тем же бригадиром тебя поставят.

Фёдор во время ремонта снимал комнатку близ МТС, во время же полевых работ столовался и ночевал у дальнего родственника, хромцовского кузнеца Кузьмы Мохова.

Отец у Фёдора умер семь лет тому назад. Мать живёт в глухой лесной деревушке Заосичье, километрах в сорока от Хромцова. Она хоть и старая, но ходит ещё на колхозные работы: то расстиляет лён, то в сенокосную горячку загребает сено на ближайших лугах. Работает не от нужды — хорошо помогает старший сын, горный инженер из Воркуты, — просто скучно сидеть сложа руки дома, велико ли старушечье хозяйство — коза да полоска картошки.

Каждый месяц Фёдор, купив баранок, сахару, чаю, навещал мать. Он привозил ей дров, разделявал их, обкладывал избу высокими поленищами, подкашивал сена козе.

— Договорись-ко, родной, со своим начальством, — уговаривала его мать, — пусть в наш колхоз тебя переведут.

Но этого-то как раз и не хотелось самому Фёдору. Он тракторист, здесь поля лесные, тесные, машины обычно не столько работают, сколько простаивают, охота ли после хромцовских земель на таких задворках сидеть. Матери же ответил просто: «Не пускают». Объясни всё — может и обидеться.

Теперь придётся с насиженного места уходить. Не везти же Стешу в Заосичье к матери, если самому там жить не хочется. Не к Кузьме же Мохову?.. Можно бы и свой дом поставить, колхоз поможет, но это не сразу... Согласится ли Стеша год, а то и два по чужим углам скитаться?..

Фёдор решил переезжать.

Все знакомые ребята работали в мастерских на ремонте. Никто не приехал на приглашение Фёдора. Не приехала и мать. Хромцовский председатель обижался на Фёдора за то, что тот «ушёл на чужую сторону», просить же в незнакомом колхозе лошадь Фёдору не хотелось, да и не дали бы — много лошадей работало на лесозаготовках, а ехать на путных грузовиках по морозу шестидесятилетней старухе нечего было и думать. Через вторые руки получил Фёдор от неё банку мёду, четверть браги да для невестки шёлковую шаль, хранившуюся, верно, много лет для такого случая. По почте пришло письмо с родительским благословением, с поклонами и просьбой сразу же после свадьбы сняться вместе с невесткой на карточку и прислать матери...

На свадьбе были одни сухоблиновцы, все пожилые, степенные, все с жёнами. Одиночкой сидел лишь старик Игнат. Его жена, председатель здешнего колхоза, не пришла, хотя и была приглашена.

И стол был богат, и выпивка хороша, а шуму мало. Приходил народ, толкались в дверях, но не много и не долго. Дольше всех виснули ребя-

тишки под окнами. Но и их позднее время да мороз заставили обратиться домой.

Фёдор даже не сплясал на своей свадьбе.

3

Принято считать: семья начинается свадьбой и отметкой в загсе. Расписались, отпраздновали, поцеловались под крики «горько» — и вот вам наутро новая семья в два человека.

Фёдор никогда бы не мог подумать раньше, что по-настоящему-то семья начинается с такой простой вещи, как дом. Ни о сундуках, ни о занавесках, ни о горшках для супа Фёдор и Стеша не только не говорили при встречах, но даже простое упоминание об этом посчитали бы обидным для себя. Была она — будущая жена, он — будущий муж, и больше ничего, на этом свет клином сошёлся, знать не хотели другого. Так чувствовали себя до свадьбы. Так чувствовали во время свадьбы. Утром, проснувшись после свадьбы, они ещё продолжали жить этим чувством. Но надо было устраиваться и не на время, не на год, не на два — на всю жизнь... Надо было начинать жить сообща.

Молодым отвели половину избы.

В сенцах на то место, где когда-то, в непамятные для Стеши и Фёдора доколхозные времена, висели хомуты, приспособили для лета на вбитых в стену колышках велосипед Фёдора. Его радиоприёмник «Колхозник» поставили на стол. Целых полдня Фёдор уминал на крыше снег, поднимал антенну.

В собственности Стеши перешёл огромный сундук, потемневший, весь оплетённый полосами железа, с широкой жадной скважиной для ключа — воистину дедовское хранилище хозяйского добра, основа дома в былые годы. Со ржавым, недовольным скрипом он распахнул перед молодой хозяйкой свои сокровища и сразу же заполнил комнату тяжким запахом табака, овчин, залежавшегося пыльного сукна.

В сундуке на самом верху лежали модные туфли на высоких каблучках и то голубое шёлковое платье, в котором Фёдор впервые встретил Стешу на празднике в Хромцове. Махорочный запах, запах семейного сундука и принесла тогда Стеша на танцы вместе с нарядным платьем.

За модным платьем и модными туфлями были вынуты хромовые полусапожки, тоже модные, только мода на них отошла в деревне лет десять тому назад — каблочки полувысокие, носок острый, голенища длинные на отворот. За сапожками появилась женская, весом в пуд, не меньше, шуба, крытая сукном, с полами колоколом, со складками без числа. В детстве Фёдор слышал — такие шубы прозывались «сорок мучеников». Платья с вышивками, платья без вышивок, сарафаны... С самого низа были подняты домотканые, яркие, в красную, жёлтую, синюю полосу панёвы.

Всё это добро было развешано во дворе, и Стеша, в стареньком платьице, из которого выпирало её молодое, упругое тело, придерживая одной рукой полушалок на плечах, с палкой в другой, азартно выбивала залежавшуюся пыль и табачный дух. Алевтина Ивановна, тёща Фёдора, помогала ей.

— Не шибко, голубица, легчей. Сукнецо кабы не лопнуло.

Старик-тесть вышел на крыльцо, долго стоял, покусывая кончики усов. Под сумрачными бровями маленькие выцветшие глаза его теплились удовольствием. А Фёдор удивлялся и наконец не выдержал.

— На что они нам? — указал он на цветистые панёвы, разбросанные по изгороди. — С такой радугой по подолу в село не выйдешь — собаки сбесятся... Вы бы всё это себе лучше взяли, продали при случае.

— Чем богаты, тем и рады. Другого добра не имеем. Ваше дело, хоть выбросьте. — У старика сердитые пятна выступили на острых скулах.

— Зачем же бросать? Можно и в район, в Дом культуры сдать, всё польза — купчих играть в таких сарафанах.

— Ты, ласковый, не наживал этого, чтоб раздаривать, — обидчиво заметила тёща. — Панёвки-то бабки моей, мне от матери отошли. Нынче такого рукоделья не найдёшь. Польза?.. А кому польза-то?.. Купчих играть отдай!

— Да полно тебе, шутит он, — заступилась Стеша. — Места не пролежит, согдится ещё.

Деловитая заботливость слышалась в её голосе.

— Золото тебе жена попалась, золото. Хозяй-стве-енная! — пропела тёща.

И в голосе тёщи и в морщинистом лице тестя Фёдор заметил лёгкую обиду. Маленькое недовольство, неприметное, через минуту забудется, но всё ж неприятность и — уже семейная.

К вечеру всё было на своих местах. Свежо пахло от чисто вымытых Стешей полов. На столе — простенькая белая скатёрка. Есть и другая скатёрть, с бахромой и цветами, но та, знал Фёдор, спрятана до праздника. На скатерти поблёскивает жёлтым лаком приёмник, на окнах — тюлевые занавесочки, на подоконнике — горшок с недоростком-фикусом, принесённым из половины родителей. Угрюмый сундук покрыт весёлым половичком. Лампа горит под самодельным бумажным колпаком — надо купить абажур, обязательно зелёный сверху, белый изнутри..

Когда Фёдор разделся до натальной рубахи и пригляделся ко всему, его охватила покойная радость. Вот она и началась, семейная жизнь! Приёмник, лампа, белая скатёрть — пустяки, а, что ни говори, без этого нельзя жить по-семейному. Не холостяцкое страдание — семья, своё гнездышко!

На кровати, распустив волнами по груди волосы, сидела и, морщась, причёсывалась Стеша. Близкой, как и всё кругом, какой-то уютной показалась она сейчас Фёдору. Он подошёл, обнял, но она, ещё вчера вздрагивавшая от его прикосновения, сейчас спокойно отстранилась:

— Обожди... Гребень ломаешь.

И это Фёдора не обидело, не удивило: семья же, а в семье всё привычно.

4

Молва о бригадире Соловейкове дошла и до Кайгородищенской МТС. Сам директор решил свести Фёдора к тракторам. Ожидая у дверей, пока директор освободится, Фёдор слышал в кабинете разговор о себе.

— А как это он к нам надумал?

— Женился на сухоблиновской, к жене жить переехал.

— Ай, спасибо девке! Подарила нам работника.

Директор Анастас Павлович был осанистый, голос у него густой, начальственный, походка неторопливая, но держался он с Фёдором запросто. Сразу же стал звать ласково Федей и, проходя по измятому гусеницами огромному эмтээсовскому двору, разговорился:

— Помнится, Федя, жил у нас в деревне, когда я ещё мальчонком был, один мужичок, «Кукушонок» — прозвище. У этого Кукушонка, бывало, спрашивали: «Почему, друг, лошадь у тебя откормленная, а сбруя верёвочная? Не из самых бедных, справь, поднатужься». У него один ответ: «Живёт и так. От ремённой справы лошадь не потянет шибче». Вот и наша МТС пока что на кукушонково хозяйство смахивает. Гляди,

какие лошадки! — Директор провёл рукой по выстроившимся в ряд гусеничным тракторам. — А справа для них — тяп-ляп понастроено, живёт, мсл, и так. Навесов поставить не можем, мастерские на живую нитку сколочены. Ты комсомолец, парень, — не из пугливых, потому и говорю... По глазам вижу тебя. Был бы только народ настоящий, поживём — оперимся.

Кирпичный домик, смахивающий на сельскую кузницу, в распахнутых дверях которого в темноте вспыхивал зелёный огонь сварки. Тут же два других дома, длинных, безликих, — конюшни не конюшни, сараи не сараи — должно быть, мастерские. За ними — бок о бок, шеренгой — самоходные комбайны, красные и голубые машины, выше колёс занесённые снегом.

«Кукушонково хозяйство... Эх, так-то вот променял ты, Фёдор, ястреба на кукушку. Не раз, видно, вспомнать придётся свою МТС».

— Я, брат, сам новичок тут, — бодро продолжал директор. — Всего месяц назад принял... И вовсе никакой не было заботы о рабочих. А я так думаю: раз ты руководитель, то для специалистов хоть с себя рубашку последнюю не жалей!.. Выручат.

«Да ладно уж, не умасливай, не сбегу», — невесело думал Фёдор.

— Вот и трактора твои. Вот и твой тракторист. Чижов, это бригадир новый, прошу любить и жаловать. Соловейков — слышал, верно, такую фамилию?.. Ну, знакомьтесь, знакомьтесь, не буду мешать.

Директор ушёл, крепко пожав Фёдору руку. Чижов сразу же отвернулся и тяжёлой от масла ветошью стал протирать капот мотора.

Фёдор знал — Чижов, у которого он отбил Стешу, работает в этой МТС, но как-то и в голову не приходило раньше, что они могут встретиться, могут работать вместе. Просто перешагнул тогда через него и забыл.

— Эй, друг, знакомятся-то не задом.

— Чего тебе? — повернулся мрачно Чижов.

— Только и всего. Здравствуй, будем знакомы. Фёдор...

Чижов секунду-другую искоса глядел на протянутую руку, потом с неохотой вяло пожал.

— Ну, здорово.

— Давай, друг, без «ну». Я вежливость люблю.

— Так чего и разговариваешь, коль невежливым кажусь? — Чижов снова взялся за тряпку.

— Нужда заставляет. Работать-то вместе придётся. Вот что, повернись-ка лицом да доложи толком: как с ремонтом?

Чижов и повернулся и не повернулся, встал бочком, уставился взглядом в сторону, в крыши мастерских.

— Знаем мы таких командиров, которые на готовенькое-то любят.

— На готовенькое? Значит, кончен ремонт? Выходит, ты у чужого трактора копаешься?

— Два трактора кончили. Вот этот остался. Всего и делов-то.

— Да, делов немного. Зима проходит, март на носу, два трактора отремонтированы, один не тронут. Могло быть и хуже.

— Знаем мы таких быстрых.

— Заправлен?

— Заправлен. В разборочную нужно.

— Так поехали, заводи.

Чижов промолчал.

— Иль завести не можешь? Дай-ко попробую.

Фёдор осторожно плечом отстранил Чижова, положил ладонь на отполированную ручку и привычно, всем телом налёг. Мотор засопел, вразброд раз-другой фыркнул и смолк.

- В чём загвоздка?
- Тебе видней, ты начальство.
- И это верно. Скинй капот.

Чижев нарочно как можно медленнее повиновался. Фёдор заглянул в мотор и присвистнул:

— Нет, брат! Я тракторист, а не трубочист. Прежде чем в разборочную вести, очисти, чтоб блестел мотор, как у старого деда лысына. Слышал?.. Я спрашиваю: слышал?

- Ну, слышал.
- Делай!

Фёдор сунул руки в карманы и, присвистывая небрежно: «Во саду ли, в огороде...», не оглядываясь, пошёл прочь.

В МТС у него других дел не было, но Фёдор минут сорок добросовестно прошатался, заглянул в мастерские, в контору, полюбезничал там с секретарём-машинисткой Машенькой, девушкой с розовым крупным лицом, бусами на белой шее, с льняными кудряшками шестимесячной завивки.

Вернулся. Трактор стоял сиротливо с задраннным капотом. Мотор, как был, — грязный, ветошь брошена на крапленные ржавчиной гусеницы.

Он нашёл Чижева в мастерской, в тёмном закутке у точильного станка, около печки-временки. Тот встретил его нелюдимым взглядом исподлобья. Фёдор молча присел, закурил не торопясь, произнёс негромко и серьёзно:

— Что ж, будем волками жить?

— Чего ты ко мне пристал? Чего тебе надо? Посидеть нельзя спокойно, и сюда припёрся!

— Не шуми. Не день нам с тобой работать вместе, не неделю — всё время. Хошь или нет, а старое забыть придётся. Нянчиться я с тобой не буду, это ты запомни. Не таких, как ты, выхаживал.

Сидели они рядышком, говорили негромко, мимо ходили люди, никто не обращал внимания, со стороны казалось — с воли дружки пришли отдохнуть, перекурить да погреться.

— Нет тебе расчёта на меня косо смотреть. Нет расчёта...

— Не пугай, не боюсь.

— Я и не пугаю. Дотолковать по-человечески с тобой хочу.

Из аккумуляторной, задевая лапами распахнутого пальто за станины, прошёл директор, оглянулся на присевших у огонька, улыбнулся, как старым знакомым.

— Греемся? Подружились уже?

— Водой не разольёшь, — ответил Фёдор.

— Ну, ну, грейтесь, ребятки, да за дело..

Директор ушёл. Фёдор бросил окуроч в печь и поднялся.

— Пошли.

Глядя в пол, Чижев встал.

5

На окраине села Кайгородище, рядом с усадьбой МТС, стояло здание бывшей школы. Тот, кто строил эту школу, верно считал, что детям нужно больше солнца, больше воздуха, дети должны жить среди зелени. Окна в школе были огромные, потолки очень высокие, а сама школа стояла далеко за селом, среди поля. Но этот любящий детей строитель-поэт не учёл такой житейской мелочи, как печи. В классах с огромными окнами и высокими потолками были поставлены маленькие круглые печки с дверками, как кошачий лаз. Летом, при солнце, бьющем сквозь обширные окна, стояла жара, зимой — холод. Малышам было тяжело ходить за

село по занесённому снегом полю. Учителя, работники РОНО кляли строителя до тех пор, пока в центре села не поставили двухэтажное здание десятилетки с обычными окнами, с обычными потолками, с хорошими печами. А старую школу передали МТС. Половину её переоборудовали под квартиры директора и старшего механика, в другой половине устроили общежитие для трактористов.

С обеих сторон, вдоль стен бывшего класса, шли широкие, лоснящиеся от масла нары. На самой середине стояла бочка из-под горючего, превращённая в печку-временку. От неё вдоль потолка тянулась чёрная железная труба. На нарах лежали новенькие, всего несколько дней назад приобретённые, матрацы. Для подушек, по приказу директора, ещё закупили перо.

Весь день Фёдор ни разу не вспомнил ни о Стеше, ни о доме. Но когда он, примостив под голову свой полушубок, лёг, уставился на железную трубу, бросавшую при свете электрической лампочки ломаную тень на стены и потолок, то с тоской подумал, что сегодня только понедельник. Пять дней до воскресенья, пять дней не бывать дома, не видеть Стешу!

За мокрыми стёклами широких окон стояла чёрная ночь. В одном углу пиликала гармошка. Гармонист разводит одно и то же: «Отвори да затвори...» У столика ужинают трактористы, разливая по кружкам кипяток из прокопчённого чайника. А Стеша, верно, сидит сейчас на койке, морщась, расчёсывает густые волосы — одна в комнате... И приёмник, и половички на чисто вымытом некрашеном полу, занавески на окнах, недоросток-фикус — вспомнился недорогой уют, своё гнёздышко, освещённое пятнадцатилинейной лампой. «Абажур надо купить завтра, по магазинам поискать. Не поспуститься, подороже который...»

Но на следующий день он так и не сбегал в магазин, не купил... Пришли из деревень ещё трое трактористов его бригады. Разобрали мотор, протирали, чистили. Фёдор присматривался к ребятам. Забыть про абажур — не забыл, а всё было некогда, всё откладывал.

Чижев молчал, не поднимал глаз, но не перечил, слушался.

Трактор «КД», или, как звали в обиходе, «кадушечка», был хоть и подзапущен, но новый, не проходил по полям и года. Ремонт пустяковый — подчистить, отрегулировать, сменить вкладыши...

Угрюмость Чижева, кругом ещё плохо знакомые люди, всё одно к одному — домой бы! Успокоиться, а там можно обратно, не сиднем же сидеть подле жены...

— Товарищ Соловейков!

Пряча в беличий воротник подбородок, стояла за спиной Машенька, секретарша.

— Вас ждут, — сухо сказала она.

— За вами, Машенька, хоть на край света.

— Пожалуйста, без шуточек, не люблю. Вас жена ждёт. — Машенька дёрнула плечом и отвернулась.

В новых валенках, в новом, необмятом полушубке, в пуховом платке, из-под которого выглядывали матовобелый нос и краешки румянца на щеках, сидела в конторе Стеша.

При людях они поздоровались сдержанно.

— У нас с маслозавода машина шла, так я с ней... — Стеша боялась оглянуться по сторонам.

— С чем машина-то? — серьёзно, словно это ему было очень важно знать, спросил Фёдор.

— Да ни с чем, пустая, тару нам привозила...

Они вышли из конторы, и Стеша тяжело привалилась к его плечу.

— Федюшка, скучно мне одной-то... Только ведь поженились, а ты сбежал.

— Сам воскресенья не дождусь. Ты хоть дома, а я на стороне...

— Отпроситься нельзя ли, на недельку? Сорвался, поторопился, пожить бы надо.

Добротная, широкая, тёплая, она глядела на него снизу вверх, и не было в её взгляде прежней девичьей уверенности: «Никуда не уйдёшь, тебе хорошо со мной...» Вот ушёл — тревожится, может, даже думает, не загулял ли на стороне, характер соловейковский ненадёжный. Обнять бы, прижаться, расцеловать в пугливые ресницы, да нельзя, день на дворе, народ кругом.

«Верно, Стешка, верно! Рано сорвался, пожить бы надо...»

Целый час они ходили по двору МТС, говорили о пустяках — об абажуре на лампу, о том, что заболел подсвинок, плохо стал есть...

Вечером Фёдор сидел в кабинете директора и доказывал, что надо съездить на недельку домой.

— Молодая ждёт? — понимающе подмигнул директор.

— Молодая не молодая, а ремонт-то кончаем, делать мне здесь вроде и нечего.

— Метил я тебя над Шибановской бригадой шефом поставить. Ты ведь почти на готовенькое пришёл. Трактора в твоей бригаде новые.

— Анастас Павлович!..

— Да уж ладно, знаю... Поедешь домой, только не на отдых. Ты знаком со своим сухоблиновским председателем?

— С тёткой Варварой?.. Слышал про неё много, а не встречался пока.

— Человек честный и со старанием, а в колхозе порядка мало. Рассказывают: в прошлом году больше всех на их полях трактора простаивали. Что греха таить, основная вина на наших трактористах лежит. Проучится год паренёк, его сразу за руль приходится сажать. Но сама-то Варвара должна бы насадить на ребят, подгонять их. Недавно работаю, но успел заметить — с холодком она к нашему брату относится. Залежи навоза у неё около скотных дворов, на поля надо вывезти. На лошадях — не справиться. Помогите! Но куда свой ремонт не кончишь, не отпущу! Уж сердчай не сердчай, я, брат, тоже человек с характером.

В общежитии все спали. За столом сидел и ужинал лишь Чижов — макал крутое яйцо в соль на бумажке.

Фёдор выложил привезённую женой снедь: ватрушки, праженики в масле, пироги с яйцами.

— Кипяток-то остыл? — спросил он.

— Остыл.

— Плохо... А ты, друг, можешь к моим харчам пристроиться, лично я не возражаю. Может, только тебя от моих пирогов вырвет, тогда уж, конечно, поостерегись.

— Да нет, спасибо.

— Брось-ко дуться-то. Пробуй, пробуй, не заставляй кланяться. Где так долго гулял?

Чижов покраснел.

— Да в кино ходил, на «Подвиг разведчика».

— Один?

— Да н-нет... с ребятами...

Чижев врал. Ходил он в кино с секретаршей Машенькой, и та целый вечер ему толковала, какой плохой, вредный и хитрый его бригадир Фёдор Соловейков.

В этот вечер спать они устроились рядом.

6

Вместе с тестем Фёдор попарился в бане, после чего они хлебнули бражки. Сейчас Фёдор лежит на кровати и читает.

Свежее бельё обнимает остывшее тело. Едва-едва слышно шипит фитиль лампы у изголовья. Наволочка на мягкой подушке холодит шею, она настолько чиста, что, кажется, даже попахивает снежком. Хорошо дома!

Фёдор читает, а сам, насторожённо отвернув от подушки ухо, прислушивается — не стукнет ли дверь, не войдёт ли Стеша. «Ну-ко, вставай, поужинаем, ишь прилип, не оторвёшь...» Она вроде недовольна, голос её чуточку ворчлив... А как же без этого — жена! Нет, не слышно, не идёт. Он снова принимается за книгу.

Когда Фёдора спрашивали: «Что больше любишь читать?» — он отвечал: «Льва Толстого, Чехова...» Или завернёт — Густава Флобера, вот, мол, с какими знакомы,хвати-ко нас голыми руками. Но кривил душой, больше любил читать Жюль Верна или Дюма.

Шипит фитиль лампы... Под стекло подплывают акулы, заглядывают внутрь лодки, медузы качаются в зеленоватой воде... Стеша сейчас на кухне, войдёт — только что от печи, всё лицо в румянце, если прижаться — кожа горячая... Что-то долго она там?

Хорошо дома! Хорошо даже то, что приходится уезжать, жить в МТС, ночевать на нарах... Каждый день здесь — мягкие подушки, скатёрки, тёплая постель, — пригляделось бы всё, скучновато бы показалось, поди б и жена не радовала. А побегаешь по мастерским, с недельку поворочаешься на жёстком тюфяке, повспоминаешь Стешу с румянцем после печного жара — тут уж простая наволочка на подушке, и от той счастливый озноб по всему телу, всё радуется, в каждой складочке половика твоё счастье проглядывает. Хорошо дома!

Фёдор уронил на грудь книгу, улыбался в потолок...

Мягко ступая чёсаночками, вошла Стеша.

— Ну-ко, вставай, поужинаем...

Фёдор не ответил. Жестковатые кудри упали на лоб, на обмякшем лице задержалась лёгкая, неясная улыбочка. Он спал.

7

Дорожка от калитки к крыльцу расчищена от снега, у колодца срублен лёд. Тесть, Силантий Петрович, с топором в руках стоит посреди двора и внимательно из-под лохматой шапки разглядывает поперечину над воротами. У ног его лежит сосновое брёвёшко.

Утро только началось, а уж он разбросал снег, подчистил у колодца, сейчас целится поставить вместо осевшей новую поперечину на ворота. Фёдору немного совестно — он-то спал, а старик работал.

Приходилось уже замечать: идёт тесть от соседей — несёт спрятанную в рукав стёртую подкову. Он её нашёл на дороге и не оставил, поднял. В сенцах, в углу, стоит длинный, как ларь, дощатый ящик. Весь он разгорожен внутри перегородками на отделения — одни широкие, вместительные, другие глубокие, узкие, рукавицей можно заткнуть. В одно из этих отделений и попадёт старая подкова. Она, может, и не

пригодится при жизни старика, а может, кто знает, и в ней случится нужда. Пусть лежит, места не пролежит. Фёдор знал — стоит только попросить: «Отец, свинья переборку раскачала, скобу надо вбить...» или: «Гвоздочек бы, Стеша под зеркало карточки прибить хочет...» И тяжёлая скоба и крохотные, еле пальцами удержишь, гвоздики сразу же появятся из ящика Силантия Петровича.

Старик легко поднял за один конец бревёшко и скупыми, расчётливыми ударами начал отёсывать его топором. Фёдор задержался на крыльце, невольно залюбовался: «На весу ведь. У меня силёнки побольше, не сумею...» С мягким, вкусным стуком врезался топор в дерево, слышался лёгкий треск, и на белый снег падали жёлтые, как масло, щепки.

— Может, помочь, отец? — спросил Фёдор.

Силантий Петрович отбросил кряж, сдвинул с потного лба шапку.

— Нет, парень, справлюсь. На полчаса и работы-то. Иди по своим делам.

Высокий, плечистый, статный, как у молодого, движения сдержанны и скупы. «Трудовой мужик, — уходя, думал про него Фёдор, — да и вся-то у них семья работающая».

В конторе правления председателя не оказалось. Фёдор пошёл искать по колхозу.

«Незавидно живут, далеко до хромцовских».

Около скотного, в каких-нибудь шагах двадцати от дверей, — прикрыта снегом гора навоза.

«Неужели и летом сюда навоз скидывают — смрад, вонючие лужи, тучи мух... Хозяева!»

Тут же, рядом, женщины разгружали воз сена. Одна, невысокая, без рукавиц, с красными на морозе руками, стояла на возу, деревянными вилами охаживала за охажкой пропихивала сено в чердачное окно.

— Вот так! Вот так-то! Без ленцы! — покрикивала она, а две другие топтались около воза.

— Труд на пользу! — весело поздоровался Фёдор. — Не видали Варвару Степановну?

Подавальщица на возу остановилась.

— А тебе на что её? — сипловатым голосом спросила она.

— Дело есть.

— Ну-ка, Парасковья, бери вилы.

Придерживая подол, она неуклюже сползла с воза, стряхнула с плеч сенную труху, повернулась к Фёдору и с валенок до шапки оглядела его. При взгляде на неё вблизи против воли готово было сорваться одно слово: «Крупна!» Роста маленького, чуть ли не по плечо Фёдору, а лицо широкое, грубое, мужичье. Тяжеловатость и крупноту черт ещё более выделяли мелкие серые глазки. Взгляд их твёрд и насторожен. Крупны у неё и руки, размашиста и в плечах, из тех — неладно скроена, да крепко сшита.

— Я Варвара Степановна. Выкладывай дело.

В Хромцове председатель Пал Поликарпыч был седенький, маленький, шустрый и очень вежливый. Даже сама походочка у него вежливая — аккуратно, цапелькой, выступает высокими сапожками, голос тихий, ко всем одинаковое обращение: «Дитя ты моё милое...» Но уж коль скажет, то это «дитя» — какой-нибудь дремучий бородач, годами, слушается, и старше Пал Поликарпыча — сразу краснеет или от радости за похвалу, или от стыда за упрёк.

— Бригадир тракторной бригады Фёдор Соловейков.

— Зять Силана Ряшкина, что ли?

— Он самый.

Ещё раз, пристально и как будто недружелюбно, оглядела Варвара Степановна Фёдора.

— Ловкий они народ, сумели такого молодца залучить. Да и то, Стешка — девка видная, гладкая, на медовых пышках выкормленная. Чай, доволен женой-то?

— Да куда нужды не имею на другую менять.

— Ну и добро. Выкладывай, что за дело.

— Навоз-то лежит, — кивнул Фёдор на навозную гору.

— Вывезем.

— Без нас? По договору мы вам обязаны сто тонн вывезти.

— Ишь, удалец. Вывезете кучку, а напишете себе воз. Кто будет навоз вывешивать да проверять? Потом за ваши тонно-километры расплачивайся из колхозного кармана.

— Варвара Степановна, есть председатели колхозов старого уклада, есть нового... — Фёдор отбросил шутливый тон, заговорил деловито.

Варвара слушала его молча, глядела невесело в сторсну.

— Старого, нового... На упрёки-то все вы горазды. На себя б оглянись. С нашей МТС постареешь... Ладно, действуйте... Но смотри у меня! За каждым возом сама буду доглядывать. Чтобы накладывали как следует.

— Вот это разговор! На какие поля возить, я уже знаю от участкового агронома. Мне б сейчас лошадку какую-нибудь, проехать, дороги осмотреть.

— Иди к конюшне, скажи, что я Василька нарядить разрешила.

В сторожке у конюшни чадит потрескавшаяся печка. Какой-то ездовой и Силантий Петрович, оба разомлевшие в своих бараньих полушубках, курили, добавляя к печному чаду махорочный дым. Пахло распаренной хвоей. Дома суровый, внушительный, Силантий Петрович здесь скромненько пристроился на краешке скамейки, лицо скучноватое, неприметное.

— Как бы Василька получить? Варвара Степановна разрешила, — спросил Фёдор.

— Поди да возьми. Седло-то должно быть здесь, под лавкой. Тут вся справа, — ответил тесть.

Фёдор нагнулся. Обрати, чересседельники, верёвочные вожжи — всё перепутанное, цепляющееся одно за другое потянулось из-под лавки.

— Ну и базар! У нас в селе по воскресеньям дед Гордей разным ржавым хламом торгует, у него и то порядка больше. Перекинули бы вдоль стены жердь и развесили.

— Не наказано нам, — спокойно произнёс Силантий Петрович.

— Уж так и не наказано... А чего наказов ждатель? Жерди на дворе лежат. Стрижена девка кос заплести не успеет... Я вроде посторонний, да и то мигом сколочу.

— Ну, ну, засовестил. Выискался начальник.

Ездовой, с любопытством приглядывавшийся к Фёдору, поднялся.

— Это верно, пока не ткнут да не поклонятся, зад не оторвём... Дай-ко, Силан, твой топор, пойду, приспособлю, что ли...

— У меня свои руки есть. Без тебя обойдётся.

Силантий Петрович сердито встал, а через минуту, впусив в раскрытую дверь морозный пар, внёс холодную, скользкую от тонкого слоя льда жёрдочку.

— Ты, Федька, не учи меня — молод, Ишь, распорядитель какой, — говорил он в сердцах, остукивая пристывший к жерди снег.

Выезжая за село на низкорослом, лохматом, как осенний медвежонок, Васильке, Фёдор недоумевал про себя: «Ведь он куда как ретив на хозяйство, дома-то ни минуты не посидит... А тут раскуривает спокойнёшенек...»

Вернулся с полей затемно. Поставил лошадь, соломенным жгутом обтёр спину и пахи, с седлом на плече двинулся к выходу.

Голос тестя, доносившийся через приоткрытые двери, заставил остановиться Фёдора.

— Нет, ты уж хоть десять соток да запиши. Что я, задарма вам старался? Бог знает, что творилось в сторожке, — вся снасть под ногами путалась. Теперь, как в магазине, приходи — выбирай.

Невесёлый басовитый голос совестил Силантия Петровича:

— На два гвоздя жердь прибил и выпрашиваешь...

— Не выпрашиваю... Ты отметь мою работу, положено! Никто рук не приложил, а тут вместо благодарности оговаривают.

— Уж лучше бы не делал.

Фёдору стало неловко: а вдруг тесть заметит, что он тут стоит и подслушивает. Осторожно вышел в другие двери, обошёл разговаривавших.

Но Силантий Петрович и не собирался скрывать свой разговор. Дома, вечером, сердито растёгивая крючки полушубка, он заговорил:

— Вот, Федька, больно старателен-то, не жди, премию не выпишут. Они глядят, чтобы на дармовщинку кто сделал.

Алевтина Ивановна, выносившая пойло корове, задержалась посреди избы с ведром.

— Чтой опять стряслось? — спросила она.

— Да ничего. Старая песня. Снова охулки вместо благодарности. Руки приложил, а записать на трудодень отказались.

— И не прикладывал бы.

— Всё помочь хочется, совесть не терпит.

— Не терпит... Совестьлив больно. Варвара, небось, с совестью-то не считается. Как она тебя поносила, вспомни-ко, когда ты сани с подсанками делать отказался?

— Всегда в нашем колхозе так: сделай — себя обворуешь, не делай — нехорш.

— Уж вестимо.

По угрюмому лицу тестя Фёдор чувствовал, что тот недоволен им. Было стыдно за этого серьёзного, рассудительного человека — из-за грошового дела в обиду лезет. Фёдор тайком посматривал на Стешу: должно, и ей стыдно за отца? Но та, словно и не слышала, как ни в чём не бывало, застилала рыжей скатёркой стол, собирала ужинать. Она, уже заметил Фёдор, никогда не спорила с родителями — послушная дочь.

Он ушёл на свою половину и до позднего вечера сидел у приёмника, слушал передачу из московского театра. Мягкая поступь Стешы за его спиной успокаивала: «С нею жить... Пусть себе ворчат. Старики, что и спрашивать...»

Всё пригляделось, всё стало привычным.

Своими стали тесные, неуютные мастерские Кайгородищенской МТС. Другом и приятелем стал Чижов.

Привык Фёдор и к сухоблиновскому председателю, тётке Варваре. Сперва удивлялся: строга, народ её уважает и побаивается, а в колхозе

на каждом шагу непорядок. Если б не он, Фёдор, с его тракторами, лежать бы навозу кучами около скотного и до сих пор. Сперва удивлялся, потом понял: Степановна строга, её побаиваются, а бригадиров не слушают, нет у председателя хороших помощников, всюду сама старается поспеть, своим глазом доглядеть, всё своими руками готова сделать, да глаз — всего пара и рук — не тысяча.

Привык Фёдор даже к тому, что дома постоянно приходилось слышать обиды: «Охулки вечные... С нашей-то совестливостью...» Привык, старался не обращать внимания: «Старики, что с них спрашивать?»

Всё пригляделось, ко всему привык и только к одному не мог привыкнуть.

Как в первые дни, так и теперь, возвращаясь из МТС домой, он по-прежнему радовался покойной тишине, чистым наволочкам после бани, румяным щекам оторвавшейся от печи Стеши.

А Стеша что ни день, то красивее — какое-то завидное дородство появилось в её фигуре, в её движениях, сразу видно: не девушка, жена. Повернёт Стеша голову, на крепкой шее вьются тёмные кудряшки, через высокую грудь спадает коса. «Федя, дров принеси...» — «Ах ты, лебёдушка!» — даже не сразу сорвётся Фёдор с места.

Разве можно привыкнуть к этому? Счастье не надоедает, к нему не привыкнешь. Потому-то, может, и прощал Фёдор старикам их воркотню. Со Стешей жить, не со стариками.

Сама Стеша никогда не ворчала, да и ворчать ей было не о чем. Как бы там ни было, а старики работали в колхозе. Стеше же он — сторона. За селом стоит старый дом с навесом и коновязью перед окнами. Это маслобойка; за отсутствием других предприятий на селе её зовут громко — маслозавод. Каждое утро Стеша уходила туда, не по разу на день прибегала домой, а вечером она уже встречала Фёдора заботливыми хлопотами по хозяйству — бегала из погребца в сенцы, замешивала пойло корове. Тихая работа у Стеши, и говорить о ней она не любила, редко когда перед сном, позёвывая, вспоминала: «Сегодня из Лубков с молоком приезжали, воротить пришлось... Холода-то какие, а проквасили, летом-то что будет?» Фёдор временами даже забывал, что она работает.

Так дожили до полной весны.

Не падкий до шуток и пустяковых дел, Силантий Петрович в один солнечный день подставил к старой берёзе лестницу, кряхтя взобрался по ней, снял скворечник и, сосредоточенно покусывая кончик усов, похозяйски оглядел его. Скворечник — не детская забава, а частица хозяйства. Двор без скворечника — всё одно что колхозная контора без вывески: знать, не красно живут, коль вывеску огоревать не могут. Ежели и скворечник исправен, считай — всё, до последнего гвоздя, исправно в хозяйстве. Силантий Петрович с самым серьёзным видом стал ремонтировать покоровившийся от непогоды птичий домик.

А у колхоза с весной новая беда.

Тётка Варвара зазвала в контору Фёдора, села напротив, подперев щеку тяжёлым кулаком, пригорюнилась по-бабы.

— Выручил ты нас, Феденька, свозил навоз, честно работал, не придерёшься, выручи и в другой раз. Прошлый-то год, сам знаешь, какова осень была, не за тридевять земель жил... При дожде убирались. Зерно сушили — вода ручьями текла. Такое и на семена засыпали. Всю-то зимушку нас этот «Госсорт», чтоб им лихо было, за нос водил. Всю зимушку гадали над нашим зерном бумажные душеньки — то ли можно сеять, то ли нет... Сказали б загодя — нет, а то теперь выежжать пора, а они: всхожесть пизка, не разрешаем! Да провалиться им!.. Семена-то есть, выделил нам райисполком хорошие семена, да их до-

стать надобно со станции. Выручи, Феденька, оговори у начальства разрешение один трактор послать на станцию. Два выезда сделаете и спасёте колхоз.

Фёдор слушал и прикидывал про себя: до станции более сорока километров, дороги размыло, с порожними, из цельных брёвен вырубленными санями — и то трудно пробираться трактору, а тут с грузом... Да и горючего уйдёт уйма.

— Нет, Степановна, не помогу, — сказал он. — Да ты подумай, сама не согласишься. На такие дороги малосильную «кадушечку» не пошлешь, не вытянет воз «кадушка» по таким дорогам.

— Ну, а этого большого... Пятьдесят же сил в нём, звере, чёрта своротит.

— Дизелем рисковать не буду. Ни ты, ни я не поручимся, что в такое непроезжее время он где-нибудь посередине дороги не сломается. Он у нас один, ему не сегодня-завтра на клеверища выходить. И семена будут, а всё одно сорвём сев. Ненадёжный выход, Степановна.

— Как же быть, ума не приложу?

— Всех лошадей бросай на вывозку! Всех до единой!

Тётка Варвара и с надеждой и с недоверием долго разглядывала Фёдора.

— Всех лошадей... Выход-то немудрёный. Я и сама о нём думала. Всех?.. То-то и оно, побаиваюсь всех-то... Замучаем их, а по прошлому году сужу — на ваше тракторное племя с головой положиться нельзя. Не тебе в обиду будь сказано... День работали, два дня в борозде стояли трактора-то. Трактористы от села к МТС мыкались, запасные части искали. Лошадки-то меня всегда выручали. С открытым сердцем тебе говорю, Фёдер, боязнь берёт без лошадей в сев остаться.

— Тётка Варвара, плохо ты знаешь бригадира Соловейкова! Ишь, может, клятву особую тебе дать?.. Будут работать трактора, ручаюсь! Бросай лошадей на семена! Управимся без них на полях! Десять лет я при тракторах, без малого полжизни! Мне слово тракториста дорого.

— Ой ли?..

Но по тому, как было сказано это «ой ли», Фёдор понял: согласилась Степановна. Не то чтоб совсем поверила, а согласилась — другого не придумает.

9

Исчез под стеной сарая лиловый ноздреватый сугроб. Потом под окнами меж чёрных грядок сник ручей, оставил после себя след — жёлтую дорожку намытого песка. Скоро и самые грядки начали терять свою мокрую черноту, комья земли стали сереть, как остывающие уголья, подёргивающиеся тонким слоем пепла. Земля подсыхала.

Фёдор послал свой дизель пахать клеверища и сам пропал около него с раннего утра и до позднего вечера.

Приходил домой грязный, уставший, весёлый.

— Лебёдушка моя, есть хочу, ноженьки не держат, — и старался походя шипнуть Стешу, на весь дом довольно хохотал, когда в ответ получал тумака.

Однажды вечером, когда Фёдор навалился на полуостывшие щи, Стеша присела напротив, поставила на краешек стола белые локотки и, склонив голову, с довольной и в то же время осуждающей улыбкой — «эк ведь торопится, словно кто нахлестывает», — разглядывала мужа.

— Да, совсем было запаматовала. Долго ль ждать будем? Пора усадьбу пахать. Колхозное-то, небось, начали, а своё лежит нетронутым. Отец просил: сходи к Варваре, попроси лошадь, тебе она не откажет, с тобой ей не с руки не ладить.

— Нельзя, Стеша. Правление постановило: пока семена все не вывезут, никому лошадей не давать. У Варвары-то, чай, своя усадьба, не берёт же она себе лошадь. Нам тут, Стешенька, не след поперёд других вылезать.

— Так что ж, не пахать?

— Надо что-то придумать, Стеша. Лопатами, что ли, пока взяться?.. Туго колхозу-то нынче, семена на станции, а весна не ждёт.

— Лопатами?.. Ты, что ль, лопатой эти двадцать пять соток поднимешь? Ты-то утром — добро, ежели завтрака дождёшься, а то — кусок в карман, да и был таков... Может, мне? Может, мать заставить?.. Отцу-то шесть десятков...

— Обожди, Стеша. Вот вывезут..

— Жди, когда они вывезут! Колхозное-то засеют, а от своего хоть отвернись!

— Стеша! Я лошадь просить не пойду! Обижайся не обижайся — не пойду! Совести не хватит!

Полные губы Стеша растянулись, задрожали в уголках, в тени под ресницами — почувствовал Фёдор — стали накупать слёзы. Она поднялась.

— Совесть свою бережешь! За стол-то лезешь! Тут-то хватает совести! — И ушла, хлопнув дверью.

Фёдор сидел, продолжал хлебать сразу показавшиеся пресными ши и успокаивал себя: «Бывает... Утрясётся... Дело-то домашнее, глядишь, через час вернётся, поладим». Сел, как бывало в неловкие минуты, к приёмнику, поймал Москву. Там пели:

За твои за глазки голубые
Всю вселенную отдам...

Стало не по себе, выключил, походил около двери, но выйти не решился. Там тесть сидит, верно, подмётку на старые сапоги набивает или к чайнику отвалившийся нос припаивает, молчит угрюмо. Тёща, поджав губы, вздыхает: «На премию целится молодец...» Стеша, наверно, плачет... И чего сорвалась? Договорились бы... Беда какая! Да чёрт с ней, с усадьбой, и без неё голодными не остались бы...

Скинул сапоги, лёг лицом в подушку, ждал, ждал Стешу. Но она не приходила. Не шёл и сон.

Встал. Походил по комнате, нарочно шумно, чтоб слышали на той половине, двигал стульями. Вспомнил, что днём, помогая устанавливать ребятам плуг, порвал рукав. Решил залатать. Пусть Стеша приходит, он будет сидеть, шить и молчать. Любуйся, мол, каков у тебя догляд за мужем. Не совестно?..

Разыскивая в коробке из-под печенья нитки, он наткнулся на комсомольский билет.

На собраниях он Стешу не встречал, знакомился — полной анкеты не требовал. Потом как-то привык — она работает, на работу не жалуется, и в голову не приходило поинтересоваться: комсомолка или нет.

Новенькому на вид, не мятому, не затёртому билету было четыре года. На карточке Стеша почти девочка, лицо простоватое, брови напряжённо подняты, теперь куда красивее она выглядит. Членские взносы заплачены только за три месяца. Давно выбыла, четыре года билет валяется.

Держа в руках этот билет, Фёдор задумался: «Жена, ближе-то и нету человека, три месяца с ней живу, а ведь не только это, многого ещё, пожалуй, не знаю про неё... Верно говорят: чужая душа — потёмки...»

Стеша так и не пришла, ночевала у родителей.

...Лошадь требует — подай и шабаш, знать не хочу колхоза!

И работу-то она нашла тихую, не пыльную, лишь бы в колхозе не сидеть...

И комсомольский билет забросила, сунула вместе с нитками, забыла, и горя мало...

Но ведь всё же она душевный человек, так просто крест на ней не поставишь...

Шесть лет работает Фёдор бригадиром трактористов, а трактористы в деревне — особая статья. Этот народ цену себе знает, любит независимость. Со всякими ребятами приходилось сталкиваться. Случалось, подносили под нос пропахший керосином кулак: «Не командуй, Фёдька... Сами с усами». Но и таких Фёдор обламывал, по начальству не ходил, не плакал в жилетку: «Сил-де нет, управы не найду». Шёлковыми становились ребята, умел договориться. Девчата под его началом работали... Ну, с девчатами — легче лёгкого. Слово за слово, коль смазлива, то, глядишь, и за подбородочек можно взять — сразу растает. Стеша тоже человек. Договориться нельзя, что ли? Из-за чего сыр-бор разгорелся? Из-за лошади... Да Стеша и сама откажется, только подойти надо умеючи. Ай, Фёдор! Что ж тут казнить-то, со своей женой да не столкнуться — смех!

Фёдор с трудом дождался обеденной поры.

Стешу он застал дома, и она встретила его на удивление мирно.

— Вернулся, поперечный? А я уж думала, и к ночи не придёшь. Наказание ты моё! Ладно, садись обедать.

С самого утра Фёдор готовился к разговору, сам про себя спорил, придумывал ответы, упрёки, шутки. И на вот — всё ни к чему, Стеша не держит на сердце обиды. Фёдор даже немного растерялся.

— Так ведь, Стеша, сама посуди... Чего просила... Разве можно? Не время теперь...

— Это ты о чём? О лошади?.. Так об этом и говорить нечего. Ты не захотел, отец достал. Он уже пашет. Ты мимо шёл, не заглянул, небось, не поинтересовался.

— Как достали? Откуда?

— Откуда, откуда... Да всё оттуда же. Пошли к Варваре и попросили. Это ты гордец выискался — совести не хватит!.. Садись уж за стол. Сегодня суп с курятиной, солонина-то, чай, опостылела.

Она, как всегда, спокойна и деловита. Мягкой поступью ходит вокруг стола, осторожно, чтоб не испачкать белой кофточки, в которой она сидит на работе, подхватывает тряпками тяжёлые чугуны, легко их переставляет. С ней да ругаться, про неё да плохо думать?

И всё же во время обеда Фёдор молчал, не переставал думать: «Как это Варвара решилась? Нет же лишних лошадей. Ни Силантия Петровича, ни Алевтину Ивановну она вроде особо не жалует. Что-то не то...»

После обеда он нарочно завернул за угол, полюбовался: Стеша не шутила, по чёрной взрыхлённой земле прыгали галки, тещь, сутулясь, неровными, оступающимися шагочками шёл за плугом.

У Фёдора неспокойно стало на душе. Он направился в контору.

Тётка Варвара хмуро отвела от него взгляд.

— Ты лошадь просил, так я дала её, — сказала она, не обращая внимания на произнесённое Фёдором: «Здравствуй, Степановна».

— Я?.. Лошадь?..

— Иль не просил, скажешь? Силан утром целый час подле меня сидел, попрекал, что относимся к людям плохо, что ты, мол, ради колхоза

покой потерял, а я уважить тебя не могу. Так и сказал: «Фёдор просит уважить...» Ещё пристрашал — кобылёнку жалеешь, как бы дороже не обошлось. Я Настасье Пестуновой отказала, у ней пятеро — мал мала меньше, сама хвора, мужа нет... А тебя уважила. Приходится... Оно верно — план-то сева дороже заезженной кобылёнки.

— Не просил я лошадь, тётка Варвара!

Но тётка Варвара всем телом повернулась к бухгалтеру:

— Так ты куда ж, красавец писанный, этот остаток заприходовал?

— Тётка Варвара! Слышь!.. Нечего мне затылок показывать, выслушать надо!

— А ты не кричи на меня. На свою родню иди крикни, ежели они тебя обидели.

Как ошпаренный, выскочил Фёдор из конторы и широким шагом зашагал к дому.

Он подождал, пока большеголовая, кланявшаяся на каждом шагу мордой лошадь не добралась до обочины, взял её за поводок.

— Стой, батя!

— Чего тебе? — Выцветшая, с чёрным околышем военная фуражка была велика тестю, треснувший матовый козырёк наполоз на хрящеватый нос.

— Выпрягай!

И, не дожидаясь помощи, Фёдор сам отцепил гужи. Лошадь дёрнулась и остановилась, вожжи были привязаны к ручке плуга.

— Так, сынок, так... Ой, спасибо! Забываешь, видно, под чьей крышей живёшь, чьи щи хлебаешь... А вожжи ты оставь. Вожжи мои, не колхозные.

Фёдор отцепил вожжи, бросил концы на землю.

— Позорить себя не дам! — крикнул он, уводя лошадь. — И щами меня не попрекай! Себе и жене на щи заработаю!

Он отвёл в конюшню лошадь и ушёл в поле, к тракторам, до позднего вечера.

Стемнело.

Наигрывая только здесь, по деревням, ещё не забытый «Синий пла-точек», уходила из села гармошка. За пять километров отсюда, в деревне Соболевка, сегодня свадьба. Какой-то не знакомый Фёдору Илья Зыбунов начнёт с завтрашнего дня семейную жизнь. На крылечках то ленивенько разгораются, то притухают огоньки цыгарок. Две соседки, каждая от своей калитки, через дорогу, через головы редких прохожих, судачат о какой-то Секлетии. И такая она, и сякая, и нос широк, и лицо в веснушках, как только на неё, конопатую, мужики заглядываются, уму непостижимо...

Живёт село. Неторопливо, спокойно готовится к ночи. Через час уснёт с миром.

А среди других, грузно осевший в кустах малины, стоит дом. Угрюмо глядят на неуверенно приближающегося Фёдора его тёмные окна. Тяжело Фёдору переступить порог этого дома. И не переступил бы, прошёл бы мимо, да нельзя. Так-то просто не отвернёшься, не пройдёшь мимо.

Фёдор осторожно толкнул дверь, она не открылась — заложена изнутри. Что делать? Повернуть обратно? Постучать? И то и другое — одинаково трудно.

«Здесь пока живу, не в другом месте». Фёдор громко стукнул.

Долго не было ответа. Наконец раздался шорох.

— Кто тут? — Фёдор вздохнул свободнее — не тесть, не тётка, а Стеша, это хорошо.

— Я... Открой.

Молчание. Сперва морозный озноб пробежал под рубашкой, потом стало жарко до поту.

Но вот стукнул засов, дверь отошла, за нею послышались удаляющиеся шаги, резкие, сердитые.

Фёдор вошёл, запер за собой дверь.

— Пришёл, вражина?! А зачем?.. Чего тебе тут?.. Тебе весь свет милей, чем мы! Поворачивай обратно! Глаза терпеть не могут тебя, постылого! Связалась я!

— Стеша! Да обожди... Да брось ты... Пойми, выслушай!..

Волосы растрёпанные, неясное в темноте лицо, голос клокочет от злости, чем дальше, тем громче её выкрики, срываются на визг. В тихом, уснувшем доме, где Фёдор приготовился говорить вполголоса, это не только неприятно — это страшно.

— Объяснить хочу...

— Какой ты мне муж! И чего я на тебя, дурака, позарилась!.. Пришёл! На-ко, мол, полюбуйся!

— Стеша!

— Не приютили тебя дружки-то, сюда припёрся!..

— Брось, Стешка!

— Ай, мамоньки! Что же это такое?! Напаскудил, отца оплевал, теперь на меня... Несчастье моё!.. В родном-то доме!..

— Брось плакаты! Послушай!

Но Стеша не слушала, сцепив на груди руки, она визгливо, по-бабьи, заливалась слезами.

— За что-о мне на-ака-азание та-акое!

Стукнула дверь, в полутьме на пороге показалась тёща в накинутом поверх рубахи старом ватнике.

— Господи боже, исусе христе!.. Стешенька, родимушка, да что же это такое? Касаточка моя... Силан! Силан!.. Ты чего там лежишь? Дочь твою убивают!.. Ведь вахлак-то, зная, пьянёшенек припёрся!

И Фёдора взорвало:

— Вон отсюда, старое корыто! Нечего тебе тут делать!

— Си-и-илан!

— Мамоньки! Отец! Отец!

В белом исподнем, длинный, нескладный, ввалился Силантий Петрович, схватил за руку дочь, толкнул в дверь жену.

— Иди отседова, иди! Стешка, и ты иди! Опосля разберёмся... Я на тебя, иуда, найду управу...

— Уйди дс греха!

— Найду!

И уж из-за двери донёсся голос тёщи:

— Ведь он, матушки, разобьёт всё! Добро-то, родимые, переколотит! Стало тихо.

Фёдор долго стоял не шевелясь.

«Вот ведь ещё какое бывает... Что теперь делать?.. Уйти надо, сейчас же... Но куда?.. На квартиру к трактористам, к ребятам... Но ведь спросят: зачем, почему, как случилось?.. Рассказывать, себя травить, такое-то позорище напоказ вынести... Нет, уж лучше до утра здесь перемучиться!»

И для того, чтоб только отогнать кошмар тёмной комнаты — смутные фигуры Стешы, её матери с ватником на плечах, тощего, как ножницы, тестя в подштанниках, — Фёдор зажжёт лампу.

Разбросанная кровать, половички на полу, белая скатёрка на столе, жёлтый лак приёмника, лампа под бумажным колпаком. Всплыла ненужная мысль: «На лампу-то абажур купить собирался, сверху зелёный,

внутри белый...» И не испуг, а какое-то недоумение охватило Фёдора: «Неужели конец?»

Пол под ногами вымыт Стешей, скатёрка на столе её руками постелена, а края этой скатерти, знать, подрубала тёща, половички, занавески, этот страшный сундук... Вспомнился выкрик: «Ой, матушки, разобьёт всё! Добро-то, родимые, переколотит!» Радовался — своё гнёздышко! Сейчас, куда ни повернись, скатёрка, половичок — всё, кажется, кричит стешиным голосом: «Вражина! Куда припёрся?»

Гнёздышко, да не своё... Ночь бы здесь провести, утром что-то придумать надо...

11

Хотя на половине родителей, в маленькой боковушке, стояла широкая кровать с никелированными шарами, с пуховым матрацем, с горкой подушек, усталая нарядным верблюжьим одеялом, но старики обычно спали то на печи, то на полатах, подбросив под себя старые полушубки. Остаток ночи Стеша провела на этой кровати.

Первые часы она плакала просто от злости: «Кто дороже ему, вахлаку, жена родная или тётка Варвара?» Но мало-помалу слёзы растопили обиду, стало стыдно и страшно: «Как ещё обернётся-то? А вдруг да это конец!..» Стеша снова плакала, но уже не от злости, а от обиды — не получилось счастья-то.

А счастье Стеша представляла по-своему...

Она родилась здесь, в этом доме, здесь прожила всю свою недолгую жизнь. Если б кто догадался её спросить: «Случалось ли у тебя в жизни большое горе или большая радость?» — ответить, пожалуй бы, не смогла. Большое горе или большая радость?.. Не помнит. Когда ей исполнилось семнадцать лет, подарили голубое шёлковое платье. Она и теперь его носит по праздникам. После этого отец с матерью каждый год справляют обновки. Каждая обновка — радость, но от голубого платья, помнится, радостнее всего было. А большей радости не случалось.

Училась в школе. В шестом классе уже выглядела невестой — рослая не по годам, и лицо с румянцем, и стан не девчонки. Училась бы неплохо, если б не математика: от задачек тупела. Но всё же шла не хуже других, так — в серединке. В самодеятельности выступала, со школьным хором частушки на сцене пела...

Молодёжь в своём колхозе обычно старалась не задерживаться. Парни уходили в армию и не возвращались, девушки уезжали то по вербовке, то учиться в ремесленные, то шли поближе, в райцентр, куда-нибудь делопроизводителем — бумаги подшивать. Стеша не кончила восьмой класс — на вечерках поплясывать стала, парни провожали. Сидеть за партой, решать уравнения казалось стыдновато, да и не к чему — в её жизни иксы да игреки не пригодятся.

От дома она не оторвалась, никуда не уехала, но и в колхозе работать — отец с матерью в один голос объявили — расчёту нет. Поступила на маслозавод. Работа нетрудная — проверить молоко, принять, выписать квитанцию. На маслозаводе, кроме неё, работали всего пять человек, все пожилые, семейные.

Держалась сначала старых подруг, с ними она ходила на вечерки, секретничала в укромных уголках, кружок самодеятельности посещала и в это время даже в комсомол вступила. Другие-то вступают, чем она хуже!..

Вступила, но собрания по вопросам сеноуборки или вывозки навоза — не вечерки с пляской. Как-то само собой получилось, она отошла от старых подружек, да и немного их оставалось в колхозе.

Дом да маслозавод, маслозавод да дом, каждый день одна дорожка — мимо дома Агнии Стригуновой, мимо ограды Петра Шибанова, мимо конторы правления... Скучно бы жить так, да надежда была — кому-кому, а ей не сидеть в вековушах. Найдётся под стать ей парень, не далеко уж то время, найдётся!

Как отец с матерью живут, она так жить не собирается. Целыми днями они хлопочут по хозяйству, сады, поливают, на базар возят, на медку, на мясе да на картошке копейку выбивают. Едят ещё сытно и обеды покупают, а ходят не нарядно, даже спят не по-человечески — печь да полаты. В избе неуютно, стены голые, две тёмные иконки на божнице да отрывной календарь — вот и всё украшение. Они довольны, частенько приходится слышать:

— Сравнить с другими, справно живём, грех жаловаться...

И какой спрос с отца, с матери — им век доживать и так хорошо.

Вот выйдет замуж — по-своему наладит. Муж будет обязательно или учитель или агроном, культурный человек, чтоб книги читал, газеты выписывал. Займут они половину дома, комнату с печью-голанкой. Тюлевые занавески на окнах, на столе патефон вязаной скатёркой накрыт, стеклянная горка с посудой.

Представлялось: раным-ранёшенько, вместе с солнышком, проснётся она; муж спит, сын (сын — непременно) спит; тихонько выходит она в огород. Босые ноги жжёт росяной холодок, по крепким капустным листьям блестящими катышками сбегает вода, пахнет помидорным листом — всё кругом своё, во всё её душа вложена... А по вечерам гости приходят. Не своя, деревенская родня, не Егоры да Игнаты, а мужнины гости. За столом сидят, чай пьют, о политике рассуждают. Она или в сторонке с вышивкой на коленях, или угощает: «Кушайте на здоровье, медку-то не жалейте... Свои пчёлы, сбор нынче хорош».

Вот оно, счастье: мир, тишина да дом — полная чаша.

Но не всё, как думалось, так и вышло. Муж, хоть собой парень и видный, а не учитель, не агроном, почти свой брат-колхозник. Правда, книжки читает, газеты иногда на дом приносит, но гостей его приглашать не большое удовольствие: не чаёк, не разговор о политике их интересует — пиво да водка, споры о горячем.

Не совсем тот муж.

Стеша про себя тайком считала — осчастливила она Фёдора, могла бы и другому достаться. Потому и обидело её страшно: Фёдор-то больше, чем родителей её, больше, чем дом свой, больше её самой посторонних уважает, тётки Варвары слушается!

Утром она, как всегда, ушла на работу. Там она сидела за закапанным чернилами столом, вздрагивала от каждого стука дверей. Всё казалось — вот-вот должен войти Фёдор и обязательно с повинной головой.

В маленькой конторке маслозавода было душно от напруги солнцем железной крыши, стоял крепкий запах прокисшей сыворотки. Из-за размытых дорог, из-за жаркого дня молоко из колхозов не везли, работы не было.

Стеша сидела и ждала. Фёдор не появлялся.

Она вдруг почувствовала головокружение и тошноту...

12

Фёдор уснул с мыслью: утром что-то надо придумать. А придумать ничего не мог.

Ходил по распаханному полю от трактора к трактору, потом выбрал сухое местечко на припёке, лежал на земле, надвинув фуражку на глаза, дремотно глядел в весеннее густосинее небо.

«К матери бы съездить? Давно уже не был. Холостым-то что ни месяц навещал...»

И вспомнилась Фёдору мать. Идёт, согнувшись, мелкой торопливой походочкой, голова в выгоревшем платке вперёд, руки назад отброшены. Встретит бригадира, начинает обязательно выговаривать: «Куда смотришь?.. Где глаза твои?.. За лопатинским двором в овсе козы гуляют. Огорожу исправить досуга у вас нет! Старухе заботиться приходится. Лаз, что ворота. Я там прикрыла малость». И бригадир спокоен: раз Дарья Соловейкова «прикрыла малость», значит — порядок, там козы не пролезут. Он стоит, выслушивает, пока Дарья не устанет.

Любит мать поворачать. Отцу-покойнику доставалось на орехи. Приходил с работы, усаживался за стол, а у матери всегда для него что-нибудь новенькое приготовлено: на повети крыша прохудилась, поленицу не на место сложил, дрова сырые привёз. Отец так и называл: «Обедать с музыкой». А сколько затрещин Фёдке перепало... Ворчлива мать, неуживчива, а в деревне её любят...

«К ней бы поехать, выложить всё — поймёт, пожалеет, поругает по-своему... Нет!»

У матери одна теперь радость — сыновья. Они счастливы — счастлива и она. Приехать, пожаловаться... Со стороны-то для неё его горе вдесятеро больше покажется. Нет уж, сам решай, не порти жизнь матери.

Тётка Варвара, видно, учуяла беду Фёдора.

— Чегой-то не весел, молодец? — Но расспрашивать не стала. Она знала, что Фёдор привёл обратно лошадь, знала и семью Ряшкиных... Она просто предложила: — Пойдём-ко ко мне, гостем будешь. А то работаем, считай, вместе, а знакомство конторское. Не жоге! И старик мой рад-радёшенек будет — раз гость, значит и косушка на стол. Любит.

Домик у председательши был всего в четыре окна — две крохотные горенки с чисто выскобленными стенами. Под полатами Фёдору пришлось согнуться.

— Чего так разглядываешь моё жильё? — спросила тётка Варвара.

— Могла бы и пошире жить.

— Не положено. Многие не лучше меня живут. Коль мне ставить новую хоромину, так и другим падо... В лесу утонули, одни крыши на солнце проглядывают, а по всему селу постройки не только до колхозов, а ещё до революции ставлены. Руки не доходят.

— Кто ж виноват? Вон в Хромцове целая улица новая.

— Кто ж виноват? Может, и я... Опять, старый, пол не подмёл?

— А то каждый день полагается? — весело и бойко отозвался старик.

Муж тётки Варвары был тщедушный, с прозрачной седенькой бородкой, морщинки у него на лице беспечные, разбскались в улыбку. Фёдор знал — дед Игнат был дальний родственник Алевтине Ивановне, значит — и его. Игнат был на их свадьбе, выпил не больше других, но всех скорей охмелел.

— Плохая ты у меня хозяйка, — покачала головой Варвара.

— Заведи другую... Вот, братец ты мой, уж куда как плохо, коль жена в руководящий состав попадёт, — обратился дед Игнат к Фёдору. — Мне и пол мести и печь топить, беда прямо...

— Сознавайся уж подчистую, чего там скрывать. Ты у меня и корову обиходишь и тесто ставишь... Научился. Такие пряженики печёт, что куда там мне! Только ленив, пока стопочку не посулишь, палец о палец не ударит. Иной раз чёрствой корки в доме не сыщешь. И талант вроде к домовитости есть, да бабьей охотки недостаёт.

Грубая, резкая Варвара словно размякла дома, голос густоватый, ворчливый, добрый.

— Чегось, не сбежать ли мис, Варварушка? — напомнил старик.

— Рад, старый греховодник. Беги уж. Только быстро.

Дед Игнат порылся за печью, достал пустую бутылку, сунул её в карман, лукаво подмигнул Фёдору и скрылся.

«Сейчас, верно, расспрашивать начнёт: что да как?.. Неспроста же позвала...» — подумал Фёдор, когда они остались наедине.

Но тётка Варвара и не думала расспрашивать, она сама стала рассказывать о себе.

— Вот, говорят, плохо руковожу... А что тут удивляться? Я ведь баба необразованная. Видишь, книжки в доме держу, тянусь за другими, а ухватка-то на науку не молодая...

Дед Игнат оказался прыток на ногу.

— Вот как мы! — заявил он, появляясь в дверях, и засуетился, забежал от погребца к столу.

Сели за стол.

— Ох, зло наше, — неискренне вздохнул дед Игнат перед налитой стопочкой.

— А себе-то что? — спросил Фёдор тётку Варвару.

— Уж не неволь.

— Мы сами, мы сами... Она и так посидит, за компанию. За твоё здоровье, племянничек! Ведь ты вроде того мне, хоть и коленце наше далёкое.

Пошёл обычный застольный разговор обо всём: о семенах, о севе, о подвозе горючего, о нехватке рабочих рук.

— В сев-то ещё ничего, обходимся. А вот сенокосы начнутся! Наши сенокосы в лесах. Наполовину приходится не косилками, а по старинке, косой-матушкой орудовать. Вот когда запоём — нету народу, рук нехватка! Привычная для нас эта песня... Нам бы поднатужиться, трудовень поувесистей дать, глядишь, те, кто ушёл, обратно повернули бы. Толкую, толкую об этом — нажмём, постараемся, — кто слушает, а кто и ухом не ведёт. Есть такие — дальше своего двора и знать не хотят. Мякина в чистом помоле.

— На моих, верно, намекаешь? — спросил Фёдор.

— К чему тут намекать? Ты и сам, без меня, видишь... Эх, Федюха, Федюха, молодецкая голова, да зелёная! Ошибся ты малость. Зачем тебе было к Ряшкиным лезть? Уж коль взяла тебя за душу стать степанидина, так отрывай её от родного пристанища. Одну-то её, пожалуй бы, и настроил на свой лад. Ты к ним залез, всех троих не осилишь. Тебя б самого не перекрасили...

Фёдор молчал.

— Силян-то не из богатеев. До богатства подняться смекалки не хватало, а может, и жадность мешала. Жадность при среднем умишке не всегда на богатство помощница. Чтоб богатство добыть, риск нужен, а жадность риск душит. А уж жаден Силян: на двор сходит да посмотрит, на квас не годится ли. Прости, я попросту... Вот такие-то силаны при организации колхозов, ой, как тяжелы были!.. Середняк, их не ушибнёшь, а нутро-то кулацкое, вражье! Теперь-то вроде не враги, а мешают. Боли от них особой нет, а досадны.

— Ты так говоришь, что мне одно осталось — пойти да поклониться: бывайте здоровы.

— Нет, на то не толкаю. Попробуй, вырви зуб из гнилых дёсен. Только вначале надо было это сделать. Теперь-то, скрывать нечего, трудненько. Ведь я знаю: получил нагоняй от Стешки, что лошадь у отца отобрал. Веры-то у неё к родителям больше, чем к тебе... Для того я всё это говорю, парень, чтоб не обернулось по присловью: с волками жить — по-волчьи выть. Воюй!

— Боюсь, что отвоевался. Нехорошо у нас этой ночью получилось, вспомнить стыдно.

— Понятно, не без того... Особо-то не казись, к сердцу лишка не бери. Хочешь счастья — ломай, упрямо ломай, а душу-то заморозь, зря ей гореть не давай.

Молчавший дед Игнат, хоть и с интересом вслушивавшийся в разговор, однако недовольный тем, что забыта и бутылка, произнёс:

— Обомнётся, дело семейное, не горюй. Ну-кошь, по маленькой.

— А ты, — повернулась к нему тётка Варвара, — хоть словечко по деревне пустишь, смотри у меня!.. У тебя ведь с бабьей работой и привычки бабы объявились, есть грешок — посплетничать любишь. Сваха бродатая!

— Эх, Варька, Варька! Да разве я?.. Язык у тебя, ей бо, пакостней не сыщешь.

— Ладно У человека — горе.

— Я ему друг или нет? Ты мне скажи: кто я тебе?! — У деда уже стал сказываться хмельёк.

В синее вечернее окно осторожно стукнули с воли.

— Кто это там? Не твои ли, Фёдор? Мои-то гости по окнам не стучат, прямо в дверь ломятся. — Тётка Варвара поднялась, через минуту вернулась и кивнула коротко Фёдору: — За тобой, иди.

У окна, прислонившись головой к бревенчатой стене, стояла Стеша. И хотя вечер был тёплый, она зябко куталась в свой белый шерстяной полушалок.

Ни слова не обронили они, торопливо пошли прочь от председательского дома. И только когда завернули за угол, скрылись от окон тётки Варвары, оба замедлили шаг. Фёдор понял — сейчас начнётся разговор. Он поднял взгляд на жену. С лица у неё сбежал румянец, глаза красные, заплаканные, но в эту минуту блестят сухо.

— Водочку попиваешь? В гости ушёл? А та и рада... Жаловался ей, поди? Знал, кому жаловаться. Варваре! Она, злыдня, нашу семью живьём съест готова. Она научит тебя!..

Стеша, закусив зубами край шерстяного платка, беззвучно заплакала.

— Плачь не плачь, а тебе одно скажу, — сурово произнёс Фёдор, — жить я в вашем доме не стану. Или идём вместе, или... один уйду. Подалее от твоих. Вот моё слово, переиначивать его не буду.

— Она! Она, подлая! У-у, горло бы перегрызла! Собачье отродье! Мало ей, что по селу нас позорит, жизнь мою разбить хочет! Из-за чего?.. Что злого мы ей сделали? Я-то ей чем не потрафила?

— Её винить нечего. Она тут ни при чём. Ошибся я, что согласился к вам переехать. Стеша... уедем... В селе, при МТС, жить будем.

— Никуда не поеду! Чем тебе здесь худо? Уж кроме как своей работы, и заботы никакой нет. Плохо ли живёшь? Хозяйство, усадьба... А там садись-ко на жалованье...

— Стеша, чего жалеешь? Нужно — и там всё будет.

— Зна-а-ю... Да и что говорить! Нельзя мне ехать от дому. Ты б поинтересовался когда... Души в тебе столько же, сколь у злыдни Варьки совести!.. Сегодня на работе голова закружилась, рвать стало... Мать ощупывала. Куда я с ребёнком-то от дому поеду? От матери к няньке чужой... От добра добра не ищут, Феденька-а...

Стеша плакала. Фёдор молчал.

Так — одна плачущая тихими слезами, другой молчаливый, замкнутый — вошли в дом. У крыльца их встретила Алевтина Ивановна, проводила молчаливым косым взглядом.

Должен быть ребёнок. Его ещё нет, он не появился в семье. Не появился, а уже участвует в жизни.

Фёдор и представить себе не мог, как после ночного скандала жить под одной крышей с тестем и тещей, варить обеды в одной печи, каждый день встречаться... Ведь друг другу в глаза глядеть придётся, о чём-то нужно разговаривать.

А не разговаривать, слушать их даже со стороны тошно...

— Никакой заботушки в нашем колхозе о людях! Нету её.

— Захотела, — бубнит в ответ тещь.

— Скоро для коровы косить... Опять на Совиные или в Авдотьину яругу тащиться?

— А куда ж?.. Может, ждётся — по речке на заливном отвалют?

— Мало ли местов-то!

— Ты к Варваре иди, поплачь — может, пожалеет... Вон собираются на Кузьминской пустоши пни корчевать — подходяще для нашего брата.

— Ломи на них, они это любят.

Этим кончаются все разговоры, изо дня в день одни и те же. Противно!

Противна бывает и радость Алевтины Ивановны: «В нашем-то кабанчике уже пудиков восемь будет, не колхозная худоба». Противна даже привычка тестя тащить с улицы ржавые гвозди, дверные петли, обрывки ремённой сбруи... Всё в них противно! Как жить с ними?

Отказаться, не жить, разорвать — значит разорвать со Стешей. Да и в какое время...

Казалось бы, невозможно жить, но это только казалось. Фёдор продолжал оставаться в доме Ряшкиных.

В глаза друг другу почти не глядели, зато Фёдор часто промеж лопаток, в затылке, ощущал зуд от взглядов, брошенных в спину. Разговаривали по крайней нужде. И всегда так: «Стеша просит дров наколоть, мне бы топор...» Назвать тестя «отцом» — не лежит душа; назвать по имени и отчеству — обидеть, прежде-то отцом звал.

Стеша же осунулась и подурнела, и не только от беременности. В глазах, постоянно опущенных к полу, носила скрытый страх, горе, тяжёлую, глухую злобу не столько на Фёдора, сколько на «злыдню Варвару». День ото дня она больше и больше чуждалась мужа.

Иногда Фёдор исподтишка следил за ней: обнять бы, приласкать, поговорить по душам... Да разве можно! Слезы, объяснения, а там, глядишь, и попреки, крики, прибегут опять отец с матерью...

По ночам, лёжа рядом со Стешей, отвернувшейся лицом к стене, Фёдор кусал кулаки, чтобы не кричать от горя, от бессилья: «Тяжко! Невмоготу!»

В полях, около тракторов, в МТС Фёдор мог и шутить, и смеяться, и заигрывать с секретаршей Машенькой, вызывая ревность у Чижова. На промасленных нарах общежития теперь он был почти счастлив. Вот уж воистину — не ко двору пришёлся. Не ко двору... Страшные это слова!

Всё чаще и чаще приходила мысль: «Не может же так вечно тянуться. Кончиться должно... Когда? Чем?..»

Шёл день за днём, неделя за неделей, а конца не было.

Как всегда, пряча глаза, Стеша заговорила:

— У тебя завтра день свободен?

— Свободен, — с готовностью ответил Фёдор, благодарный ей уже только за то, что она заговорила первой и заговорила мирно.

— Отец идёт косить на Совиные вырубki... Может, сходишь, поможешь... Молоком-то пользуемся от коровы.

— Ладно, — произнёс он без всякой радости.

Силантий Петрович и Фёдор вышли ночью.

До Совиных вырубок — пятнадцать километров, да и эти-то километры чёрт кочергой мерял.

Тропа, засыпанная пружинящим под ногами толстым слоем прелой хвои, протискивалась сквозь мрачную гущу ельника. Шли, словно добросовестно исполняли трудную работу, слышалось только сосредоточенное посапывание. Тут людям и в приятельских отношениях не до разговоров. Фёдор, наткнувшись щекой на острый сук да ещё споткнувшись о корневище, дважды выругался: «А, чтоб тебя!..» Тесть же, переходя по слежке, переброшенной через крутой овражек, за весь путь лишь один раз подал голос:

— Обожди, не сразу... Обоих не сдержит.

Больше до самых вырубок не произнесли ни слова.

Года четыре назад здесь шли лесозаготовки: надсадно визжали электропилы, с угрожающим, как ветер перед грозой, шумом падали сосны, трелёвочные тракторы через пни, валежник и кочки тащили гибкие хлысты.

Теперь тихо, пусто, запущенно. Далеко друг от друга стоят одиночки-деревья. Это не случайно уцелевшие после вырубки, это семенники. Они должны заново засеять освобождённую от леса землю. Когда-то стояли они в тесной толпе собратьев, боясь опоздать, остаться без солнца, торопливо тянулись вверх. Теперь вокруг никого не осталось, лишь им выпала участь жить. Длинные, тонкие, словно обципаные, они бережно хранят на верхушках жалкие клочки листы или хвои. На земле же, среди потемневших пней, кустится молодая крупнолистная поросль берёз, ольхи, осины, где помокрей да помягче — ивнячок да смородина. На этих-то мягких местах и косят обычно рачительные хозяева, которые не особо надеются на укусы с колхозных лугов. Тут растёт больше трава, зовущаяся по деревням «дудовник» или «пучки». Ребятишки с аппетитом едят её мясистые пахучие стебли, очистив их от жестковатой ворсистой кожицы. Косить её надо до цвету, иначе вырастет — станет жёсткой, как кустарник, отворачиваться будет от неё скот.

Верхушка ближайшей берёзы-семенника розово затеплилась. Где-то, пока ещё невидимое с земли, поднялось солнце.

Встали в пологой долинке: Фёдор с одного конца, Силантий Петрович — с другого. Старик, прежде чем начать, с сумрачной важностью (боялся, что зять в душе посмеётся над ним) перекрестился на освещённую верхушку берёзы. Он первый начал. Взмахи его косы были осторожны, расчётливы и в то же время резки, как удары.

Про Заосичье, где родился Фёдор, говорили: «Кругом лес да дыра в небо». Не было поблизости ни заливных лугов, ни ровных суходолов. Отец Фёдора считался одним из лучших косцов по деревне и гордился этим: «Не велика наука по ровному-то, а вот по нашим местам с косой пройдишь, тут без смекалки и разу не махнёшь».

Позднее, когда Фёдор выучился ездить на велосипеде и умудрялся отмахивать за час от Хромцова до Большой МТС двадцать километров по разбитому просёлку, он всегда вспоминал косьбу с отцом по окраинам буераков, на горях, по затянутым кустарниками полянам.

На велосипеде — всё время напряжённая борьба с дорогой. Каждую выбоину, песчаный, размятый копытами кусок, глубокую колёсную колею — всё надо обойти, изловчиться, победить. Так и при косьбе в лесу...

Маленький кустик утонул в густой траве. Боже упаси недоглядеть, всадить в него косу! Носком косы стежок за стежком подрубается трава. Она ложится на землю. Кустик, освобождённый от травы, топорщится, кажется, сердится на человека, — он оголён, он недоволен, но с ним

покончено, остаётся перешагнуть — и дальше... Свободное место, ровная трава — раз, два! — широкие взмахи. То-то наслаждение не копать, а развернуться от плеча к плечу! Но не увлекайся — из травы выглядывает срез ещё здорового пня, он сторожит косу...

Кустик, пенёк, трухлявый ствол упавшей берёзки — всё надо обойти, изловчиться, победить.

Фёдор временами забывал о тесте.

Солнце поднялось над лесом, стало припекать, прилипла к лопаткам рубаха. Только когда от Силантия Петровича доносился визг бруска о косу, Фёдор тоже останавливался, пучком травы отирал лезвие, брался за свой брусок.

Им в одно время захотелось пить. Они положили косы и с двух сторон пошли через кусты к бочажку ручья. Фёдор постоял в стороне, подождал, пока Силантий Петрович напьётся. Тот, припав к воде, пил долго, отрывался, чтобы перевести дух, с жёлтых усов падали капли. Напившись, осторожно, чтобы не намутить, сполоснул лицо и молча отошёл. Его место занял Фёдор. Лёжа грудью на влажной земле, тоже пил долго, тоже отрывался, чтобы перевести дух.

К полудню сошлись. Между ними оставалось каких-нибудь двадцать шагов ровного, без пней, без кустов, без валежин места. Взмах за взмахом, шаг за шагом сближались они, потные, красные, уставшие, увлечённые работой.

Быть может, они бы сошлись и взглянули бы в глаза? Что им делить в эту минуту? Оба работали, оба одинаково устали, один от одного не отставал, тайком довольны друг другом... Быть может, взглянули бы, но, быть может, и нет.

Они сходились. Вжи! Вжи! — с одной стороны взмах, с другой стороны взмах. С сочным шумом валилась трава.

Вдруг Фёдор почувствовал, что его коса словно бы срезала мягкую моховую шапку с кочки. Он сдержал взмах и сморщился, словно от острой боли. Лезвие косы было запачкано кровью. На срезанной траве, в одном месте, тоже следы крови, тёмной, не такой яркой и красной, как на блестящей стали. Бурый меховой бесформенный комочек лежал у ног Фёдора. Он перехватил косою крошечного зайчонка.

Силантий Петрович, отбросив косу, стал что-то ловить в траве, наконец поймал, осторожно разогнул. Фёдор подошёл.

— Задел ты его, парень. Концом, видать... Ишь, кровца на ноге.

В грубых широких ладонях тестя лежал другой зайчонок; к пушистой сгорбленной спинке крепко прижаты светлые бархатные ушки, без испуга, с какой-то болезненной тоской влажно поблёскивает тёмный глазок.

— Выводок тут был. Где ж уследишь? — виновато пробормотал Фёдор.

— Божья тваринка неразумная. Нет, чтоб бежать... досиделась.

И в голосе и на дублёном лице тестя в глубоких морщинах затаилась искренняя жалость, настоящее, неподдельное человеческое сострадание.

— Не углядишь же...

— Углядеть трудно. Дай-кося тряпицу какую. Перетянем лапу, снесём домой, может, и выйдут бабы. Тварь ведь живая.

Домагнув остатки, они отправились обратно. Силантий Петрович нёс свою и Фёдора косу. Фёдор же осторожно прижимал к груди тёплый, мягкий комочек.

В этот вечер ужин готовили не порознь. Уселись за стол на половине стариков. Ни браги, ни водки не стояло на столе, а в доме чувствовался праздник.

Силантий Петрович и Фёдор, оба в чистых рубахах, сидели рядышком, разговаривали неторопливо о хозяйстве.

— Запозднись на недельку — переросла бы трава.

— Переросла бы... А ты, парень, видать, ходил с косой по лесным-то угодыям. Не хвалюсь, скажу — меня, старика, обставил.

— Как не ходить! Не из городских...

— Оно и видно.

Алевтина Ивановна на ларке около печи прикладывала смоченные в воде листочки к раненой ноге зайчонка и ласково уговаривала:

— Дурашка моя, кровинушка, чего ж ты, родимый, пугаешься? Не бойся, касатик, раньше бы тебе бояться. Ра-аньше... Угораздило болезного подвернуться.

А в стороне, так, чтобы не слышать запаха мясного борща со стола, сидела и пила топлёное молоко Стеша. Светлыми счастливыми глазами смотрела она на всех — мирно дома, забыто старое.

Она промеж Фёдора да родителей стояла, ей-то больше всех доставалось, зато уж теперь более всех и радостно.

Мирно дома, забыто старое.

14

Поутру пришёл бригадир Федот Носов, высокий, узкоплечий, с вечной густой щетиной на тяжёлом подбородке. Он нередко заглядывал к Силантию Ряшкину, и Фёдор, приглядываясь к ним, никак не мог понять — друзья или враги промеж собой эти два человека. Если Федот, войдя, останавливался посреди избы, здоровался в угол, не присаживался, не снимал шапки, значит не жди от него хорошего. Если же он сразу от порога проходил к лавке и садился, стараясь поглубже спрятать свои огромные пыльные сапожищи, значит будет мирный — душа в душу — разговор, а может, даже и бутылочка на столе.

На этот раз бригадир остановился посреди избы, смотрел в сторону.

— Силан, — сказал он сурово, — завтра собирайся на покосы.

— Что ж, — мирно ответил насторожившийся Силантий Петрович, — как все, так и я.

— Варвара сказала, чтоб нынче кашеваром я тебя не ставил. Клавдию на кашеварство... Болезни у неё, загребать ей трудно. Ты-то для себя косишь, небось. Вот и для колхозу постарайся.

— Поимейте совесть вы оба с Варварой, ведь старик я. Для себя ежели и кошу, то через великую силушку. Не выдумывай, Федот, как ходил кашеваром, так и пойду.

— Ничего не знаю, Варвара наказала.

Федот повернулся и, согнувшись под полатями, глухо стуча тяжёлыми сапогами, вышел.

— Наказала! А своего-то старика, небось, подле печки держит! А этот-то, как вошёл, как стал столбом, так и покатилося моё сердечко... Ломи-ко на них цело лето, а чего получишь? Жди, ствалят...

Силантий Петрович оборвал причитания жены:

— Буде! Возьмись-ко за дело. Бражка-то есть ли к вечеру?

— Бражка да бражка... Что у меня, завод казённый?..

Вечером бригадир снова пришёл, но держал себя уже иначе. Прошёл к лавке, уселся молчком, снял шапку, пригладил ладонью жёсткие вслосы и заговорил после этого хотя осуждающе, но мирно:

— Лукавый ты человек, Силан. За свою старость прячешься — нехорошо. Ты стар да куда как здоров, кряжина добрая, а Клавдия и моложе тебя да хворая...

Фёдор знал, чем кончится этот разговор, и он ушёл к себе, завалился на кровать.

Пришла Стеша, напомнила ласково:

— Не след тебе, Феденька, чуждаться. Пошёл бы, выпил за компанию.

Фёдор отвернулся к стене.

— Не хочу.

Стеша постояла над ним и молча вышла.

Назавтра стало известно — Силантия Петровича снова назначили кашеваром.

Ничего вроде бы не случилось. Не было ни криков, ни ругани, ни ночных сцен, но в доме Ряшкиных всё пошло по-старому.

Снова Стеша стала прятать глаза. Снова Фёдор и тесть, сталкиваясь, створачивались друг от друга. Снова тёща ворчала вполголоса: «Наградил господь зятьком. Старик с утра до вечера спину ломает, а этот ходит себе... У свиньи навозу по брюхо, пальцем не шевельнёт, всё на нас норовит свалить». Если такое ворчание доходило до Фёдора, он на следующую день просил у тестя: «Мне бы вилы...» И опять — ни отец, ни Силантий Петрович, просто — «мне бы». Никто!

Фёдор старался как можно меньше бывать дома. Убегал на работу спозаранок, приходил к ночи. Обедал на стороне — или в чайной, или с трактористами. А так как за обеды приходилось платить, он перестал, как прежде, отдавать все деньги Стеше и знал, что кто-кто, а тёща уж мимо не пропустит, будет напевать дочери: «Привалил тебе муженёк. Он, милушка, пропивает с компанией. Ох, несемейный, ох, горе наше!»

Особенно тяжело было вечерами возвращаться с работы. Днём не чувствовал усталости — хлопотал о горючем, ругался с бригадами из-за прицеппчиков, кричал по телефону о задержке запасных частей, бегал от кузницы до правления. К вечеру стал уставать от беготни.

Тяжёлой походкой шёл он через село. Лечь бы, уснуть по-человечески, как все, не думая ни о чём, не казнясь душой. Но как не думать, когда знаешь, что, поднимаясь по крыльцу, обязательно вспомнишь — третьего дня тесть здесь новые ступеньки поставил, зайдёшь в комнату — половички, на которые ступила твоя нога, постланы и выколочены Стешей, постель, куда нужно ложиться, застелена её руками. Каждая мелочь говорит: помни, под чьей крышей живёшь, знай, кому обязан! Даже иногда полной грудью вздохнуть боязно — и воздух-то здесь не свой, их воздух!

Стеша с похуевшим лицом встречает его молчанием, часто в слезах. А это самое страшное. По-человечески, как муж жену, должен бы спросить, поинтересоваться: что за слёзы, кто обидел?.. Да как тут интересоваться, если без слов всё ясно — жизнь их несуразная, оттого и слёзы. Кто обидел? Да он, муж её, — так она считает, не иначе. Лучше не спрашивать, но и молчать не легче. Подняться бы, уйти, хоть средь луга под стогом переночевать, но нельзя. Здесь твой дом, жить в нём обязан. Обязан в одну постель с женой ложиться.

И так из вечера в вечер.

Не может так долго тянуться. Кончиться должно. Уж скорей бы конец! Пусть тяжёлый, пусть некрасивый, но конец. Всё ж лучше, чем постоянно мучиться.

Нельзя так жить!

Нельзя, а всё же каждый вечер Фёдор шагал через село к дому Ряшкиных.

У Фёдора была тетрадь. Он её называл «канцелярией». Туда заносил он и выработку трактористов и расход горючего за каждый день. Эту «канцелярию», промасленную и потёртую, сложенную вдвое, он носил всегда во внутреннем кармане пиджака и однажды вместе с пиджаком забыл её дома.

Прямо с поля он приехал за тетрадью, оставил велосипед у плетня, вошёл во двор и сразу же услышал за домом истошное козье блеяние. Ряшкины своих коз не держали, верно, чужая забралась. Коза кричала с надрывом, с болью. «Какая-то блудливая, допрыгалась, повисла на огороде, а сейчас орёт». Фёдор, прихватив у крыльца хворостину, направился за усадьбу и остановился за углом...

Коза не висела на огороде. Она стояла, зарывшись в землю острыми копытами, сзади на неё навалилась Стеша, спереди, у головы, с обрывком верёвки в руках орудовала Алевтина Ивановна. Поразило Фёдора лицо тёщи — обычно мягкое, рыхловатое, оно сейчас было искажено злобой.

— Паскуда! Сатанинское семя! Стеша, милушка! Да держи ты, Христа ради, крепче!.. Так её!

Коза рвалась, взхлёб кричала.

«Рога стягивают!» — понял Фёдор.

Козы — вредное, пронырливое, надоедливое племя. От них трудно спасти огороды. Их гоняют, бьют, привязывают неуклюжие рогатины и тяжёлые волокуши на шеи, — всё это в порядке вещей, но редко кто решается на такую жестокость — стянуть рога... Оба рога, расходящиеся в стороны, сводятся как можно ближе друг к другу, стягиваются крепко-накрепко верёвкой, и коза отпускается на свободу. От стянутых рогов животное чувствует ужасную боль в черепе, мечется, не находя себе места. Если сразу не освободит её хозяйка от верёвки, коза может лишиться и без того небольшого козьего разума. Будет ходить, пошатываясь, постоянно с тихой жалобой плакать, плохо есть, перестанет доиться, словом, как называют в деревне, станет «порченой», а возможно, и сдохнет.

— Всё, Стешенька. Пускай... В огурчики, ведьма, залезла! Огурчиксэ захотелось!

В две палки Стеша и мать ударили по козе, та рванулась, всё так же блажно крича, пронеслась мимо Фёдора.

В первую минуту Фёдору было только стыдно, как человеку, который, сам того не желая, оказался свидетелем некрасивого дела. И Стеша, заметив его, должно быть, почувствовала это. Отвернувшись, нагнулась к огуречным грядкам. Тёща, всё ещё с красным озлоблённым лицом, прошла, не обратив на Фёдора внимания.

— Огурчики пощипала! Вдругорядь не придёт!

За тетрадь Фёдор так и не зашёл. Он сел на велосипед и поехал обратно в поле.

Смутная тяжесть легла на душу. Такой он ещё не испытывал. Не жестокость удивила и испугала его и уж во всяком случае не жалость. Попадись эта блудливая коза под его руку, тоже отходил бы, чтобы помнила. Люди непонятные, вот что страшно. Как же так, человек может обхаживать раненого зайчонка, обмывать, перевязывать, ворковать над ним: «Кровинушка, болезный...» — и тут же мучить другую животину? А лицо-то какое было, переверотило от злости — зверь! «Огурчики пощипала!» Ну, тёща — ещё понятно, она за свои огурчики живьём с человека кожу содрать готова, но Стеша!.. Тоже, знать, осата-

нела за огурчики. «Девка гладкая, на медовых пышках выкормленная!»

Простой случай. Подумаешь, подглядел, как козу наказывают; кому рассказать, что расстроился, — засмеют. Не обращать бы внимания, забыть, не вспоминать, но и подумать сейчас не мог Фёдор о вечере... Опять вернуться, слушать через стенку ворчание тёщи, хлебать щи, в их печи сваренные, при встрече с тестем отворачиваться, с женой в одну постель ложиться! Докуда терпеть это наказание?! Хватит! Пора кончать, рвать надо!

Но ребёнок ведь скоро будет. Отец-то ты, Фёдор!

Что ж делать?.. Может, ради ребёнка под них подладиться? Как тёща, сатанеть над огурчиками? Плюнуть на всё, подпевать вместе с тестем: «Ломи на них, они это любят»? Душу себе покалечить из-за ребёнка?..

Нельзя! Пора кончать! Рвать надо!

Вдоль лесной опушки, по полю, оставляя за собой тёмную полосу пахоты, полз трактор.

Положив у заросшей ромашками бровки велосипед, Фёдор прямо по отвалам направился к трактору. Трактор вёл Чижов. Он остановился, слез не торопясь, кивнул головой прицепщику, веснушчатому пареньку в выцветшей рубахе:

— Разомнись пока... Как, Фёдор, уладил с горячим?

Фёдор прилёг на твёрдую клеверную косовицу.

— Нет. Тетрадь дома забыл.

— Ты ж за ней поехал...

Фёдор промолчал.

— Слушай, — обратился он через минуту, — там у меня велосипед, съезди ко мне домой, возьми тетрадь.

— А сам-то?..

— Да что сам, сам... Тяжело съездить?

— Уж и на голос сразу. Съезжу, коль поработаешь.

Чижов повернулся, пошёл было, но Фёдор вскочил, догнал его, схватил за рукав, повёл в сторону.

— Обожди, разговор есть...

Они уселись в тени, под маленькой берёзкой. И хотя давно уже меж ними была забыта старая обида, но Фёдор о семейных делах никогда не говорил с Чижовым. Считал — не с руки выносить сор из избы. А тем более перед Чижовым плакаться на судьбу стыдно. Теперь же Фёдору было всё равно — не сейчас, так завтра узнают все, узнает и Чижов, и ещё с добавлениями. А уж добавлений не миновать, такое дело...

Но Фёдор молчал, долго курил. Чижов с лёгким удивлением приглядывался к нему. Берёзка шелестела листьями над их головами.

— Ну, чего ты хотел?.. — не вытерпел Чижов.

— Слушай, скажи моим... — начал Фёдор и запнулся. — Скажи, — продолжал он решительнее, — не вернусь я к ним больше... Пусть соберут мои вещи... Сапоги там остались новые, в сундуке лежат... Полушубок, рубахи, приёмник... Я к вам на квартиру жить перееду.

— Ты в уме ли? Дурная муха тебя укусила?

— Скажи, что вечером вы приедете за вещами.

— Федька! Ну, хоть убей, не пойму.

— Да что понимать. Не ко двору пришёлся. Нет моченьки жить в ихнем доме.

— Это почему?

— Объяснять долго... Да и не рассказать всего-то. Народ они нехороший, тяжёлый народ. Ты, Чижик, лучше не расспрашивай. Ты иди, делай, не трави меня. Мне, брат, без твоих расспросов тошно...

Чижов посидел, подождал — не скажет ли ещё что Фёдор, но тот молчал. Чижов осторожно поднялся. Сбитая на затылок истасканная кепка, приподнятые плечи, острые локти, прижатые к телу, — всё выражало в удаляющемся Чижове недоумение.

Фёдор, отбросив окурок, поднялся, направился к трактору.

Он осторожно тронул с места и сразу же через машину ощутил за своей спиной тяжесть плуга, выворачивающего пятью лемехами слежавшуюся дерновину. Это привычное чувство уверенной силы тянущего плуга трактора немного успокоило Фёдора.

...Ему показалось, что Чижов вернулся слишком быстро.

— Сказал? Всё?

— Всё, как наказывал.

— А они что?

— Степанида-то заплакала, потом ругаться стала, кричать на тебя, на меня... Я думал, в лицо вцепится... А какая красивая она была!..

При последних словах Фёдор представил себе Стешу, её осунувшееся лицо с несвежей от беременности кожей, искажённое злостью и обидой, растрёпанные волосы... «Была красивой». Чижов выдал себя. Он, верно, всё ж таки завидовал немного Фёдору — хват-парень, девки виснут на шею, а теперь — куда уж завидовать, просто откровенно жалеет.

Полуденная тишина жаркого дня стояла над полем. Пахло бензином от трактора, тёплой, насквозь прогретой солнцем землёй, клевером. Фёдору хотелось лечь на землю лицом вниз и от жалости к себе тихо поплакать о своей неудачной жизни.

Но маленький стыд бывает сильнее большого горя.

Стоял рядом Чижов, топтался в стороне босоногий прицепщик, и Фёдор не лёг на землю, не заплакал — постеснялся.

16

Обычный дом — изба, сложенная из добротного сосняка. Тесовая крыша с примелькавшимся коньком, маленькие частые оконца. Под окнами — кусты малины, посреди двора — берёза-вековуша. На тонком шесте она выкинула в небо скворечник. В глубине — повесть. Въезд на повесть порос травкой. Всё это огорожено плетнём.

Дом обычный, ничем не приметный, много таких на селе. И плетень тоже обычный. В нём не три сажени, не бревенчатый частокол, — из тонкого хвороста поставлен, хотя и прочно: чужой кошке лапу не просунуть. И всё же этот плетень имеет скрытую силу — он неприступен.

Фёдор не выдержал, ушёл со двора.

Через неделю после его ухода Стеше исполнилось двадцать лет. Как всегда, в день её рождения купили обнову — отрез на платье. В прошлом году был крепдешин — розовые цветочки по голубому полю, нынче — шёлк, сиреневый, в мелкую точку. Купили и спрятали в сундук. Были испечены пироги: с луком и яйцами, с капустой и яйцами, просто с яйцами, налим в пироге. Отец, как всегда, принёс бутылочку, налил рюмку матери. Как всегда, мать поклонилась в пояс: «За тебя, солнышко, за тебя, доченька. Ты у нас не из последних, есть на что поглядеть». Выпив, долго кашляла и проклонила водку: «Ох, батюшки! Ох, моченьки нет! Ох, зелье антихристово!» Отец, как всегда, проговорил: «Ну, Стешка, будь здорова», опрокинул, степенно огладил усы. Всё шло, как всегда, одного только не было — радости. Той тихой, уютной, домашней радости, которую с детства помнит Стеша в праздники. Всё шло, как всегда.

О Фёдоре не вспоминали. Но под конец мать не выдержала — скрестив на груди руки, она долго смотрела на дочь, вздыхала и всё ж обмолвилась:

— Не кручинься, соколанушка. Бог с ним, непутёвый был, незавидный.

И Стеша расплакалась, убежала на свою половину.

В последнее время частенько ей приходилось плакать в подушку.

«Плохо ли жить ему было? Чего бы волком смотреть на родителей? Доля моя нескладная!.. Парнем-то был и весёлый и ласковый, кто знал, что у него такой характер... Ну, в прошлый раз к Варваре пошёл — понятно. Обругала, накричала я на него, мать его обидела. Теперь-то слова против не сказала. На что мать, и та, чтоб поворчать, пряталась, в глаза обмолвиться боялась. Может, ждёт, чтоб я к нему пришла, поклонилась? Так нет, не дожждётся!»

Она плакала, а внутри сердито толкался ребёнок.

И всё-таки не выдержала Стеша.

Возвращаясь с работы, она издалека увидела его. У конторы правления стоял трактор. Варвара и трактористы о чём-то громко разговаривали. До Стешки донёсся их смех. Рядом с Варварой стоял Фёдор и тоже смеялся. Каким был в парнях, таким и остался — высокий, статный, выгоревшие волосы упали на лоб. А она — живот выпирает караваем, лицо такое, что утром взглянуть в зеркало страшно.

Стой в стороне, смотри из-за угла, кусай губы, слёзы лей, ругайся, кляни его про себя... Смеётся! Подойти бы сейчас к нему, плюнуть в бесстыжие глаза: что, мол, подлая твоя душа, наградил подарочком, теперь назад подаёшься?.. При людях бы так и плюнуть!.. Да что люди?.. Варвара, трактористы, всё село радо только будет, что Степанида Ряшкина себя на позорище выставила. Фёдор-то им ближе. И так уж шепчутся, что он обид не выдержал, извели, мол, парня. Кто его изводил? Сам он всю жизнь в семье нарушил...

Дома Стеша не бросилась по обыкновению в подушку лицом. Она, чувствуя слабость в ногах, села на стул и, прислушиваясь к шевелившемуся внутри ребёнку, мучилась от ненависти к Фёдору: «Бросил!.. Забыл!.. Смеётся!.. Да как он смеет, бесстыжий!»

Сидела долго. Начало вечереть. Наконец стало невмоготу, казалось, можно сойти с ума от чёрных однообразных мыслей. Она вскочила, бросилась к двери. Уже во дворе почувствовала, что вечер свеж, ей холодно в лёгком ситцевом платице, но не остановилась, не вернулась за платком — побоялась, что вскипевшая злоба может остыть, она не донесёт до него.

Трактористы квартировали в большом доме, у одинокой старухи Еремеевны. Из распахнутых окон доносился шум голосов и стук ложек об алюминиевые миски. Трактористы ужинали. Стеша громко, с вызовом постучала в стекло. Дожёвывая кусок, выглянул Чижев; увидев Стешу, торопливо кивнул, скрылся.

Стеша прислонилась плечом к стене, почувствовав всё ту же слабость в ногах.

Фёдор вышел по-домашнему — в одной рубашке с расстёгнутым на все пуговицы воротом. Лицо у него было бледно и растерянно, чуб свисал на нахмуренные брови. Ведь муж, ведь дорог ей! И чуб этот бело-брысый дорог и руки тяжёлые в царапинах — всё... Но смеялся недавно; живёт легко, о ребёнке забыл!..

Стеша шагнула навстречу.

— Не в землю смотри, на меня! — вполголоса горячо заговорила она. — Видишь, какая я? Нравлюсь? Что глазами-то мигаешь? Ребёнка испугался?

— Звать обратно пришла? — хриловато и угрюмо спросил он. — Обратно не пойду.

— Может, ждёшь, когда в ножки упаду?

— Стеша!

— Что — Стеша?! Была Стеша, да вот что осталось! Любуешься?.. Полюбуйся, полюбуйся, наглядись! Запомни, какая у тебя жена, потом хоть в компании с Варварой обсмеешь!

— Стешка! Послушай!..

— Ты послушай! Мне-то больше твоего теперь!..

— Иди из дому. Иди ко мне, Стеша! Забудем всё старое!

— Иди! Из дому!.. Что тебе отец с матерью сделали? Чего ты на них так лютуешь?.. Всё совесть свою берёг! Да где она у тебя, твоя совесть-то? Нету её!.. — Стеша кричала уже во весь голос, не обращая внимания на то, что на крыльцо начали выходить трактористы. — Изверг ты! Жизнь мою нарушил!..

— Опомнись, не стыдно тебе?

— Мне стыдно?! Мне?! Ещё и глаза не прячешь! Эх, ты! Да вот тебе, бессовестному! Тьфу! Получай! — Стеша плюнула Фёдору в лицо и бросилась, вцепилась в его рубашку. Он схватил её за руки.

— Что ты!.. Что ты!.. Приди в себя... Люди ж кругом, люди!

Она рвалась из его рук, изгибалась, упала коленями на землю, пробовала укусить.

— Что-о мне лю-юди?.. Пу-усть смотрят!..

Народ обступал их.

Фёдор, держа за руки фвущуюся Стешу, старался спрятать своё багровое от стыда лицо.

Она враз обессилела, тяжело осела у ног Фёдора. Он выпустил её руки. Уткнувшись головой в притоптанную травку, Стеша заплакала, про себя, без голоса. Видно было, как дёргаются её плечи. Фёдор, подавленный, растерянный, с горящим лицом, неподвижно стоял над ней.

— Поднимите! Домой сведите. Эх, поглазеть сбежались! — Раздвигая плечом народ, подошла тётка Варвара.

Один из трактористов, дюжий парень Лёшка Субботин, и бородатый кузнец Иван Пронин осторожно стали поднимать Стешу.

— Ну-ка, девонька, не расстраивайся. Пошли домой помаленьку, пошли... Мы сведём тебя аккуратно.

Поднятая на ноги Стеша столкнулась взглядом с тёткой Варварой и снова дёрнулась в крепких руках.

— Это всё ты! Ты, змея подколодная! Ты наговорила! Сжить нас со свету хочешь! Что мы тебе сделали? Что?

Тётка Варвара тяжело глядела в лоб Стеше и молчала. Кузнец Пронин уговаривал:

— Ты это брось, девонька. Не красивое, ей-ей, неладное говоришь. Идём-ко лучше, идём.

— Все вы хороши! Все!.. За что невзлюбили? Никому мы не мешаем. Чужой кусок не заедали!..

Её осторожно увели, рыдающий голос ещё долго раздавался из проулка.

Поздно вечером Фёдор пришёл к тётке Варваре на дом, привёл с собой Чижова.

— Буду проситься, чтоб в другой колхоз меня перекинули. После такого позорища я здесь жить не буду. Сейчас в МТС еду. За меня тут пока он останется. — Фёдор показал на Чижова.

Тот смущённо мялся.

— Уговори его, Степановна.

Тётка Варвара до их прихода читала книгу. Она, не торопясь, пошарила на столе — чем бы заложить? — подвернулся ключ от замка, положила в книгу, захлопнула, отодвинула в сторону и сказала:

— Не пушу.

— Не ты, а МТС меня пускать не будет. А я не останусь! С работы вовсе уйду. Глаза на селе людям показать совестно. Где уж там оставаться...

— Знаю, а не пушу. Только-только из убожества нашего вылезать начинаем. Твоя бригада — основная подмога. К новому бригадиру привыкай. Это перед уборкой-то... Какой ещё попадёт! Нет уж. Поезжай, хлопочи — держать трудно, но знай: я следом выйду запрягать лошадь. И в райкоме, и в райисполкоме, и в вашей МТС все пороги обоью, а добыюсь, заставят тебя у меня остаться. Лучше забудь эту мечту. А о стыде говорить... Пораздумайся, отойди от горячки, тогда поймёшь, стоит ли бежать от стыда?

— Нет уж, думать нечего. Прощай! Я с Чижовым говорил, ты сама ему накажи, что делать...

Фёдор ушёл.

— Вот ведь, милушко, жизнь-то семейная. В сапогах с разных колодок далеко не ушагаешь. А по-разному скроены Стешка да Фёдор, далёк путь, через всю жизнь бы итти надлежало вместе... Учти, молодец, повнимательнее приглядывайся к людям. — Тётка Варвара спокойно разглядывала Чижова.

Тот нерешительно проговорил:

— А всё ж бы уговорить его надо вернуться.

— Куда, в колхоз?

— В колхоз само собой. К жене вернуться. Ребёнок же скоро у них будет.

— В дом Ряшкиных вернуться?.. Нет, не решусь уговаривать. Видел, картину разыграли? А что ежели в том доме такие картины будут показываться каждый день, только без людей, наедине, за стенами?.. Смысла нет уговаривать, всё одно не выдержит, сбежит. Стешку бы от дома оторвать — другое дело. Но присохла, не оторвёшь. Знаю я их гнездо, крепко за свой порог держатся.

— Ребёнок же, Степановна!

— Вот на него-то и одна надежда. Может, он Стешку образумит... Ну, иди.

— А наказы?..

— Какие тебе наказы? Завтра доделывайте, что начали, а послезавтра Фёдор вернётся.

— Уж так и вернётся. Упряма он.

— Ну, кто кого переупрямит. Пойдёшь сейчас, заверни к Арсентию, скажи — я зову. За меня останется. Мне завтра целый день по организациям бегать. Задал хлопот твой Фёдор.

Она взялась за книгу.

Тётка Варвара переупрямила. Фёдор остался на прежнем месте. Конечно, не без того, шли по селу суды и пересуды, но Фёдор о них не слышал. К нему относились попрежнему.

Стеша никогда не могла себе представить, что привычный путь через село от дома до маслозавода может быть таким мучительным. Из окон, с крылечек домов — отовсюду ей мерещились взгляды, чужие, любопытствующие. Она стала всего бояться. Она боялась, как бы встретившийся ей на пути человек, проходя, не оглянулся в спину. Она боялась, когда

ездовые, приехавшие из соседней деревни с бидонами молока, переглядывались при виде её.

Часто думала: «Люди-то, по всему судя, должны не её, а Фёдора осудить. Он ушёл из дому, он бросил её, с ребёнком бросил! Не Фёдора — её осуждают, где же справедливость? Нет её на свете!»

Теперь Стеша уже не ждала, Фёдор не придёт к ней с повинной головой, но она ещё надеялась встретиться с ним.

Один раз столкнулись. Но Фёдор шёл в компании. Он вспыхнул и глухо, с трудом выдавил: «Здравствуй». Стеша не ответила, прошла мимо. Всю дорогу она злобно сжимала кулаки под платком. На этот раз лютовала в душе не на мужа, а на всех, на колхоз, на людей: «Их стыдятся... Ведь из-за них вся и беда-то. Люди чужие ему дорожке родни. Они видят это, потому-то и покрывают его. Нет, чтобы отвернулись. Где же справедливость?»

Прошла осень, выпал первый снег, и Фёдор надолго уехал из Сухоблинова в МТС. Ждать уж нечего. Скоро появится ребёнок. Что ж, так, видно, и оставаться: ни девка, ни вдова, просто — жена брошенная.

Отец её, Силантий Петрович, угрюмо молчал. Обычно суровый, он стал мягче. Когда Стеша плакала, успокаивал по-своему: «Ничего, поплачь, не вредно, легче будет... Жизнь-то у тебя не сегодня кончается, будет и на твоей улице праздник. За нас держись, мы не чужие. Переживём как-нибудь».

Мать плакала вместе со Стешей и твердила по-разному. Иногда она заявляла: «В суд надо подать. Через суд могут заставить вернуться. Мало ли, что платить, мол, будет. Деньгами-то стыдобушку не купишь. Да и деньги-то — тыфу! Велики ли они у него». В другой раз уговаривала: «Брось ты, лапушка, убиваться. Обожди, красота вернётся, расцветёшь, как маков цветочек, другого найдёшь, не чета такому вахлаку. А уж его-то не оставим в покое, он за ребёнка отдаст своё».

Сама же Стеша решила на такое, что никак не могло прийти в голову ни отцу, ни матери. Раньше не было нужды, и она совсем забыла о комсомоле, теперь она о нём вспомнила.

По санному первопутку, провожаемая наставлениями матери: «Ты про Варвару-то не забудь, обскажи про неё, она его подбивает», и коротким замечанием отца: «Что ж, попробуй», Стеша отправилась на попутной подводе в райком комсомола.

Кабинет комсомольского секретаря был не только чист и уютен. В нём чувствовалась женская рука хозяйки. Цветы на подоконниках были не официальные кабинетные цветы — чахлые и поломанные, удобренные торчащими окурками, а пышные, высокие, вываливающие буйную зелень за край горшков. Под томики сочинений Сталина подстелена белая салфеточка, рядом с казённым чернильным прибором — фарфоровая безделушка, заяц с чёрными бусинками глаз.

Сама хозяйка, секретарь райкома Нина Глазычева, пышноволосяя, с длинными тонкими пальцами и решительной, начальственной складочкой меж бровей, предложила Стеше стул негромко и вежливо:

— Садитесь. Я вас слушаю.

Стеша начала рассказывать, крепилась, крепилась и не выдержала участливых глаз секретаря, расплакалась. Нина торопливо налила стакан воды, но тоном мягкого приказа произнесла:

— Продолжайте.

— Родители мои не нравятся почему-то. Уходи, говорит, из дому, забудь родителей, буду с тобой жить.

— Родителей забыть?.. Так, так, слушаю.

— А ведь ребёнок будет. Считанные дни донашиваю. Сами посудите: из дому-то родного на казённую квартиру, у обоих ни кола, ни двора... Да и нянюку нужно нанимать... Председатель нашего колхоза настраивает его — брось жену... Зачем это ей понадобилось, ума не приложу. Завидует чему-то... — Стеша сквозь слёзы горестно смотрела на фарфорового зайчонка.

— Бе-зоб-разие! — Толстый карандаш в тонких прозрачных пальцах комсомольского секретаря сделал решительный росчерк на бумаге.

Да и как не возмущаться: пришёл человек за помощью, не может даже сдерживать слёз от горя, лицо худое, пятнистое, платье косо обтягивает огромный живот... Ведь мать будущая! Бросить в таком положении! Ужасно!

— Очень хорошо, что вы пришли. Не плачьте, не волнуйтесь, всё уладим. Соловейков Фёдор! Лучший бригадир в МТС! Непостижимо!

Как больную, острожно, под локоть, проводила секретарь райкома Стешу. Та плакала и от горя, и от того, что на неё глядят так жалостливо, и, быть может, от благодарности.

— Спасибо вам. Человеческое слово только от вас услышала. Заплёванная хожу по селу.

— Бе-зоб-разие! В наше время и такая дикость! Всё сделаем, всё, что можем. Прошу вас, успокойтесь, товарищ Соловейкова.

Оставшись одна, Нина Глазычева сразу же подошла к телефону.

— МТС дайте!.. Секретаря комсомольской организации... Журавлёв, ты?.. Сейчас вместе с Соловейковым — ко мне!.. Всё бросайте, слышать ничего не хочу!.. Жду!.. — Она опустила на телефон трубку. — Безобразия!

Нина Глазычева считала: Фёдор Соловейков уже только за то, что втоптал в грязь любовь, за одно это может считаться преступником перед комсомольской совестью! А он ещё бросил жену беременной!..

Сама Нина вот уже два года переписывалась с одним лейтенантом, служившим на Курильских островах, посылала ему вместо подарков книги. На каждой книге по титульному листу чётким почерком делала надписи. Надписи были красивые и гордые по смыслу, но широко известные. От себя же Нина добавляла к ним всегда одно и то же: «Помни эти слова, Витя». Беда только — в последнее время Витя стал ствечать на письма далеко не так часто, как прежде.

18

Казалось бы, всё просто: раз решил, и решил окончательно, порвать с домом Ряшкиных, раз понял, что жить под одной крышей с Силантием Петровичем и Алевтиной Ивановной нельзя, раз убедился, что Стеша не та жена, обманулся в ней, так что и мучиться — порвал, кончил и забыл.

Но забыть Фёдор не мог.

По ночам, когда он ворочался с боку на бок, не мог заснуть, отчётливо вспоминалась Стеша — вздёрнутая вверх юбка на животе, красное перекошенное лицо, тёмные от ненависти глаза, вспоминал, как она, упав коленями на землю, выламывала из его рук свои руки, лезла к лицу. Она плюнула, кричала, обзывала и всё это при людях, а он не чувствовал к ней обиды. Да и как тут обижаться, она живой человек, мечтала, счастья ждала, и вот тебе счастье — оставайся без мужа да с брюхом.

И жалко, и жалеть нельзя. Итти обратно, молчать, отворачиваться, бояться вздохнуть полной грудью?.. Нет! Кончил! Порвал! Это твёрдо.

Что же делать?

Хотел Фёдор уехать подальше, в незнакомые края, к новым людям. Жил бы на стороне, высылал деньги... Но тётка Варвара всюду поспела. Сам председатель райисполкома вызывал, спрашивал:

— Уходишь с работы? А что за причина?

«Что за причина?» Этот вопрос задавали все, а Фёдор на него не мог и не хотел отвечать. Пришлось бы объяснять, почему бросил жену, пришлось бы выносить сор из избы... Волей-неволей остался на прежнем месте.

Чижев, тётка Варвара, другие знакомые Фёдора старались не заговаривать с ним о жене. Они понимали — больное! Незачем тревожить.

Чувствуя недоброе, вместе с механиком Аркадием Журавлёвым, комсомольским секретарём МТС, Фёдор пришёл в райком. Нина Глазычева сумрачным кивком головы указала на стулья, разговор начала не сразу, долго листала какие-то бумаги, давала время приглядеться к ней, понять её настроение. Наконец она подняла взгляд на Фёдора.

— Товарищ Соловейков!.. — сделала паузу. — Всего каких-нибудь полчаса тому назад, на том стуле, который вы занимаете, сидела ваша жена.

Недобрый взгляд, молчание. Фёдор не пошевелился, лишь потемнел лицом.

— Покинутая жена! Беременная! Вся в слезах! Не помнящая себя от горя!.. Что ж вы молчите! Что ж вы боитесь поднять глаза?

Фёдор продолжал молчать, глаз не поднял, не шевельнулся.

— Вам стыдно? Но я как комсомольца вас спрашиваю: что за причины заставили пойти на такой низкий поступок?.. Не считайте это личным делом. Вопросы быта — вопросы общественные! Я вас слушаю... Я слушаю вас!

— Это долго рассказывать.

— Я готова слушать хоть до утра, лишь бы помочь вашей жене и вам освободиться от пережитков.

Лёгкая испарина выступила на лбу Фёдора. Надо бы рассказать всё, как встретились, как понравилась Стеша — голубое платье, нежная ямка под горлом, рассказать, как хорошо и покойно начинали жить, когда Стеша подходила к нему с раздумянным от печного жара лицом, рассказать про отца её, про незаконно взятую лошадь, про зайчонка, про козу, «нющипавшую огурчики»... Но разве всё расскажешь? Где тут самое важное?

— Семья у них нехорошая, — произнёс он.

— Чем же не хороши?

— Живут в колхозе, а колхоз не любят. Тяжело жить с такими, когда только и слышишь: «Отношения к людям нету, благодарности никакой... Ломи на них...» Это на колхоз-то...

— Из-за этого-то надо бросать жену с ребёнком? Ты должен перевоспитать и жену, и отца её, и мать — всех! Они сразу обязаны были почувствовать, что в их семью вошёл комсомолец!

— Это сказать просто. Да разве перевоспитаешь... — возразил было Фёдор и тут же пожалел, что возразил. Глазычева развела руками.

— Ну уж... Самое позорное, что можно представить, — это расписаться в собственном бессилии. Вы пробовали их перевоспитывать? Наверняка нет!

Что тут говорить, что тут спорить? Тётка Варвара хорошо знает Силана Ряшкина, так она и без объяснений понимает Фёдора, эту бы голосятую сунуть в ряшкинский дом. Пусть бы попробовала перевоспитывать такого Силана.

— Молчите? Сказать нечего? Ваша жена не комсомолка. Одно это говорит о вашем безразличии к жене. Я пригляделась сейчас — простая

девушка, чистосердечная, наверно неглупая, из такой можно едедать комсомолку...

— Она была комсомолкой. Четыре года назад... Да механически была. Что же райком тогда из неё настоящую комсомолку не сделал?

— Вот как!.. Не знала... Но не вам упрекать райком. В районе около тысячи комсомольцев, работники райкома не могут заниматься воспитанием каждого в отдельности. Такие, как вы, должны помогать нам воспитывать. Вы помогаете?.. Бросили беременной! Преступление вместо помощи!

Фёдору уже больше не пришлось возражать, он только слушал. Нина Глазычева упомянула и о словах Горького, что человек — звучит гордо, и о том, как умел любить Николай Островский, и даже о декабристах, чьи жёны добровольно уехали в ссылку за мужьями. У Нины выходило так, что и декабристы умели воспитывать жён.

Выговорив всё, что могла, Фёдору, Нина повернулась в сторону притихшего в уголке Аркадия Журавлёва.

— Ты секретарь комсомольской организации, ты куда глядел? Ты должен или не должен знать о быте своих комсомольцев? Почему ты не сигнализировал в райком?..

Аркадий Журавлёв, рослый парень, добряк в душе, много слышавший от трактористов о семейных делах Фёдора, сейчас молчал. Он сильно робел перед речистой Ниной, особенно, когда та расходилась и начинала вспоминать изречения знаменитых людей. Где уж тут возражать, переждать бы только...

— Так вот! — Нина в знак окончания разговора энергично положила на стекло стола узкую ладонь. — Вскрылось дело, недостойное звания комсомольца! Мы вынуждены будем рассматривать его на бюро. Даю перед бюро десять дней срока. Советую, товарищ Соловейков, подумать за это время о своём поступке!

Недалеко от МТС Фёдор снимал холостяцкую комнатёнку. Он щёл один. Журавлёв с ним расстался у дверей райкома, прощаясь, глядел в сторону, сказал только одно:

— Оно, видишь, как обернулось. Нехорошо.

Нехорошо обернулось. Фёдор был старым комсомольцем — двадцать пять лет, пора бы и в партию. Взысканий не было, по работе хвалили, членские взносы платил аккуратно, поручения выполнял, а на проверку оказался плохим комсомольцем. Может, и верно, но как быть тут хорошим? Воспитывать, говорит... Много она тут наговорила, даже декабристов вспомнула, а как воспитывать, не сказала. Воспитывай — и точка! Не политинформацию же с тестем и тещей по утрам проводить...

Бюро будет, вслух заговорят, пойдёт слава по району. Думал: пережил, перетерпел, кончилось страшное-то, а оно, самое страшное, ещё впереди. Нехорошо обернулось, хуже и не придумаешь.

Ранние зимние сумерки поднимались над домами и садиками. Падал редкий снежок. Тихо и пусто. Огни зажигались в окнах — что ни огонёк, то семья. У всех — семьи, у каждого — своё пристанище. Иди, Фёдор, к себе. Там голый стол, на столе — приёмник, койка в углу. Случается — и в двадцать пять лет человек чувствует себя сиротой.

За последний месяц Стеша почти не выходила из дома. Раньше хоть бегала на маслозавод, а тут — декретный отпуск... Четыре стены, даже кусок двора не всегда увидишь в окно, заросли стёкла зимними узорами. Вчера с утра до вечера перебирала в уме тяжёлые мысли. Всё, каза-

лось, передумала, больше некуда — растравила душу. Но наступал новый день, и снова те же самые мысли... День за днём — нет конца, нет от них покоя...

И вот — крелящиеся на раскатах сани, суховатый запах сена на морозном воздухе, заметённые по грудки снегом еловые перелесочки да радостное воспоминание о встрече в райкоме комсомола, добрые глаза, участливый голос... Словно умытая, освежённая, приехала Стеша домой.

На полу валялись щепы и стружки. Посреди избы стояли громоздкие недоделанные сани. От них шёл горьковатый запах черёмухи.

Отец, держа топор за обух, старательно отёсывал клинья. Он делал сани и занимался этим не часто. С заказчиками, приезжавшими из дальних колхозов, договаривался заранее — не болтать лишка. Засадит ещё Варвара на постоянную работу. Он будет делать, колхоз перепродавать на сторону, а платить трудоднями — велика ли выгода?

Силантий Петрович только поглядел на вошедшую дочь и, ничего не спросив, продолжал отбрасывать из-под остро отточенного топора тонкие стружки.

Зато мать сразу набросилась:

— Как, милая? Чего сказали?

Стеша, не снимая шубы, распустив платок, уселась на лавку и окрепшим от надежды голосом стала рассказывать всё по порядку: как встретили, как ласково разговаривали, как проводили чуть ли не под ручку.

Алевтина Ивановна с радостным торжеством перебивала:

— Вот прижгут его, молодчика! Прижгут! Поделом!

Силантий Петрович бросил скупое:

— Пустое. Особо-то не надейся. Все они одним миром мазаны.

Может быть, первый раз в жизни Стеше не понравились слова отца, даже сам он в эту минуту показался ей неприятен: сутуловатый, со слежавшимися седыми волосами, угрюмо нависшим носом над узловатыми руками, зажавшими обух топора. «И чего это он?.. Все на свете для него плохие. Есть же и хорошие люди. Есть!»

— Может, и не пустое. Может, и прижгут, — неуверенно возразила мать.

— Ну, и прижгут, ну, посовесят, может, наказание какое придумают, а Стешке-то от этого какая выгода?

И Алевтина Ивановна замолчала. Молчала и Стеша. Маленькая тёплая радость, которую она привезла с собой, потухла.

По избе, стуча по полу ногами, прыгал заяц, что-то жевал, шевелил губами. Он выздорovel, прижился, сильно вырос с тех пор.

«Десять дней сроку. Советую подумать о своём поступке». Не стоило советовать... Только в редкие минуты на работе забывался, а так с утра до вечера всё думал, думал и думал. А придумать ничего не мог.

Сначала на бюро обсуждали план культурно-массовой работы на квартал, потом утверждали списки агитбригад. Фёдор сидел в стороне, ждал и мучился: «Скорей бы, чего уж жилы тянуть...»

Наконец. Нина Глазычева, сменив деловито-озабоченное выражение на строго-отчуждённое, произнесла:

— Переходим к разбору персонального дела комсомольца Фёдора Соловейкова.

И все лица присутствовавших вслед за Ниной выразили тоже строгость и отчуждение. Только Стёпа Рукавков, секретарь комсомольской организации колхоза «Верный путь», одной из самых больших в райсоне, взглянул на Фёдора с лукавым укором: «Эх, друг, до бюро дотянул...»

Да ещё учитель физики в средней школе Лев Захарович, свесив по щекам прямые длинные волосы, сидел, уставившись очками в стол.

— Ко мне недавно пришла жена Соловейкова... — начала докладывать Нина размеренным голосом, один тон которого говорил: «Я ни на чьей стороне, но послушайте факты...»

От этого голоса лица сидевших делались ещё строже. Ирочка Москвина, зоотехник из райсельхозотдела, член бюро, не вытерпев, обронила:

— Возмутительно!

Нина деловито рассказала, какой вид имела Стеша, описала заплаканные глаза, дрожащий голос, сообщила, на каком месяце беременности оставил её Фёдор...

— Вот коротко суть дела, — окончила Нина и повернулась к Фёдору. — Товарищ Соловейков, что вы скажете членам бюро? Мы вас слушаем.

Фёдор поднялся.

«Суть дела!» Но ведь в этом деле сути-то две: одна его, Фёдора, другая — Стеша, теща да тёщи. Не его, а их суть сказала сейчас Нина.

Разглядывая носки валенок, Фёдор долго молчал: «Нет, всего не расскажешь, у Стеша-то вся беда как на ладони, её проще заметить...»

— Вот вы мне подумать наказывали, — глуховато обратился он к Нине. — Я думал... Назад не вернусь. Как воспитывать, не знаю. Пусть Стеша переедет жить ко мне, тогда, может, буду её воспитывать и сам воспитываться. Другого не придумаю... С открытой душой говорю... — Он помолчал, вздохнул и, не взглянув ни на кого, сел. — Всё!.. — Снова сгорбился на стуле.

— Разрешите мне, — вкрадчиво попросил слово Стёпа Рукавков и тут же с грозным видом повернулся к Фёдору. — Перед тобой была трудность. Как ты с ней боролся? Хлопнул дверью и — до свидания! По-комсомольски ты поступил? Нет, не по-комсомольски! Позорный факт!.. Но, товарищи...

Нина Глазычева сразу же насторожилась. Она хорошо знала Стёпу Рукавкова. Ежели он начинает свою речь «за здравие», хвалит, перечисляет достоинства, жди — кончит непременно «за упокой», и, наоборот, — грозный разнос вначале обещает полнейшее оправдание в конце. Как в том, так и в другом случае переход совершается с помощью одних и тех же слов: «Но, товарищи...»

Сейчас Стёпа начал с разноса, и Нина насторожилась.

— Но, товарищи!.. Жена Фёдора Соловейкова, как сообщили, была комсомолкой. Она бросила комсомол! Кто в этом виноват? А виноват и райком, и мы, старые комсомольцы, и она сама в первую очередь!..

Стёпа Рукавков был мал ростом, рыжеват, по лицу веснушки, но в колхозе многие девочки заглядывались на своего секретаря. Стёпа умел держаться, умел говорить веско, уверенно, слова свои подчёркивал размашистыми жестами.

— Нельзя валить всё на Соловейкова. А тут — всё, кучей!.. Виноват он, верно! Но не так уж велика вина его. Я предлагаю ограничиться вынесением на вид Фёдору Соловейкову.

— Не велика вина? Жену бросил! На вид! Простить, значит! Как это понимать? — Нина Глазычева от возмущения даже поднялась со стула.

— Исключить мало! — встала Ирочка Москвина и покраснела смущённо. Она была самая молодая из членов бюро и всегда боялась, как бы сказать не то, что думает Нина.

Поднялся спор: дать ли строгий, просто выговор или обойтись вынесением на вид? Фёдор сутулился на стуле и безучастно слушал.

— Не в том дело! — Учитель физики Лев Захарович давно уже поглядывал на спорящих сердито из-под очков. — Дадим выговор, строгий или простый, запишем в решение.. Это легко.. У жены его — горе, у него, поглядите, — тоже. Горе! А мы директивой надеемся вылечить.

Закидывая назад рукой волосы, Лев Захарович говорил негромким, покойным голосом. Парень он был тихий, выступал не часто, но если уж начинал говорить, все прислушивались — обязательно скажет новое. Да и знал он не в пример другим: читал лекции в Доме культуры о радиолокации, мог рассказать и об атомном распаде и об экране стереоскопического кино. За эти знания его и уважали.

— Для чего мы собрались здесь? Только для того, чтоб выговор вынести?.. Помочь собрались человеку.

— Правильно! Помочь! — бодро поддержала Нина.

— Только как? — спросил Лев Захарович. — Вот вопрос. Я, например, откровенно признаюсь — не знаю.

— Товарищ Соловейков, — обратилась Нина к Фёдору, — ты должен сказать: какую помощь тебе нужно? Поможем.

Помощь?.. Фёдор растерянно оглянулся. Действительно, какую помощь? Стешу бы выгнать из отцовского дома. Но ведь райком комсомола ей не прикажет: брось родителей, переезжай к мужу, а если и прикажет, то Стеша не послушает.

— Не знаю, — подавленно развёл он руками.

Все молчали. Нина недовольно отвела взгляд от Фёдора: «Даже тут потребовать не может».

— Не знаем, как помочь, — продолжал Лев Захарович, — а раз не знаем, то и спор — дать выговор или поставить на вид — ни к чему.

— Выходит, оставить поступок Соловейкова без последствий? — В голосе Нины снова зазвучало негодование.

Лев Захарович пожал плечами:

— А дадим выговор — разве от этого последствия будут? Как было, так всё и останется.

И тут Нина горячо заговорила. Она говорила о том, что Лев Захарович неправильно понимает задачи бюро райкома, что выговор, вынесенный Соловейкову, будет предостережением для других.. Говорила она долго, упоминала, как всегда, примеры из литературы, из жизни великих людей. После её выступления снова разгорелся спор — вынести выговор или поставить на вид? Лев Захарович сердито молчал. Вынесли выговор.

На улице Фёдора догнал Степан Рукавков. В аккуратном, с выпущками полушубке, в мерлушковой шапке — щёголь парень, не зря считается у себя в колхозе первым парнем.

— Если б физик не вмешался, отстояли бы, — дружески заговорил он. — Поставили б на вид — и точка! И голова у человека умная, и сердце доброе, но не политик...

По снисходительному выражению лица Стёпы нетрудно было догадаться, что он считает: если и есть при райкоме комсомола политик, то это не кто иной, как он, Стёпа.

Фёдор махнул рукой.

— Выговор, на вид — всё одно не легче. Вы-то поговорили сейчас, а завтра забудете. Чужую-то беду, говорят, руками разведу.

— О-о, — протянул удивлённо Стёпа, — да ты ещё обижаешься! Не хорошо, брат.

Однажды Фёдор долго задержался в МТС, задержался не потому, что было много работы, просто оставаться одному с невесёлыми мыслями в четырёх стенах тяжело.

Подходил к дому поздно. У ограды стояла лошадь, запряжённая в сани-розвальни. В комнате Фёдора, подле печки, дотлевающей багрянистыми углями, сидел с хозяином дед Игнат, муж тётки Варвары.

— Долгонько кумовал где-то, долгонько,— встретил Игнат Фёдора.— Ночью мне придётся до родного угла-то добираться.

— Нужда во мне какая-нибудь?

— Моё-то домашнее начальство одно дело поручило... — Игнат повернулся к хозяину и по-свойски (видимо, ожидая, успел сойтись душа в душу) попросил:— Трофимушка, ты иди к себе, нам промеж собой посекретничать охота.

— Что ж, секретничайте, секретничайте, только печку не прозевайте, закрывать скоро! — Хозяин вышел.

Дед Игнат повернулся к Фёдору.

— Сегодня мы вместе с Силаном жёнку твою в больницу сдали. Вот какое дело.

— Что?!

— Что, что? Ничего, видать, кроме дитя, не будет. Не ждал разве?.. Моя-то известить тебя велела. Силан-то, говорит, и один бы справился, да к тебе он не зайдёт.

— Когда привезли?

— Ещё деньком, после обеда.

— Может, уже родила?

— Не знаю. Дело такое, для нас с тобой непостижимое.

Фёдор надвинул мокрую от растаявшего снега шапку.

— Я пойду, Игнат, я пойду... Что ж ты на работу-то ко мне?..

Последние слова он проговорил за дверью.

Игнат, покачивая головой, стал одеваться. Одевшись, вспомнил про печь, подставил стул, кряхтя влез, задвинул заслонку и позвал:

— Трофим, эй, Трофим! Сегодняшнюю ночь ты не держи дверь на запоре. Чуешь?.. Парень греться домой набегать будет.

Сначала Фёдор шёл размашистым шагом, быстрее, быстрее, потом побежал...

Что заставляло его бежать? Что заставляло его тревожиться? Вроде забыта уже любовь к Стеше. Сколько в последнее время несчастий, сколько больших и маленьких переживаний свалилось на него! То, что прежде было, должно бы похорониться, заглохнуть, как вересковый куст под осыпью. Может, любовь к ребёнку заставляет его тревожиться? Но он пока не знает ребёнка, совсем даже не представляет его. Нельзя любить то, что не можешь себе представить... Неужели не всё заглохло, кой-что пробилось — живёт!

Больничный городок находился в стороне от села, среди большой липовой рощи. Фёдор уже добежал до широких ворот, ведущих к корпусам, и остановился.

Несётся сломя голову, а зачем?.. Поздравить?.. Больно нужны Стеше его поздравления. Порадоваться?.. Ещё кто знает, как всё это обернётся — радостью иль горшим горем? Но вернуться, итти домой, лечь там, спокойно заснуть он не может. Жена рожает! Тут вспомнилось, что в таких случаях обычно приносят цветы и подарки. Он-то с пустыми руками явился: нате — я сам тут. Купить что-то надо.

Фёдор повернул обратно.

Магазин, прозванный в обиходе «дежуркой», где с шести часов вечера до полуночи стояла за прилавком известная всем в районе Павла Павловна, суровая тётушка с двойным подбородком, в поздние часы служил одновременно и промежуточной станцией для проезжих шофёров, где можно выпить и закусить, побеседовать и прихватить случайного пассажира.

— Федька! — От прилавка шагнул навстречу Фёдору человек — из-под шапки в тугих бараньих колечках чуб, красное, огрубевшее на морозах и ветрах лицо, весёлые глаза.

Знакомый Фёдору шофёр из хромцовского колхоза, Вася Золота-дорога, схватил руку и стал трясти.

— Матушка, Пал Пална, сними с полочки ещё мерзавчик, друга встретил!

— Вася! Рад бы!.. Рад! Некогда!

— Фёдор! От кого слышу! Год же не виделись!

— Жена рожает в больнице. Купить заскочил гостинцев.

— Во-о-он что-о!.. Как раз бы нужно отметить... Ну, ну, молчу. Поздравляю, брат! Дай лапу!.. Тут и друга и самого себя забыть можно... Сына, Фёдор, сына!.. Может, всё ж за сына-то на ходу... А?.. Ну, ну, понимаю... Эх, как ты нас обскакал! А я вот целюсь только жениться.

Вася шумно радовался, все остальные, пока Фёдор покупал конфеты и покоробленные от долгого лежания плитки шоколада, глядели на него с молчаливым уважением.

— Уехал и пропал! Ни слуху о тебе, ни духу! Сгинул... Эх, задержаться бы да отпраздновать! Чтоб стон стоял, золота-дорога! Съест меня живьём наш Поликарпыч, коль с концентратами застряну. Но я ребятам свезу восточку: у Федьки Соловейкова — наследник! Спешись, вижу... Спеш, спеш, не держу. Дай ещё лапу пожму!

Прежде было только тревожно и смутно на душе. Сейчас, после шумной васиной встречи, тревога осталась, но появились радость и надежда. Как он был глуп. Что-то мудрил, над чем-то ломал голову, мучился, а всё просто: рождается ребёнок, он — отец, он имеет право требовать от Стеша переехать к нему! Добьётся!.. Страшного нет!..

Фёдор бежал по пустынным улицам к больничному городку.

В приёмной родильного отделения сидел только один, уже не молодой мужчина из служащих, в добротном пальто, в высокой под мерлушку шапке. У Фёдора от быстрой ходьбы, от напряжённого ожидания чего-то большого тяжело стучало сердце. Почему-то представлялось, что едва только он войдёт, все засуетятся, забегают вокруг него. А этот единственный человек в пустой, чистой, ярко освещённой комнате взглянул на него с самым спокойным добродушием.

— Первый раз? — спросил он.

— Что? — не сразу понял Фёдор.

— Я спрашиваю: первый раз жена рожает?

— Первый, — ответил со вздохом Фёдор. Он сразу же подчинился настроению этого человека.

— Видно. А я каждый год сюда заглядываю. Четвёртый у меня.

Дежурная сестра вынесла вещи — пальто, шаль, фетровые ботинки.

— Получите.

Незнакомец принял всё это, не торопясь уложил, связал аккуратно.

— Привёл жену — узелок взамен дали. До свидания... Не волнуйтесь. Обычное дело. Вам бы кого хотелось — сына или дочь?

— Сына, конечно.

— Значит, дочь появится.

— Почему?

— По опыту знаю. Девочек больше люблю, а каждый год — промах, мальчики появляются. Но и это неплохо. Народ горластый, не заскучаешь.

Ещё раз ласково кивнув, он ушёл. Сестра, закрыв за ним плотнее дверь, деловито спросила:

— Как фамилия?

— Соловейков... Фёдор Соловейков.

— Фёдоры у нас не лежат. Муж Степаниды Соловейковой, что ли? Это — сегодня положили... Передачу принесли? Давайте мне... В целости получит.

— Не родила ещё?

— Больно скоро. Идите, идите домой. Спите спокойно. Сообщим.

— Я подожду.

— Нет уж, идите. Может, трое суток ждать придётся. Дело такое — ни спешить, ни тянуть нельзя.

Фёдор долго топтался под освещёнными окнами родильной, прислушивался, не донесётся ли сквозь двойные рамы крик Стеши. Но лишь робко скрипел снег под его валенками.

За ночь он несколько раз прибежал под эти окна, ходил вдоль стены. Было морозно, временами начинал сыпаться мелкий сухой снежок, а Фёдору в мыслях представлялось солнечное летнее утро, луг, матовый эг росы, цепочкой два тёмных следа: один от ног Фёдора, другой от ног сына. Они идут на рыбалку с удочками... И росяной луг, и следы на мокрой траве, и берег реки с клочьями запутавшегося в кустах тумана — всё отчётливо представлял Фёдор. Не мог представить только самое главное — сына. Белоголовый, длинное удилище на плече — и всё... Мало!..

Он промерзал до костей, бежал домой, там, не зажигая огня, не раздеваясь, сидел, грелся, продолжал думать о сыне, о росяном луге, о следах, временами удивлялся, что хозяйева крепко спят, а двери не запирают. Забыли, видать, это на руку — не будить, не беспокоить...

Ночь не спал, но на работе усталости не чувствовал, через час бегал к телефону, с тревожным лицом справлялся и отходил разочарованный.

Стеша родила под вечер.

21

Во время приступов Стеша металась по койке и кричала: «Не хочу! Не хочу!» Врачи и сёстры, привычные к воплям, не обращали внимания. Они по-своему понимали выкрики Стеши: «Больно, не хочу мучиться». Но Стеша кричала не только от боли. «Не хочу! Не хочу!» — относилось к ребёнку. Зачем он ей, жене, брошенной мужем!

Но принесли тугой свёрточек. Из белоснежной простыни выглядывало воспалённое личико. Положили на кровать Стеше. При этом врачи, сёстры, даже соседка по койке — все улыбались, все поздравляли, у всех были добрые лица. На свет появился новый человек, трудно оставаться равнодушным.

Горячий, маленький рот припал к соску, до боли странное и приятное ощущение двинувшегося в груди молока, — Стеша пододвинулась поближе, осторожно обняла ребёнка, и крупные слёзы снова потекли по лицу. Это были и слёзы облегчения, и слёзы стыда за свои прежние нехорошие мысли — «не хочу ребёнка!» — это были и слёзы счастья, слёзы жалости к себе, к новому человеку, тёплому, живому комочку, доверчиво припавшему к её груди.

И с этого момента всё перевернулось с горя на радость.

Во время второго кормления, когда Стеша, затаив дыхание, разглядывала сморщенную щёчку, красное крошечное ухо, редкий пушок на затылке дочери, она почувствовала, что кто-то стоит рядом и пристально её разглядывает. Она подняла голову. Перед ней замер с выражением изумления и страха Фёдор.

Они не поздоровались, просто Фёдор присел рядом, с минуту томительно и тревожно молчал, потом спросил:

— Может, нужно чего?.. Я вот яблок достал... — и, видя, что Стеша не сердится, не отворачивается, широко и облегчённо улыбнулся. — Вот она какая... Дочь, значит. Хорошо.

И Стеша не возразила — конечно, хорошо.

— Спит всё время. Сосёт, сосёт, глядишь — уже спит.

Фёдор сидел недолго. Весь разговор вертелся вокруг дочери: сколько весит, что надо купить ей — пелёнки, распашоночки, обязательно ватное одеяльце.

Им мешали, напоминали Фёдору, что он обещал на одну минуточку, а сидит уже четверть часа. Фёдор поднялся и тут только ласково и твёрдо сказал:

— Никуда я тебя, Стеша, не пущу. Ко мне жить переедешь.

И почему-то он даже парнем Стеше не нравился так, как в эту минуту — в белом, не по плечу халате... Длинные руки вылезают из рукавов, лицо озабоченное...

Стеша осмелилась всё же робко возразить:

— С ребёнком-то дома бы лучше, Феденька. Есть кому присмотреть. Но голос Стеши был неуверенный, просящий.

На следующий день приехала мать Стеша, похудевшая, большеглазая, с растрёпанными волосами, стыдливо запахиваясь в халат, тайком выскочила к ней в приёмную.

— Вот она, наша дюлюшка... Прогневили мы бога-то... — завела было Алевтина Ивановна, но тут же перебила себя, сразу же заговорила деловито: — Не кручинься. Всё, что надобно, приготовила: пелёночек семь штук пошила, исподнички разные, отец люльку уже пристроил...

— Мама,—робко перебила Стеша,—я всё ж к нему перейду... Зовёт.

— Зовёт?.. Совесть, видать, тревожат его, а на то не хватает, чтоб повинился да пристраивался сызнова к нам.

— К нам не вернётся... — И вдруг Стеша упала на плечо матери, зарыдала. — Да как же мне жить-то с ребёнком без мужа! Все пальцами тыкать будут!..

— Это что такое?! Кто разрешил? Что сёстры смотрят? Лежать! Лежать! Не подниматься!.. Кому говорят? Идите в палату! — В дверях стояла пожилая женщина, дежурный врач родильного отделения.

Мать гладила Стешу по спутанным волосам:

— Не расстраивайся, дитятко, не тревожь себя... Иди-ко, иди. Вон начальница недовольна...

Утро было с лёгким морозцем. Ночью выпал снежок, и село казалось умытым. Мягкий свет исходил от всего — от крыш, дороги, сугробов, тяжело навалившихся на хилые оградки. И воздух тоже казался умытым, до того он свеж и лёгок. Во всех домах топились печи. По белым улочкам в свежем воздухе разносился вкусный запах печёного хлеба. Мир и благополучие окружали маленькую семью, неторопливо двигавшуюся от больницы к дому.

Кроватьку Фёдор не успел купить, постель дочери устроили пока на составленных стульях. И Фёдор чувствовал себя виноватым, оправдывался перед Стешей:

— Ведь жить-то только начинаем, не мы одни, все так сначала-то... Всё будет — и квартира и, может, домик свой, хозяйством ещё обзаведёмся. Как хорошо-то заживём!..

Стеша со всем соглашалась, ни на что не жаловалась.

В тот же день они назвали дочь Ольгой.

А поутру пришёл первый гость. Гость не к Фёдору и не к Стеше.

Раздался стук в дверь, через порог перешагнула девушка, стряхнула перчаткой снег с воротника.

— Здравствуйте. Здесь живёт Ольга Соловейкова?

Фёдор и Стеша даже растерялись, не сразу ответили. Да, здесь живёт... Всего десять дней, как она появилась на свет, и имя своё, Ольга, получила только вчера, вчера только принесли её в эту комнату.

— Здесь живёт, проходите, пожалуйста.

Девушка сняла пальто, достала из чемоданчика белый халат, попросила тёплой воды, вымыла руки.

— А кроватку надо приобрести. Обязательно.

Она долго сидела со Стешей, ещё раз напоминала ей, как надо и в какой воде купать, в какие часы кормить, как пеленать, как присыпать, с какого времени можно вынести на улицу. От приглашения попить чайку отказалась:

— У меня не один ваш пациент.

Это был первый гость. Вслед за врачом стали приходить гости не по одному на день.

Одной из самых первых приехала неожиданно тётка Варвара. Она внесла в маленькую комнатку какие-то пахнущие морозом узлы, скинула свой полушубок и долго стояла у порога, потирала руки, говорила баском:

— Обождите, обождите, вот холодок с себя спущу... Уж взглянем, взглянем, что за наследница. Успеется.

Первым делом она принялась развязывать свои узлы.

— Принимай-ко, хозяйюшка, — обращалась она к Стеше, нисколько не смущаясь тем, что та сдержанно молчит. — Это вам подарочек от колхоза. Ты, Фёдор, жену теперь корми лучше, через неё ребёнка кормишь, помни! Степанида, поди сюда... Да брось в молчанки играть. Вот уж теперь-то нам с тобой делить нечего. Уж теперь-то мы должны душа в душу сойтись. Поди сюда. Это от меня. Ситец белый, пять метров. Ты его на пелёнки, гляди, не пускай. На пелёнки-то старые мужнины рубахи разорви, простирай их, прокипяти... Ей, несмышлёнышке, всё одно, что пачкать. Это на распашоночки раскрой да на наволочки. С умом берись за хозяйство-то.

Стеша, не привыкшая «ждать добра» от чужих, тем более от тётки Варвары, растерялась сначала, но, когда гостя обратила внимание на составленные стулья и заявила, что сегодня же накажет плотнику Егору делать кроватку, размякла.

Варвара, подойдя к постельке, толстым коротким пальцем повертела перед лицом девочки; та громко расплакалась.

— Уа, уа! — передразнила Варвара, морщась от удовольствия. — Голосистая. Кровь-то, сразу видать, соловейковская. Ряшкины не крикливы, и сердятся, и радуются про себя только.

Даже это почему-то не обидело Стешу.

Пришёл в гости и Чижов с тщательно вымытыми руками, побритый, пахнущий тройным одеколоном.

Сидели они втроем за семейным столом, пили чай, и Чижов настойчиво отказывался от печенья.

Наконец прибыли Силантий Петрович и Алевтина Ивановна. Фёдор старался принять их как можно лучше. Сбегал за поллитровкой для тестя, сначала величал их отцом да матерью, но скоро стал неразговорчив.

Дед и бабка оказались гостями невесёлыми. Силантий Петрович отказался выпить: «И так запозднились. Варвара три шкуры сдерёт, копь лошадь ко времени не доставим». Тёща и вовсе не прошла к столу, сидела у порога, чинно поджав губы, смотрела и на дочь и на внучку жалостливо, всем своим видом словно бы говорила: «Не притворяйтесь счастливыми-то, сиротинушки вы...» Она несколько раз пристально огля-

дела тесную комнатушку с развешанными около печи пелёнками... На Фёдора же старалась не смотреть.

То, что было сказано, можно было сказать в пять минут. Но старики честно отсидели полчаса, ровно столько, чтоб хозяева не подумали — рано ушли родители-то.

Фёдору казалось, что эти полчаса он сидел не в своей комнате, а под крышей Ряшкиных. Стеша, как бывало, не поднимала глаз, боялась взглянуть на мужа.

«Запахло опять ряшкинским духом. Сломают снова нам жизнь, сволочи. Стеша-то и не глядит...» — думал он, скупно отвечая на вялые вопросы тестя о жалованье, о казённой квартире, о том, дадут или нет усадьбу весной.

Но после ухода стариков Стеша оставалась попрежнему ласковой. Она, кажется, сама рада была, что родители долго не засиделись.

И уж совсем неожиданным гостем как для Стеши, так и Фёдора была Нина Глазычева, секретарь райкома комсомола.

Она не раздевалась.

— Некогда, некогда, на одну минуточку к вам. Вот видите, как хорошо! Очень хорошо!.. Прекрасная дочь, прекрасная! Вы понимаете только — она человек будущего! Она будет жить при коммунизме!

Стеша, помня ласковый приём в райкоме, после похвал дочери смотрела на Нину благодарными глазами и краснела. Фёдор тоже краснел и виновато улыбался. Он уже не обижался на Нину.

Нина ушла, довольная Фёдором, Стешей, дочкой и больше всего собой. Теперь можно заявить: «Нам приходилось сталкиваться с бытовыми вопросами, но со всей ответственностью можем сказать — эти вопросы с честью решались нами!»

Первые, самые первые дни в тесной холостяцкой комнатушке Фёдора были счастливыми.

22

Скоро все знакомые привыкли к тому, что у Фёдора Соловейкова есть дочь.

Гости, поздравления, маленькие подарки — всё это чем-то смахивало на праздник. И всё это скоро кончилось.

Началась будничная жизнь, для Стеши жизнь новая — впервые вне дома.

Их хозяин, Трофим Никитич, жил бобылём. Его жена была постоянно в разъездах, гостила то у одного сына, то у другого, а их у Трофима — шестеро, все живут в разных концах страны.

Трофим работал столяром в промкомбинате и по своему бобыльскому положению каждую субботу приходил выпивши. При этом он обязательно заглядывал к жильцам. Балансируя на цыпочках, делая страшные глаза в сторону спящей девочки, предупредительно тряс поднятыми руками, он объявлял шёпотом:

— Ш-ш... Я тихо, я тихо...

И обязательно цеплялся за что-нибудь — за стул с тазом, за пустое ведро, будил дочь.

Усаживаясь, он начинал разговор всё об одном и том же:

— Я вас не гоню. Нет, живите. Разве я совести не имею!

Но по тому, что Трофим говорил «не гоню», по тому, что он разрешал — «живите», Фёдор и Стеша понимали: жильцы не очень нравятся хозяину. Одно дело — холостой, одинокий парень, другое — семья с ребёнком. Пелёнки, детский крик, печь топится с утра до вечера — давно уже отвык старый Трофим от всех этих неудобств.

И то, что хозяин не упрекал, не ругался, ещё больше заставляло Стешу чувствовать себя связанной по рукам и ногам.

Однажды Фёдор пришёл очень поздно. Стеша не спала, она перед этим немного всплакнула по дому, видела, как муж собирал себе поужинать. Она отвернулась. Не нравился он ей в эту минуту. Ест, уши вверху ходят, и лицо такое, словно счастлив, что дорвался до каши.

— Стеша,—негромко окликнул он.—Слышь, Стеша, что я тебе скажу.

— Ну?

— Строиться будем. Целый посёлок вокруг МТС планируют. Дома финские привезут. Рассчитывали сейчас: трактористам — квартиры, а бригадирам — по отдельному домику. Вот как!.. Большие дела! В своём домике будем жить, сад разведём, цветы под окнами...

— А скоро ли это?

— Не сразу Москва строилась. Эх, Стешка! Обожди, встанем на ноги. Дочь подрастёт, учиться оба начнём. Я ведь тоже, вроде тебя, среднюю школу не кончил. На курсах да на переподготовках доходил. А вот бы куда дотянуть — до института!..

— Ладно уж, институтчик, ложись спать,—приказала Стеша ласково.

Прежде чем уснуть в эту ночь, она помечтала немного. Всплыло забытое. Свой дом, своё хозяйство. Не отцовский дом с полатями да лавками, отрывным календарём на стенке. Крашенные полы, коврики по стенам... Встанет утром и, как есть, босая, — на огородец. Цветы, говорит, под окном... Ну, это, может, и ни к чему. От цветов сыт не будешь. Огород надо... Утром листья у капусты матовые, тронешь — холодные. Муж, может, на директора МТС выучится, культурный человек! Её хочет заставить учиться... Зачем? Для дома, для хозяйства, для детей ума хватит. Ой, беспокойная головушка! Ой, трудно с тобою, непутёвый мой!..

23

Пришла мать. Напомнила дом. Как бы ни расписывал муж цветы под окнами, а родной дом не забудешь — берёза старая, въезд на поветь с весны травкой зарастает, не раз вспомнишь, быть может, и при хорошей жизни слезу прольёшь. Как бы ни дичился Фёдор её родителей, а мать останется матерью. Голос её по утрам: «Спи, касаточка, спи, ласковая» — всегда сердце греть будет.

Фёдора не было дома. Стеша не знала, куда усадить мать, чем угостить её.

— Как муженёк-то себя ведёт? — прихлёбывая чай с блюдечка, поинтересовалась Алевтина Ивановна.

— Хорошо, маменька. Он добрый, старательный.

— Добрый? То-то, вижу, от доброты его ты с лица спала. Горькая ты моя!

Обе плакали, чай стыл в чашках.

Едва только Фёдор переступил через порог, Стеша встретила его словами:

— Нет моей силы жить здесь. Домой поеду... погостить... Может, на месяц, может, и больше, сколько проживётся.

Не слова, а самый голос, глухой, срывающийся, недобрый, глаза, спрятавшиеся под ресницами, испугали Фёдора.

— Не могу, Стеша... Не пушу. Обожди, квартиру новую подыщем, няньку найдём... Не пушу тебя домой. Всё поломается опять промеж нас. В вашем доме даже воздух заразный. Надышишься ты его — чужой мне будешь.

— Сам ты заразный, сам ты чужой!

Стеша хотела крикнуть, что дом с цветами под окнами, что жизнь лёгкая — всё выдумки, не будет легче. А коль хочет добра ей, то пусть не держит — с отцом да с матерью ей удобнее, от добра добра не ищут!.. Не успела крикнуть, проснулась дочь от громкого разговора, заплакала. Стеша бросилась к ней, схватила, прижала, в голос запричитала:

— Как были мы с тобой, Оленька, сиротинушки, так и остались. Отец твой о своей МТС больше думает!

Тот воздух дома Ряшкиных, о котором говорил Фёдор, казалось, появился и здесь. Трудно молчать, но и говорить нельзя. Заговоришь, будет скандал.

Фёдор, забежав после работы в магазин, купил то, что давно собирался купить, — абажур на настольную лампу, стеклянный, снизу белый, как молоко, сверху темнозелёный, как осенняя озимь.

Надо думать, Стеша сейчас не обрадуется покупке. Ей нынче не до абажуров. К дому своему, к родной крыше тянется. Молчит, насупилась, комнату запустила, сама ходит растрёпой. Ничего, крепись, Фёдор, в МТС большие дела начинаются. У тихого сельца Кайгородище рабочий посёлок вырастет. Пусть Стеша теперь неласкова, пусть недовольна мужем, пусть! Он перетерпит. Придёт время, спасибо ему скажет, что в родной дом не пустил. Будет и ласкова, и разговорчива, и опрятна, и красива, лучше не надо жены.

Придёт время: возвратится Фёдор с работы, а в комнате, что в лунную ночь, сумрак от абажура, на столе круг яркий, так и тянет сесть, книгу под свет положить. Сам будет учиться, Стешу заставит. Спасибо скажет.

С покупкой, обёрнутой в серую бумагу, Фёдор поднялся по крыльцу, сбил снег с валенок, вошёл.

Никого. Кроватка-качалка, присланная Варварой, пуста. Стешин чемодан, большой, чёрный, фанерный, с висячим замком, стоял раньше в углу. Исчез он. Нет и лоскутного одеяла на большой кровати, оно тоже стешино. На полу, посреди комнаты, валяется погремушка, подаренная Чижовым.

Фёдор поставил на стол абажур, сел, не раздеваясь.

«Вот тебе и зелёный свет по комнате, вот тебе и учиться заставлю... Уехала... Интересно, свои нарочно приезжали или машина подвернулась?.. Да, не всё ли равно! Уехала... Теперь уж всё. Кланяться к Ряшкиным, просить, чтоб вернулась, не пойду. Пусть попрекают в райкоме комсомола: не умеешь воспитывать. Видать, не умею, что поделаешь...»

И вдруг Фёдор опомнился и застонал:

— Ведь Ольку с собой взяла!

Осень. Под мелким дождём плачут мутные окна.

Лето было дождливое, серенькое. Только в августе выдались безоблачные деньки — небо предосеннее, лиловое, солнце пылающее, косматое, но не жгучее. В эти-то дни и успели сухоблиновцы — убрали всё с полей. Подсчитали: год не из счастливых, а урожай выдался неплохой.

Осень. Плачут окна. В избе темно и тихо. Кошка, спрыгнувшая с печи, заставляет вздрагивать: «Чтоб тебя разорвало!»

Спит дочь. Отец с матерью притихли. Тоже спят. Да и что делать в такой вечер? Осень на дворе, глухая осень. Мелко, скучно моросит. Плачут окна.

Стеша уставилась на слезящееся стекло, думает и не думает. Скучно! До боли скучно, хоть плачь. Да и плакала, не помогло — всё равно скучно.

А в селе, в стареньком клубе около правления, горит электричество, сейчас собирается народ. Сегодня праздник в колхозе. Урожай нынешний отмечают.

Приглашён известный гармонист Акинушкин из Дарьевского починка. Придёт молодёжь из всех соседних деревень. Придёт и Фёдор. Он плясун не из последних, ему там почёт и первое место.

Деньги высылает. Дочь, может, и помнит, а жену забыл. Плясать будет, веселиться будет, что ему — дитя не висит на шее, вольный казак... Да и народ его любит, Фёдором Гавриловичем величает.

И уже тысячный раз Стеша начинает спрашивать себя: чем они не нравятся людям? Не воры, не хапуги, живут, как все, никого не обижают, на чужой кусок не зарятся. В чём же виноваты они перед селом? Не любят их...

— Эх-хе-хе, доченька! Сумерничаешь?

Сладкий зевок. Мать слезла с печи, зашаркала валенками по половицам.

— Дай-кось огонь вздую.

При тусклом свете лампы Стеша видит лицо матери. Оно опухшее от сна, зелёное от несвежего воздуха.

— Электричество направили. Кому провели, а кому так нет. Кто шибче у правления трётся, тому хоть в сенцы не по одной лампочке вешай...

Чувствуется, что ворчание матери скучно даже ей самой.

— Мам! — нехорошим, треснувшим голосом перебивает Стеша.

— Чтось? — откликается испуганно Алевтина Ивановна. В последнее время характер что-то у дочки совсем попортился, плачет, на мать кричит. Прежде-то такого не случалось.

— Мам... Скажи, за что нас на селе не любят?

— Завидуют, девонька, завидуют. От зависти вся злоба-то, от зависти...

— А чего нам завидовать? Живём в стороне, не весело, от людей прячемся за стены.

— Не пойму что-то нынче тебя, Стешенька. Ой! Неладное у тебя на уме.

— Не понимаешь? Где уж понять! Мужа привела, извели вы мужа, ушёл из дому. Мне жить хочется, как все живут! Не даёте! Пробовала к мужу уйти, ты меня отравила, наговорила на Федю. «Не верь да не верь». Вот тебе и не верь. А что теперь понастроили с МТС-то рядом! Жить вы мне не даёте! Сами ничего не понимаете, меня непонятливой сделали!

— Святые угодники! Да что с тобой, с чего опять лаешься? Стешенька, на мать же кричишь, опомнись!

— Опомнись?! Опомнилась я, да поздно!

— Господи боже, от родной-то дочери на старости лет!..

На крики вышел отец, бросил угрюмый взгляд на дочь.

— Опять сбесилась? Стешка! Прочучу!

— Прочучил, хватит! Твоя-то учёба жизнь мне заела!

Силантий Петрович зло махнул рукой.

— Выродок ты у нас какой-то. Ряшкины всегда промеж себя дружно жили. Тут на тебе — что ни день, то визг да слёзы...

— Это он всё! Всё он! Муженёк отравил, залез к нам змеюкой, замутил, ребёнка оставил и до свидания не сказал. Он всё! Он!

— Жизнь заели! За-а-ели! — кричала Стеша.

Проснулась дочь...

А в это время в жарко натопленном клубе играла гармошка. Фёдор, с растрёпанными волосами, с красным лицом, отрывал вприсядку. «Эх! Не век горевать! Потеснись, народ! Душа на простор вырвалась!»

Фёдор плясал и плясал, стараясь забыть и дочь, и Стешу, и тяжёлые мысли — стряхнуть всё, что не давало покоя.



ТАМАРА ЯН

★

ВОЗНИЦА

Меня везёт в колхоз «Зарница»
Совсем молоденький возница —
Парнишка лет тринадцати,
А может быть, двенадцати...

Он, важный, рыжий, как подсолнух,
Сидит, качаясь, на возу,
А воз плывёт на знойных волнах
В полях,
 что чувствуют грозу.

Синеет туча снежной шапкой,
И вдруг — удар, и вдруг — другой.
Закрылось солнце,
 стало зябко,
И ливень загудел рекой.

Он обжигает грудь и спину,
Лицо безжалостно сечёт,
И мой возница мешковину
Бросает мне через плечо.

А сам сидит, степенства полный,
Не шевелясь, — мол, не впервой! —
Сияя рыжей, как подсолнух,
Ребячьей круглой головой...



БОРИС РАБИЧКИН

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

ОЛЬВИЯ¹

Здесь жили люди и стоял их дом,
Построенный умелыми руками.
Но люди умерли, и пусто стало в нём,
И смерть проникла в дерево и камень.
Сюда весною падали дожди,
Метало лето ядра грома,
Здесь, как хозяин, снег зимою жил
И по три месяца не выходил из дома.
Здесь город был, весёлый и большой.
Теперь он тихо спит в своей могиле,
И плачет коршун над его судьбой,
Припав к пластам тысячелетней пыли.
Но не затем мы оказались тут,
Чтоб у кургана застывать в печали.
Кирки готовы, и лопаты ждут,
И мы, как в двери, в землю постучали.
К любому камню приложи ладонь,
Возьми его и раздоби на части, —
В нём и поныне не остыл огонь
Великой мысли и великой страсти.
Мы открываем город, как родник.
Склонись над ним, взгляни на камни эти,
И ты поймёшь, как человек велик
И сколько дела ждёт его на свете.

★ ★
★

Мы здесь каждому гостю рады.
Вот и нынче пришли земляки —
Полеводческие бригады,
Трактористы и рыбаки.
Всюду глина, земля и камень.
Время никнет у наших ног.
Подымает весёлый парень
Приглянувшийся черепок.

¹ Ольвия — древний город на берегу Бугского лимана, ныне Историко-археологический заповедник Академии наук УССР.

Он лежит на ладони грубой,
Неказистый такой на вид.
По-ребячьи выпятив губы,
Паренёк на него глядит.
Что он вспомнил в минуту эту,
Молодой, но бывалый солдат?
Он прошёл почти всю планету
И с победой пришёл назад.
В громе боя, в огне сражений,
Как щитом, он прикрыл собой
И живую судьбу поколений
И далёких предков покой.



НОРА АДАМЯН

★

ТРУДНАЯ ВСТРЕЧА

Рассказ

Седа Александровна смотрела, как они шли по аллее роз — невысокий, мальчишески-сухощавый мужчина и плотная загорелая девочка с круглыми карими глазами.

«Ему это даже и в голову не приходит... может быть, потому, что Марочка выглядит моложе своего возраста? А если вот сейчас сказать: это твоя дочь, твой ребёнок...» И оттого, что это было так возможно и легко сделать, Седе Александровне стало страшно, как бывает, когда смотришь вниз с высоты пятиэтажного дома.

— Вот моя мама, — сказала Марочка. — Вы ей тоже расскажете сказку о трёх розах?

— Легенду! — поднял кверху палец Каро Леонович. — Но я думаю, что мама знает эту историческую легенду?

Седа Александровна не была уверена в этом, но промолчала — и тут же сама на себя рассердилась. Давно, очень давно прошло то время, когда для неё было важно показать, что она знает и эту легенду, и принцип устройства холодильников, и происхождение Млечного пути, и свадебные обряды полинезийцев, и ещё чёрт знает что.

«Почему я сержусь? — с грустью подумала Седа Александровна. — Чего я хочу от него? Чтобы он узнал Марочку? Разве это возможно?»

Она шла немного впереди Каро Леоновича и Марочки, будто открывая гостю своё хозяйство. По обе стороны широкой аллеи стояли темно-зелёные кусты, осыпанные белыми розами.

— Ты видел наш первый парк? — спросила Седа Александровна.

— Как же, мне Марочка продемонстрировала все его достопримечательности.

— Ну, там больше декоративная зелень. А вот сейчас ты увидишь наши основные достижения.

Розовая аллея сразу и вместе с тем неприметно перешла в лесную тропинку, скользкую от опавшей хвои. Вокруг поднялись сосны. Лес казался дремучим, но скоро между стволами показался просвет. У ровной, словно по линейке отрезанной полосы леса начинался цветочный парк.

Седа Александровна знала, какое впечатление он производит на посетителей. У последних сосен она обычно отходила в сторону от дорожки и наблюдала за людьми, перед которыми открывалось широкое пространство, покрытое цветами.

— Третий участок — наша витрина. Там мы показываем товар лицом, — говорила она своим сотрудникам.

Цветы в парке были подобраны по тонам. Они стлались по земле, поднимались выше человеческого роста, шли густыми полосами, составляли клумбы-букеты и клумбы-корзины.

— Фантастика! — закричал Каро Леонович. — Где вы взяли эти гладиолусы? Какая насыщенность красок! Разведи такой цветок в море — хватит окрасить весь мир!

— Они не красятся, --- тотчас отозвалась Марочка. Привыкшая к окружающим её цветам, она смотрела вокруг равнодушно.

— Эт-то что такое? Эт-то что, я спрашиваю?! — Кто-то кричал очень близко сердитым голосом, с придыханиями.

Марочка сорвалась с места, потянув за собой Каро Леоновича. Седа Александровна торопливо пошла за ними.

У поворота дорожки невысокий толстый старичок держал за подол майки большого мальчугана. Рядом, засунув руки в карманы когда-то белых брюк, стоял белокурый, докрасна обожжённый солнцем юноша.

Преступление не требовало доказательств. В руках у мальчугана был длинный, почти с него самого ростом, стебель гладиолуса.

— Сломал! — торжествующе вскричал старичок навстречу Седе Александровне. — Пожалуйста!

Увидя новых свидетелей, мальчик рванулся в сторону, но безуспешно. Рядом с ним уже стояла Марочка, спокойно рассматривая его своими большими глазами.

— Ты новенький, да? --- И хотя мальчик ничего не отвечал, она крикнула матери: --- Он новенький, мама, он только сегодня приехал!

— Да пустите вы его, Григорий Ефремович, куда он денется, в самом деле, — недовольно сказала Седа Александровна.

— Пожалуйста, я его пущу! — закричал Григорий Ефремович, ещё крепче ухватив майку. --- Но вы, может быть, не рассмотрели, на что он покусился?

Седа Александровна отлично рассмотрела. Это был один из лучших экземпляров недавно выведенного сорта. Растение предполагалось оставить на семена.

— Что ж теперь, убить его, что ли?.. Этот цветок мы назвали «Северным сиянием». — Она взяла из рук мальчика плотный стебель с крупными цветами и, высоко подняв, повертела в воздухе.

— Я не знал! — вдруг отчаянно выкрикнул маленький пленник. — Я думал — это просто так растут...

— Ах, ты думал, что это полевые цветочки? — ехидно переспросил Григорий Ефремович. — Букетик хотел нарвать?

— Простите, но это может быть правдой, — вмешался Каро Леонович. — Я, знаете, сам был несколько потрясён, когда вдруг, без всякого предупреждения, в лесу возникла вся эта роскошь.

— Ага! — возликовал Григорий Ефремович и повернулся к Седе Александровне. — А что я говорю? Что я повторяю вам, товарищ директор, всегда — ежедневно и ежечасно? Мы должны иметь ограждения, то есть ворота. Нельзя превращать цветоводство в филиал пионерского лагеря.

Марочка тем временем деловито, применив некоторую силу, по частям вытянула из кулака Григория Ефремовича майку мальчика.

— У вас в лагере уже был звонок на ужин. Я его отведу, хорошо, мама? — И, обернувшись к Каро Леоновичу, Марочка спросила совсем другим, искательным тоном: — Вы это просто так сказали или вправду придёте вечером к костру?

— Я ничего никогда просто так не говорю. Если широкая публика изъявит желание, я не откажусь.

— Она изъявит, — быстро проговорила Марочка. — Значит, я скажу Серёже, хорошо?

— А кто такой Серёжа?

— Старший вожатый, — ответила за Марочку Седа Александровна и отстранила девочку. — Ступай...

Григорий Ефремович между тем ворчал:

— Конечно, если за всё по головке гладить... Сломал ценное растение — дорогая деточка, беги ужинать... Как хотите, я этого современного воспитания не понимаю и не признаю.

— Какое же это современное воспитание? — перебил старика Каро Леонович. — Если вы вспомните по существу единственного крупного педагога нашего времени — Макаренко, — то он определённо высказывался в пользу телесных наказаний.

Опалённый солнцем юноша гулко рассмеялся.

— Напрасно вы так весело смеётесь, молодой человек! — Каро Леонович сощурил глаза. — Я говорю совершенно серьёзно. И на практике и в теории...

— Да что вы мне толкуете! — вдруг бесцеремонно прервал его юноша. — Я сам воспитанник колонии. Чушь всё это!

— Позвольте, позвольте... — Каро Леонович вплотную подошёл к молодому человеку. — Не надо понимать всё так примитивно. Я имел в виду взгляд Антона Семёновича, высказанный им... Хотя, простите, в каком году вы были в колонии?

— Ну, не знаю, какие там взгляды, — упрямо твердил юноша, — а чего не было, того не было. Я воспитывался в подмосковной школе, которой ученик Макаренко заведовал. Я самого Антона Семёновича, конечно, не застал.

— Ага! Вот видите! — обрадовался Каро Леонович.

Седа Александровна, внимательно слушавшая весь этот разговор, обернулась к бухгалтеру:

— Готов счёт?

— Счёт будет готов завтра утром, — сухо проговорил Григорий Ефремович. — Товарищ Коротков, — он кивнул на опалённого юношу, — уже отобрал, что им надо. А вас Секоян просил прийти в оранжерею.

В оранжерее демонстрировался новый вид флокса — махровый, двухцветный. Распустился он ещё утром, но Секоян, старший научный работник цветоводства, решил обнародовать его после рабочего дня. В высокой теплице уже собрались сотрудники, технические работники, молоденькие студентки-практикантки.

Армо Секоян с равнодушным достоинством стоял в стороне, покручивая пуговицу своего синего халата. Он сделал своё дело. Теперь — оценивайте. Но сердце у Секояна трепетало, потому что он был очень тщеславным человеком и обожал выслушивать справедливую оценку своих достоинств.

Седа Александровна, перед которой все расступились, быстро подошла к растению. Остановившись за несколько шагов, она оглядела цветок, как женщины у портнихи рассматривают новое платье, — наклоняя голову то на один бок, то на другой, прищуривая и расширяя свои тёмные, густо опушённые ресницами глаза.

— Очень эффектно, — одобрительно сказала она наконец. — Не совсем ещё представляю себе в больших массивах, как бы не рябило. — Она ещё раз осмотрела растение, удовлетворённо повторила: — Безусловно, эффектен! — и повернулась к гостям, как бы приглашая их полюбоваться и высказать своё мнение.

— Ничего, подходяще, — солидно сказал товарищ Коротков, улыбаясь девушкам-студенткам, с которыми уже успел познакомиться.

Армо Секоян немедленно бросил на него уничтожающий взгляд. Сейчас всё должно было принадлежать ему — улыбки, восхищение девушек,

признание начальства, уважение общественности. Завтра он снова примется за работу — словоохотливый, суетливый, незаметный. Завтра ему ничего не надо, но сегодня — его день!

— Продолжительность цветения: июнь — сентябрь, — сказал он надменно.

— Что ж, — живо отозвался Каро Леонович, — это обычный срок для флоксов, как мне кажется... — Он подошёл вплотную к цветку и даже нагнулся, чтобы рассмотреть его толстый стебель у основания. — Так... Семейство синюховых... Родина — Северная Америка... Если не ошибаюсь, их сейчас насчитывается около сорока пяти видов?

С Армо Секоюна моментально слетела неприступность.

— Шестьдесят! — сказал он внушительно. — Шестьдесят. Причём двадцать из них выведено в Советском Союзе, а три — именно в нашем цветоводстве...

— Армо Секоюном! — ловко вставила Седа Александровна.

Старший научный работник скромно опустил глаза и заулыбался.

— Путём скрещивания? Или вегетативной гибридизацией? — И, не дав ответить вдохновенно приготовившемуся Секоюну, Каро Леонович обвёл всех весёлыми глазами. — А вот кто из присутствующих скажет, когда впервые в истории ботаники было упомянуто об изменении человеком форм растений?

Седа Александровна с досадой отвернулась. Она знала, что на этот вопрос не ответит никто. Больше того — знала, что на него вообще невозможно ответить.

— Товарищ Секоюн, — нарочно очень громко спросила она, — а как насчёт морозоустойчивости?

Но это не помогло. И сотрудники, и девушки-студентки, и приезжий заказчик — все отхлынули от махрового флокса, притянутые красивыми словами: «халдейская клинопись», «висячие сады Семирамиды», «царица Клеопатра»...

— А вот вы, ботаники, знаете ли, что значит «карат»? — звучал бодрый голос Каро Леоновича.

— Мера веса драгоценных камней? — неуверенным тоном ученицы ответила одна из практиканток. — Но при чём тут ботаника?

— О-о, значит, не знаете? Ну, так это ни больше и ни меньше, как семена цареградского стручка. Случалось вам есть так называемый сладкий рожок? Вот именно его семена служили ювелирам мерой веса под названием каратов...

«Ну, хорошо, — думала Седа Александровна, — ну, эрудиция, желание блеснуть... Но ведь не так трудно заметить, что человек рядом страдает? Как можно этого не видеть!»

Но никто этого не замечал. Увлекая слушателей, Каро Леонович вышел из оранжереи.

Армо Секоюн стоял нахохлившийся и с преувеличенным вниманием рассматривал какой-то росток. Совершенно необходимо было сказать ему что-нибудь ободряющее.

— Я думаю, и в больших массивах это будет очень хорошо. Как раз то, что нужно для бульваров, набережных...

Изо всех сил стараясь быть объективным, Армо Секоюн сказал прерывающимся от волнения голосом:

— Очень эрудированный товарищ... Доставляет большое удовольствие его слушать. Особенно эти экскурсии в историю... Что, он у нас будет работать?

— А, бросьте! — Седа Александровна махнула рукой. — Он даже вовсе и не ботаник. Он экономист...

Небо быстро темнело. От леса веяло прохладой. Издали доносились приглушённые расстоянием голоса и тяжёлые удары-шлепки. Это в лагере доигрывали партию в волейбол.

«Стать бы одной из тех девочек, которые там прыгают возле сетки, — думала Седа Александровна, — ещё никаких ошибок, никакой ответственности...»

Она села на скамеечку под большим кустом, обхватив руками колени. Трудно давался ей этот день. Нет, она не хотела бы ни с кем меняться своей судьбой! Даже за молодость не отдала бы она своего места в жизни, своего дела и — главное — Марочку.

Когда-то она мечтала о сыне. О прекрасном, идеальном ребёнке. Она с гордостью показывала бы его этому человеку. «Да, это твой сын, — говорила бы она спокойно и гордо, — но ты не имеешь на него никаких прав». Так собиралась она мстить за обиду, за одиночество, за свою большую неразделённую любовь.

Родилась широконосенькая девочка, ребёнок далеко не идеальный — с капризами, с упрямством. Недавно Марочка заявила матери, что никогда не сможет стать героем, потому что совершенно не выносит физической боли. По арифметике у неё всегда одни тройки. И, тем не менее, Марочка, живая, правдивая, любящая, была дороже всего на свете. Ей принадлежало всё лучшее в жизни. Имела ли Седа Александровна право лишить её отца во имя своих старых обид?

В этот момент рядом кто-то убеждённо сказал:

— Седа Александровна, я понимаю ваше негодование, и вы вполне правы. Вполне!

— Это Серёжа? — спросила Седа Александровна, всматриваясь в темноту.

— Да, — ответил пионервожатый лагеря. — Я вас искал по всей территории. Мы не оправдали вашего доверия. Но я даю слово, что подобный позорный случай больше не повторится.

— Это вы про мальчика, который сорвал гладиолус? Я знаю, что тут простая случайность. Не огорчайтесь.

— Нет, это вопрос принципиальный, — заволновался Серёжа. — Нам доверились, перед нами раскрыли все ворота...

— Да ведь ворот нет.

— Тем более! Я знаю, что в душе вы всё-таки сердитесь. Мы сейчас, перед костром, обсудили этот вопрос. Старшие ребята постановили три дня работать в цветководстве. Необходимо загладить недостойный поступок...

— О, это меня может заинтересовать! А если серьёзно, то что вы сможете делать?

— Всё. Землю рыть, камни таскать, поливать...

— Это мне подходит! — засмеялась Седа Александровна. — Кроме шуток, Серёжа, нам в понедельник привезут корчевальную машину, тогда действительно, вашим ребятам работа найдётся.

— Какие могут быть шутки! Я вам таких ребят доставлю — звери, а не ребята. Ну, побежал... Марочка сагитировала этого профессора, он нам доклад сделает. Большущий костёр разводим... Может, и вы придёте?

— Может быть. Это вам Марочка сказала, что он профессор?

Серёжа не ответил. Он исчез в темноте так же бесшумно и быстро, как и появился. Седа Александровна медленно пошла по дорожке, серевшей в заросли цветов. Потом она вступила в лес и во мраке перешла от сосны к сосне, пока пламя огромного костра не блеснуло ей в глаза. Костёр был разведён посередине открытой лужайки. Седа Александровна осторожно, чтобы не испачкать смолой своё нарядное платье, прислонилась к широкому тёплому стволу.

Отсюда ей хорошо был виден костёр и озарённые светом ребячьи лица. Почти все уже расселись, только некоторые из малышей никак не могли устроиться. Возле них хлопотала Марочка. Она покрикивала на мальчиков, подкатывавших к костру большое бревно, втаскивала на него малышей, оправляла на них платица и, наконец, сама уселась на краешек бревна, торжественно сложив на коленях руки.

«Как она здесь уверенно держится!» — усмехнулась Седа Александровна...

Впрочем, вряд ли было на земле такое место, где Марочка держалась бы иначе. Она всегда находила нужным кого-нибудь опекать, о ком-нибудь заботиться и, таким образом, везде становилась хозяйкой положения.

Седу Александровну заметили. Марочка снова захлопотала, расчищая для неё место. Каро Леонович улыбнулся своей мальчишеской улыбкой, обнажившей его красивые зубы. Но Седа Александровна нетерпеливым жестом остановила рвение дочери, слегка кивнула гостю и осталась стоять у сосны.

К костру вышел Серёжа и сказал ребятам, что с ними проведёт беседу учёный-экономист Каро Леонович Саркисян. Седа Александровна внимательно прислушалась: Серёжа не назвал его профессором, значит это выдумка тщеславной Марочки.

Каро Леонович подошёл к костру, подняв руку не то для приветствия, не то для того, чтоб утихомирить щедрые ребячьи аплодисменты.

— Я поделюсь с вами впечатлениями о поездке в страны Ближнего Востока. Мне пришлось быть там прошлым летом в числе членов делегации нашей республики.

Он повернул голову и, чуть прищурившись, посмотрел на Седу Александровну.

«Ах, так! — подумала она. — Вы, оказывается, были членом делегации. Это, конечно, показатель жизненного успеха!»

Каро Леонович начал свой рассказ с забавного эпизода. Члены делегации ехали по пустыне на автомашинах. У одного из колодцев — оазисов — две женщины, известная артистка и молодая колхозница, Герой Труда, решили немного почиститься от пыли и умыться. Мужчины отъехали подальше и стали ждать своих спутниц. Проходит час, два, а их всё нет. Наконец встревожились, повернули машину обратно — и что же увидели? Огромный табун верблюдов пришёл из пустыни на запах воды. Верблюды окружили колодец и так тесно сомкнули кольцо, что женщины никак не могли выбраться. Им пришлось доставать ведром воду из колодца и поить живых. Они всё черпали и черпали воду и уже выбились из сил, отчаялись, потому что верблюдов было множество и им всем хотелось пить...

Дети у костра смеялись. Седа Александровна смотрела на Марочку. Девочка вся подалась вперёд. На её круглом смуглом личике отражалось восхищение. Иногда она торжествующе оглядывалась — все ли слушают, всем ли интересно — и, удовлетворённая, счастливая, снова обращала к рассказчику глаза.

«Что ж удивительного, — с горечью думала Седа Александровна, — говорить он умеет. Но для чего, для чего после стольких лет полного молчаливого разрыва он явился сюда?..»

Седа Александровна нащупала в кармане измятое письмо. Оно было короткое и без обращения.

«Отдыхая в санатории, я совершенно случайно узнал, что Седа Караян живёт и работает так близко. Презрев золотое правило — не позволять настоящему вторгаться в хрупкие владения прошлого, — я захотел вспом-

нить зарю своей туманной юности. Своим посещением прославленного цветководства я никого и ничем не обязываю...»

Хрупкие владения прошлого! Седа Александровна вспомнила, как родила Марочку в маленькой больнице малознакомого города. Рядом с ней лежала такая же молодая женщина. Родные этой женщины день и ночь дежурили у больницы, её завалили цветами, передачами, письмами. Её крикливому красненькому ребёнку готовили торжественную встречу. А у Марочки с первых дней вились чёрные колечки волос, и вся она была смугленькая, пушистая, спокойная. Но ей никто, кроме матери, не радовался, никто не писал записок с запросами о её здоровье, никто не ждал её у выхода из больницы...

«Но чего я хочу от него? — опять и опять спрашивала себя Седа Александровна. — Разве он знал о существовании ребёнка? Не о своих женских обидах я должна сейчас думать, не свои счёты сводить...»

Костёр уже догорал. Груда раскалённых углей сияла в темноте.

Каро Леонович говорил, оглядывая всех ребят, говорил негромко, но очень отчётливо:

— Эта встреча произошла на одной из маленьких турецких станций, когда делегация уже возвращалась домой. Едва светало, в купе было душно, не спалось, и несколько человек вышли к дверям вагона. На станции никого не было, да и какая это была станция! Несколько глинобитных домиков, несколько искривлённых пыльных деревьев, а кругом — выжженная степь. Все уже собирались вернуться в вагон, но вдруг увидели странную фигурку, — вдоль поезда шёл маленький мальчик, и всех удивило, что он шатался, словно пьяный. Только когда он подошёл ближе, стало понятно, что мальчик спал на ходу. В руках у него были огурцы — большие, жёлтые, несъедобные. Ребёнку так хотелось спать, что у него не было сил предлагать свой товар. Но он всё шёл и шёл по насыпи, шатаясь и спотыкаясь. Когда его окликнули, мальчик не сразу проснулся, он не понимал, чего от него хотят. Но, сообразив, что может продать эти огурцы, весь затрепетал от волнения. Ему дали денег, сказали: «Иди спать, не надо нам ничего», — но он всё торопился вынуть из-за пазухи жёлтые переспелые огурцы. И когда поезд тронулся, он всё бежал за вагоном, протягивая к нам руки...

— А мы в это время спали! — вдруг громко и горестно сказала Марочка.

— Да, — подтвердил Каро Леонович, — вы спали. И для меня было счастьем подумать, что дети Советской страны спокойно спят в этот час.

В лагере резко зазвучал звонок, и тотчас рядом с фигурой Каро Леоновича у костра появился Серёжа.

— Ещё! — кричали ребята. — Ещё немного!.. Десять минут! Минутку!

— Дисциплина, — коротко сказал Серёжа. — Дежурным — залить костёр. Остальные — по спальням.

Нельзя было не подчиниться этим коротким приказаниям...

Седа Александровна вышла на освещённую взошедшей луной узенькую дорожку навстречу Каро Леоновичу и Марочке.

Марочка была взбудоражена.

— Почему вы его не взяли с собой? — требовательно спрашивала она, вцепившись в руку Каро Леоновича. — Он, наверно, хотел есть. Вы должны были взять его с собой в поезд!

— Но, быть может, он не хотел ехать с нами, — серьёзно отвечал Каро Леонович, — возможно, у него на этой станции были родители?

— Родители... — презрительно фыркнула Марочка. — Это что за родители, которые посылают своих детей продавать огурцы! Если родители не могут воспитывать детей, на что ж они нужны?

— Пойдёмте чай пить, — быстро сказала Седа Александровна. — А где этот загорелый товарищ? Он ведь тоже здесь где-то был. Я его хотела позвать к чаю.

— Его уже пригласили, — сообщила всезнающая Марочка. — Его Ирочка пригласила к студенткам. У них сегодня малиновое варенье.

— Да... — засмеялся Каро Леонович. — Малиновое варенье плюс двадцать лет. Как бы мы ни любили малиновое варенье, боюсь, что нам оно уже недоступно...

— У нас есть вишнёвое. А вы, правда, любите малиновое? У нас ещё пирог есть.

— Ну, против пирога устоять невозможно! Идём, найдём, съедим пирог!

Марочка подхватила весёлый ритм, и они, взявшись за руки, в такт отпечатывали шаги по дорожке парка.

— И-дём,
най-дём,
съе-дим
пи-рог...

Седа Александровна шла чуть позади и первая услышала за собой торопливые шаги Серёжи.

— Товарищ Саркисян, — сказал запыхавшийся Серёжа, — я... то есть мы не успели поблагодарить вас за ваш замечательный доклад. От имени нашего лагеря...

— Во-первых, это был не доклад, — строго прервал его Каро Леонович. — Во-вторых, мне вполне достаточно отношения детей к моему рассказу, который вы так своевременно оборвали.

Серёжа растерялся.

— У нас очень строгий режим, — попытался он оправдаться. — Вы знаете, я отвечаю.

— Ах, вы отвечаете! Ну, тогда, конечно... о чём и говорить...

И Каро Леонович с Марочкой снова зашагали по дорожке, пришлёпывая ногами.

— И-дём,
най-дём,
съе-дим
пи-рог...

— За что ты его так оборвал? — вполголоса спросила Седа Александровна, когда они достаточно уже отошли от того места, где остался огорчённый Серёжа.

— Не люблю начётчиков! — сейчас же отозвался Каро Леонович, как будто ожидавший этого вопроса. — К дисциплине тоже надо относиться сознательно. Прежде всего решить вопрос, что важнее: лечь ли детям ровно в установленный час или нарушить на несколько минут режим, но зато дать им возможность узнать новые для себя вещи, которые расширяют их кругозор, вырабатывают миросозерцание. Но, видите ли, «он отвечает» — и с точностью автомата, не задавая себе никаких вопросов, соблюдает свой режим! Ну, сама определи, не прав ли я?

— Насколько я помню, ты всегда прав. Во всяком споре я тебе осталась должна две копейки.

Седе Александровне не хотелось сейчас вступать в пререкания. Так хорошо было идти втроём, испытывая неизведанное ощущение семьи. Это чувство ещё больше усилилось, когда они сидели на веранде домика, уви-того вьющимися растениями. Вокруг настольной лампы металась серенькие бабочки. Тихо звякала чайная посуда. Марочка без умолку о чём-то рассказывала, а Седа Александровна сидела молчаливая и задумчивая.

— Я очень похожа на своего папу, — вдруг услышала она. — Мой папа не любил фотографироваться, и я не люблю. У меня всегда лицо глупое выходит и глаза выпученные. Вот потому, когда он погиб на войне, у нас никаких его карточек не осталось. Только одна, и то он на ней спиной сидит...

— Марочка, иди вымой ноги и ложись спать, — сказала Седа Александровна.

— Ох, мамуль, ну ещё минутку!

— Не заставляй меня повторять два раза.

Марочка медленно вылезла из-за стола и пошла в комнату. Некоторое время она ещё повозилась там, затем крикнула: «Спокойной ночи!» — и затихла.

— Какой у вас здесь воздух! — негромко проговорил Каро Леонович. — Лес, цветы, травы... У меня даже голова кружится. А ты, наверно, привыкла?

— Да, я привыкла.

— Признаться, я не ожидал встретить такое благоустроенное хозяйство. И неужели ты начинала с пустого места?

— Ну, не совсем так...

Седа Александровна прикрыла глаза. Иначе она не смогла бы восстановить в памяти, как выглядел участок много лет назад. Было два гектара парка. Там, где сейчас насажена розовая аллея, лежал ров, заросший цепким кустарником. Шла война. Работники цветоводства, а их всего и было — директор, научный работник и трое подсобных рабочих — женщины, — сами рубили деревья и корчевали пни. На цветочных клумбах сажали картошку и бураки. Марочка была ещё совсем маленькая. Её брали с собой в лес на работу, расстилали на земле одеяло, — там она и возилась с чурками и еловыми шишками.

— Ну вот мы и встретились после стольких лет, — сказал Каро Леонович. — Ты, вероятно, довольна? Ты достигла того, к чему всегда стремилась.

— К чему это я всегда стремилась?

— Как же, директорский пост, самостоятельность! В тебе всегда это было — тщеславие, стремление повелевать...

— Во мне? — Седа Александровна вспомнила себя покорной, любящей девочкой. — И ты это замечал?

— Эх, Седа! — Он встал со стула. — Не будем ворошить прошлое. Это прежде всего невыгодно для тебя.

— Для меня? — с горечью и возмущением переспросила Седа Александровна. — И ты можешь это говорить!

— Могу, — медленно сказал он, глядя на неё сощуренными холодными глазами. — Могу, учитывая возраст твоего ребёнка... Ты довольно быстро перестроила свою жизнь!

«Всё в моей власти!» — быстро подумала Седа Александровна. Она могла бы сейчас же сказать ему: «Да ведь ты же не слепой... Взгляни! У неё твой рот, твоя манера щурить глаза, твои руки...»

Она поднялась.

— Поздно уже. Я провожу тебя...

Комната для гостей находилась в соседнем, тоже закутанном в зелень домике, рядом с канцелярией и бухгалтерией. Седа Александровна тихо постучала — никто не отозвался. Тогда она открыла дверь в чистенькую комнату, где стояли две кровати, столик и на нём неизбежный в этих местах букет.

— Товарищ Коротков, как видно, ещё пьёт чай... — Седа Александровна кивнула на одну из пустующих кроватей.

— Я, вероятно, обидел тебя, Седа... Прости!

— О, какие перемены в характере! Ты теперь иногда признаёшь себя неправым? Не беспокойся. Ты меня не обидел.

— Знаешь, когда я смотрю на тебя, мне даже странно, что прошло столько лет. Ты всё такая же красивая.

— Да! — перебила его Седа Александровна. — Я даже больше чем красивая. Мне это известно. Спокойной ночи!

И она быстро вышла, испытывая горькое чувство разочарования и недовольства собой.

Для чего она надела это нарядное платье? Для чего весь день старалась быть лучшей, интереснее, чем обычно? Надеялась? Надо быть честной — надеялась на простое женское счастье... «Муж» — как много притягательного в этом коротком слове даже для самостоятельных, сильных женщин! Если бы только почувствовать, что он попрежнему дорог, попрежнему нужен. Но этого не было...

Как она гордилась, как восхищалась им в первые годы их совместной жизни! С какой презрительной жалостью относилась она к людям, которые не разделяли её мнения! А таких людей было немало. Почему-то, где бы он ни работал, ему всегда приходилось отражать чьи-то поползновения на его самолюбие, авторитет, влияние, вступать в сложно-враждебные отношения с начальством и сослуживцами.

«Жизнь — это борьба, девочка моя», — объяснял он ей. Она всегда была на его стороне — возмущалась, негодовала, ненавидела его противников. Как хорошо сейчас, с высоты пройденных лет и личного жизненного опыта, видела она, что громкое слово «борьба» не имело никакого отношения к служебным склокам, которые умел создавать этот человек. Но даже потом, когда она понемногу стала постигать сущность его души, любовь заставляла её многое оправдывать и прощать.

Все они тогда были молоды — и Каро, и она сама, студентка сельскохозяйственного института, и их общий друг, бесшабашный, весёлый Гагик Алимян. У них были большие надежды и первые удачи. Скоро должна была выйти в свет книга по экономической географии, написанная совместно Каро и Гагигом. Гагик придумал и сам вычертил остроумные диаграммы, Каро распределил материал со свойственным ему блеском. Было трудно определить, кто сделал больше и чей вклад значительнее. На обложке будущей книги должно было стоять: «Г. Алимян, К. Саркисян».

После того, как книгу сдали в типографию, Гагик как будто потерял к ней интерес. В его беззаботной голове уже рождались новые планы и проекты. Не дождавись выхода книги, он умчался в какую-то командировку.

Каро аккуратно ходил в типографию. Раза два Седа по его просьбе готовила закуску, покупала вино, и он уносил это для рабочих, занятых набором и вёрсткой книги.

— Надо же подбодрить людей, проявить к ним внимание, — объяснял он.

В самый последний момент, перед печатанием тиража, Каро Леонвич изменил алфавитный порядок фамилий, обеспечивающий равенство авторов. Каждый мало-мальски искушённый человек мог теперь понять, что К. Саркисяну, проставленному на обложке впереди Г. Алимяна, принадлежит основная часть труда.

Каро принёс домой первый экземпляр книги. Седа не обратила внимания на распорядок фамилий. Она завизжала от восторга и затанцевала по комнате. Тогда он сам ей сказал:

— Посмотри на обложку.

Она не поняла.

— Обрати внимание на порядок фамилий...

— Ой, неудобно! — воскликнула Седа. — Как это получилось?

— Я сам это сделал. — Он был абсолютно уверен в её полной подчинённости.

— Ты? — удивилась она. — Для чего? И как ты теперь посмотришь Гагику в глаза?

— Мне будет неприятно один час, а книга — останется.

— Вон что! Но если бы Гагик это сделал?

— Ну, знаешь, — сказал он с усмешкой, — есть такая классическая поговорка: «Что можно Юпитеру, того нельзя быку...»

— Это подлость!

— Это справедливость: я работал больше.

— Нет. Это подлость.

Он молча стал укладывать свои вещи в чемодан. Седа не могла поверить, что он уходит, не могла себе представить, как она будет жить без него. Теперь ей было стыдно вспомнить, как она отнимала у него чемодан, умоляла остаться, поговорить, обсудить...

— Где начинается критика — там кончается любовь, — сказал он на прощание.

Мучительно было вспомнить и то, как она его ждала, — напряжённо, нервно прислушиваясь к каждому шороху за порогом своей комнаты. Сна не выходила из дома — боялась, что он придёт без неё. Каждый телефонный звонок тревожил её сердце.

Потом Седа Александровна узнала, что у неё будет ребёнок. Это стало её торжеством, её мстью, её надеждой. «Вот ты покинул меня, а я ношу твоего ребёнка. Я его сама воспитаю, выращу, и тогда ты поймёшь, какая я стойкая, мужественная...»

А жизнь была трудной и одинокой.

Она сдала государственные экзамены гораздо хуже, чем от неё ждали. Исчезла надежда остаться при институте, и Седа поехала по назначению — в Гюликендское цветоводство.

«Пусть он даже не знает, где я», — думала она, хотя Каро не делал никаких попыток повидаться с нею.

В годы войны, в одну из своих командировок, Седа увидела его на улице города. Он шёл в военной шинели, обросший бородой, прихрамывая и тяжело опираясь на палку. «Ранен», — с острой болью подумала она. И тут же от знакомых узнала, что он даже не был призван в армию, работал консультантом в каком-то военизированном учреждении и хромал из-за простудной болезни, да и в ту люди мало верили. «Ведь нельзя же так! — думала Седа Александровна. — И неужели нет у него близкого человека, который сказал бы ему, что это стыдно...»

На ступеньках терраски кто-то сидел. Глаза Седы Александровны, привыкшие к темноте, различили парусиновый пиджак и белую фуражку Григория Ефремовича.

— Вот не сплю, — сказал он.

— Хотите чаю? — Седа Александровна тоже присела на ступеньку пониже.

— Чаю не хочу, — ответил Григорий Ефремович. — Меня вот что интересует — мы опять будем возить детей в школу на бричке?

— Если купим вторую машину, будем возить на машине. — Седа Александровна не удивилась несвоевременности вопроса. За годы совместной работы она изучила казуистически-изворотливое мышление своего бухгалтера.

— А Марочка? — спросил он.

— И Марочка, как другие, — ответила она. — В чём дело?

— Такой способный ребёнок! — В голосе Григория Ефремовича прозвучала горечь. — У неё дарование... Ей в городе надо учиться.

— Гюликендская школа хороша для всех детей — хороша она и для Марочки.

— Седочка, — сказал старик, — ну, это так. А дальше? Марочка растёт...

«Он знает!» — подумала Седа Александровна и сразу приняла свой защитный беззаботно-иронический тон.

— Она растёт, мы стареем. Но ничего не переменится, Григорий Ефремович.

— Летом, конечно, — не унимался старик. — А зимой? Ни театра, ни развлечений — ветер воет, лес... Марочку надо на инструменте учить играть.

— Что же делать, Григорий Ефремович, дорогой мой? — тихо спросила Седа Александровна.

— Седочка... Очаг — великое дело. Во всём порядок должен быть. Ты молодая, красивая. Всё одна. А тут и помощь тебе будет.

— Ох, Григорий Ефремович! Обошлись мы в войну, когда я сахару ребёнку не могла купить. Самые трудные годы пережили, а уж теперь мне ни от кого помощи не надо.

— А ты всё-таки подумай. Ты ребёнка не обездоливай.

— Чем я её обездоливаю? — вспыхнула Седа Александровна. — Чего ей не хватает? Всё у неё есть, всё у неё будет.

— Гордишься очень, — строго сказал Григорий Ефремович поднимаясь. — Конечно, имеешь право. Но — нехорошо!

Он не дождался ответа, ещё постоял немного и зашагал к себе.

В комнате, тёплой и душной после ночной свежести, Седа Александровна сбросила с себя платье, швырнула его прямо на пол, стряхнула с ног туфли и долго лежала без сна, прислушиваясь к тихому дыханию Марочки.

В Гюликендское цветоводство солнце приходит с запозданием. Сперва оно появляется на верхушках гор. Потом длинный луч падает в ущелье — и сразу наступает утро.

— Нет, это совсем не то, что вам надо, — говорила Седа Александровна, стоя на дорожке. — Совсем, совсем не то! Придётся всё менять.

Просматривая бумаги, соединённые канцелярской скрепкой, она пошла вперёд, а за нею покорно зашагали Григорий Ефремович и юный товарищ Коротков. Выполняя первое ответственное поручение в своей жизни, товарищ Коротков выбирал осторожно, придирчиво всё самое лучшее и сейчас в поведении директора усматривал какой-то подвох.

Бухгалтер, который до сих пор во всём ему помогал, теперь явно избегал взгляда своего клиента.

Седа Александровна уселась на скамеечке под высоким кустом. Она посмотрела на покупателя и покачала кудрявой головой.

— Ну, для чего вам гладиолусы? Вам нужно окаймление для степного канала. Верно? Побольше зелёного массива да побыстрее. Мы вам дадим декоративный барбарис и вот эту многолетнюю ромашку — посмотрите, какая красавица! — Седа Александровна притянула к себе куст, усеянный множеством цветов. — Потом возьмите флоксы, белые, розовые и малиновые. Хлопот с ними никаких. И будет у вас прекрасная гамма: зелёное, белое, малиновое. На бордюр — синий барвинок. А что вы тут набрали, — она небрежно надорвала счёт, — розы, гладиолусы, — вы с ними намучаетесь, а эффекта не будет. Вам ведь надо пространство осваивать, я знаю.

— Пространство — это, конечно, правильно... — нерешительно бормотал товарищ Коротков. Он не мог так быстро расстаться со своей мечтой.

Прямо ему в лицо заглядывал цветок с остроконечными закрученными лепестками, дальше покачивались двухцветные шары, похожие на развёрнутые китайские бумажные игрушки.

— Верно, хороши! — сказала Седа Александровна, перехватив его взгляд. — А вот как придётся вам их на зиму выкапывать да в специальный грунт, да зацветут ли они ещё в первый-то год!

Она поднялась, взяла юношу под руку и повела его по дорожке, совершенно не обращая внимания на Григория Ефремовича, который с каменным лицом сел на её место и поднял надорванный счёт.

— Ну, конечно, он теперь не устоит! — услышал бухгалтер весёлый голос Каро Леоновича. Гость стоял у скамейки и с улыбкой поглядывал на аллею, по которой Седа Александровна уводила товарища Короткова. — Теперь уж она поставит на своём, — ещё раз подтвердил он, усаживаясь рядом с Григорием Ефремовичем. — И вот ни вы со своей бухгалтерской непоколебимостью, ни этот решительный юнец сделать ничего не сможете.

— А вы можете? — вдруг колко и язвительно спросил Григорий Ефремович. И, как будто чего-то испугавшись, добавил: — Она всегда делает по-своему...

Он внезапно вскочил со скамейки.

— Полбуйтесь, пожалуйста, ходят, как по своим собственным владениям! Что надо? Сидели бы у себя в парке, дышали сосной. Им полезнее, нам спокойнее...

Загорелый малыш в одних трусиках и две девочки в сарафанчиках с бантиками шли к скамейке...

— Дядя Григор, где Марочка?

— Не видел и не знаю. На что вам Марочка? Она вам не пара. Идите к себе — вон у вас там мяч гоняют. Ах, как интересно! Ну, пошли, пошли...

— Нам надо Марочку, — упрямо сказал малыш, а девочки закивали бантиками.

— Марочку надо...

По дорожке торопливо шла Седа Александровна.

— Григорий Ефремович, я вас очень прошу, вы уж там оформите поскорее новый счёт.

— Да! — сказал Григорий Ефремович. — Вам, конечно, безразлично, что сумма заказа уменьшается почти на тридцать процентов... И потом, знаете, эта игра на личном обаянии — не деловой подход. Так мы с вами финансового плана не выполним.

— Какое обаяние, Григорий Ефремович! Мальчик мне в сыновья гонится. Переделайте счёт, через два часа он уезжает.

Дети в сторонке терпеливо ожидали конца разговора. Теперь их было уже пятеро.

— Седа Александровна, где Марочка?

— Не знаю, ребятки, я её сама с утра не видела.

Она села рядом с Каро Леоновичем, вертя в руках голубой цветок необычайно красивого оттенка.

— Как ты спал? — спросила она. — Хорошо? И позавтракал уже? Там всё было приготовлено.

— А вы рано встаёте. Я думал, что поднялся раньше всех... Что у тебя за цветок?

— Незабудка. Можешь мне не говорить, что это род травянистых, семейство бурачниковых. Я это проходила.

Он засмеялся.

— Мне, видно, и здесь не прощают моих знаний, вернее — моей памяти.

— Нет, это называется «эрудицией», — колко сказала Седа Александровна.

Но этот человек был её гостем, и, чтобы загладить свою резкость, она быстро заговорила о другом.

— По теории нашего научного работника Секояна есть цветы, которые волнуют воображение каждого человека. Например, ландыши, незабудки, ромашки. Может быть, у каждого с ними связаны воспоминания детства или юности. Когда мы вывели эту крупноцветную незабудку, то назвали её «Отрада сердца».

— Забавно! А эти как у вас классифицируются? — Каро Леонович кивнул на георгины.

— Это «Утеха глаза», — рассмеялась Седа Александровна. — Ты какие предпочитаешь?

— Да, пожалуй, вот эти, пышные... У меня ведь мало воспоминаний, особенно — приятных. Ты знаешь мой характер, он почти не переменился. Мне трудно с людьми, вернее — им трудно со мной, — поправился он. — Хотя я понимаю: в конце концов, скорпион не виноват в том, что он скорпион, так же как у розы нет заслуги в том, что она роза. Мне легче всего с детьми. Ты могла вчера убедиться, что дети меня понимают.

— Дети доверчивы, — задумчиво проговорила Седа Александровна.

— Дело не в этом, — отмахнулся он. — В определённом возрасте чувствуешь потребность следить за ростом человеческой души, направлять её развитие, влиять на её формирование. Это ведь в своём роде творчество — создавать человеческий характер. Хорошо, что у тебя есть ребёнок...

Седа Александровна собиралась перебить этот разговор, но тут к ним подошёл пионервожатый Серёжа. Он поклонился и, стараясь не смотреть на Каро Леоновича, сказал голосом, в котором звучали трагические нотки:

— Седа Александровна, где Марочка?

— Честное слово, Серёжа, я не знаю...

— Вы понимаете, человек взял на себя обязательство всю неделю заниматься с малышами. В расчёте на это я составил план работы. Сегодня у меня экскурсия на сырзавод. А куда я этих дену?

Вокруг большой клумбы с анютиными глазками расселись малыши. Теперь их было уже не менее пятнадцати.

— Куда же она могла деться?

— Мне кажется, что я сумею пролить некий свет на это обстоятельство, — лениво проговорил Каро Леонович. — Дело в том, что я совершенно невольно подслушал разговор двух молодых особ. Они, если не ошибаюсь, собирались в экскурсию за малиной. Одну из юных леди звали Шушкой.

— Это безобразие! Что ж, Марочка забыла, что ли?

— Ну, забыла! — Серёжа махнул рукой. — Мы ещё вчера вечером уговаривались...

— Давайте сделаем так: я пушу ребят в пряничный домик, дадим им старый гербарий, коллекцию бабочек. Наконец, работой их займём — пусть семена перебирают. Они ничего особенно не испортят?

— Ручаться нельзя, — мрачно сказал Серёжа, — но можно сделать строгое внушение.

— Вот, вот! Вы сделайте строгое внушение и отведите их. А Марочке я на вашем месте объявила бы выговор на линейке.

Серёжа недоверчиво посмотрел на Седу Александровну. Выговор перед всем лагерем — это было серьёзным делом.

— Она, собственно, не в нашем лагере. Она -- по доброй воле...

— Какая разница? Марочка — пионерка!

— Так-то оно так... — мялся Серёжа. Хотя он был очень сердит на Марочку, предложение Седа Александровны ему не нравилось.

— Я сама поговорю с ней, — твёрдо сказала Седа Александровна.

Малыши скучали без Марочки. Она умела рассказывать сказки. Она устраивала спектакли, где актёрами были цветы: роза — Золушка, гладиолус — принц, растрёпанный рыжий георгин — злая мачеха. Но пряничный домик — избушка на границе леса и сада — это было тоже интересно, главным образом потому, что туда не всегда пускали. Там жили чучело совы и гадюка в банке.

Устроив детей, Седа Александровна снова вернулась в аллею георгинов. Каро Леонович всё ещё сидел на скамеечке. Неподалёку от него загорелая дочерна женщина полола клумбу.

— Вануи, — окликнула женщину Седа Александровна, — где твоя Шушик?

Лицо Вануи расплылось в сладкой улыбке.

— В лес за малиной она пошла, с Марочкой... Марочка сказала: «Принесу малины — варенье сварим, гостя угощать будем, мама обрадуется...»

— А в чём дело? — спросил Каро Леонович. — Что ты волнуешься? Девочка пренебрегла общественными обязанностями только для того, чтобы сделать удовольствие тебе — самому близкому человеку. Это надо ценить.

«С ним трудно спорить, потому что в его доводах всегда есть какая-то маленькая противная правда», — подумала Седа Александровна.

— Хочешь, посиди здесь, а я пойду на новые участки...

Но он пожелал итти с нею, не замечая ни её сдвинутых бровей, ни её молчаливости.

В оранжерее весело щебетавший с практиканткой Армо Секоян тотчас повернулся к ним спиной и умолк.

На новом участке, где рабочие валили лес, Каро Леонович продемонстрировал несколько новых, усовершенствованных способов рубки.

— Ведь по моему методу лучше? — спрашивал он рабочих.

— Уж, конечно, должно быть лучше, — пересмеиваясь, отвечали лесорубы и продолжали рубить по-своему.

На границе леса и парка Седу Александровну ждал всё ещё сердитый Григорий Ефремович с аккуратной папкой в руках.

— Спасибо, Григорий Ефремович, — тихо проговорила она, подписывая счёт.

Бухгалтер сухо сообщил:

— Им надоело, и они высыпались из пряничного домика, как горох. У махаонов оторваны крылья, и опрокинута банка с клеем.

— Могло быть хуже, — вздохнула Седа Александровна. — А где они теперь?

— Пришла воспитательница и забрала их на свою территорию.

Григорий Ефремович умолчал о том, что сам бегал в лагерь за воспитательницей.

— Это всё Марочка виновата.

— Марочка вернулась. Сильно поцарапала руку. Ей сделали перевязку.

Седа Александровна не выразила никакого волнения.

— Товарищ Коротков просил машину к трёхчасовому поезду.

Они уже были на центральной аллее, когда Седа Александровна увидела Марочку. Девочка шла, помахивая корзинкой. Марлевая повязка на руке свежестью и белизной подчёркивала беспорядок в её одежде. Растрёпанные чёрные косички были кое-как связаны скрученной ленточкой, а пёстрое платье измято и даже разорвано.

«Она, конечно, успела бы переодеться, — подумала Седа Александровна. — Это всё демонстрация: вот, посмотрите, какой я трудный поход совершила!»

Марочка подошла к матери и, протянув ей корзиночку, сказала чересчур весёлым голосом:

— Мамуль, взгляни, какая крупная малина. Только мало...

Седа Александровна видела, что девочка хитрит; чувствует себя виноватой, вот и решила встретиться с матерью на людях, чтобы смягчить первый, самый трудный момент объяснения.

— У нас было столько приключений! — заговорила Марочка с деланным оживлением. — Мы думали, что в малиннике медведь...

Но глаза матери смотрели строго, и голосок девочки задрожал, затих.

— Иди, приведи себя в порядок и подожди меня.

Когда Марочка — жалкая, с опущенными плечиками, волоча корзинку, — скрылась за соснами, Каро Леонович сказал внушительно:

— Конечно, я не мог сейчас вмешиваться. Но, по-моему, ты поступила неверно. Если бы я имел право...

Седа Александровна вдруг резко обернулась и рассмеялась ему в лицо, блестя своими яркими глазами и зубами. Это было так неожиданно, что Григорий Ефремович выронил из рук папку. Она быстро подняла её, сунула ему в руки и побежала домой.

На веранде у стены неподвижно стояла Марочка и угрюмо смотрела в одну точку.

— Тебя целый день ждали дети. Тебе это известно? — сухо спросила Седа Александровна.

— Известно, — вызывающе ответила Марочка, взглянув на мать прищуренными глазами. — Я с ними и так много вожусь каждый день. А сегодня не смогла.

— Почему это?

— У меня было более важное дело.

— Пошла в лес для собственного удовольствия?

— Не для своего, а для твоего. Он вчера грустно сказал: «Малиновое варенье нам недоступно». А сегодня мы с ним вместе обсудили и решили, что тебе это будет приятно.

— Ну, мне ты удовольствия не доставила, а Серёжа был в затруднительном положении.

— Серёжа — начётчик.

— Что? Что ты сказала? Дрянная девчонка!

— Мамочка, не кричи на меня... Не кричи на меня, пожалуйста! — отчаянно завизжала Марочка.

«Ну, что мне делать? Ну, какие мне слова найти? — с горечью думала Седа Александровна. — А ведь он нашёл бы слова, много красивых, разноцветных слов...»

Она крепко прижала к груди круглую головку девочки и сказала, стараясь быть совершенно спокойной:

— О чём ты плачешь? Давай всё обсудим вместе.

— Давай! — сейчас же благодарно всхлипнула Марочка.

— Ты себя чувствуешь сейчас совсем, совсем правой?

Марочка молчала.

— Нет, ты скажи, — настаивала Седа Александровна. — И в сердце ты себя чувствуешь правой?

— Нет... — прошептала девочка.

— Ну, тогда утром, при подъёме флага, ты встанешь перед линейкой и сама скажешь об этом всем пионерам. И пусть на тебя наложат взыскание.

— О-о-о! — простонала Марочка. — Я не могу... Мамочка, а нельзя что-нибудь другое? Пусть я целое лето не буду играть в волейбол.

— Нет.

Наступило молчание.

Седа Александровна выжидала. Она видела сейчас в Марочке равнодушие к окружающим, эгоизм, самомнение — всё, что ей было ненавистно в отце её ребёнка.

— А малыши искали меня? Скучали? — вдруг охрипшим от слёз голосом спросила Марочка.

По правилам их маленькой семьи наказание исчерпывало вину и после вынесения приговора уже нельзя было ни сердиться, ни дуться. «Ах, ты, мой маленький, тщеславный дитёнок!» — подумала Седа Александровна...

— Они ужасно скучали. Ходили по всей территории и ко всем пристаивали: «Где наша Марочка?»

— У-у-у, мои мордашки! — удовлетворённо засмеялась девочка.

За окном темнели деревья подступающего к дому леса. Воздух дрожащими струйками поднимался к горам.

— Сед-Ксандровна-а-а!.. — кричал чей-то голос.

— Это Вануи тебя зовёт, — сказала Марочка.

Коричневое лицо Вануи заглянуло в окно.

— Там человек должен ехать. Геворк спрашивает: или за хлебом ему гнать машину, или человека везти?

Седа Александровна посмотрела на свои ручные часики.

— Он ещё двадцать раз успеет за хлебом съездить! Скажи — я сейчас приду.

— Мама, — мечтательно произнесла Марочка, — а когда дядя Каро уедет, мы ему огромный букет нарежем. Хорошо? Как писателю, что в прошлом году приезжал. Из одних роз и гладиолусов. Да, мамуль?

«Вот таким он и останется в её памяти — умным, замечательным человеком, — с тоской говорила себе Седа Александровна, шагая по своему маленькому кабинету при канцелярии. — Когда-нибудь она спросит: «Почему ты меня лишила такого отца?» Что я ей скажу? Ничто не будет убедительным. В детстве впечатления так ярки. Она вспомнит его остроумие, его рассказ у костра... А ведь он, вероятно, не был участником этой делегации, так же как не был солдатом, так же как не стал учёным. Всю жизнь — в чужой шинели. Стыдно быть его дочерью!»

Мимо окон канцелярии прошёл товарищ Коротков со своим чемоданчиком. Студентки, провожавшие его, несли огромный букет — непременная дань каждому посетителю Гюликендского цветоводства. Весело подпрыгивая, прошёл Серёжа.

— Как это вы без своей свиты? — окликнула его Седа Александровна.

— Мёртвый час, — коротко ответил старший вожатый.

Седа Александровна облокотилась на подоконник.

— Серёжа, ведь вы корреспондент республиканской пионерской газеты? — медленно проговорила она. — Я думаю, хорошо бы написать заметку о вчерашней беседе у костра. «Рассказ участника делегации»... Как вы полагаете?

— Я хотел, — твёрдо соврал Серёжа, который вовсе и не помышлял об этом. — Но при таком отношении ко мне со стороны товарища Саркисяна что можно сделать?

— Ерунда! Мы его уговорим. Пойдёмте...

Она знала, что Марочка сейчас обязательно где-нибудь около Каро Леоновича. Так оно и было. Они сидели рядом на зелёной скамеечке у въезда в цветоводство, и Марочка крепко держала его за руку.

Отсюда широкая дорога уходила в лес. Товарищ Коротков уже держал в объятиях свой букет. Девушки стояли рядом и записывали его адрес в свои блокноты.

Седа Александровна села на край скамейки, а Серёжа, набравшись храбрости, изложил своё дело.

Каро Леонович, казалось, забыл своё вчерашнее негодование и был настроен благодушно и доброжелательно.

— Отчего же, — сказал он. — Я сам напишу заметку в вашу стенгазету.

— Речь идёт не о лагерной газете, — пояснила Седа Александровна, глядя на дорогу. — Серёжа — корреспондент республиканской газеты.

Каро Леонович помолчал.

— Это неудобно, — сказал он потом.

— Почему? — быстро спросила Седа Александровна.

— Самохвальство. Неприлично. И ещё тысяча причин.

Теперь Седа Александровна твёрдо знала, что он не был на Ближнем Востоке.

— Никакого самохвальства тут нет...

— В общем, не стёбит, — лениво проговорил Каро Леонович.

— Стёбит! — умильно сказала Марочка. — Про вас в настоящей газете будет напечатано.

— Мне только надо некоторые данные и чтобы вы заверили информацию, — объяснил Серёжа.

— Видите ли, такие материалы не подлежат опубликованию...

— Нет, — сказала Седа Александровна, чтобы не дать ему никакой лазейки, — они публикуются. Но, может быть, ты не был в этой поездке?

Она всё смотрела на дорогу, но почувствовала, как сразу притихла и напряглась Марочка, ожидая его ответа.

Каро Леонович рассмеялся, и сразу же облегчённо расхохоталась девочка.

«Пусть я ошиблась, — сказала себе Седа Александровна. — Пусть! Может быть, это даже и лучше...»

— Ты был в этой поездке?

— Какое это для тебя имеет значение?

— Был или не был?

Каро Леонович перестал смеяться.

— Если ты так настаиваешь, допустим — нет, не был. Но что от этого меняется?

— Значит, вы лично участником делегации не были? — с недоумением спросил Серёжа и закрыл свою записную книжку.

— Мой юный друг! Жюль Верн никогда в жизни не покидал своего кабинета — разве от этого вы его читаете с меньшим интересом?

— А мальчик? — вдруг упавшим голосом спросила Марочка. Она даже невольно протянула руки вперёд, как будто хотела удержать полюбившегося ей турецкого мальчика.

— Мальчик был, — страдая и за неё и за себя, сказала Седа Александровна. — Его видел другой человек. Он всё подробно рассказал Каро Леоновичу...

Марочка посмотрела на Каро Леоновича растерянными глазами.

— А как же вы были счастливы, что мы спим? Вы говорили, что подумали про нас!

— Это не он подумал, — горько усмехнулась Седа Александровна. — Это тоже другой человек подумал...

В это время шофёр Геворк подкатил серенькую «Победу», всю утыканную георгинами.

У дорожки показался Григорий Ефремович. И он пришёл проводить своего клиента.

Товарищ Коротков открыл багажник и деловито пристроил в нём свой маленький чемодан.

— Надо проститься,— сказала Седа Александровна, нарушив молчание на зелёной скамеечке.

— А знаешь, что мне пришло в голову? — беспечно проговорил Каро Леонович, поднимаясь с места.— Не воспользоваться ли и мне этой машиной? Подождите минутку, я тоже еду с вами, только портфель возьму! — крикнул он шофёру.

Товарищ Коротков изобразил на лице горесть и уныние.

— Теперь не пишите мне, девушки... Некому будет ваши письма получать. Я всё равно засохну в дороге от сознания своего ничтожества...

Девушки хохотали. Марочка стояла около матери — тихая и строгая.

Каро Леонович не задержался. Он прибежал со своим красивым жёлтым портфелем, перетянутым широкими ремнями.

— Спасибо тебе за гостеприимство, — сказал он, целуя руку Седе Александровне.

Кивком головы Каро Леонович попрощался со старым бухгалтером и, не заметив протянутой марочкиной руки, торопливо влез в машину. Маленькая смуглая ручка — по форме пальцев и по рисунку ногтей точный слепок с его собственной руки — повисла в воздухе и упала на синее полотно платья. Седа Александровна обхватила Марочку за плечи и прижала к себе.

Они обе смотрели, как уходила серая машина, поднимая за собой клубок пыли. Потом стала видна только пыль. Потом — ничего.

Седа Александровна обернулась и увидела Григория Ефремовича. Он смотрел на неё внимательными, испытующими глазами.

Крепко прижимая к себе Марочку, она сказала ему без улыбки, очень твёрдо:

— Так лучше.



М. ПРИШВИН

★

КОРАБЕЛЬНАЯ ЧАЩА

*Повесть-сказка **

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Красные Гривы

Глава 18

В самом начале половодья у охотников есть ещё время вздремнуть между вечерней зарёй, когда на воде уже и утку не видно, и до утренней, когда ещё в полной темноте запеваает глухарь.

Решено было идти на Красные Гривы, на большой глухариный ток, а перед этим несколько часов хорошенько поспать.

Любоваться и отдыхать душой можно было каждому, глядя, как Мануйло укладывал в шалаше детей своего друга. Не у каждого из нас был отец таким товарищем, как сделался Мануйло этим совершенно чужим ему детям.

Или бывают люди — всем детям отцы?

Мы знаем, как собаки открывают невидимую им дичь в траве, и мы эту способность называем чутьём. Но как назвать у людей подобную способность угадывать в душе другого человека самое главное, самое для него нужное?

Называют эту способность вниманием, но в этом чудесном слове не хватает немного чего-то, чтобы выразить самое дорогое, самое великое. Разве сказать — любовь? И тоже — назовут, а вслед за словом спрашивают: а что такое любовь?

Скорее всего, люди ещё не дошли до того, чтобы словом называть то самое дорогое, самое великое, чем, может быть, и держатся они сами на свете.

А чтобы не ошибаться и попусту не тратить дорогие слова, я называю эту способность тоже чутьём и людей таких, самых хороших, называю ч у т к и м и.

У нас в прошлом был такой чудесный дедушка, великий охотник и горячий друг всем ребятам. Однажды вышло так, что час, решающий в природе, охотничий час, как раз совпал с часом, решающим в школе: подошли экзамены.

Тут Миша и выкинул свою самую скверную штуку: он, никому не сказав, потихоньку, от экзаменов, ушёл из города к дедушке. Старик, увидав внука, очень обрадовался и, ни о чём не спросив, увёл его на охоту в леса и на озёра.

Недели две они так счастливо жили.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

А в школе внимание тоже направлено было целиком на большое дело экзаменов. А что Миши нет, так думали, он к родителям ушёл и отрезан половодьем. И родители думали, он в городе отрезан от нихолой водой.

После сколько беды из-за дедушки вышло, и из-за того только, что он, любя детей и охоту, не обращал внимания на то, что Миша есть Миша, а не какой-нибудь Саша.

Такой был Мануйло: всем детям — товарищ и друг, сто раз отец, но только не родной, заботливый; при всей его радости жизни и даже внимании к детям, любви, может быть, не хватало такой чуткости родного отца, чтобы сразу понять и схватиться за то самое главное, из-за чего они и явились на свет.

Об этом на охоте он даже почти что забыл...

Когда все улеглись и хорошо согрелись под сеном, перед сном захотелось поговорить, и Митраша спросил:

— А что это — Красные Гривы?

Мануйло повёл свою речь о Красных Гривах издалека.

— Бывает, — сказал он, — идёшь, идёшь по тёмному лесу с утра до ночи, переночуешь и опять идёшь, и опять переночуешь и опять всё идёшь и идёшь...

Вот какие наши леса!

Дня три так пройдёшь в долгомошниках и в борах и ничего даже не увидишь, не услышишь: ни глухаря, ни рябца.

Ты не бывал в таких лесах, ты спросишь: а где же вся птица?

И я тебе отвечаю: все глухари улетели на ток, на большой ток в Красных Гривах.

Вот какой ток на Красных Гривах, там птицы хватало на всех охотников.

С вечера глухари прилетают с разных сторон. Красные Гривы большие, глухари собираются кучками в разных местах — там больше, там меньше.

Каждый глухариный охотник ещё по весеннему снегу, по насту на лыжах выходит искать себе ток.

Каждое утро поёт глухарь, и каждое утро свет прибывает, и глухариная песня становится всё дольше. Каждое утро шея у глухаря больше раздувается.

Время придёт — и глухарь шею себе наиграет, а в шее-то у него вся певчая сила. Когда шею себе глухарь наиграет, он с тока не улетает, а падает на снег с дерева и уходит по снегу, оставляя следы.

Охотник идёт на лыжах до следа и по следу в пяду, приходит к тому самому дереву, где утром глухарь пел.

Охотник приходит по следу прямо на певчий помёт... Спите, ребята?

— Ну, вот ещё! — ответил Митраша.

— Хотите спать или ещё поманить?

— Мани, мани, Мануйло! — сказал Митраша.

— А где спят глухари? — спросила Настя.

— Умница! — сказал Мануйло. — Спят они диковинно. Вечером, ещё засветло, они прилетают на ток и рассаживаются по деревьям.

Случалось, вечером налетят раньше времени и застанут тебя на свету.

Что делать?

Прижмёшься к дереву, а они прямо у тебя над головой рассядутся. Что тут делать?

— А если тихонько уйти? — спросила Настя.

— Нельзя, красавица, нельзя даже и кашлянуть: весь ток разлетится.

— Что же делать? — спросил Митраша.

— А только стоять, — ответил Мануйло, — стоять и дожидаться, пока не уснут.

— Как же это узнать?

— Слушать надо. Стоишь и ждёшь, и становится в лесу всё слышней и слышней. Капелька капала с дерева на лужу, а то начала стучать. Вот когда со всех сторон капли стали по лужам стучать, начинают похрапывать и глухари.

— Ну, это сказки! — отрезал Митраша.

— Сам раньше не верил себе, а после понял: храпят, просто, как люди, храпят. Спят они головой в перья и дышат. Воздух играет пёрышками, и оттого кажется нам, будто птица храпит. После глухарей я дома кур стал слушать, и куры, бывает, тоже храпят, все птицы спят и во сне похрапывают.

Вот когда услышишь, как и тут и подальше, пока слуха хватит, спят глухари, храпят, — сам тихонечко начнёшь отходить от своего дерева, чтобы их не разбудить: на пятках идёшь больше, и так пятюгать, пятюгать, пока их будет не слышно. Да так и уйдёшь и переночуешь у своего огонька... Спите, ребята? — остановился Мануйло.

Митраша и Настя вместе в один голос сказали:

— Мани, мани, Мануйло.

— А дальше и ничего, — ответил Мануйло, — вы это знаете, как подходят к глухарю под песню.

— Да, — сказал Митраша, — глухари поют везде одинаково.

— Конечно, — ответил Мануйло, — поют одинаково, а как вот у вас утки то же самое — чёрные, белые, пёстрые?

— Те же утки, — ответил Митраша, — только у нас не так много.

— И селезни шваркают?

— Как и у вас, шваркают.

— И крякуши подзывают?

— Крякают.

— А можешь ты, как глухарь, чуфыкнуть?

— Могу чуфыкнуть, и бормотать могу, и тётёркой квохтать.

— И ухать можешь, как бык водяной?

— Ещё бы!

— И волков подзывать?

— Конечно, могу: завою, и мне откликнутся все, и я их сосчитаю, я даже одного сам убил, и волк был страшный, его у нас звали Серым помещиком.

— Кто же тебя всему научил?

— Да я же тебе говорил: мой отец был лесником.

— Да, помню, — ответил Мануйло, — он где-то у тебя пропадает за Пинегой. У меня отец был тоже полесником. А твой дедушка кто?

— Дедушка мой, Антипыч, был тоже лесником, и, говорят, он знал правду истинную.

— Что ты говоришь!

— Не я говорю, а люди говорят, и будто бы он, когда умирал, то правду истинную перешептал собаке своей Травке, и эта собака Травка потом вытащила меня из болота.

— Это бывает, — ответил Мануйло, — собака — это истинный друг человека.

Тут Мануйло ясно вспомнил свой разговор в лазарете с другом своим о правде и, вспоминая, непременно бы скоро догадался подумать и спросить себя: не он ли и был тем самым отцом, кого теперь ищут ребята?

И что бы тогда это было!

Митраша мыслью своею ходил кругом около самого главного, а Настя умным сердцем своим почуяла что-то в Мануйле такое хорошее, будто он

им был тоже отец, только не свой родной, а какой-то общий: всем детям отец.

Мануйло всегда засыпал так, что пережитое за последнее время располагалось как бы пирогами на вертящемся тихо круглом столе. Подойдёт это «что-то» — ещё неясная, неконченная мысль — к нему пирогом, и он ткнёт пальцем в пирог и говорит:

— Катись дальше, ты ещё не поспел!

И стол, медленно двигаясь, уносит этот пирог, и подкатывает другой.

И так это было всегда: Мануйло не заставлял себя убиваться над думой и каждую новую мысль отводил от себя, как отводит сеятель заботу о зерне, когда оно бывает брошено в землю.

Подкатил сейчас к нему на столе и тот пирог с правдой, как он был начат когда-то в лазарете.

«Поспел!» — хотел крикнуть Мануйло.

Но стол вдруг перестал вертеться, и Мануйло уснул.

Вот так точно и вы, и я, и ты, мой друг дорогой, и все люди на всём свете живут: близенько правда о друге твоём, возле тебя стоит, только бы руку протянуть — и человек был бы спасён.

Так и Мануйло: сейчас был близок к правде, ещё бы одно мгновение, и он соединил бы в себе отца с детьми, он уже хотел спросить даже Митрашу о том, как звали его отца, и тут сразу бы открылся путь к нему, и сам бы он непременно отвёз их туда, в Корабельную чашу, за Пинегой, возле Мезени.

Бывает у нас в жизни такое одно мгновение, и его надо схватить, когда оно близко проходит. Когда упустишь его и поймёшь, то в горе хочется на всё махнуть рукой и жить как придётся... Один только свет остаётся, одна надежда на то, что чудесное мгновение когда-нибудь снова вернётся и ещё больше и лучше будет.

Глава 19

Время такое, когда бывает на дню сто перемен. Так было и на присухонской низине. Днём казалось — вот-вот оборвётся и пойдёт большая вода: все болотные кочки уже потонули в воде, и так держалась вода, всё прибывая, до тех пор, пока не кончилась вечорка, не погасла лимонная заря, не уснули все перед глухаринной охотой. Засыпая, все рассчитывали через какие-нибудь два-три часа плыть водой на Красные Гривы.

Когда уснули охотники, вдруг на небо вышел месяц, а на земле откуда-то взялся мороз и скоро заковал всю пойму. Да и как ещё заковал! Ступи человек — и не провалится.

Простые люди думают — это приходит весной уже не сам мороз, а его внук. Сам могучий дед-Мороз теперь уже кончился, пришёл его слабенький внук. Будь это настоящий мороз, так бы этой перемене и остаться. Но вдруг среди ночи опять всё переменилось: ветер потянул с юго-запада, небо закрылось, повалил снег крупными хлопьями, в один час пойма стала, как одна широкая белая скатерть.

Такая нежданная пороша обманула даже нашего старика Силыча. Он вышел из шалаша, оглянулся вокруг себя, ногой твёрдо на лёд наступил и поверил.

Ему это было на руку: тихонько итти до самого тока, чем мучиться с яликом между кочками в темноте.

Обрадованный морозом, он весело сказал:

— За дедом внук пришёл!

Кругом почесался, что-то на себе подтянул, где-то привязал, что-то пхнул в карман, застегнулся, подпоясался, надел на себя «крынку» и сте-

пенно по льду, между кочками, зашагал на глухариный ток Красные Гривы.

После Силыча проснулись и наши первые в Вологде глухариные охотники братки и тоже, как старик, были обмануты морозом. Очень уж выходило соблазнительно: чем пробиваться водой на ялике, а в лесу всё равно ялик бросать, куда лучше прямо из шалаша итти пешком по морозцу на Красные Гривы.

И собравшись, подумав — чего бы не забыть, — слепой и глухой, два лучших охотника на глухарей, с одним-единственным ружьём на двоих, как на одного, зашагали.

Рука слепого была за кожаным поясом у глухого, и чуть что, слепой Павел тянул за пояс глухого Петра и его одерживал.

— Чего ты? — тихо спрашивал зоркий Пётр, устремляя глаза свои в тёмную даль.

— Звейит! — отвечал Павел.

И так они ждали — один ушами, другой глазами.

Так бывает, и это, скорей всего, лось переходил пойму, и под ногами его звенели, разлетаясь в стороны, тонкие льдинки. Потом, когда лось, одолев пойму, перебрался в лес и там затих, Павел говорил:

— Пойдём, больше ничего я не слышу.

Тут опять слепой крепко ухватился за пояс глухого.

И так они шли.

Может быть, на всём севере нет охотника лучше Мануйлы, но в этот раз и его обманула погода, как маленького: он то же самое поверил — мороз продержится, и можно будет пройти на ток в лес и вернуться в свой шалаш на Выгоре.

Как не подумать бы такому опытному охотнику о том, что вода на носу и вся держава лесная может в какой-нибудь час измениться и к утру вся пойма сделаться морем!

В этом разбираясь, так надо понимать, что идёт такой смельчак до последнего часа по закону и верит в закон, а если выйдет какое-нибудь случайное беззаконие не от себя, так чего же бояться случая: всё мы видели, русские люди, где наша не пропадала!

Мануйло без часов знал часы, как петух. Тронув Митрашу, он шепнул ему:

— Сам подымайся, а девочку не буди, пусть её спит.

— Это не такая девочка, — ответил Митраша, — её не удержишь. Настя, подымайся на глухарей!

— Пойдёмте! — ответила Настя вставая.

И все трое вышли из шалаша.

Хорошо пахнет болото первой весенней водой, но не хуже пахнет на нём и последний снег! Есть великая сила радости в аромате такого снега, и эта радость в темноте понесла детей в неведомые уголья, куда слетаются необыкновенные птицы, как души северных лесов.

Но у Мануйлы в этом ночном походе была своя особенная забота. Вернувшись недавно из Москвы, на ходу он от кого-то слышал, будто Красные Гривы этой зимой пошли под топор. Кто это сказал, где было сказано? Теперь вспоминал Мануйло и не мог вспомнить и начал уже подумывать, не обманулся ли он, не во сне ли ему это почудилось.

Так дети шли в темноте, доверяясь ногам, слушаясь ног, как днём слушаешься глаз. И по-другому стали чувствовать землю: тут был ещё глубокий снег, сейчас скованный настом. По насту они пошли, как по скатерти, и даже ещё лучше: наст не проваливался, но как бы чуть-чуть пружинил, и оттого выходило итти веселей.

Вспомнив на такой дороге о порубке глухариного тока Красные Гривы, Мануйло решительно сказал:

— Набрехали!

Только это сказал — нога донесла ему о чём-то совсем другом, чем пружинистый наст.

Перешунав свой путь ногами в разные стороны, Мануйло скоро понял, что у него под ногой была засыпанная порошей ледянка: дорога ледяная, устроенная в зимнее время для вывоза круглого леса на берег реки.

— Плохо наше дело! — сказал он.

Митраша спросил, отчего дело плохо.

Мануйло указал Митраше на ледянку.

Помолчав, он сказал печально:

— Простимся, детки, с Красными Гривами!

Митраша понял, что Красные Гривы с глухариным током этой зимой срублены и окатаны на сплав к берегам.

— Назад? — спросил он.

— Зачем назад? — ответил Мануйло. — Ток недалеко отсюда, пойдём поглядим, о чём думают теперь глухари.

Силыч стороной шагал на ток и на ледянку не вышел. Он знал такой прямой путь на ток, что каждый год выходил прямо на песню, и теперь ощупью всё шёл, шёл, и наконец вроде как бы что-то ему почудилось, он остановился.

В лесу было очень темно.

А он знал — темнее всего бывает перед рассветом.

Вокруг не было ни одного высокого дерева, кругом кусты, подлесок, а самого леса не было вовсе.

Но мало ли чего ночью в лесу не почудится! Поняв чутьём — сейчас самое тёмное время, Силыч стал слушать и ждать...

Так и братки тоже в темноте, угадав место тока, затаились.

В это самое время как раз и подкрадывался к людям тот час, когда как бы бросается дружная весна всей водой на дела человека.

В это самое время как раз и подходит тот страстно ожидаемый охотниками час, тот крылатый час в природе, когда спящая красавица пробуждается и говорит: «Ах, как долго я спала!»

Началось это где-то, на каком-то дереве, на какой-то очень тоненькой веточке, по-зимнему голой. Там от сырости скопились две капли — одна повыше, другая пониже.

Нарастившая на себя сырость, одна капля отяжелела и покатила к другой.

Так одна капля догнала на ветке другую, и, соединённые, отяжелев, две капли упали.

С этого и началась весна воды.

Падая, тяжёлая капля обо что-то тихонечко тукнула, и получился от этого в лесу особенный звук, похожий на «тэк!»

И это как раз был тот самый звук, когда глухарь, начиная свою песню по-своему, совершенно так же «тэкает».

Никакой охотник на том расстоянии, как это было, не мог бы слышать этот звук первой капли весны.

Но слепой Павел отчётливо услышал и принял за первое щёлканье глухаря в темноте.

Он дёрнул Петра за пояс.

А Пётр сейчас, в темноте, был такой же слепой, как и Павел.

— Ничего не видно, — шепнул он.

— Поёт, — ответил Павел, показывая пальцами на место, откуда шёл звук.

Пётр, усиливаясь в зрении, даже рот немного открыл.

— Не вижу,— повторил он.

В ответ на это Павел зашёл вперёд, протянул руку к Петру и тихо-нечко подвинулся. По-настоящему нельзя бы шевелиться, когда слышишь это глухариное капанье, но Павел так привык верить своему слуху, что разрешал себе всегда, если слышал, немного подвинуться.

Так братки и подвинулись.

— Нет,— шепнул Пётр,— я не вижу.

— Нет,— ответил Павел,— это не глухарь, это капли с веточек каплют. Видишь это?

И опять показал.

Теперь душа охотника была отдана ожиданию глухариного пения, и ему было совсем невдомёк, что это вода идёт, что им теперь выхода из леса не будет. Его занимало сейчас только одно: среди тэканья капель услышать и понять глухаря.

Вдруг какая-то никому неведомая птичка спросонья, не сказать прямо, что запела, а как бывает с человеком: хочет потянуться, а вроде как бы что-то и скажет. И друг его спросит:

— Ты что говоришь?

— Нет,— отвечает проснувшийся,— я это так...

Наверно, и птичка эта неведомая тоже пикнула что-то спросонья и замолчала.

Но это было всё-таки не просто. В эту самую минуту на небе стало, как говорят охотники, л у н е т ь.

И тут глухарь на слух Павла явственно заиграл.

— Поёт! — сказал Павел.

И братки, как это делают все, начали скакать: поёт глухарь и не слышит, как охотники подбегают к нему на прыжках. Он остановится, и охотники в тот же миг замирают.

Братки скакали под песню глухаря не совсем, как мы все скачем в одиночку. Благодаря чуть светлеющему небу кое-что всё-таки было и видно, и оттого нельзя удариться лбом о дерево. Видимую светлую лужу мы тоже можем обскákat, но в невидимую мы всё равно попадём и с полным зрением и слухом. То же самое, если глубоко попал в болотное тесто, а глухарь в этот миг перестал петь, тут всё равно, слепой, глухой или здоровый человек со всем своим счастьем,— раз уж попал, то и стой в грязи в ожидании, когда глухарь опять заиграет.

Братки скачут рядом, взявшись за руки, до тех пор, пока зрячий глазами не увидал самого певца. Так всегда и было, что Павел раньше услышит, чем все, а Пётр раньше увидит. И это маленькое «раньше всех» решало весь успех у двух людей, соединённых в одно лицо: у них всегда глухарей бывало убито больше, чем у отдельных охотников.

Ещё было совсем темно и неразлично, когда братки вдруг перестали скакать и остановились поражённые...

То же самое было и с Мануйлой, и Силыч тоже начал и вдруг замер.

Все охотники замерли не оттого, что глухарь петь перестал и надо было дожидаться, когда он опять запоёт и оглохнет на короткое время, на какие-то пять-шесть скачков человека вперёд.

Охотники замерли от небывалого с ними: пел не один глухарь, а множество, и нельзя было понять в этом множестве звуков, какой глухарь свою песню пропел и теперь отлично слышит шаги охотников и, встревоженный, только изредка тэкает, а какой сейчас только свою песню заводит и сам глохнет.

Было так, будто в лесу разожгли огромную чугунную сковороду и на горячем кипело, шипело и лопалось.

И так близко! Казалось, вот ещё немного подберись к этой шипящей сковородке — и тебе самому глаза выжжет.

Вот, поняв это близкое и необычайное скопление громадных птиц на одном месте, охотники и замерли.

Мало-помалу на небе стало всё больше и больше лунеть, а вокруг — всё светлеть и светлеть, и вдруг как бы что-то моргнуло, и всё открылось на глаз.

Оказалось, леса вокруг вовсе и не было, оставался только после порубки подлесок, разные кусты и хилые деревья. Там же, где раньше были самые Красные Гривы, на большом видимом пространстве были одни только широкие пни от огромных деревьев, и на пнях, на самых пнях, сидели и пели глухари!

Некоторые глухари на этой огромной сковороде были так близко, что каждому легко было взять своего, но у какого же охотника поднимется рука на такого глухаря!

Каждый охотник понимал сейчас птицу по себе, представляя, что сгорел у него собственный, обжитой и милый ему дом и он, прибыв на свадьбу, видит одни обгорелые брёвна. На этот страшный случай придумал человек своё слово: «Помирать собирайся — рожь сей!»

А у глухарей это выходит по-своему, но тоже очень и очень сходно с человеческим: на пне того же дерева, где раньше он пел, скрытый в густой листве высоко, теперь он сидит на этом пне, беззащитный, и поёт. Глухарь поёт теперь ту самую правду, какая остаётся и человеку: «Помирать собирайся — рожь сей!»

Долго раздумывать охотникам не пришлось: хлынул весенний дождь, оставляющий людям на окнах те всем известные весенние слёзы радости, собой серые, а нам всем такие прекрасные.

Глухари сразу все примолкли: какие — прыгнули с пней и, мокрые, куда-то побежали, какие — стали на крыло и разлетелись все неизвестно куда. Тогда охотники открытыми глазами оглянулись кругом и сразу все увидели друг друга: там стоял Мануйло с Митрашей и Настей, там с одним ружьём жались друг к другу братки, там, прикрывая осторожно от дождя ладонью полку с порохом своей древней «крынки», стоял Силыч.

Все они, удивлённые, не смели стрелять в поющих на пнях бездомных теперь глухарей.

После каждой крупной рубки в лесах непременно от лесорубов остаётся избушка, где они зимой грелись и варили себе пищу. Была, конечно, и на Красных Гривах такая избушка. В ней-то и укрылись все наши незадачливые охотники и, прогуляв всю ночь, утомлённые, скоро уснули.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Половодье

Глава 20

Ветер, несущий снежную пыль, позёмок, перед встречей с каким-нибудь деревом не бросает позёмок прямо на дерево, на его ствол, а обносит, и от этого выходит кругом дерева ямка, ещё и до весны заметная.

Некоторые говорят, будто такая весенняя приствольная чаша вокруг дерева бывает от воды, стекающей по стволу на свет. Конечно, и от этого тоже бывает. Но мы своими глазами видели тоже, как ветер обносил позёмок, и оттого вокруг дерева делалась ямка. Мы тоже видели много раз, как в туманную весеннюю оттепель ветки дерева ловят сырость в воздухе так усердно, будто нарочно так сделано, чтобы всеми ветвями со всех сторон деревья ловили туман в воздухе и обращали его в воду. Сгущаясь на каждой веточке, туман разбегается водой, множеством ручейков льётся на ствол, а по стволу вода рекой катится вниз, в приствольную чашу.

Часто бывает в это ранневесеннее время: на дерево садятся отдыхать разные перелётные птички и, высмотрев эту первую воду приствольной чаши, купаются в ней. Нам приходилось видеть, как в солнечный день, купаясь, птичка разбрасывает в воздухе столько мелких брызг, что над чашей складывается на короткое время маленькая радуга. И всё кончается тем, что вода из одной приствольной чаши сбегает в другую, переполняет её, и так начинается в глубине леса первый ручей.

Так бывает каждую весну: где-то из глубины лесов выходит первый ручей.

В то время, как первой весной на низких горизонтах проходили реки, в глубоких лесных радах и сурадьях медленно создавалась та самая весна половодья, когда размываются все приствольные чаши, прорываются все временные плотинки и вся огромная лесная вода ручьями, реками, водопадами и всякими временными потоками и протоками бросится в настоящие постоянные реки и подхватывает с берега и несёт вместе с собой весь круглый лес, приготовленный для сплава зимой.

Исподволь, медленно готовится половодье, и часто бывает, что держит-то долго, многими днями, а часом всё кончится.

Так было этой весной, в те часы, когда охотники спали на глухаринном току. Присухонская низина быстро сделалась морем, и Красные Гривы были на нём, как острова.

Первым проснулся Мануйло и, глянув в окошко, сразу принял решение и никого даже не стал и будить. Бурлак природный не боится воды и, если приходится спасать от прорыва какую-нибудь запонь, с багром в руке для равновесия и на одном бревне проносится в потоке и заделывает в брызгах пены прорыв.

Теперь он спустился к воде, высмотрел тут два не захваченных водою бревна, связал их, вырубил длинный шест и, упираясь им в дно мелкого моря, стоя помчался куда-то и скрылся в тумане.

Можно подумать было, он это поплыл за лодкой для детей и для спящих товарищей.

Так оно было, конечно, так и подумали все, когда пробудились и хватились Мануйлы.

Выждав немного, стали поглядывать в туманную даль и ничего уже между собой не говорили.

Ждали, ждали, а Мануйлы всё не было.

От нечего делать развели огонёк, вскипятили воду. Запасливые братки достали чаю, сахару. Силыч выложил свой запас хлеба. Так и сели за чай. А Мануйлы всё не было.

Много разговаривали о токующих глухарях на пнях срубленного леса, много дивились тому, что птица так привязывается к своему месту, к своему дереву. Обсуждали вопрос, для чего так устроено, что глухарь лишается слуха на то время, когда поёт.

Тоже и о том говорили и хотели решить вопрос: с горя поёт глухарь или от радости. Силыч стоял на том, что поёт глухарь с горя, и оттого, когда он поёт, у него дрожит каждое пёрышко. Павел на это отвечал, что ведь и от радости тоже может дрожать у живой птицы каждое пёрышко.

Так решали мудрецы и решить ничего не могли оттого только, что хотели понять глухаря по себе, а как чувствует себя сам глухарь — знать не могли.

Обо всём переговорили. За разговором и чайник остыл, а Мануйлы так всё и не было...

Силыч первый забеспокоился и стал высматривать материал для плота, Митраша и Настя драли вицу на сплотку, братки, не разделяясь, помогали то детям, то Силычу. Всем работа по сплотке деревьев была

с малолетства знакома, и оттого очень скоро сделался плот, охотники вышли на него, стали и, упираясь жердью в дно, выехали.

Как только обогнули заслонявшую вид на море гриву, так и показался вдаль Выгор, как небольшой остров на море. При виде острова даже и старое сердце Силыча сжалось: никаких следов от нижних шалашей не оставалось, и яликов не было, и Маруська, видно, уплыла куда-то вместе с яликами.

Загоревали тоже и братки, увидев на воде, что от всего Выгора осталась теперь один пятачок.

Медленно двигался плот, но мало-помалу глаза, присматриваясь, стали привыкать и кое-что узнавать впереди. Так и узнали наверху Выгора шалаш Мануйлы: он как стоял, так и теперь стоит нетронутый. Потом разглядели возле этого шалаша вытащенные к нему ялики. А когда ещё ближе подплыли, то из корзины на ялике Силыча вытянулась маруськина шея и показалась её голова.

На близком расстоянии Силыч не удержался, крикнул своё «шварк» по-селезнёвому, и Маруська вмиг стала на крыло и опустилась на плот, прямо на руки Силычу.

Всё было спасено, всё было на месте и в полном порядке сложено: продовольствие, чайник, котелки, всё было перенесено и переложено сюда, но самого Мануйлы не было.

Как можно было понять исчезновение Мануйлы? Мысль о том, чтобы такой бурлак мог утонуть, никому и в голову не приходила. И какой разговор мог быть о случайности, если Мануйло так хорошо обо всех позаботился, всё стащил наверх, к своему шалашу. Он не забыл даже и о детях, всё продовольствие сложил, съёл и уложил в одном месте, посуду всю вымыл и даже покрыл тряпочкой. Так все решили согласно, что, скорей всего, внезапная вода заставила принять его какое-то решение в бурлацких делах: может быть, затрещала где-нибудь запонь, буксирчик подхватил знаменитого сплавщика...

Дедушка Силыч при этом разговоре не спускал глаз с детей и наконец сказал:

— Вы бы обратно со мной в Вологду...

Настя поглядела на Митрашу, и тот, долго не думая, сказал:

— Мануйло нас не бросит, мы его здесь будем ждать. Нам надо на Пинегу, а не назад. Мы дождёмся!

— Как знать? — сказал Силыч. — Бывает, сам думаешь твёрдо: «Дождусь!» — а выйдет не по-нашему. Семьдесят рек впадает в Северную Двину по грубому счёту, а маленьких и не перечесть, и таких ещё много, что летом нет ничего, только потное место, а сейчас тут река, и тоже несёт на себе круглый лес. Вы и понять сейчас не можете, какое дело теперь закипает вокруг леса. Конечно, о том и говорить нечего, чтобы бросить сирот, но и о том надо было подумать, что сирот у нас каждый пожалеет, каждый им поможет, а к тому же они сейчас не обижены: продовольствия хватит им на неделю. И опять ещё надо знать, что в таком деле сам не волен: рад бы всей душой так, а оно подхватит тебя и унесёт в другое место. Поневоле Мануйло вас оставил, не он сам, а дело. А вы всё будете ждать? Садитесь-ка лучше ко мне в ялик!

— Спасибо, дедушка, — ответила Настя, — мы всё-таки Мануйлу подождём, а если ему нельзя будет нам помочь, люди добрые нас не оставят.

— Как знаете! — ответил Силыч, укладывая убитого селезня в ту самую корзинку, где жила и Маруська. — Тоже и так сказать: для чего и дом родной бросили, как не затем, чтобы найти отца. Странствуйте, детки, ищите: Мануйло не один-единственный хороший человек на свете

белом, вам каждый поможет. Прощайте! Считайте по солнышку, через пять дней я к вам наведаюсь. Не Мануйло, так Силыч вас на Пинегу доставит.

Так простившись с детьми, Силыч кивнул браткам головой, и те сели в ялик: слепой Павел взялся за вёсла, а глухой Пётр сел у руля.

И все поплыли.

Дальше и дальше плыли по разливу между островками, и на каждом пятачке незатопленной земли кто-нибудь их встречал и потом провожал: было много зайцев, много водяных крыс, и то волк, то лиса сидят, глядят и не боятся людей.

Как это с нами часто бывает, что вот сейчас были тут около нас какие-то люди, и мы тоже вовсе и не думали, что они такие добрые, такие хорошие и — главное — такие нам нужные, необходимые. И вот они уезжают, вот совсем уехали, скрылись с глаз...

И мы остались одни!

Одни мы, совершенно одни на затопленном острове. Кругом нас вода; вот они вместо людей показываются на воде, плывущие к нам сюда голодные, напуганные мыши и водяные крысы.

Дети, поначалу немного смущённые своим одиночеством, стояли молча, и каждый по-своему наблюдал за плывущими животными. Митраша для наблюдения выбрал себе одну водяную крысу, видно, уж очень уставшую. Как только эта крыса достигла берега, сразу же и повалилась на бок.

— Крыса кончилась! — сказал он.

— А я,— ответила Настя,— за мышонком слежу; все, как только попадают на берег, так и разбегаются в разные стороны, а этот, как коснулся земли, так и сидит. Наверно, плохо ему?

— Ещё бы! — ответил Митраша.

И, скользнув глазами по мышонку, вернулся к своей крысе. Нет, оказалось, она только устала, а не умерла. Отдохнув немного, она встала и по стволу обыкновенной корзиночной ивы стала подниматься к развилочку. Добравшись, тут, в развилочке, она устроилась. Ей было хорошо, удобно на седловинке. По одну сторону у неё поднималось вверх деревце, по другую ветка была когда-то срезана, и теперь от неё рос вверх целый пучок тонких веточек.

Митраша до того заинтересовался судьбой водяной крысы, что подошёл к ней поближе и, осторожно подвигаясь вперёд, шаг за шагом, стал к ней совсем близко и видел даже, какие у неё глаза.

Такие, показалось ему, глаза были умные!

Усталая водяная крыса не обращала на него никакого внимания.

Митраше казалось, будто в глазах водяной крысы загорелся огонёк.

Может быть, это отсвечивал так в глазу солнечный луч?

Конечно, может быть. Но почему же, как только это что-то сверкнуло в глазу, так и вся крыса зашевелилась?

Почему это?

Крыса устроилась поближе к пучку тонких прутиков ивы, в один раз двинув челюстью, срезала прутик и стала его кругом объедать.

Почему тоже это?

— Грызуны! — ответил себе Митраша, вспомнив школьную свою книгу.

И обратил особенное внимание на то, что срез прута был косой и в один раз.

Крыса очистила так три прутика, а когда срезала четвёртый, то не стала его есть, а поджала к себе и вместе с прутиком начала спускаться вниз по иве. Не отпуская прутика, крыса вместе с ним бросилась в воду и

поплыла, и когда бросалась, то Митраша опять заметил, как в её глазу сверкнул огонёк, и он опять спросил себя:

— Почему тоже и это?

Его, конечно, удивляло, что перед каждым решением у крысы в глазу сверкал огонёк, но он не разбирался, а только дивился и оттого спрашивал, когда удивлялся, почему то, почему другое.

От крысы его удивление расходилось на всё, но самое главное, конечно, было, что с этим прутиком крыса и поплыла. Не было для Митраши никакого сомнения в том — крыса взяла прутик себе про запас, на случай, если она так же устанет, а на берегу покушать будет нечего.

— Значит, огонёк тот мелькал не даром, но почему это всё?

А крыса плыла с прутиком всё дальше и дальше, и Митраше было так же, как и нам в наше время. Нам казалось тогда, что если у кого-нибудь самого учёного, самого умного выпросить, вызнать обо всём на свете, почему это так делается, то можно бы всё на свете объяснить, всё открыть, и тогда — как тогда было бы всем хорошо жить!

Митраша сейчас утопал в своих безответных вопросах. Ему казалось теперь, будто он где-то, не здесь у них, а в настоящей, хорошей жизни, когда один спрашивает, другой ему отвечает. И эта их жизнь не настоящая, если нет ответа на свой вопрос.

Бывало у него такое сомнение и дома, и всегда оно кончалось горем о своём отце.

Отец его всё знал, и отца у него нет, и от этого жизнь его не настоящая!..

В это самое время, когда Митраша занимался крысой и провожал её очень далеко, пока глаз мог терпеть, Настя глядела на своего мышонка. Один раз даже она попробовала привлечь к нему внимание Митраши и дёрнула его за рукав и показала.

— На что тебе мышонок нужен? — спросил Митраша.

И опять вернулся к уплывающей крысе и стал, как мы все в своё время стояли, на своё «почему?».

У Насти был совсем какой-то другой интерес, но тоже не менее сильный, чем у Митраши его «почему?». Понаблюдав за мышонком, сидящим в одном и том же положении, она подошла к нему и тут увидела — он был очень хорошенький и глядел на неё добрыми, милыми глазками. До того мышонок был мил, что она осмелилась, взяла его двумя пальцами и посадила себе на ладонь. Мышонок не боялся, не пробовал убежать, как будто ему было хорошо.

И вот тут-то Настя прямо и спросила мышонка, совсем как маленького человека:

— Кто ты такой?

Так спросила, будто мышонок был и вправду родной. Ей самой что-то в этом вопросе понравилось, она вертела мышонка, перекидывала его тихонько с ладони на ладонь и всё время спрашивала:

— Да скажи же наконец — кто ты такой?

Мышонок заметно повеселел.

Поняв по-своему, что мышонок веселеет, она понесла его в шалаш, нашла кусочек сала, нарезала его тоненькими кусочками, дала, и он стал есть.

После того Настя вспомнила, сколько там внизу было мышей и нельзя ли им тоже помочь. Пошарив в шалаше, нашла картошку, натёрла с постным маслом, на блюде отнесла вниз и поставила мышам. Как только она отошла, мыши бросились к блюду.

Когда же Настя вернулась в шалаш, то мышонок, оказалось, наелся и теперь сидел в ожидании, с надеждой: может быть, ему и опять что-

нибудь перепадёт. Опять Настя взяла его себе на ладонь и опять спрашивала:

— Кто ты такой? Почему тебя, такого маленького и хорошенького, люди боятся? Почему я сама ещё так недавно вскрикивала и бросалась на скамью или на стол, если в избе по полу пробежал мышонок? Почему говорят — мышонок поганый?

Ничего не мог ответить мышонок девочке, но если бы мог, то на вопрос, отчего он такой хорошенький и людьми считается поганым, ответил бы так:

— Люди, милая девочка, больше любят такое, чтобы скушать, а меня кушать им нельзя: я несъедобный!

Мышонок сам, конечно, не мог так сказать, но глядел, точно будто он так говорил доброй Насте, и она повторяла ему:

— Какой же ты умница!

Сколько всего передумал Митраша, пока скрылась у него с глаз умная крыса. Он и спрашивал всё своё «почему?» и скучал, что ему нет ответа. Он ещё не мог знать тогда, что ответы на это всё собраны и надо только научиться читать их, где-то находить.

Если вопрос приходил такой, что ответа на него ещё не было, то это значило — ему самому надо пожить, потрудиться и догадаться.

Так и везде теперь было по разливу: на всех бугорках, на кустах, на ветках затопленных деревьев сидели захваченные врасплох животные, большие и маленькие, зайцы, лисицы, волки, лоси. На иных прутиках так тесно устраивались мелкие зверушки, что издали были похожи на кисти чёрного винограда.

Все жизненные ареалы теперь ими были оставлены, вся настоящая жизнь перешла у них в будущее, в один-единственный вопрос:

— Как быть теперь дальше?

Вся присухонская низина теперь задумалась над этим, и к этой общей думе присоединились и маленькие люди.

Митраша спрашивал в тревоге:

— Почему это всё?

Настя спокойно улыбалась и говорила каждому:

— Кто вы такие?

И, хорошо взглядевшись, что-то своё понимала и повторяла:

— Какой же ты умница!

Глава 21

Бывало не раз и с нами на охоте весной, когда разольётся река и неодетые деревья там и тут верхушками торчат из-под воды и на этих сучках собирается столько всяких маленьких тёмных зверушек, что иная веточка от них издали кажется похожей на гроздь чёрного винограда.

Сидят зверушки на ветках, теснятся кучками на островках. Другие, маленькие, куда-то плывут. И большие бывают звери: плывут лоси, медведи, волки, а все ведут себя, как маленькие испуганные дети.

Рядом, видишь, плывут злейшие враги: лесная куница и белка, и хищнице-кунице и в голову не приходит схватить свою белку, и кажется, у всех этих зверей, больших и малых зверушек, одна какая-то рождается общая мысль или чувство, вроде как бы каждый твердит:

— Чур меня!

Только это одно они чувствуют, и оттого никогда в такой беде не кусаются.

Бывало и с нами в такое время весеннего потопа на охоте: товарищ привезёт тебя на какой-нибудь островок с кустарниками. Тут свяжешь кусты вроде шалаша, чтобы в нём укрыться, устроишься. Мы сговариваемся: после охоты он заедет за тобой.

И остаёшься один, конечно, ещё в полной темноте. В это время потопа счастливы только птицы да охотники. Плывут, конечно, не одни только крупные животные, плывут миллионы миллионов всяких блошек и вошек. А на берегах островков, как ни в чём не бывало, бегают проворные трясогузки и встречают гостей этих: разных жучков и блошек.

Какое бедствие всем этим насекомым и какая потеха трясогузкам: вот наклюются, вот им истинный пир на весь мир!

А какое раздолье на разливах водоплавающим птицам, всех пород уткам, гусям, лебедям! Сидишь сам в шалаше, и на глазах у тебя твоя же подсадная утка из серой делается чёрной: это плывут массами всякие жучки, блошки и вошки и, принимая птицу за остров спасения, лезут на неё.

Тут-то вот, во время величайшего бедствия зверей и насекомых, со всей страстью разгорается птичья любовь и свобода. Вот, может быть, откуда и взялось у нас почитание крылатых существ как посланников небесных: какие они счастливые!

А может быть, и так надо понять, что и в нашей человеческой природе есть какие-то скрытые крылышки, ведь иной раз во сне так явственно все мы летаем.

Не из этого ли чувства свободы крылатой выходим и мы, природные страстные охотники? А то откуда же взялось это чувство радости у охотников, такой ошутимой?

Так вот, едешь на лодочке ночью, в сырости, а иногда даже и зябнешь, дрожишь от холода, а за спиной каждое пёрышко на твоих крыльях трепещет от радости. Встречаешь рассвет с ружьём в руке на своём островке.

А между тем потеплело, и вода быстро стала прибавляться. Вот и самому заметно на рассвете, что, когда сиделся ночью, вокруг шалаша был большой тёмный круг земли, а теперь остаётся от всей этой земли пяточок. Конечно, очень не хочется расставаться с крыльями радости, думаешь — товарищ, конечно, устроился где-нибудь тут близко, тоже на островке, и он по себе поймёт: когда вода сильно прибавится, он за тобой и приедет.

Успокаивать себя можно разными мыслями, а вода неумолимо, неминуемо, вода сама по себе, по своим правилам, потихонечку всё ползёт и ползёт, и вот уже пяточок мой скрылся, подходит уже вода к сапогам, и от всей великой радости жизни крылатой остаётся радость одна, что сапоги-то всё-таки резиновые и высокие!

Мало-помалу становишься так, что и глаз не можешь оторвать от воды, и тут-то вот начинаешь понимать этих плывущих к тебе мышей, взлетающих на ветки твоего шалаша водяных крыс, и кажется тогда, все они шепчут неумолимой воде:

— Чур меня!

Вдруг подсадная утка взялась, весь расписанный яркими красками селезень шлёпнулся на воду, за спиной у тебя опять взметнулись крылья свободы...

Но пока этому радовался, воды ещё прибавилось, и крысы водяные сидят теперь на ветках рядом с тобой, а товарищ после того селезень подумал, что, значит, всё хорошо, если охотник стреляет.

— Крикнуть разве?

Тут ветер подул как раз с той стороны, куда надо кричать.

А звери разные плывут, всё выше и выше поднимаются, утка подсадная всё чернеет и чернеет от наседающих на неё насекомых.

Стыдно сказать, но как и не сказать, если то была правда, — был этот грех, тоже тогда сорвалось с языка у человека вместе со всеми:

— Чур меня!

Потому теперь так и стыдно, что потерял на короткое время разум и, как всякий зверь, окружённый водой, отдался судьбе своей:

— Чур меня!

Так, бывает, волчий щенок перевёртывается на брюхе, когда его догоняет борзая. И ему тоже остаётся одно только это:

— Чур меня!

Тоже и с медведем, говорят, бывает, когда человек у него под носом, прошептав своё: «Чур меня!», притворяется мёртвым и лежит неподвижно. Говорят, это «чур» иногда помогает, и медведь удаляется...

Так и со мной было: послышался плеск весла, вдали показалась лодка, и за плечами опять зачесалось то место, где охотники чувствуют по временам у себя крылья.

К счастью, Выгор на присухонской низине такой высокий, что его никогда не заливают водой, да и Мануйло никогда бы так не сделал, чтобы оставить детей на волю воды. Вскоре на лодке, пробиваясь между брёвнами, приехал бурлак с лесной биржи и рассказал, что Мануйло по телефону сказал из Верхней Тоймы: он должен там стеречь запонь, а дети или ждали бы на бирже парохода, или, если не бояться, связали бы плот иплыли бы потихоньку к нему: вода будто бы как раз и принесёт их к самой Верхней Тойме.

Митраша, долго не думая, решил плыть как можно скорее к Мануйле, и бурлак до самого вечера помогал ему вязать надёжный плот из проплывающих брёвен.

Работу закончили только к самому вечеру, и тут бурлак поглядел на детей и задумался и долго о чём-то размышлял.

— А хотите, — сказал он наконец, — я, так и быть, вам свою лодку отдам, а сам как-нибудь к себе проберусь на плоту. Дядя Мануйло, я знаю, потом в долгу не останется.

— Ну, а как ты думаешь, — спросил Митраша, — ничего с нами не будет худого, если мы на плоту поплывём?

— Тоже ничего, если не боитесь: мало ли у нас плавают на плотках! Варить можно, греться у костра, у нудьи, а на лодке, как сел, так и сиди и дрожи!

— Плывём, Настя, на плоту! — решил Митраша.

И бурлак повеселел, а сам всё повторял:

— Ну, а ежели хотите на лодке, что же, берите, дядя Мануйло не такой какой-нибудь, берите!

— Спасибо, спасибо! — повторяли Митраша и Настя.

А бурлак всё веселел, уже сидя в лодке, отчаливая, всё повторял:

— А мне что, я и на плоту перееду, ежели надо, берите лодку!

Так он и уплыл, и после него к вечеру поднялись на пойме голоса, сколько голосов, и все голоса повторяли некоторое время всё одно и то же — последнее слово бурлака:

— Берите, берите!

Странно и так удивительно это бывает, что когда о чём-нибудь и очень крепко задумаешься и тут где-нибудь тоже вблизи петух прокричит, то кажется, петух этот поймал твоё последнее слово из того, о чём ты задумался, и выкрикивает на весь свет.

А тут было Митраше, что вся пойма, тысячи болотных птиц подхватили одно слово, и все на свой лад повторяют:

— Берите, берите!

И нужно сказать, это не просто бывает с людьми, когда свои слова начинаешь узнавать в птичьих голосах. Это бывает, когда к человеку подходит какая-то своя новая догадка, своя собственная новая мысль.

Бывает это со всеми нами — придёт какая-нибудь своя новая мысль, и ты о чём-нибудь сам догадаешься вдруг, сам откроешь, вот тогда

почему-то и кажется тебе: все на свете этим обрадованы, и даже в крике пегуха слышится твоя эта какая-то мысль на его лад.

Так было с Митрашей в шалаше на вечерней заре: он вдруг догадался...

Было это, совсем перед тем как уснуть в тепле под сеном. Уже проводил Митраша все голоса на пойме, знакомые и незнакомые, и любимый его конёк-горбунок проскакал, стуча копытцем по твёрдому воздуху. Кругом всего неба по горизонту началось уже бормотание тетеревов, колыбельная песнь на весь мир.

Тут-то вот, в последнюю минуту перед засыпанием, и пришла Митраше в голову одна догадка, озаряющая всю душу.

Себе самому потом кажется, будто эта догадка просилась у тебя давно уже и не раз стучалась в двери души твоей, но ты почему-то её не впустил. Другой раз даже и волосы на голове у себя рвать хочется, до того винишь себя в этом, что во-время не догадался. В конце концов кажется, что не она замедлилась, а что сам виноват: не догадался.

А пока не кончилось, то кажется, будто мысль сама тебя ищет, и она тебя находит. Придёт время, и она тебя непременно найдёт, и от мысли этой ты никуда не уйдёшь.

У Митраши эта мысль была о той Корабельной чаще, куда ушёл их отец. Эта мысль, теперь совершенно ясная, законченная, вдруг толкнула Митрашу в момент засыпания, и она была такая большая, что прямо и не помещалась в себе, как не помещается иногда в ведре вода под капелью: места в себе не хватало!

— Настя! — сказал он. — Ты не спишь? Ты знаешь, о чём я думаю?

— Нет, — ответила Настя, — не знаю, а что?

— Вот что! Наш отец и есть тот самый, помнишь, тот, кто говорил Мануйле о правде истинной.

— Это кто лежал с ним в больнице? — вскрикнула Настя, поднимаясь на постели. И потом, сидя: — А я давно об этом думала, только не смела как-то сказать...

— Я всё время тоже думал и почему-то не смел сам себе это сказать: как-то вроде как в сказке всё получалось...

— Теперь я знаю: конечно, оно так и было — отец раненый, с больной рукой лежал в лазарете, а на Мануйлу упало дерево, и его доставили в тот же лазарет. Они там познакомились и говорили о правде истинной.

— Мало того! И та Корабельная чаща и есть та самая, куда отец ушёл на какую-то важную работу!

— И весь путь этот, и по пути Волчий зуб, и Воронья пята, и всё это на пути к отцу.

— А помнишь, как эта река называется?

— Мне кажется, Кода.

— Их две реки, они сёстры: Кода и Лода.

— А помнишь, скворец там где-то на том же пути в старой часовне служил за дьякона?

— А как потом где-то возле становой избы, откуда начинается путик Мануйлы, там прудик, и в нём живёт рыбка Вьюн?

— Две рыбки: Вьюн и Карась.

— А помнишь, ещё он говорил...

— Нет, вот самое главное, почему же он-то, такой хороший и умный, не догадался, что мы — дети его друга?

— Мне кажется, — ответил Митраша, — он временами догадывался: он так долго глядел то на меня, то на тебя. И скорей всего, после он догадался.

— Я тоже так думаю, — сказала Настя, — временами он догадывался, а мы на глазах мешали ему: теперь, как и мы, он догадался.

— Если бы он догадался!

Так подошли в разговоре дети к чему-то большому, самому простому и такому непосильному им для решения, что вдруг смолкли.

Какая-то великая мысль о правде носилась тут в воздухе и не могла войти в головки этих детей.

Эта догадка была, скорее всего, о какой-то великой правде понимания людей между собою: если бы только чуть-чуть внимания больше, и они были бы сейчас с Мануйлой, как с отцом родным, и он бы просто привёл их к отцу. Вот если бы все-все так, и всё на свете было бы наше, и мы все были, как один человек!

Не тут ли зрела эта мысль, общая всем лучшим людям мира, созревая, изменяясь? Может быть, дети прошли тут около какого-то слова, где ходит весь мир, а назвать слова не может... Какое это слово?

— Ты слышишь, Настя, — сказал тихо Митраша, — мне кажется, будто маленький конёк-горбунок скачет по воздуху и тукает копытцами...

— Слышу, как рассыпается, — ответила Настя. — А что это?

— Этого и отец не знал, — ответил Митраша. — Да и есть ли такой человек, что всё знает? — добавил он подумав.

Насте нравилось, что есть среди лесных голосов голос конька-горбунка и никто о нём не знает. Помолчав, она сказала:

— А нужно это, чтоб всё знать?

— Как же не нужно! — ответил Митраша с неудовольствием.

Было же это, как будто кто-то далеко и высоко, пролетая в небе, сказал совсем по-человечески:

— А?

Митраша прислушался и сказал:

— Давай вылезем!

И они вылезли из шалаша прямо под звёзды над великим весенним разливом.

Сколько всяких звуков было, сколько витало загадок, и над всем этим, изредка повторяясь, что-то спрашивало:

— А?

Митраша замер в попытке догадаться, но вдруг понял, что звук этот повторяется, проходя по какому-то невидимому следу прямо с юга на север. И когда напал на след летящей с юга на север птицы, вспомнил отца на охоте и Насте сказал:

— Это цапля летит на места гнездований, на север!

Так он вспомнил отца.

А Насте уже было всё равно, что это летело и кто это спрашивал. Она думала только об отце: ужасно жаль, что упустили они Мануйлу, но теперь зато они напали на верный след, и только бы жив был отец, только бы не захворал, а то теперь его непременно найдут.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Глубинный залом

Глава 22

Пока дети спали, солнце невидимо за горизонтом переодевалось в новую, утреннюю одежду. Так бывает всегда в стране полуденного солнца: уже начиная с полой воды, солнце не садится, как на юге, а переодевается из вечерней зари в утреннюю и выходит в новой одежде.

Так и в это утро, дети ещё только уснули по-настоящему, а солнце уже встало. В это утро для солнечного глаза была перемена в зелёных лесах. Раньше в зелёном река бежала синяя, а теперь от схваченного

полой водой ошкуренного леса река стала жёлтая. В эту жёлтую реку из лесов бежала одна маленькая речка — прежняя синяя жилка. Но то была не речка, а временный поток по зимней дороге-ледянке, сделанной зимой для ската срубленных и ошкуренных деревьев к реке. Вот теперь, спасаясь от половодья, на эту ледянку выбежал из глубоких снегов потревоженный водою медведь и бросился в эту малую речку на зимней дороге.

По этой ледянке медведь, где было глубоко, плыл, а где мелко — бежал. В то самое время, как медведь нёсся по ледянке, вслед за ним выбился из глубоких снегов мокрый, худой, измученный лось. Его начали преследовать охотники ещё по насту, когда он не мог бежать и резал себе ноги о наст. Но вдруг стало теплеть, наст размяк, лосю стало легче даже и в глубоком снегу, он стал набирать скорость и подбежал к ледянке в то самое время, как по ней проплывал медведь.

Так велик был у лося страх от человека, что на медведя он не обратил никакого внимания, как будто медведь ему был свой. Только уж когда эти лесные братья добрались до жёлтой реки плывущего леса и медведь в раздумье остановился на берегу, то и лось, не дойдя до медведя, тоже остановился и как бы задумался.

Вдруг послышались назади подозрительный шум и крики охотников, потерявших надежду настигнуть лося, и медведь бросился прямо в тесноту плывущих брёвен. Лось, по примеру своего лесного товарища, бросился тоже.

Встречаясь с плывущими по реке деревьями, медведь с такой силой раздвигал их ударами лап, что некоторые хлысты глубоко ныряли, а другие как бы не успевали от ударов опомниться, на мгновение задерживались, и оттого на короткое время на жёлтой реке сохранялась водная синяя дорожка. Оттого-то лось и спешил воспользоваться водной дорожкой за медведем, чтобы не дать деревьям сомкнуться.

С трудом медведь наконец пересек реку и на разливе достиг какого-то берега. Вслед за ним вылез и лось, и как-то вышло у него это не сразу: сначала он выбросил передние ноги и немного помедлил с задними, казалось, он ожидал, что лесной брат ему, совершенно измученному, поможет. Но, не обращая на лося никакого внимания, медведь, как только вылез, так развалил задние лапы, согнулся к животу и стал там что-то настойчиво вылизывать.

Лосю же пришлось сделать очень большое усилие, и так он, мокрый, длинный, худой и странный, был очень похож на подъёмный кран, а кто в детстве читал «Дон-Кихота», то был ему очень похож на рыцаря печального образа.

По крутому взлобку над животными на самом верху затопленного Быгора стоял шалаш, и сквозь просветы сена, покрывающего жерди, на зверей глядели человеческие глаза.

— Что нам делать? — шепнула Настя.

— Ничего, — ответил спокойно Митраша, — они нас не тронут, они сами еле-еле на ногах держатся. Смотри, как брёвна лосю шею натукали.

— Тише, — шепнула Настя, — они, кажется, собираются ложиться.

— Это лось, — сказал Митраша, — а медведь, смотри, опять собирается в путь.

И то была правда. Медведь что-то высмотрел недоброе своими маленькими глазками, остановил их на шалаше и вдруг бросился в воду. Лось тоже вдруг ожил и бросился вслед за медведем. И лесные братья направились в ту сторону, где серой щёткой между небом и водой стоял лес.

Долго не думая, Митраша с Настей закусили, не разводя огня, перетаскивали запасы продовольствия на плот, подправили приготовленное

вчера спаньё на плоту, шалашик, заготовили запас дров для нудьи, устроились сами хорошо и, развязав причало, вверили свой плот и свою судьбу общему движению по реке круглого жёлтого леса.

Глава 23

Бывало со всеми, кто ночевал на плоту у своего костра и не проспал, то первое мгновение, когда первый солнечный луч встречался с нашим огнём: казалось, будто солнце с удивлением глядит на этот маленький, но такой тоже и упрямый на своём месте огонёк.

— Откуда ты взялся такой? — спрашивает удивлённое солнце.

А он горит себе и горит, не обращая никакого внимания на удивлённое солнце.

Сказать так, что это похоже, как если бы великий и славный отец встретился со своим малюткой-сыном, — нет! Что-то есть человечески независимое даже и от самого солнца в этих наших красных угольках на рассвете.

Огонёк был на жёлтой реке — это горела северная нудья на плоту. Нудья же — это сухое толстое дерево, горит посередине себя, а маленький человек Митраша дремлет и, просыпаясь по необходимости, сдвигает концы прогоревшей середины.

Северная нудья — это всеобщий очаг промыслового человека, ночующего на с е н д у х е, или, по-нашему, просто на воле: на лесных полянах, на берегах рек и тоже всегда на плотках. Нижние деревья, составляющие самый плот, погружённые в воду, от нудьи не загораются.

По эту сторону нудьи, ближе к рулю, сидит сейчас Митраша, а по другую сторону спит Настя под еловым лапником... Горячее дыхание девочки пробивается сквозь еловые ветки и так успевает охладиться, что кристаллы белым снегом остаются на ветвях ёлки и, накапливаясь, так плотно складываются, что кажется, спящая девочка покрыта белым платком.

Но это кажется только, что спящей холодно: под толстым слоем лапника на сене у нудьи очень тепло. И Митраше, не спавшему ночь, конечно, очень бы хотелось поскорее попасть на это сено.

У кормщика на плоту не одно только дело, чтобы время от времени сдвигать концы перегорающей нудьи. Его главное дело — держать плот на стрежне, где вода самая быстрая и где у жёлтых хлыстов меньше спора, чем в других местах реки: на быстрой воде им хорошо.

Только очень издали кажется, что на жёлтой реке всё так спокойно. Стать же поближе и смотреть на всё с берега, то на реке видишь то же самое, что бывает и в ледоход, когда каждая льдина дерётся с другой, чтобы успеть не растаять и цельной льдиной приплыть в океан.

Но то льдины, и это нам очень понятно — зачем они так спешат, за что стоят и за что борются между собой: за то, чтобы скорее всех прийти в море. Но за что спорят брёвна? Неужели только за то, чтобы первым бревном приплыть к месту назначения, на лесопильный станок, и обратиться в различные доски и тес определённого размера?

Так нам, людям, живым существам, представляется, будто и брёвна тоже, как люди, плывут невольные и вольные, борются между собой за лучшее, стремятся в законе итти и без закона, по-своему.

Невозможно часами и днями сидеть человеку и особенно живому мальчику Митраше, чтобы в этом движении круглого леса, этих жёлтых брёвен, не узнать тоже и наше человеческое движение.

Казалось так ясно, что одна масса брёвен вместе с плотом на стрежне плывёт стройно и в законе, а дальше, до самых берегов, между ними идёт борьба. И всё кончается тем, что законные в движении брёвна

выпирают на берег незаконные и так сильно выпирают, что им остаётся только лежать, сохнуть и дожидаться, когда наконец придут женщины с баграми и будут их снова скатывать в воду.

Берега реки — высокие слуды и низкие, намытые водой наволоки; на крутые берега брёвнам не выбраться, а низкие наволоки желтеют от наседающих на них незаконных хлыстов.

К середине реки, конечно, подбирались хлысты поровней, и оттого им легче было согласиться между собой и вместе плыть по быстрой воде. Это сразу понял Митраша, и дело его главное было в том, чтобы держать плот непременно на быстрой воде.

Но как ни собирались, как ни подбирались деревья по сходству, всё-таки и среди этих попадались, втираясь к ним, такие, что ровно плыть никак не хотят, останавливаются, кружатся, ныряют и всем мешают до тех пор, пока со стржня не выгонят их в беспорядочную кутерьму несходных и борющихся между собой за первенство береговых хлыстов.

Длинною жердью, вроде багра, Митраша отводит наседающие брёвна и этим толчком тоже и помогает движению плота.

Так вот всё и двигалось по жёлтой реке: по стржню на быстрине строга и в законе движения всей воды шла главная масса круглого леса, и закон этот был — закон подбора всех брёвен по сходству между собой. По другому закону — различия — плыли все несхожие между собою брёвна, чем-нибудь друг от друга отличные, и безобразной и непонятной борьбой друг с другом как будто тоже стремились установить свой отдельный какой-то закон: по различию.

Наш же плот человеческого шёл по самому стржню, не уклоняясь ни к слудам высокого берега, ни к наволокам берега низменного. Этот плот с огоньком, управляемый маленьким человечком, плыл, повинувшись единому неизменному закону движения, но плыл он не как льдины плывут в океан, не как брёвна плывут на завод, а по законам человеческого ума и сердца: пользуясь законом движения для всех, дети-сироты плыли в неведомую даль на розыск своего родного отца.

Так вот как же и не удивиться было солнцу, когда его первые лучи встретились с человеческим огоньком на плоту: от солнца же от самого, этого нашего общего солнца, родился огонёк, но был он зажжён рукой человека и плыл даже и самому солнцу в неведомом направлении.

Плыви же, плыви, огонёк нашей человеческой правды, нашей суровой борьбы за любовь!

Глава 24

Солнце, поднимаясь, грело всё больше и больше, а спереди грела нудья, — вот бы обласканному и солнцем и человеческим огнём Митраше уснуть и оставить свой плот на волю воды, несущейся в огромную реку — Северную Двину.

Поддаваясь этой двойной ласке, Митраша и поставил было уже свои локотки на колени и подпёр себе кулачками подбородок. Оставалось только закрыть глаза, и они сами собой узились, вот только бы закрыться, вдруг среди брёвен он заметил одно бревно необыкновенное и странное. Всё оно было не жёлтое, как все, а пёстрое — из жёлтого, и белого, и чёрного, и серого. Вершина его была опущена в воду, и, поддевая ею всякое дерево, бревно ныряло и выходило на плёс, как подводная лодка.

Митраша, даже и полусонный, понял, что такое страшное бревно могло, конечно, нырнуть и под плот и так хватить по нём из-под низу в какой-нибудь край, что другой конец плота погрузится на время в воду и холодная волна окатит сено и спящую на нём Настю. Кто знает, может

быть, волна эта снесёт с плота и всё их продовольствие и хозяйственную утварь?

А может быть, этот Топляк где-нибудь одним концом упрётся в дно реки, а другой конец разорвёт, развяжет их плот и сбросит их в воду?

Митраша, конечно, очень устал, и это огромное пёстрое бревно-змея представилось ему существом самовольным, не признающим никаких законов на свете, ни солнечных, ни человеческих.

Рядом плыли такие мирные брёвна: было одно, и на нём чудесная птичка, стройная, подвижная, хорошенькая, сизая с чёрным фартуком, священная птица древних египтян, у нас же непонятая и прозванная просто трясогузкой. Удивительная птичка теперь плыла на этом бревне и пела!

Священная посланница египетского солнца не гнушалась бревном, плыла себе и пела, прославляя своей песенкой и священное солнце и священное бревно, на котором плыла.

И вдруг со всего маху бревно-змея из-под низу так хватило по мирному бревну, что оно колом встало, нырнуло и выбросилось прямо на плот.

А египетская птичка вспорхнула, села на другое бревно и на нём, как ни в чём не бывало, тоже запела.

Видел Митраша и тоже удивлялся, как пауки двигались в неведомый мир, стоя на воде, как мы на земле: каждый паук на своих длинных коленчатых ногах стоял на воде, как мы, спускаясь и поднимаясь, стоим в метро на лесенке эскалатора, и их несло. Пауков было множество, казалось, они всем народом переселяются в какие-то новые земли.

Многим из них нравилось больше взбираться на брёвна, чем стоять на воде. Одно бревно почему-то они особенно облюбовали, оно было им особенно хорошо. На нём плыли густо — паук к пауку.

Тут-то вот, где было хорошо и ладно, повидимому, и было ненавистно бревну-змее, тут и бедокурил Топляк.

Так чудилось измученному бессонницей Митраше, будто этот Топляк нарочно и метится туда, где хорошо. И вот он хватил в излюбленное пауками бревно и так сильно, что все пауки разлетелись и расставились опять прямо босыми ногами на своём водяном холодном эскалаторе.

Всему стройно плывущему на стрежне составу брёвен невозможно было бороться с этим одним-единственным бревном. Как только добрые хлысты нажимали на Топляк, он нырял своей опущенной в воду вершиной, поддевал какой-нибудь хлыст, отбрасывал его в сторону, а сам становился на его место, намечая себе в кого-то новый удар.

Так подобрался Топляк и к Митраше. К счастью, мальчик не продремал, ударил со всей силой жердью во врага, нажал грудью, сильно подвинул вперёд плот, а сбежистое пёстрое бревно нырнуло под другую самоплавно сплочённую группу хлыстов.

И вот тут-то с Митрашей случилось то самое, что часто случается с победителями и потом оказывается почти что законом: победить-то, оказывается, легче бывает, чем победу удержать за собой.

Почему бы теперь, подумалось Митраше, не поставить локотки на колени против доброго огонька, а спину не отдать тёплым лучам солнца? И так он уснул.

Вдруг что-то сильно толкнуло. Митраша едва не кувыркнулся в воду, но справился, вскочил и увидел прямо перед собой половину огромного бревна-змеи, а другая половина, передняя, была уже под плотом и вершиной ударила как раз в то самое место, где Настя спала.

Толчок был сильный, Настя вскочила, разметала над собой лапник, укрытый снегом собственного дыхания, бросилась на помощь Митраше, и они в две жерди, крепко нажав, освободили плот от бревна.

Поглядев в измученное лицо Митраши, Настя сказала ему:

— Ложись-ка ты спать на моё место, я теперь буду править, и кашу пора нам варить: поспеет, я тебя разбуджу.

Глава 25

Не один раз в жизни приходилось нам бороться и со льдами, и с коварной полой водой, и с мошкой таёжной, и всяким гнусом земным. И каждый раз после аварии схватывался и всё зло, как свою вину, понимал: то надо было побережься знакомого коварства воды, то вспомнить, что против льдов северных есть ледоколы, против гнуса лесного есть особая частая сетка. И что против всего есть что-нибудь,— если же ты не предусмотрел, не запасся там продовольствием, там какой-нибудь сеткой, или даже просто не научился ждать или терпеть, когда это необходимо в путешествии, то потом сам себя и вини!

Но как предусмотреть какой-то топляк, скрытый под водой, направленный в самое дно твоего судёнышка, груженного добром человеческим?

Есть у нас один такой знакомый топляк, правда, не тот, что бросился на детей, плывущих к своему отцу, но похожий на него, как все топляки друг на друга похожи.

Было это на реке Тойме, впадающей в Северную Двину, где на берегу высится каменная слуда. С этой слуды тонкой струёй падает в реку ручеёк.

Каждому хочется выйти на этот берег, поглядеть, разузнать, с чего и как начинаются на севере могучие реки.

Так было раз, мы вышли на берег и увидели: много больших деревьев стояли на берегу и, сплетённые корнями, делались запрудой огромных болот. Сквозь эту запруду и выбивался ручеёк, падающий с высоты слуды в реку Верхнюю Тойму.

Но не тут было начало ручья.

За этой береговой плотиной начиналась длинная и широкая тёмная рада, или болото с редкими и корявыми ёлками.

Эта тёмная рада тоже не была первым истоком ручья.

За тёмной радой начиналась радая светлая, — болото, покрытое небольшими берёзками.

Тожe и светлая рада не была самым первым началом.

Дальше, много дальше, перейдя все эти сурадьа, мы увидели сверкающее на солнце взгорье, всё покрытое блистающими родниками.

Это взгорье, покрытое сотнями родников, и было самым первым началом, питающим все сурадьа и замеченный нами ручей.

Вот тут, на горе, высоко над всеми сурадьями, стояла лиственница — дерево с опадающей осенью хвоей.

Миллионы хвойных деревьев, ёлок, сосен, по пути к этой лиственнице показывались нам на глаза, но в памяти осталась только эта очень высокая лиственница на взгорье, покрытом сверкающими родниками.

И так вот они всегда на севере, везде по Двине, эти высокие одинокие, с нежной зеленью деревья запоминаются и далеко раскрывают нам картину рек, и лесов, и озёр.

Каждый охотник на севере, каждый промышленник благодарит такое дерево, помогающее запоминать пройденный путь и открывающее ему путь впереди.

Высокое дерево-маяк — это настоящий друг человека.

Но бывает, такое же дерево делается истинным врагом человека и называется у нас оно топляком.

Вот когда долго идёшь северными лесами, то ведь голову никуда не денешь, непременно думаешь о том, о другом, и если о дереве

думаешь, о его судьбе, то переходишь на судьбу человека. Устанешь от человека и опять возвращаешься к дереву. Да так вот понемногу иной раз судьбы дерева и человека сближаются.

Так вот жила-была одна молоденькая нежная лиственница на высоком берегу, и будь бы всё благополучно в её судьбе, она бы сделалась маяком, указателем пути человеку в лесах.

Но случилось, ещё в ранней юности это нежное деревце облюбывал себе глухарь и одним движением клюва наискось срезал себе нежную, сочную верхнюю мутовку с молодого деревца.

Вся судьба лиственницы переменялась из-за этой несчастной минуты! И точно так у людей иногда бывает, что иной расположенный к добру и дружбе становится врагом человека и всю жизнь проводит вроде какого-то демона.

Поднимаясь вверх год за годом, наше раненное смолоду дерево получило форму дерева сбежистого, с влагоёмкой вершиной. Когда деревья срубили, то все хлысты имели форму цилиндра, а наша лиственница вышла конусом, и так, что на воде одна её влагоёмкая часть опустилась вниз, а другая — торчала.

И плохо иному кораблю, если капитан на неглубоком месте проглядит этот топляк! Бывает, дно парохода, опираясь в верхний конец топляка, заставляет дерево упереться другим концом, и оно делает в дне корабля пробоину.

Так вот быть бы лиственнице маяком, а она сделалась из-за ничтожной случайности топляком!

А чего только не бывает с этими топляками на сбежистых речках молевого сплава! Дерево-топляк, от низу и до вершины утончаясь, как бы сбегает, и тоже река иная называется сбежистой — значит от весны и до лета постепенно сбегает.

Взять Верхнюю Тойму. Весной эта река в половодье, как мы не раз её такой видели, река могущественная, несущая на себе в Северную Двину тысячи ошкуренных жёлтых деревьев, а осенью по ней, как посуху, переезжают свободно машины, телеги, и будто бы даже курица сама пешком переходит на другую сторону.

Верхняя Тойма не одна у Двины молевая река, их очень много таких сбежистых рек молевых, и если бы свободно, не вмешиваясь, пустить со всех рек всю моль в Двину, то весной ни одному пароходу невозможно бы пройти и едва ли можно бы тогда и весь сплав удержать и направить на завод. Тогда, пожалуй, и вся бы моль прорвалась в Белое море, а часть прошла бы, может быть, даже и в океан.

Иногда бывает, часть леса уходит из рук человека.

А отчего уходит?

Только из-за того, что деревья неодинаковые и ведут между собой, как люди, борьбу.

А отчего деревья разные — это оттого, что деревья эти рубили, пилили, окатывали, шкурили люди же и своими человеческими руками. Оттого и деревья все разные, что люди над ними работали тоже все разные.

Скоро с лесами будет всё по-иному, но пока что бывает иногда и по-старому. Ближе от впадения Верхней Тоймы в Двину с берега на берег протягивается дорожка из крепко связанных между собою деревьев. По этой дорожке можно свободно человеку ходить, но с высокой слуды, как нам приходилось наблюдать, этот разделяющий реку б о н кажется паутинкой, и трудно поверить, что такая паутинка может удерживать напор сплошной массы моли в несколько километров!

Таких паутинок — н а п р а в л я ю щ и х б о н о в — раскидывается много по Двине, и с той нашей высокой слуды их узнаешь только, если по ним за чем-нибудь идёт человек: кажется, человек идёт по воде.

Есть много бонов, разделяющих моль на сорта, но этот бон, удерживающий моль от выхода в Двину, называется запонью.

Тут где-нибудь у запони сидит в будке сплавщик самый опытный и смелый. Он пережидает время, когда можно будет открывать в запони воротца и выпускать, разбираясь в сортах, лес в ту или другую сторону двинской воды, опутанной направляющими бонами.

В каждую клетку из запони направляется тот или другой сорт круглого леса, тут же вяжут из него плоты и переправляют на завод возле Архангельска.

Запоть — это паутинка в сравнении со всей напиральной на неё маской моли и является преградой, конечно, только для плывущих на поверхности деревьев. Тут каждый новый ряд деревьев делается запонью для следующего.

Из-за того-то и получается такая видимость, будто тонкая паутинка из связанных деревьев держит несколько километров напиральной на неё моли.

Но всему бывает конец: не какое-нибудь особенное сбежистое дерево с влагоёмкой вершиной — топляк, а и самое простое, тупое дерево под огромным давлением как бы наконец догадается нырнуть под этот потолок на воде и попробовать плыть под водой.

Нырнуть-то в его воле. Но как оно может там плыть, если оно легче воды и его тянет вверх? Как оно может плыть, если и другое дерево догадалось нырнуть и нажимает снизу? А там и третье, и пятое, и десятое тоже догадались и ныряют, ныряют одно под другое до самой последней глубины и наконец всей своей жёлтой массой, наполняющей реку от поверхности до самого дна, образуют глубокий залом.

До чего же плотно сдвигаются деревья в глубинном заломе, что мы своими глазами видели, как большой старый медведь по глубинному залому перешёл реку Верхнюю Тойму.

Постоянно бывает в глубинном заломе, что верхние деревья под давлением нижних начинают там и тут подниматься и наконец все встают, как у ежа иглы.

Белой ночью на севере, когда деревья в глубинном заломе начинают подниматься, суеверному человеку можно напугаться, да и несуеверному жутко бывает смотреть, когда в белой прозрачной тишине северной ночи эти огромные деревья, эти лесные мертвецы, начинают одно за другим вставать: тогда вспоминается одно страшное кладбище на Днепре у Гоголя, где мертвецы в полночь тоже так поднимались над своими могилами...

Вот такой бывает страшный на севере глубинный залом!

Если бы наше дерево-топляк плыло в одном из первых к запони рядов, конечно, оно не стало бы ждать напора на себя плывущих сзади рядов: своей опущенной вниз влагоёмкой вершиной оно бы легко поддело первые ряды и нырнуло бы под запоть.

Так бы оно вошло в Двину и встретило бы паутину бонов, разделяющих воду на клетки для сортиментов лесного материала. И если оно могло справиться даже с глубинным заломом, то как легко могло бы оно здесь нырять под разделяющие и направляющие боны и выбиться на свободную воду Двины и плыть куда хочется — в море или даже в океан.

Чаще бывает, конечно, что сбежистое дерево плывёт не в первых рядах и нырёт, когда и простые деревья с тупыми вершинами догадались тоже нырнуть. Вот тогда сбежистому дереву приходится долго ждать, пока под огромным давлением глубинного заломы запоть не разобьётся и масса лесная не разорвётся и направляющие боны.

Труднее бывает прорваться, когда запоть чередом разбирается на сортименты в приготовленные на Двине клетки. Тут распределяющий

деревья на сортименты сплавщик может понять всю загадку самовольного дерева и пустить его куда-нибудь в дело на месте.

Но, бывает, сплавщик и проглядит, мы это однажды и видели, и теперь мы можем историю нашей лиственницы с повреждённой вершиной закончить на необитаемом острове.

Было это в Северном Ледовитом океане.

Под нажимом плывущих льдин корабль наш чуть-чуть заблудился, и путь наш на Новую Землю был отклонён. В тумане показалась какая-то земля, и мы сначала думали — это как раз и есть остров Новая Земля.

Но когда мы подъехали к этой земле, то сразу же поняли — это не старый остров Новая Земля, а действительно остров новый, и земля новая, где не ступала ещё нога человека.

Была видна нам только узенькая полоска зари, и на ней силуэтами виднелись частые головки тесно сидящих на скалах диких гусей. Морские зайцы с человеческими усами головами попрыгали с берега в воду от нас.

Остров был небольшой, мы обошли его кругом, имея в виду найти хоть какие-нибудь следы человека.

Такая была бесчеловечная пустота на заполярном островке, что мы стремились всей душой найти хоть какой-нибудь след человека.

Далеко на льдине проплыл белый медведь, и то чуть-чуть повеяло человеком: так он важно и задумчиво сидел на снегу, как человек на мягком диване.

И мы все, ничего не говоря, поглядели на него теми морскими глазами, когда люди куда-то глядят и молча думают о прелестях ароматной земли и населяющего её человека.

Вот тут-то и увидели мы и все сразу заметили на берегу шкуреное бревно, сохранившее во всей свежести свой пёстрый, как бы змеиный, цвет.

Это и был топляк, выкинутый волнами Северного Ледовитого океана.

Рассмотрев дерево со всех сторон, мы его перекатали на другую сторону, и там открылись нам слова человеческие.

До того страшно и пусто было на необитаемом острове, что мы и простым деловым словам обрадовались, как счастьем: на дереве всего был только штамп: «Севлес».

Глава 26

Когда круглый лес, сдержанный запонью в устье молевой реки, под нажимом плывущего сверху начинает нырять под верхний слой сплава и набивать реку на всю её глубину, то вся эта набитая лесом часть реки называется у сплавщиков п *ы* ж о м.

Так ведь и пыж в ружье из войлока натуго прибивается к пороху: пыж в ружье — из войлока, пыж в реке — из круглого леса.

Иной пыж бывает на несколько километров вверх от устья и толщиной до самого дна. Какое же, значит, давление снизу испытывает на себе каждое верхнее бревно! Вот отчего при крайнем нажиме нижних деревьев верхние сплошной щетиной поднимаются вверх.

Долго, конечно, под таким давлением и вся запонь оставаться не может. Тут или сплавщики дружно возьмутся за дело, откроют в запони ворота и мало-помалу, разбирая лес на сорта, выпустят его по направляющим бонам в Двину, и река от пыжа освободится. Или же, если бураки прозевают, «мертвяки» с якорями вырвутся, запонь разорвётся, и пыж вылетит из устья реки на всю волю двинской воды, как настоящий пыж вылетает из ружья после выстрела.

Хорошо ещё, если так вырвется одна молевая река, вроде нашей Верхней Тоймы, а если в то же время вывалит лес сразу в Двину из всех молевых речек, что это будет?

Оттого-то на всём севере сплавщики так боятся дружной весны.

Сколько тревоги, сколько волнений! Сколько лишних людей, отлынивающих от дела, приходят прямо по пыжу из любопытства в сплавную контору. Сколько тоже и лишних слов вылетает из уст таких любопытных, сколько дают они всяких советов, а в глубине души, в её сокровенной праздности, бывает, как на пожаре: бездельники втайне желают, чтобы пламя разгоралось всё больше, больше.

Отчего это?

На памяти старых людей не было ещё такого пыжа на Верхней Тойме, какой собрался в устье реки в ту весну, когда кончалась война и двое ребятишек, брат и сестра, в поисках своего отца показывались там и тут между людьми.

Теперь уже издали кажется, будто тогда только и говорили о том, как и где странствуют детишки. Некоторые даже настойчиво требовали проверить их бумаги, и если они своевольно плавают и ходят в лесах, то перехватить бы их и вернуть в родные места.

Ещё была молва о том, что какой-то солдат без руки прошёл куда-то за Пинегу в Корабельную чашу. Эта молва катилась от человека к человеку, как морская волна, и, может быть, не раз уже успела вернуться к тому самому, кто первый от кого-то услышал и кому-то сам рассказал.

Так было и между теми людьми, кто, чуя опасность прорыва запони, приходил по пыжу через реку в контору на сплаве.

По раннему времени года в конторе горела железка, и многие приходили в контору, только чтобы погреться, сами же делали вид, будто тоже принимают горячее участие в спасении запони.

Больше всех тут разглагольствовал какой-то неизвестный пришелец из командированных когда-то в Канаду для изучения лесозаготовок и вернувшийся оттуда будто бы инструктором канадского лесопиления. Он тем отличался от всех наших знакомых, что у нас принято обо всём самом главном помалкивать, он же делал вид, как будто и об этом всём нашем тайном всё знал и смело мог обо всём заключать и к чему-то всё подводить.

И всё у него сводилось к тому, что у нас ничего не понимают в лесном деле.

В Канаде, в Канаде, только в Канаде о лесах известна вся правда.

Наш бухгалтер из райзо, самый скромный гражданин в мире, слушал «канадца» долго и с тихой улыбкой, как от стыда, опускал голову. Но, видно, и такому скромному и застенчивому Ивану Назарычу слушать канадца стало невмоготу.

— Милый мой! — сказал он. — Ты всё говоришь о правде в Канаде, да какая же в этом правда, чтобы пилить леса и пилить. Если в этом одном будет правда и все мы будем леса пилить по-канадски, то кто же их будет растить и хранить?

— А зачем их растить? — ответил канадец. — Мы же скоро перейдём на каменный уголь.

Иван Назарыч опешил и успел только сказать:

— Вот оно что!

И остался с открытым ртом.

— Вот оно что! — повторил за ним канадец. — А ты думаешь, надолго человечеству хватит угля? На самое короткое время, но и тогда опять ничего не будет плохого.

Тут Иван Назарыч не утерпел.

— А уголь, — сказал он, — ведь, как и лес, кончится — сгорит. Что тогда?

— Ничего опять не будет плохого: тогда перейдут на силу атомную, и этого в природе столько, что над нами после смеяться будут: для чего мы так долго берегли свои леса от пилы.

— Вот оно что! — повторил Иван Назарыч, не успевший одуматься ещё и от каменного угля.

— То-то вот оно и есть, — продолжал канадец, — люди за леса держатся из-за робости, и лес делается аккумулятором всего отсталого, всякой косности, он консервативен, как старая баба, и чем скорей мы с этой зелёной дрянью покончим, тем свободней, лучше нам будет жить.

— Это не способ! — заявил Иван Назарыч.

И вдруг загорелся, как это бывает с такими людьми, как с медведями в лесу: копался-ковырялся в корешках, в ягодках и вдруг, почуяв врага, стал на дыбы.

— Ты говоришь, — сказал он, — леса спилить. Сон ты это видишь или от большого ума говоришь? Бывает, наше горе пилит леса, а не мы. Ты — нет, ты не от ума говоришь! Ты же понимать должен: наша сила в лесах совершается. «Леса надо спилить!» Сон ты это видишь!

Канадец чуть-чуть смутился от внезапного нападения и растерянно спросил:

— Зачем сон?

— А затем сон, — ответил Иван Назарыч, — что есть люди, вроде тебя, говорят складно и такие слова, что хоть возьми да прямо в карман положи. И кладут многие в карман и верят, а это после окажется сон, и кто сказал их — это сказал сон-человек.

— Как это сон-человек? — повторил канадец, не понимая ещё, с какой стороны будет на него нападение.

— А так — сон, — ответил Иван Назарыч. — Как же это не сон, ежели ты горе человеческое хочешь нам подставить, как правду, и хвалишься тем, что в Канаде спешат уничтожить леса поскорей и взяться за каменный уголь.

— А чего ты? — спросил, собираясь с духом, канадец. — Тебе-то что?

— Как же не беспокоиться мне за леса, — ответил Назарыч, — если в лесах наша сила совершается. Ты это понимаешь?

— Не понимаю, — ответил канадец.

— А вот я сейчас тебе притчу скажу, и ты поймёшь. Есть у нас возле реки Мезени, в автономной области Коми, Корабельная чаща вот какой силы и красоты, что каждое дерево на подбор — дерево к дереву так часто, что какому надлежит падать, упасть нельзя: прислонится к другому и стоит, как живое. Полюбилась людям эта роща, и решили они её хранить. Старики молодым передавали завет свой хранить Корабельную чащу: сила в этой роще хранится и правда. Так триста лет эту Чащу укрывали от пилы и топора.

— Суеверие и косность! — сказал канадец, собираясь с духом.

— Не суеверие, а сила правды, — ответил Назарыч, — и я сейчас тебе это выведу. Триста лет хранили Корабельную чащу, и вот приходит с войны чужой солдатик без руки и говорит: «Я лесник по природе своей и дорожу лесами не меньше вас. Я солдат и служу Советскому Союзу, и я знаю: Ленин сказал и завещал нам правду сказать, и мы должны эту правду сказать на весь мир».

Так сказал простой солдатик, и люди задумались. Не по-нашему он им сказал, не сон были его слова.

Умел сказать простой солдатик, люди задумались и порешили свою священную рощу отдать. Триста лет берегли и, услышав слово о правде, нашли в себе силу расстаться.

Понял? Бывает, горе наше заставляет рубить леса, и радоваться тут нечему: леса надо растить и хранить, в лесах народная сила растёт. Когда же время придёт, мы ничего не пожалеем.

Так сказал Иван Назарыч, и кто-то спросил его о Корабельной чаше и о солдатике с подвязанной рукой, но он сел на своё место с улыбкой для всех и с вопросом: «Не сказал ли чего-нибудь лишнего?»

А молва людская, как морская волна, о Корабельной чаше и о безруком солдате и каком-то его слове правды покатились дальше и дальше.

Из области вышел приказ держать в устье Верхней Тоймы запонь до прихода одного парохода, названного в честь славного северного партизана «Быстровым». Приказ был решительный: «До прихода Быстрова запонь ни в коем случае не спускать».

Вот и поговори теперь о необходимости спустить запонь, если есть из области такой решительный приказ. Кто возьмёт на себя ответственность не послушаться и поступать не как надумали в области, а как надо поступить, учитывая видимый здесь и невидимый в области закон природы?

Оно, конечно, понятно, почему в области вышел такой решительный приказ: «Быстров» назначен пройти с продовольствием в такие глухие места, куда можно на пароходе попасть только раз, в полую воду. Если же «Быстров» во-время не попадёт в те места, то люди, занятые охотничьим промыслом, останутся на весь сезон без муки.

Выходит, что «Быстрова» во что бы то ни стало надо пропустить.

Против этого разумного приказа восстал только один человек, вроде атамана у сплавщиков, заведующий запонью Верхней Тоймы. Он требовал запонь сейчас же открыть и брался устроить такое распределение направляющих бонов, что «Быстров» бы между ними свободно прошёл вверх.

Из конторы нельзя было увидеть того, что ясно указывало на приближение стихийной катастрофы. А сплавщики это чуяли, но словами понятно об этом сказать не умели.

Сплавщик, заведующий запонью, стал раздражённо требовать разборз запони, контора вздыбилась и, упирая на приказ, пошла на принцип.

Кому-кому, а уж никак не бухгалтеру Ивану Назарычу спорить с приказом из области: всё понимает, а до времени всё помалкивает. И так все: один за другого, другой за третьего, снаружи как будто все за приказ, и все тоже помалкивают.

Так, через какого-то пустозвона, контора и пошла «на принцип», хотя втайне ни у кого настоящего принципа не было: настоящий принцип, по нашему мнению, был только у бурлака, заведующего запонью.

Кто же он, этот человек, что может спорить и с приказом из области?

Все знают — это не простой человек.

Река сбежистая в весенних водах — это река безумная, она мчится, чтобы всю лесную воду почти что досуха сбросить в Двину. Такая река всё равно, что водопад, и вот по такому-то водопаду лесной наездник, сплавщик, мчится, бывает, на одном бревне, как степняк на коне. Бурлаки на сплавах такие же молодцы, как степные наездники на своих конях.

Бывает даже, когда разнесёт вдребезги запонь и моль вырвется в Двину, то и тут ватага удалых бурлаков под управлением своего природного атамана — кто на челне, кто на бревне — окружит всю моль и успеет за какую-нибудь одну ночь обвязать и обнести её бонами.

Вот такой-то молодец-атаман и был сейчас заведующим запонью. Нелегко было такого найти. Нелегко теперь с ним и справиться. За его

спиной стоят сейчас все сплавщики. Вот он опять звонит по телефону:

— Долго ли вы будете реку держать?

Человек у телефона ничего не может ответить.

— Что он спрашивает? — говорит канадец.

— Спрашивает: «Долго ли вы будете реку держать?»

— Скажи ему: скоро пустим, а если спросит: «Как скоро?» — скажи ему: «Как скоро, так сейчас».

На короткое время телефон смолкает, но вот он опять.

— Дешёвый мужик! — сказал инструктор лесопиления.

И тут же объяснил свои слова:

— Такие они, все пинжаки, дешёвые: сохранит запонь — награждать не надо, он даже и не поймёт, за что его наградят, а упустит, запонь разлетится — не жалко такого и наказать... Вон опять накручивает, спроси, что ему надо.

По телефону сказали:

— Откройте запонь — последнее предупреждение: лес встаёт!

Все бросились к окнам, а некоторые выбежали даже вон из конторы, и все увидели, что там и тут по всей жёлтой поверхности пыжа отдельные деревья, вернее — скелеты деревьев, тут же у всех на глазах без всякой видимой причины вдруг вскакивали быстро и некоторое время, чуть покачиваясь, утверждались.

— Лес встаёт! — повторяли свидетели этого редкого и странного явления.

И шептали суеверно о заведующем запонью:

— Он что-то знает.

Это была действительно правда: Мануйло кое-что знал.

Теперь из своей будочки с телефоном, из окошка он смотрел на береговую грамоту, написанную лапками птички, смотрел на свои собственные заметки на песке, на подплывающих паучков, соображал, думал, и правда — старый бурлак кое-что знал.

Он знал — это наступает последняя ночь нажима новых и новых деревьев на пыж: в эту ночь запонь больше не выдержит.

И что же ему было особенно трудно и отчего ему было так тяжело на душе: он знал, а людям сказать и их уверить не мог. Если бы он своими словами указал бы на разные признаки, вроде грамоты птички, все бы только посмеялись, полагая, что Мануйло заводит свою новую сказку о какой-то грамотной птичке.

И ещё тяжелее было, что они знать того не хотели, как ему, главному сплавщику, не меньше, чем им там, в конторе, хотелось пропустить «Быстрова», и он по себе самому больше их понимал, какая промысловым охотникам бывает нужда в продовольствии. У него даже сложился план в голове, как это сделать, чтобы и лес спустить и дать пройти пароходу. Тем же было всё дело только в приказе и в том, что Мануйло приказа не хочет слушаться.

Не для себя же, не для своей какой-нибудь выгоды он не хочет слушаться приказа, но тоже и не для их благополучия.

И вдруг вспомнилось ему, как лежали они вместе в больнице с тем сержантом.

«Как его звали?» — стал вспоминать Мануйло.

И вспомнилось — звали его Васей, и говорили они с ним о правде истинной.

«Вот куда надо смотреть! — сказал он себе. — Вот чему надо слушать!»

И когда от этого разговора с Васей пришёл к спору своему сейчас с начальником, вдруг ему стало всё ясно: он будет слушаться и не будет

нарушать приказа, но он приготовится на случай, если запонь полетит в эту ночь. Он распорядится сейчас всем бурлакам приготовиться и в эту ночь, не смыкая глаз, сидеть возле лодок. Дело трудное, опасное, но бывалое: окружить на Двине бонами всю моль и запереть её.

Теперь, после решения, веселей ему стало смотреть из своего окошка на крутой песчаный берег с грамотой птички.

Он видел, как пауки, растопырив ноги, пешком по воде прибывали на берег; видел, как всякие букашки подплывали на остров спасения, какие-то ничтожные блошки и вошки плыли, скакали, ехали кто на чём, кто на ком.

Их всех встречала самая хорошенькая птичка, вся ровно сизая, и на груди у неё чёрный галстук, сама узенькая, стройная, хвостик длинный, ножки тонкие. И всё-то бегаёт, бегаёт и до того забегаётся по краю взад и вперёд, что когда надо остановиться, то хоть и на одном месте стоит, но всё равно движется и на тонких ножках своих раскачивается и трясёт хвостиком. И вдруг — цап! Носиком одного из прибывших гостей — цап! Другого — цап, третьего, — много нацапает, нахватает, и себе на пользу и им, такому множеству, не в убыток. И опять примется бегать по краю вперёд и назад, вперёд и назад.

Такие уж, видно, и гости, что им от этого ничего не делается, на то так и множится вся эта мелочь, чтобы все её кушали и чтобы хватало на всех.

Тут были с прилёту и зяблики и тоже клевали, но правильных следов на песке ни от каких птиц не оставалось, таких следов, чтобы по ним, как по следам трясогузки, можно было бы понимать движение прибывающей и убывающей воды на Двине.

С утра до ночи бегаёт трясогузка по песку у самой воды. И от лапок птички у самой воды, лапочка за лапочкой, складывается настоящая строчка.

Прибывает вода, строчка набеганная тонет, а птичка гонит новую, и опять новая тонет: вода прибывает.

Скоро тонет, скоро и птичка бегаёт, и, значит, сильно, бывает, и очень, очень сильно вода прибывает.

А то и птички нет на берегу, а на глазах строчки выходят из-под воды, много или мало, скоро или медленно, смотря по тому, мало или много убывает вода.

Какое множество рек больших и малых впадает в Двину, этого птичка не знает, — её дело только встречать гостей и брать от них свою долю. Птичке кажется, она работает только для себя, только чтобы самой наклеваться, а выходит её дело на всех. Ведь если повысится горизонт какой-нибудь реки, Двина это чувствует, и если понизится, тоже чувствует, и всё это передаётся на песке через лапки бегающей птички трясогузки.

Мануйло дожил почти до старости, но всё удивляется и старается всегда понять, зачем это и к чему. А когда сам поймёт, то это самое и считает за правду и об этом на пользу хочет сказать. А вот какие-то о ни, вроде канадца, знать не хотят этой правды, слушают какого-то приказа, его же правду принимают за сказку, за птичью грамоту.

День как-то странно кончался, темнело больше, чем оно может темнеть в это время года. Строчки тонули прямо даже из-под лапок птички.

И вдруг Мануйло понял всё и до конца.

Это Вычегда, большая река, вся разом бросилась в Двину, теперь неминуемо запонь в эту ночь разлетится. Вот на глазах даже и птичка бросила бегать и улетела. Надо итти, бежать, готовиться к беде и самому с собой тоже укладываться: редко бывает, чтобы спасение леса обошлось без человеческой жертвы.

Была тут минутка, когда Мануйло вспомнил, что детям он послал записку и всё их ждал, и их всё почему-то не было.

Так он подумал сейчас, уходя к бурлакам на работу, что, скорей всего, детей тогда забрали охотники и увезли обратно в Вологду.

И он надолго, перед наступлением темноты, отвёл свои глаза от Двины, и вот нужно же, что как раз в эти какие-то, может быть, два часа, когда Мануйлы не было, на берегу Двины заметили: подплывает какой-то маленький плот с огоньком.

Глава 27

Высокий берег на севере называется слудой. Вода, ударяясь о слуду, конечно, размывает её и мельчайшие частицы переносит на другой, низменный берег.

Тот новый намытый берег называется наволоком, и там бывает весёлая, радостная, раззелёная травка. Весной рано, выйдя прямо из берлоги, медведь любит копаться у воды на зелёной травке.

Мы не раз бывали на высокой слуде ранней весной и смотрели, как там, на другой стороне, по наволоку бродил мишка и долго на одном месте копался. Возле нас всегда люди делали свои догадки о том, чем в такое раннее время занимается медведь: добывает ли он после долгой берложной жизни себе сладкие корешки для питания или, может быть, лечится и очищает себе желудок травами?

Высокая слуда на Верхней Тойме была кругом выше всего, ещё к тому же на ней росла тоже очень высокая лиственница. Возле самой этой лиственницы в незапамятные времена вышел из-под земли большой камень, и рядом с этим камнем проходила постоянная тропа из Нижней Тоймы.

С этого высокого места далеко видно, и каждый охотник, скинув с плеч сумку, садится на камень и, обрадованный отдыхом, куда-то далеко глядит по разливу Двины и по-своему о чём-то думает.

Сейчас и под слудой и на той стороне по наволоку забиты в землю чугунные мертвяки с якорями, и ими-то на тросах и держится запонь, раскинутая по устью Верхней Тоймы. Запонь отделяет воду бурной сбежистой реки от великой и с виду спокойной Двины.

Немало на свете великих рек, и что они многоводные и широкие — это, само собой, всех их делает и красивыми. Но Двина красива своими лесами.

А белая ночь!

Сквозь белый сумрак глядишь в эти леса, и почему-то тянет туда, далеко, в эти леса.

Послушайте, что люди между собой говорят, раздумчиво глядя с высокой слуды на море лесов по Двине.

Говорят люди между собой о том, что сильно порублены там, за Двиной, эти леса из-за великих войн между людьми. Но хорошо, что мы понимаем это и все жалеем леса. На всём же свете думают так, что с лесами надо кончать. И кончают везде, а потом, когда всё размотают, и давай их сажать.

— Понимаю,— говорит один,— леса можно посадить и вернуть, только чего-то всё-таки в саженом лесу и не вернётся.

— Ты угадал: вот это самое и мне чудится, будто я там своё что-то самое себе дорогое оставил. Понимаешь?

— Понимаю, друг, леса наши надо беречь.

Иногда кажется в тишине белой ночи на великом разливе Северной Двины, будто это не наши живые люди идут по тропе, а те, кто дал нам

жизнь, прошли: они-то прошли, а сам я здесь и теперь, сам живой ещё, их всех вспоминаю, и они от этого показываются, не они, какими были, а только их призраки.

Так белою ночью на Северной Двине всё кажется призрачным.

Показалась древняя женщина, сгорбленная, с большой палкой и мешком за спиной. Тоже и она, как другие прохожие, села отдохнуть на большой камень и, устроившись, поглядела сначала в сторону Двины.

Вся-то большая вода сейчас была в паутинках. Такими с высоты слуды казались боны, приготовленные для распределения сортов выпущаемого из запони круглого леса.

Вдали, в обход направляющих бонов, старуха заметила движущийся огонёк и старыми глазами остановилась на нём.

«Плот идёт! — подумала она. — Кашу варят бурлаки или уху».

И повернулась в другую сторону, где над водой Двины теперь висела стеной вода Верхней Тоймы, замкнутая в своём движении запонью с пыжом жёлтого леса длиной в несколько вёрст и глубиной до самого дна.

По тропе же люди всё проходили — какие с мешками, какие с корзинами, какие престо с палками. И уж ей-то, усталой старухе, конечно, казалось: это не здешние люди проходят, а те, что в её жизни прошли.

Такая на севере всегда белая ночь: детишки, молодёжь, конечно, спят, а кто постарше вспоминают и думают больше всё о тех, кто прошёл.

Не на всё же разом смотреть!

А было так, что попалося на глаза какое-то одно большое жёлтое шкуреное бревно круглого леса, и почему-то глаза так на нём и остались.

Тут-то вот, белою ночью, и показалось старухе, будто жёлтое большое бревно на её глазах пошевелилось, легонечко вскочило, покачалось, кивнуло ей и опять легло.

Видно, старуха в жизни своей такого ещё никогда не видала и подумала на себя, что это не там, на реке, делается, а у неё в голове мешается.

Медленно подняла старуха руку с двуперстным сложением и перекрестилась внимательным староверским крестом.

Но мёртвое бревно не только не унялось от креста, а живенько прыгнуло вверх, погрозило старухе и так осталось как бы с угрозой:

— Попробуй-ка ещё перекрестись!

И как только старуха попробовала занести руку, вдруг как прыгнет вверх другое мёртвое дерево, как прыгнет другое, третье, как начнут везде во всех сторонах и концах мертвецы вставать и грозить, вставать и грозить...

Так вскоре и весь пыж на всём видимом пространстве замкнутой реки ошетинился.

Когда весь пыж, как одно существо, поднялся и ошетинился, старуха одумалась, твёрдо перекрестилась и стала слушать, как об этом всём люди говорят тут на камне, возле неё.

Говорили, что, скорее всего, это наделала Вычегда, что это большая вода тронулась. Другие уверяли, будто это своя вода, здешняя, пришла из верхних сурадий, вырвалась из-под тёмных ельников и бросилась.

Кто-то позвал:

— Смотрите, смотрите сюда!

Все повернулись к Двине, и старуха, повернувшись со всеми лицом на ту сторону, узнала тот раньше замеченный огонёк. Теперь было ясно видно — это был маленький плот с огоньком. Он плыл прямо на паутинку бона и остановился возле этой дорожки из двух связанных брёвен. Двое детей, мальчик и девочка, сошли с плота на бон и стали вытаскивать и вешать на себя какое-то имущество.

И вдруг, в одну минуту, потемнело, и белая ночь стала тёмной. Тучи закрыли всё небо, и дети исчезли из глаз.

Тут-то вот и случилось то самое, чего так боялись на лесной бирже, так боялись, так много говорили, так спорили.

Вдруг отчего-то чугунный мертвяк, глубоко врытый в землю, обвитый тросами толщиной в руку, закреплённый якорями, выскочил из-под земли и, как маленький, со своими якорями и тросами помчался к реке.

Тогда в один миг прорвало запонь, и все мертвецы, как по сигналу, мгновенно легли на воду и всей жёлтой массой понеслись в Двину.

Какие уж там направляющие и разделяющие боны! Всё приготовленное, всё связанное и сшитое человеком летело, как паутинка!

Пришли тёмные тучи, хлынул дождь, и белая ночь стала чёрной.

Все, кто видел, как вырвался из рук человеческих глубинный залом, теперь молчали и думали только о том, как бы самим благополучно добраться домой.

Нельзя сказать, чтобы никто не подумал о детях на паутинке, схваченных теперь, наверно, силой массы мёртвого дерева. Что будет с этими детьми?

Нет, никак нельзя сказать, чтобы никто не подумал о детях, скорее напротив, про себя каждый подумал, каждого чуть-чуть царапнула за сердце мыслёнка о детях: нельзя ли хоть за что-нибудь ухватиться и помочь им?

Так и утопающий хватается за соломинку, но в темноте и соломинки нет. И никому больше не видно, где мчится и что разрушает и топит теперь жёлтый поток круглого леса. Может быть, и дети, как зверушки в половодье, уцепились за что-нибудь, прижались друг к другу, сидят и дрожат.

Нет, никак нельзя сказать, чтобы люди не думали. Но что же делать? Теперь каждый шёл по мокрой, скользкой тропе, рискуя каждый миг сам оборваться и полететь туда, где сейчас на глазах чугунный мертвяк, как детская игрушка, улетел со своими якорями.

Мало того! Совесть каждого спрашивала:

— А что ты сам сделал для спасения этих детей?

И каждый на это, как бы в своё оправдание, вроде как бы обвинял самих детей такими словами:

— Да откуда же вы взялись и кто вас пустил ходить по направляющим и разделяющим бонам: они же приготовлены для дела, а вас понесло в эту пропасть из баловства.

И так каждый, свалив всю беду на самих детей, очищал свою совесть и с каждым шагом приближался к своему дому, где в тепле сам уснёт от забот и рядом с ним уснёт его совесть.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

Сузём

Глава 28

Пусть и наш лес велик, но если есть в нём хоть одна деревенька или село, это уже не сузём.

Так говорят на севере, проходя деревню на берегу зелёного моря сузёма:

— Последнюю деревню проходим.

И это значит, что дальше будет только сузём, и в нём уже больше нет ни деревень, ни дорог и ничего человеческого, кроме общей тропы и охотничьих путиков с их маленькими курными избушками.

Мы когда проходили в первый раз в жизни последнюю деревню и вступали в сузём, то казалось нам, там, в глубине сузёма, поймём, где же та самая граница в нас самих: по одну сторону — леса, воды, деревья, животные, вся природа, а по другую начинается сам человек.

И когда мы прощались с последней деревней и в диком сузёме встречали небывалое в природе, встречали начало чего-то своего, человеческого, то приходили в восторг.

В стужу, в бурю, с глазами, залепленными мокрым снегом, мы однажды пришли ночью в маленькую курную избушку после огромного перехода по общей тропе. Пошарив руками по лавочке, мы нашли там спички и пучок лучинок сухих, заготовленных кем-то для другого неизвестного человека, странника, вроде нас самих, замерзающего в стуже сузёма.

А что это делается с собой, когда разгорятся дрова, распалится камень и начнёт отдавать своё тепло человеку?

Не камень раскалённый — причина радости, а что другой человек о тебе подумал и своё добро тебе же тут и отдаёт в этом тепле.

Дым, как чёрное небо, сверху садится ниже и ниже, делается всё теплей и теплей. Там, вверху, дым, а у себя на лавочке, в себе самом — чувство великой благодарности тому, кто подумал вперёд о тебе.

После, когда уходит, сам тоже заготовишь сухих лучинок для неизвестного, и тогда открывается тебе душа самого сузёма, как душа самого человека, и началом этой души кажется небольшое усилие заготовить дрова для подобного тебе человека.

Чем вот он нам и хорош, сузём, и, наверно, оттого и тянет в леса, что в населённых местах мы привыкли ко всему и не обращаем внимания на добро; тут же, в сузёме, благодаришь за всякий пустяк и готовишься сам сделать что-нибудь из одной даже только благодарности за лучинку, за спички, за красный глаз горячего камня в темноте курной избушки.

Было в конце великой войны, в последней перед сузёмом деревне одна старушка помолилась богу, зажгла четверговую свечу и, прикрывая старрой рукой огонёк, обошла кругом всю деревню.

Возле старенького последнего домика начиналась общая тропа в сузём, и тут, на тропе, поджидал бабушку с огоньком неизвестный прохожий человек. Собираясь в сузём, этот пожилой человек, с голубыми глазами и с большой бородой, остановился, подивился на старушку и спросил её, что случилось, почему она вздумала обойти кругом с огоньком всю деревню.

— Скажи мне, — ответила старушка, — как твоё имечко-то святое?

— Имя моё, бабушка, — ответил прохожий, — Онисим.

— Так вот, добрый человек, Онисим, — сказала старушка вместе и строго и ласково, — слух пришёл к нам верный. Сними свою шапку и выслушай.

До того строго сказала старушка и до того ласково, что прохожий человек сразу послушался и снял свою шапку.

— Не то ли, — спросил он, — ты хочешь сказать, что и я слышал и теперь спешу вернуться с этим в сузём? Я слышал, что война кончилась.

Старушка, ничего не сказав, медленно поклонилась прохожему, и он тоже по-старинному склонился до пояса и, надев шапку, пошёл по тропе в сторону сузёма.

Глава 29

Чуткий, вот какой же он чуткий, этот сузём!

Такой он чуткий, как и степь, великая степь-пустыня, где новость летит от одного каравана к другому, от всадника к всаднику.

Такой же чуткий сузём, как и море, и только в море одна волна, перекатываясь, говорит что-то другой, а в сузёме одна веточка что-то перешёптывает другой, и всё дальше и дальше.

Как ветер по ёлочкам, так и весть о конце войны понеслась скоро по таёжным местам, от Пинеги к Мезени, от Мезени к Печоре и дальше — по Тобольской неисходимой тайге.

Такой чуткий сузём, что один раз только олень копытом нажал на мох — и на бровке копытной ямки на другую весну вырастает другая какая-то сладкая травка, и другой олень, завидев её, по-своему понимает: тут прошлой весной был тоже олень.

Много ubyло белых пятен в лесу, и хрусткий лёд на общей тропе, черепок, почти совершенно исчез. Теперь только где-нибудь под множеством грудami наваленных, наломанных деревьев, в этих непроходимых ламах, лежит по-настоящему снег и всё-таки, подтаивая даже в ламах, питает весенние сбежистые реки.

Так бывает весенняя перемена в сузёме, как и в наших обыкновенных лесах, но всё же и так и не так.

У нас идёшь по лесу, и тут же на ходу, на глазах, лесные породы меняются, кажется даже иногда, сам ты стоишь, а мимо тебя проходят ёлки, берёзки, сосны, осинки, дуб, липа, бузина, можжевельники.

А в сузёме, как заладит ёлка, так и будешь ёлкой итти недели две: ты будешь тонуть ногой в долгомошнике, а в голове будет петь мечта о сухой сосновой гриве, где нога больше не вязнет в долгих мхах, а идёт по белому оленьему сухому мху, как по ковру. И там деревья не впадают, как в ельнике, друг в друга сухими суками, а, чистые, большие, стоят тесно и не мешают друг другу. Там деревья вовсе даже и не падают, и если случится, какое-то дерево кончит свой жизненный путь, оно не падает: покачнётся и, прислонясь к другому, стоит, как живое.

Так идёшь по долгомошнику неделю, другую и всё думаешь об этой какой-то чудесной Корабельной чаше, где сам не тонешь, как в долгомошнике, а напротив, прямые высокие дружные деревья и тебя поднимают вверх...

Что же всего удивительней: знаешь верно, такая своя чудесная, сказочная Корабельная чаша существует в сузёме и когда-нибудь ты к ней непременно придёшь.

У нас в обжитых лесах прилетит по весне кукушка, и девушка будет считать, сколько лет ещё остаётся жить до замужества.

Бедная девушка! Она думает только о себе и понимает весеннее время так, что кукушка только затем прилетает, чтобы поведать о девичьем счастье.

В сузёмных местах, в этой великой пустыне, голос кукушки гремит без помех с утра до ночи. И сколько ни иди в сузёме, весной всё будешь слышать кукушку.

Это оттого, что на ходу одна кукушка другой передаёт голос и уходит всё дальше, всё глубже в сузём.

Шагом идёшь трудным, размеренным и всё время прислушиваешься к голосу кукушки: и кажется, не шаг это твой, а счёт времени.

Какие тут соловьи, какие тут песни и девушки! Тут идёт счёт срока жизни самой земли, самой нашей планеты. Кукушка считает не для девушки, а для всей нашей земли: сколько лет остаётся ещё жить всей нашей земле.

Глава 30

Река Пинега начинается в сузёме двумя речками: одна река Белая, другая — Чёрная.

Белая речка рождается в глухом болоте, где растёт мелкая, хилая сосна. Такая местность с мелкой сосной или берёзкой по болоту называется светлой радой.

Белая речка вытекает из светлой рады.

Чёрная речка берётся в тёмной раде, где по болоту растёт корявая ёлка, похожая на какую-то злую чёртову тещу на метле, хстя, бывает, и на добрую бабушку с подарками. Идёшь по такой тёмной раде к той доброй бабушке, а земля под ногой ходуном ходит, и сам начинаешь понимать — не добрая бабушка впереди ожидает тебя с подарком, а всё та же чёртова теща притворяется доброй бабушкой.

Вот из такой-то тёмной рады и вытекает Чёрная речка.

Светлая рада, скорей всего, названа по растущей на ней светолюбивой сосне, тёмная рада — по теневыносливой ёлке.

Вытекает ли речка своим первым ручьём из рады светлой или тёмной, всё равно смешно смотреть, как этот бойкий ручей бросается к деревьям, подрывает их и тут же прямо и валит их на себя.

Чем дальше от матери-рады удаляется ручей, тем деревья и кореннастей, и толще, и выше, тем кажется ближе гибель ручья от навала на него вдоль и поперёк крупных деревьев.

Но, как бывает в горах, целая огромная скала, подточенная ручейком, валится на него. Кажется, ничего от ручья не останется, а вскоре, глядишь, он снова мчится из-под скалы, и ты понимаешь — самая тяжёлая гора не может задавить самого маленького живого ручья. Так и в сузёме бывает с деревьями. И в лесах деревья заваливают речку, но она бежит и бежит себе под ними и всё больше и больше валит их на себя.

Мало-помалу эта лама из поваленных деревьев как-то выравнивается, покрывается мохом, обрастает кустарником чёрной ольхи, а под ней глубоко невидимая речка журчит и ворчит.

Кто это знает, сколько лет прошло, нужных для зарастания ламы, чтобы какой-то умный прохожий нашёлся и решился сойти с общей тропы и, сокращая себе путь, перебраться на ту сторону речки по ламе?

Сокращая себе далёкий обход, этот беспокойный человек очень недавно свернул с общей тропы и топором просек себе через густые кустарники путь на ту сторону и перешёл ламу.

После того неизвестного этот путь проходил тот знакомый нам человек с большой бородой и голубыми глазами, по имени Онисим. Он заметил новый просечённый путь через ламу, свернул на него и подумал:

«Вот неглупый человек — и сам себе сократил путь и сколько людям сделал добра: теперь общая тропа непременно завернёт по его следу и пойдёт над речкой через ламу».

Так Онисим перешёл через ламу и вдруг заметил на мху чьи-то следы.

Тем-то вот и ещё сузём не такой, как наши обжитые леса. Разве у нас кто станет обращать внимание своё и тратить его на чьи-то человеческие следы: мало ли ходит у нас по лесным дорожкам разных людей!

Какое дело самому себе до чужого следа! У нас идёт человек по лесной дорожке и навистывает и глядит на что-нибудь по сторонам. За чем ему наклоняться и глядеть на чей-то след себе под ноги?

В сузёме если глядеть по сторонам, то разве только на просветлилки в пологе леса: не расступается ли это лес перед концом пути, не обещает ли просветлинка полянки с берёзами и скамьёй для отдыха на общей тропе.

Человек больше всего по человеку скучает в сузёме, он и боится недоброго, но жить так хочется, что часто забывает плохое...

Вот почему в сузёме один человек не жалеет внимания на то, чтобы увидеть чей-то след на своём пути и, увидев, подумать, кто бы это мог итти перед ним и куда...

Так и Онисим стал с интересом разглядывать следы: на мху остались чьи-то следы, но разобрать, кто именно шёл — один или двое, мужчина или женщина, — было невозможно.

Когда же прохожий перешёл ламу, то у берега скрытой под ламой реки оказался хорошо намытый песочек и подальше — кустик чёрной смородины, только что распускающей зелёные почки.

Вот как раз тут-то, на песке возле лампы, были следы двух пар человеческих ног, одной побольше — догадывался Онисим — от мальчика и другой поменьше — от девочки.

Ещё заметил Онисим, что если маленькая пара ног отвечала девочке, то это, конечно, она завернула по песчаной намоине к кусту смородины, сорвала с него веточку и, восхищённая ароматом почек, догнала своего спутника и передала ему веточку смородины. Тот же под влиянием девочки, может быть, на минуту отдался прелести аромата смородины, но вдруг увидел нечто более интересное для мальчика: прямой, как свеча, посошок из черёмухи. Бросив на свой след ветку смородины, он вырубил себе топором посошок и некоторое время очищал его ножиком.

Онисим подумал — это, скорей всего, дети какого-нибудь охотника: что-нибудь случилось с матерью, и они отправились искать отца. В сузёме так бывает, и эти маленькие охотники иногда даже вырубают на деревьях свои особые заметки пониже других.

Обход через ламу сократил путь версты на три и вывел к обратному переходу через другую ламу к общей тропе. Тут опять на береговом песочке были отпечатки маленьких ног, и на дереве в четыре рубыша было вырублено знамя путика Воронья пята. Тут Онисим остановился и над этим известным знаменем задумался: кому и зачем понадобилось знамя старинного путика перенести сюда? Разве только, что это дети шли и от избытка сил или «от нечего делать» баловались на ходу топором.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

Свой путик

Глава 31

Некоторые говорят, будто счастья нет и быть не может на свете.

— Какое же счастье, — говорят они, — может быть в жизни человеку, если каждому даже и с жизнью своей расстаться приходится?

Вот и поговори с такими людьми!

Мы говорим:

— Хорошо яблочко!

Они отвечают:

— Чем же оно хорошо, если неделю полежит и сопреет.

Мы возражаем:

— А ты не давай ему преть, возьми с окошка и съешь.

— Да как же, — говорит, — я его возьму, если оно лежит на чужом окошке!

Так вот и поговори с такими, посмекай, что, может быть, к этому чужому окошку и вся беда сводится.

Мы же на вопрос: «Кому на свете жить хорошо?» — в простоте своей отвечаем:

— Тому хорошо, кто занят своим делом, и оно — дело себе любимое, а другим людям полезное.

Но даже и на такое простое и ясное решение те люди с яблочком на чужом окошке скажут:

— Любимое дело! Поди-ка поделай, что самому хочется. Полезное дело! Поди-ка добейся признания в людях.

После того опять начинается сказка про белого бычка или про яблочко на чужом окошке.

И всё это оттого, что сделать шаг по направлению к своему счастью не хочется, и это у с и л и е взять жизнь в свои руки кажется трудным.

Зачем же об этом мы всё-таки теперь говорим?

А затем говорим, что под руками добрый пример: наш Мануйло сделал именно вот такое усилие, шагнул прямо к своему счастью и был действительно счастливым: после всего он попал на свой путик.

Мы затем говорим об этом, что редко бывает так у людей, что любимое дело своё собственное получало общее признание.

Вот почему мы сейчас и вспомним все шаги Мануйлы к своему счастью.

Мы оставили его в то время, когда прорвало запонь и сплавщики, им организованные, бросились кто в карбас, кто в ялик, кто прямо стал на струю и с багром в руке на одном бревне понёсся в пучину.

В то время как сплавщики окружали шкурёный лес на Двине, против Верхней Тоймы, часть этого леса подплывала уже по Двине к Нижней Тойме и встретилась с идущим вверх пароходом «Быстровым». Капитан «Быстрова», сам бурлак из пинжаков, сразу понял, что повыше сплавщики окружают лес, а этот у них вырвался из-под рук и, значит, надо немедленно его самим окружить. Весь экипаж бросился в шлюпки, и тут, окружая лес, матросы заметили на брёвнах детей со всеми их дорожными вещами. Их немедленно доставили в Нижнюю Тойму.

Мануйло же в своей Верхней Тойме ничего не знал о детях, он и не думал о них, он был уверен, что они давно уже вернулись обратно в Вологду.

Собрав лес в эту ночь, он ещё дня три занимался его сортировкой и, закончив бурлацкие дела, с чистым сердцем направился на казённой лошадке-«ледяночке» за сто вёрст, в свою родную деревню Журавли.

Тут-то вот, в Журавлях, и вспыхнуло ярким огнём его заслуженное счастье.

Нечего и говорить, как приняли Мануйлу односельчане колхоза «Бедняк». Верные слова Мануйлы о том, что название «Бедняк» устарелое и ни к чему теперь не ведёт, вскоре после его ухода оправдались: стали отовсюду приходить вести о зажиточной жизни, и в газетах, даже самых маленьких, стали на все лады повторять новый идеал экономики: зажиточную жизнь. И вот, когда все колхозы кругом и все единоличники даже стали смеяться над колхозом «Бедняк», прибыл Мануйло с указаниями от Калинина и о названии и о том, чтобы охотникам дали возможность работать для колхоза на своих путиках.

— А что вы скажете, — спросил Мануйло на собрании, — если мы колхоз назовём...

И замялся.

— Ну, ну! — подстегнул его председатель. — Время меняется, и мы сами меняемся со временем. Теперь мы уже не такие глупые, как были прежде. Говори смело: ты был у Калинина.

— Смело? — спросил Мануйло. — Хотите смело, назовём колхоз «Богачом». Ничего в этом нет плохого, если бедняк станет у нас богачом.

Кто-то возразил:

— Как же так, только что богачей выгоняли, а теперь сами на себя берём это имя?

Председатель на это ответил:

— Так мы не на себя лично берём это имя, а на колхоз: мы хотим прежде всего не лично быть богатыми, а дать пользу колхозу, чтобы колхоз был богат.

— А почему же и не лично? — спросил Мануйло. — Если колхоз будет богат, то мы и лично будем богаты, и чем это плохо, если я сделаю колхозу добро и колхоз в ответ меня наградит?

Вот тут-то, наверное, кому-то и мелькнуло в уме, что Мануйло следует не только принять в колхоз со своим путиком, но чем-нибудь и наградить.

Раскинув думы во все стороны, пинжаки пришли все до одного к ясному сознанию, что от богатого колхоза всем будет лучше и название «Богач» — очень хорошее и умное.

— «Богач» так «Богач»! — весело решил председатель. — Сознательность ничему не мешает!

На этом собрании Мануйло был единогласно принят в колхоз со своим путиком, но, мало того, был поднят вопрос о награждении Мануйлы двумя мешками ржаной муки, чтобы на первых порах ему устроиться на своём путике.

Так Мануйло добился своего счастья: работать для своего колхоза на своём любимом путике.

И он был счастлив.

Глава 32

В поисках счастья на своём путике Мануйло чуть не погиб там под деревом, а когда признали и даже наградили мукой — изволь-ка эту муку на своих плечах доставить на свой путик!

Хорошо было везти на стружке муку по чистой реке Пинеге, неплохо по реке Коде, впадающей в Пинегу, подниматься вверх, тоже пока река чистая. Но вверху, когда начинаются завалы, становится всё труднее и труднее. Там, наверху, деревья тесно стоят, воде нет простора, и, как будто в сердцах, сильная весенняя вода валит деревья, и они ложатся одно за другим с берега на берег, как мосты. Тут уже сила нужна не чтобы двигать стружок веслом против воды, а чтобы ещё, кроме того, прорубать топором путь стружку.

Так, может быть, и всегда бывает, что трудно своё счастье найти, но нелегко тоже его и нести, до того нелегко, что настоящего счастливого человека между нами и незаметно.

Нелегко давалось счастье Мануйле, но в том-то и было оно, что Мануйло не вёл счёта силам, истраченным на достижение своего счастья. И это досталось ему от своих отцов, и деда и прадеда, — сил своих на добро не жалеть и не считать.

— Где наша не пропадай!

Когда же стало так на реке, что выходило больше только рубить деревья, чем двигаться вперёд, Мануйло посмотрел тропку в сузёме и стал таскать частями муку и другие припасы на своих плечах к становой избе на своём путике под знаменем Волчий зуб.

Таскал и таскал в станovou избу на своём путике и расход своих сил не считал и не вёл.

Нам бы и смотреть не на что, на эту станovou избу: такую избу делает в короткое время один человек. Он выбирает место в лесу, где почаше: чтобы, срубив деревья, ему нетрудно было собирать хлысты в одно место. Сделав себе эту станovou избу, он ставит ещё маленькую избушку для продовольствия и для хранения пушнины. Эта избушка ставится на особые ножки, такие, чтобы мышь обмануть. По этим ножкам мышь поднимается сначала просто вверх, как по стене, но вдруг на пути её в клеть с продовольствием является выступ, вроде как бы для нас

этот выступ был потолок. Вниз головой мышь не может и возвращается или падает.

Таким грибок делают все ножки и для стульев и для столов, и, скорей всего, глядя на такую придумку, древний сказочник создал для нас свою «избушку на курьих ножках».

Так прямо в двух мешках, забравшись по лестнице, Мануйло и уложил свою драгоценную муку в эту клеть на высоких ногах. Сверху же он поставил крышу с дощатым устилом, с накатом и скатом для дождя в обе стороны.

Устроив всё это с хозяйственной и охотничьей радостью, Мануйло приступил к своему любимому делу: с ружьём, топором, ножом и пучком конских волос для петелек на лесную дичь он вышел на путик. Расчёт его был такой, чтобы к ночи дойти до другой избушки, называемой е д о м н о й, в конце путика, переночевать в ней и на другой день вернуться в свою становую избу.

Ему хотелось поправить всякого рода огрехи на путике за пропущенное время, чтобы потом, осенью, по-новому начать свой любимый промысел.

Ну вот и началась желанная жизнь: охотник выходит на свой путик в сузёме. Далеко кругом нет человека, и вот дерево соседнее становится тебе, как родной человек. Впервые понимаешь, что деревья ведь то же самое живут, и только они вверх живут, на прямой путь к солнцу, а ты между ними можешь и в стороны: они стоят, а ты между ними идёшь, и с тобой рядом ёжик проходит, и мышка шуршит в старой листве, и где-нибудь олень, и где-нибудь медведь, и ещё мало ли кто...

Вот они, две знакомые с детства ёлки, стоят рядом по ту и по другую сторону на путике: только между ними человеку пройти.

Протянув большую ветку с прямым указом на путик, одно дерево хочет уступить дорогу другому, остановилось и пропускает его, приглашая веткой:

— Прощу!

Другое дерево точно такой же веткой, как рукой, хочет само уступить и тоже:

— Прощу!

Так они давно на месте стоят и не сдвигаются, а пока они церемонятся, между ними и человек, и медведь, и олень пройдут, и заяц проковыляет, и лисица прошмыгнёт.

Вот как раз возле этого одного дерева, если идти от становой избы путиком, с правой стороны стоит молодая ёлка, дочка его. Ростом эта дочка не больше, как в два человека с надбавкой на верхнюю мутовку. Как раз вот на этой ёлочке теперь оказался свежий загрыз медведя.

Тут, заметив сразу новый загрыз, Мануйло остановился и крепко задумался...

Да и задумаешься!

И по виду и по всему, что было известно о медвежьих загрызах у охотников, медведь сделал такую заметку осенью, когда ложился в берлогу.

Мануйло так понимает, что медведь загрыз делает на ближайшей ёлке, чтобы весной померяться и узнать, насколько он подрос за зиму. Но весна ему бывает поначалу трудна: не всегда ему удаётся сразу выбросить пробку. Вот за этим-то неприятным делом он и забывает, что весной ему надо померяться.

Когда же наконец он сбросит пробку, тут весна для всех в такую приходит радость, что и медведю делается не до того, чтобы поминать прошлое и загадывать о том, насколько он подрастёт, лёжа в берлоге.

Так медведь весной забывает печаль и заботу, так и всё и всё по-новому!

Но Мануйло, увидев на молодой ёлке осенний загрыз медведя, смутился...

Да и как не смутиться, если медведь на путике самый опасный сосед. Ворон, конечно, опасен, если примется клевать пойманную дичь, но ворона нетрудно убить, а медведь повадится собирать дичь на путике, тут уж самому ничего не достанется.

Как же теперь отделаться от опасного соседа?

Вот так с первых шагов на своём путике Мануйле пришлось задуматься.

Конечно, можно убить медведя. Но это, наверно, по крови передалось Мануйле от предков, чтобы, по возможности, на путике не очень-то спорить с медведем и останавливать его не пулей, а вещим словом.

— Живые помочи! — прошептал Мануйло.

И, всё раздумывая о недобром соседе и участвуя во всей лесной жизни живым глазом, охотник пошёл дальше по древней тропе, выбитой его предками.

При переходе по своему путику через общую тропу охотник заметил на мху неясный след величиною в тёплый сапог.

«Не он ли?» — подумал Мануйло.

И, чтобы понять, чей это был след, завернул с общей тропы на какой-то новый обход через ламу. Тут, на ламе, он увидел, что большой след идёт за двумя маленькими.

И понял так, что большой, в тёплый сапог, след вроде как бы гонится за двумя маленькими.

«Не он ли?» — подумал охотник и бездумно опять ответил сам себе: — Живые помочи!

За ламой, на песке возле куста чёрной смородины, Мануйло ясно увидел, что не медведь шёл, а человек, а маленькие следы были тоже человеческие, только маленькие, детские.

Пройдя немного дальше, он увидел на дереве детскую зарубку топором в четыре рубыша: было выбито знамя путика Воронья пята.

— Что такое?

Подумав об этом всём, Мануйло тряхнул головой и весёлым глазом оглянулся кругом. Так он делал всегда, когда в голове что-то начнёт путаться.

И, отбросив мысль о недобром соседе и об этих каких-то детских следах, вернулся через ламу обратно к общей тропе и с тропы повернул на свой путик.

Сколько раз вот мы тоже замечали, добираясь до своего счастья, каким чудесным оно кажется издали и как оно прячется в труде и всяких заботах, когда его достигаешь. До того глубоко прячется, что и со стороны люди его не замечают, и сам живёшь и о счастье не думаешь. Скорей всего, со счастьем так у всех, и оттого, когда хочешь указать на счастливого, то кажется, будто счастья и вовсе нет на земле.

Но это мы знаем: Мануйло на своём путике пока ещё был счастлив.

Глава 33

Самое главное на путике для охотника — это высмотреть птичье п у р ж а л о. Тут надо себя самого птицей представить, будто летишь в лесу среди мелькающих пятен и выбираешь себе самое заметное. Для того птица себе такое пятно выбирает, чтобы сесть на него и под солнечным лучом п у р ж и т ь с я, или купаться на солнце в песке.

В тёмном лесу солнечное пятно на песке, как фонарь, привлекает к себе птицу. А ещё в этой солнечной купальне на песке много мелких камушков, и вся боровая дичь — тетерева, глухари, моховые куропатки,

рябчики — нуждается в этих камешках для растирания пищи в зобах: камешки у них в зобах — как жернова у нас на мельницах. И ещё на песке птицы вроде как бы чистятся, освобождаются от своих постоянных прихвостней и подхалимов, разных блошек и вошек.

Мануйле об этом выборе места для пуржала думать нечего: за него это сделали отцы, деды и прадеды. Испокон веков на одних и тех же местах они ставили свои силышки. Но случается, конечно, там дерево упадёт, там новое вместится в общий полог леса, и от этого на пуржале распределение света и тени, конечно, изменится. Тогда нужно к родительскому путику прибавить своё внимание и, может быть, даже найти другое место для пуржала. Время прошло, лес порос, и человек тоже изменился, в лесу свет и тень стали по-иному, и человек по-иному, по-своему становится к делу отцов.

И, наверное, от того, что к прежнему прибавил сам что-то своё, каждый раз делается на душе весело, и кажется тогда, что все так в лесу живут и на всём свете так: каждое существо на свете к делу отцов прибавляет что-то своё, и от этого ему делается весело. Что бы тогда ни попало на глаза охотнику, всё как будто складывается в свою кладовую и лежит до встречи с кем-нибудь, кому можно об этом рассказать. Тут вот и получается почему-то так, что сам рассказываешь только потому, что видел и хочешь о виденном самую правду сказать, пусть даже люди это и принимают за сказку.

И ещё тоже бывает, когда сходится дело отцов с тобой самим на чём-то хорошем, вдруг почему-то кажется, что на всякий вопрос, какой бы ни задал тебе самый мудрый, даже самый учёный человек, ты можешь ответить.

Кажется, даже и всю самую великую тайну жизни ты мог бы открыть, если бы нашёлся такой человек, кто мог бы тебя об этом тут же спросить.

Душа такого человека похожа на тысячелетние залежи торфа, ожидающего огня, чтобы вернуться к большому огню, от которого он начался и всё складывался и складывался в земле тысячи лет.

Вот как этот торф ждёт огня, так и душа простого человека на своём путике ждёт вопроса большого, окончательного...

Так и наш Мануйло в иные минуты радостно чувствовал в себе какие-то огромные силы, и только бы, только бы кто-нибудь спросил его о чём-нибудь таком нужном, таком великом для всех!

Вопроса-то вот такого всё и не было.

Но нельзя сказать, чтобы Мануйло томился, — нет! Он радостно чувствовал в себе эту слежалость древних пластов, и раз его об этом спрашивают, то зачем ему томиться: он на всё вокруг тогда глядит, будто все они, от большого и до самой ничтожной безделицы, все свои и всех он их, как своих, понимает.

Затем, может быть, при встречах с людьми и поднимается из души сказка, чтобы вызвать у человека тот желанный вопрос к себе и ответить ему на него словом правды.

Они же не понимают и слово его принимают просто за сказку.

Но Мануйло не томится этим и просто ожидает такого вопроса, как торф ожидает огня.

И теперь он на своём путике идёт, как среди своих: там подсыпает песочку на пуржале, там оправляет и переменяет затянутые и разорванные петельки и всякие силышки настораживает на высоте самой птицы: на рябца кулак от земли, на глухаря кулак с большим пальцем.

Раз было, в одно старое силышко белка попала, и по сосне видно, как долго она билась, пока не порвала сило: цепляясь за сосну, белка так её исцарапала, что кора на дереве зарумянилась.

Видеть такое дело на своём пути Мануйле ещё не приходилось, и оттого, разобрав всё, прочитав и поняв всю историю борьбы белки за жизнь, он опустил и эту историю в незабываемость своей кладовой сказок, чтобы при случае потом людям о правде сказать, о том, что бывает, когда белка попадётся в силышко.

Мануйло, разобрав всё, даже и улыбнулся и сказал вслух отсутствующей белке:

— Теперь будешь знать, тебе это наука!

А то вот ястреб попался с прилёту в старое сило и сидит — красивый, глаза жёлтые горят, сам пощёлкивает.

Видел ли кто-нибудь ястреба в петле? Может быть, кто-нибудь и видел, но сам-то я вижу теперь его таким в первый раз, и отчего-то об этом, как я увидел сам в первый раз своими глазами, ужасно хочется кому-то другому сказать.

Может быть, при встрече и не дойдёт разговор до ястреба, а может быть, когда-нибудь кто-нибудь спросит, и от вопроса опять непременно покажется перед глазами красивая птица с жёлтыми глазами.

Попадись в петлю ворон, Мануйло бы его так не отпустил: воронзлодей повадится собирать дичь на путике, так и будет грабить, пока его не убьёшь, но ястреб — случайный гость.

Мануйло сломил веточку и начал дразнить ястреба, а тот, обозлённый, стал щёлкать, шипеть. До того было занятно подразнить ястреба, что Мануйло даже оглянулся кругом, нет ли кого, показать бы...

Внизу кругом никого не было, но наверху сидела и глядела на всё куница, какая-то рассиделась, хвост убрала, голову подобрала на короткую шею и на себя не похожа, толстущечка, сидит и глядит.

Мех у куницы сейчас невыходной, трогать её охотнику незачем.

— Вот он какой! — показал Мануйло на ястреба. — Погляди, погляди на него.

Куница от слова человеческого подвинулась на ёлке назад и закрылась сучком.

— Ну, будет тебе щёлкать, — сказал Мануйло ястребу.

И отпустил его.

Пустых минут, как для многих из нас в лесу, у Мануйлы никогда не бывает: непременно во всякую минуту совершается хоть что-нибудь, да всё-таки новое, и это небывалое прибавляется постоянно к бывалому, и этим, наверно, весь мир растёт.

Сейчас он вспомнил, как два года тому назад на вязком месте был глубокий след: это олень прижал долгий мох своим копытцем. Вода от нажима копыта понизилась, и бровка на ямке после осохла.

Мануйло узнал ямку от копыта оленя по необычному для болота злачному стебельку с пустым колоском: на осушенной бровке на ямке от копыта вырос этот высокий стебелёк и, осыпав осенью семена, сохранил колосок до весны.

Не удивительно ли, что только ступил олень, только раз прижал мох, и вот через два года сохраняется в сузёме память о том, как олень тут прошёл.

Какой же он чуткий, сузём!

А теперь лёгонький торочок, ветерок, как внутреннее дыхание леса, такой нежный, что, пожалуй, не почувял бы даже охотник своей обветренной, огрубелой щекой, а колосок чуть-чуть качнулся...

Какой же он весь чуткий, сузём, и какой тоже чуткий в нём идёт человек, что ничего не пропускает и вовсе не знает пустых минут.

В этом и было всё счастье Мануйлы, что на своём путике у него в сузёме пустых минут не бывало, и он всё время узнавал что-нибудь новое, и в небывалом понимал жизненный рост.

Только к самому вечеру Мануйло пришёл к своей е д о м н о й избушке в конце путика.

Истопив печку, наполнив избушку чёрным дымом, усталому охотнику только бы забыться под чёрным одеялом дыма, как вдруг за стеной тихоенько кашлянул полщ о к.

Это в сузёме охотники приметой считают, что если полщок, полосатый зверёк, вроде белки, кашляет, то это бывает перед «погодой», значит перед бурей, снегом или дождём.

Плохая погода сейчас не страшила Мануйлу, но это неприятное, связанное с кашлем зверька, вдруг пробудило в голове неприятное воспоминание о том, что, выходя на путик от становой избы, он забыл убрать лестницу от клетки на ножках.

Для чего же ведь и ставится клеть на особые высокие ножки с «грибком» посередине, как не затем, чтобы росомаха не могла добраться до продовольствия, а он, как нарочно, для неё теперь поставил лестницу.

Успокоил себя Мануйло тем, что росомаха человеческих рук побоится и, учуяв человека, не полезет по лестнице.

И только бы теперь с этим уснуть, вдруг полщок опять кашлянул, и Мануйле вспомнился медвежий загрыз: если медведю доведётся подобраться к лестнице, тот не побоится человеческих рук, и тогда колхозной муке не сдобровать: медведь любит муку.

«Побоится!» — подумал Мануйло.

И только бы успокоиться, полщок опять кашлянул.

И тогда вспомнились детские ножки возле лампы на песочке, у самого куста чёрной смородины. Вспомнилось тоже детской рукой выбитое на дереве в четыре рубыша знамя Воронья пята. Оставалось бы только вспомнить, как он сам рассказывал детям о старинном путике Воронья пята в самой близости Корабельной чащи.

Вспомнилось бы, и всё бы стало ясно, но как раз в это время полщок опять кашлянул, и верная примета о кашле перед непогодой перешла в душе Мануйлы в суеверное предчувствие того, что полщок кашляет перед бедой.

С этим он и уснул.

А погода наутро пришла лучше всякой: лужицы весенние были окружены все кружевом утреннего мороза, и на этот мороз вставало солнце и не какое-нибудь мягкое, темнокрасное, а весёлое, светлорозовое; вставало солнце, как встаёт человек деловой в твёрдом уме и памяти.

Казалось бы, и человеку теперь тоже бодрым вставать, но только встал было Мануйло, только плеснул себе на лицо холодной воды, проклятый полщок опять кашлянул.

— Живые помочи! — прошептал Мануйло.

И в недобром духе пошёл своим путиком в свою стантовую избу.

Так мы думаем, что, скорей всего, тесно стало Мануйле на своём путике, и вот отчего душа его отозвалась на суеверие.

Прямо сказать, что Мануйло отдался суеверию, как старая баба, конечно, нельзя. Но и не такой он шёл, как прежде во всю жизнь хаживал на своём путике: ему стало теперь, как будто этот старый путик отцовский у него теперь был не свой, как будто он ошибся и попал не туда, куда так хотелось.

И оттого стало ему как-то тесно на своём путике и неприятно, что всё на месте как-то стоит и не изменяется.

Вот они опять, те самые два постоянные дерева, стоят на своём месте, уступая друг другу дорогу, делают вид, а сами всё стоят и стоят.

Но что это такое?

Мануйло замер в тревожном изумлении.

Между деревьями было два белых пятна, как будто человек шёл с мешком муки на спине и зацепил.

Помочив палец слюной, Мануйло собрал с одного дерева того чего-то белого, попробовал, и оказалась мука.

Между деревьями был брусничник, примятый немного следами большими, в тёплый сапог, и по листикам темнозелёным, перележавшим зиму под снегом, с листика на листик вилась белая змейка.

Мануйло тоже и тут собрал немного белого, попробовал.

— Живые помочи!

На брусничнике была тоже мука.

Теперь всё открылось: медведь шёл, как человек, на двух задних ногах, нёс в обнимку мешок с мукой, а из дырочки, наверно пробитой когтем того же медведя, тонкой струйкой по брусничнику бежала мука, на встрясках побольше, на ровном ходу поменьше.

Бежала мука и бежала, мука колхозная, мука заслуженная!

Мануйло хотел было броситься туда вслед за мукой и уже опустил на дробовой заряд пулю и пристукнул её шомполом, но вдруг весь быстрый план его переменялся, и он даже отпрыгнул в сторону от своего путика.

Нельзя затирать след своим следом.

Только пришлось, обойдя стороной, приглядеться к следу: один ли раз недобрый сосед прошёл или, утащив один мешок, вернулся за другим и ещё раз прошёл.

След показал — медведь один раз прошёл и унёс только один мешок, сразу два захватить он не мог.

Теперь всё стало ясно: медведь куда-нибудь недалеко отнёс мешок, поел, сколько хочется, и закопал во мху про запас. А ночью вернётся своим следом за вторым мешком, и тут надо встретить его на лабазе, а между деревьями, где остались белые мучные пометки, нужно сделать на случай петлю из мягкой проволоки.

Так Мануйло, обходя след соседа, вернулся в свою становую избу.

Может быть, только не у себя самого, а в сузёме, всё великом сузёме, всё бывало и, как по ветру, от человека к человеку переходило на память с самых далёких времён, от прадедов и прапрадедов.

Правда, как вспомнишь: чего, чего не бывало!

Даже такое бывало, что недобрый человек забирался в клеть с пушиной и уносил с собой всё. Но чуткий сузём выдал беззаконника, и тут же на следу он был казнён. В чутком сузёме и это страшное дело стало известно, и когда люди проходили по общей тропе, то показывали, озираясь, на великую кокору, опрокинутую, как страшный памятник, над телом казнённого.

Эта кокора от ветродуйного дерева когда-то стояла ребром, замшела от времени и была похожа на огромного медведя, стоящего с поднятыми лапами на задних ногах. Таких опрокинутых деревьев с корнями и огромным комом земли между ними было много на пути общей тропы, но такого медведя громадного не было, и все его знали. Как вдруг кокора эта заметная опрокинулась, а засохшее дерево, перерезанное, осталось лежать на земле.

Каждый прохожий, конечно, спрашивал, кто это дерево перепилил, кто опрокинул кокору и зачем он её опрокинул.

Чуткий сузём каждому отвечал, что это закон сузёма: под кокорой лежит человек, захвативший труд другого человека. И каждому, кто поступит против такого закона сузёма, будет неизменная судьба тоже так лежать под кокорой.

Чего, чего на веках не бывало в сузёме, но чтобы медведь по человеческой лестнице забрался в клеть и, обняв мешок с мукой, пронёс в своё логово, этого как будто в сузёме совсем не бывало.

Недаром же полщик прокашлял всю ночь: вся скатная крыша была разобрана по брёвнышку, накат был выброшен тоже. Но что всего больше задело Мануйлу — это, что сам-то он забыл убрать лестницу, а медведь не забыл. Сосед оказался умней человека и лестницу не только повалил, но ещё и оттащил её в сторону и разломал.

Больше она была ему не нужна: второй мешок лежал под неодетым кустом. Тут-то недобрый сосед чуть-чуть и промахнулся, он думал, что раз он вышел из берлоги, так уже и деревья должны одеваться. Было же так, что мешок белый далеко был виден в неодетом кусту.

Простительно было медведю поглупеть от богатой находки, но человеку, охотнику, забыть убрать за собой лестницу и самому понять себя глупее зверя было непереносимо.

Счастье Мануйлы как будто убежало с его путика, и он рассердился пуше всякого зверя.

Глава 34

Даже в наших домашних лесах, составленных больше из поросли, всегда радуется чем-то рябина. Весной она встречается, как невеста в белых цветах, осенью — с красными ягодами, как добрая мать в ладном доме.

А что ягоды у рябины горькие, так ведь и в жизни, по правде говоря, не один только мёд, и радость наша в том, чтобы делать её лучше.

Вот отчего, скорей всего, нас так и радуется в лесах при встрече рябины, что мы в ней себя самих узнаём.

Первые морозы ударят, налетят со всех сторон на рябину птицы, дрозды всякие, московочки, синички, клесты.

И люди тоже, спугнув птиц, подходят, берут ягоду и говорят между собой одно и то же и всегда с удовольствием:

— Какой славный морозик! Вот и рябина стала какая сладкая!

А уж какая там сладкая рябина! Но люди не унимаются и делают из горькой рябины, по-своему, сладкую.

Скорей всего, этому так и радуешься при встрече с рябиной в лесу, что уж очень-то сходится, как подумаешь, почему-то и цвет и ягода у рябины с цветом и ягодой нашей человеческой жизни.

Но ещё куда сильнее, чем рябина, говорит нашему человеческому сердцу в северном диком сузёме, в тяжёлом еловом долгомошнике неожиданная встреча с берёзкой.

Мы не о той берёзе сейчас говорим, что вырастает самосевом, корявая и даже не белая, где-нибудь в болотах на кислой земле.

Мы о той берёзе белой говорим, прекрасной нашей берёзе, вырастающей непременно там, где был и над чем-нибудь потрудились человек.

Вот эта-то самая берёза всегда нам кажется при встрече каким-то по-человечески живым существом, кажется, будто какой-то человек в горе своём, что нельзя свою тайну никому сказать, шепнул её земле, и оттого выросла берёзка и, белая, ждёт кого-то, чтобы перешепнуть ему свою тайну.

Был человек очень хороший, проходил он когда-то берегом реки Лоды в немеряные леса на Мезени, и очень он тогда умирился и захотел отдохнуть.

Сел прохожий человек и задумался. Вдруг из дупла высокого дерева вылетает пёстрая, белая с чёрным, утка и выносит на воду из дупляного гнезда одного маленького утёночка.

Эта душляная утка, гоголь, перетаскала всех своих двенадцать утят на воду, собрала всех тесно возле себя и вдруг — прощайте! — исчезла под водой. Тогда все её сыночки и дочки тоже вниз, под воду, — искать мать, и что было так удивительно сидящему на берегу человеку: довольно долго никого из-под воды не показывалось. Конечно, долго показалось человеку: он судил по себе и свою добрую человеческую душу по-своему как-то переселял в бедных утят в поисках под водой родной матери. У них же у самих всё выходило бодро и весело: в своё утиное время мать показалась и все утята по одному в разных местах. Все увидели, узнали друг друга, мать подала сигнал по-утиному, ребятишки засвистели, все сплылись. А потом, окунув всех ещё раз, мать всех перетаскала обратно в дупло.

— Хорошо тут! — вслух сказал человек.

И начал работать.

И, срубив несколько деревьев, сделал длинную скамейку со спинкой. Хороший человек не поленился устроить славный отдых для всех на том месте, где ему так понравилось.

Такие скамейки для отдыха прохожих на общей тропе называются на севере всюду б е с е д к а м и.

Нелегко бывает итти в сузёме по долгомошнику, но это уже известно вперёд, где можно будет отдохнуть. Не один по общей тропе идёт человек: впереди, назади, конечно, тоже кто-то идёт. Один сядет отдохнуть, и, пока разберётся, пока соберётся кипятку согреть, другой подходит, может бычь, и не один, а там ещё...

Вот почему и называются на севере эти длинные, во всё дерево, скамейки в сузёме б е с е д к а м и, что люди, отдыхая на них, начинают между собою беседовать.

Так вот когда-то давно срубил эту беседку на Луде человек немеряных лесов, с голубыми глазами и светлой бородой.

После многих лет, с седеющей бородой, пришёл он на это место, узнал его, порадовался, и что особенно удивило его — это, что на месте срубленных им ёлок теперь выросли хорошие белые берёзки.

Так бывает всегда, и все на севере это знают хорошо: в еловых лесах после человека вырастает на смену берёзка. Но одно дело это знать, а другое — после трудного пути в долгомошнике встретиться с родною берёзкой.

И вот эта древняя сказка о том, что у царя были ослиные уши и никто никому не смел это сказать, но один слуга не утерпел, наклонился к земле и шепнул ей тайну великую: у нашего царя ослиные уши. Вот на этом-то месте и выросло дерево, оно наклонилось к царю и шепнуло ему: у нашего царя ослиные уши.

Много странствовала от человека к человеку, от народа к народу эта сказка, известная ещё в древней Греции, и когда пришла к нам, то в нашей сказке дерево, выросшее от человеческого шёпота, обернулось в берёзку.

Да и как ему не обернуться, если у всех на глазах это бывает, что на месте срубленной в хвойном лесу сосны или ёлки потом вырастает берёзка.

Как и не сделаться дереву берёзкой, если она и вправду в сузёме вырастает всегда возле человека и во всём шёпоте чуткого сузёма у всех беседок на общей тропе принимает участие.

Какой-то человек не утерпел и шепнул земле тайну, и вот она стоит, берёзка, склонившись к беседке, и шепчет что-то своим.

Чуткий сузём, какой чуткий! Когда ещё было это дело с уткой, а теперь каждый прохожий знает о ней и, сидя в беседке, всегда поглядыва-

вает на то же душло в надежде, что вылетит гоголь и будет купать своих маленьких.

Дивно было прохожему встретиться в жизни своей со своей беседкой, и, поглядев с удивлением на берёзки, он подумал о том, сколько за тридцать-то лет эти берёзки переслушали всяких тайн человеческих.

И только подумал об этом, вдруг с той стороны, где Коми, с тропы слышится голос:

— Онисим!

Оглянулся — и тоже с радостью:

— Здравствуй, Сидор! Ты куда?

И люди стали шептаться.

Нам не надо узнавать, кто был этот Сидор: был он один из старых охотников на Мезени, и, когда ветер какой-нибудь проходил сквозь сузём, он тоже, как ветка на ветру, качался в разные стороны, чтобы перешепнуться с другой веткой.

Так бывает, когда сам смотришь через стеклянное окошко избы и тебе ветра не слышно. Кажется, эти ветви — живые и качаются, наклоняются, поднимаются высоко и падают все с а м и в какой-то оживлённой беседе.

А когда люди передают друг другу вести, нам и вовсе кажется, будто они все сами.

Нет, в чутком сузёме насквозь из конца в конец есть дыхание человеческое, и люди-пешеходы участвуют в нём, как деревья на ветру качают свои веточки.

Было в своё время, порубил человек ёлки на лавочку, и из-под топора человека выросли берёзки.

Стоят теперь берёзки позади лавочки и слушают. Не всё ли им равно, кто говорит?

Слышали берёзки разговор, будто в сузёме появились какие-то маленькие люди.

— Ты помнишь, Сидор, незакрытый колодец возле беседки с часоушкой?

— Скворешник поставлен и скворец за дьякона служит?

— Вот та самая беседка!

— Как же не помнить, а что, уже скворец сейчас туда прилетел?

— Скворец поёт, но дело не в этом, а что кто-то прикрыл колодец: кто-то сшил из коры крышку. Кто-то колодец прикрыл, а внизу маленькие ножки.

— Я тоже видел на ламе обход общей тропы, двое перешли речку, и на той стороне на песке отпечталось: мальчик и девочка.

— Да, да, ходят какие-то маленькие люди.

— Ну,— сказал Сидор,— это что!

И наклонился к Онисиму и, оглядываясь во все стороны, стал шептаться с ним о какой-то тайне.

Берёзки всё слышали.

Ещё по весне, ещё по снегу пришёл военный человек с подвязанной правой рукой.

Он показал свои бумаги и утвердился на месте, как человек партийный и с правами.

Был великий спор с ним о Чаще, он требовал Чащу срубить на фанеру для авиации.

— Тут,— мы говорим,— наши деды богу молились, и мы, дети, обещались перед богом Чащу не рубить.

Он же отвечает нам:

— Не в дедах сила, а в правде.

Мы ему:

— А что есть правда?

Он отвечает:

— Правда не в словах, а в делах, наше дело сейчас врага победить, и дело это требует от вас жертвы.

И отпустил свою руку, и она качнулась.

— Я не один,— говорит,— такой, а нас многие тысячи: кто руку, кто ногу, кому пришлось и всю жизнь отдать. А вы оберегаете завет ваших дедов. Мы руки, ноги жертвуем и всю жизнь, а вы оберегаете дерево.

Против таких слов наши не могли устоять и скрепя сердце, хочешь не хочешь, подписали бумагу. Люди всякие были, но бумага одна, и её подписали.

— И ты подписал?

— Милый мой! Вон вьётся тропа человеческая, скажи, кто её вытропил.

— Тысячи.

— И среди тысяч мы с тобой тоже делали?

— Видно, делали.

— Вот то-то не видно нас, где шёл ты, где шёл я: человек шёл и все наши отдельные следы выправлял. Так и в этом деле: не ты, не я, а человек шёл, и, конечно, я подписал.

— Ты подписал!

— Это не закрывало мне путь к спасению Чащи.

Мне шепнули, что охотник Мануйло ходил к Калинину, искал заступиться за свой путик. И Калинин ему разрешил оставаться на своём путике. Я подумал: у меня тоже свой путик, я — вроде сторожа в нашей Чаще. Мне Калинин позволит тоже остаться на своём путике. И пошёл к Калинину.

— И что же, чем кончилось?

— Только вышел из сузёма, только добрался до Пинеги и сказал о своём деле, все стали смеяться надо мной: живые люди на войне гибнут, а он за мёртвых дедов идёт просить в Москву.

И один мудрый человек сказал мне такую притчу.

— Вы, — говорит, — там, в Коми, оленеводы и мою притчу поймёте. Когда стадо домашних оленей проходит и на пути им встречается дикий... Ты знаешь, что тогда бывает?

— Знаю,— говорю,— домашние олени приводят к хозяину дикого, и он делается своим.

— А знаешь ли ты, что бывает, когда стадо диких оленей встречает одного домашнего?

— Знаю,— говорю,— домашнего оленя дикие уведут к себе, и он с ними вместе дичает.

— Вот, — говорит мудрец, — ты сам дикий олень, одинокий, и ты хочешь, чтобы за тобой пошли в сузём служить дереву. Вот как они стали понимать веру наших дедов и прадедов: как службу и поклонение дереву. Так и сказали: «Это у вас остатки язычества».

После этого разговора струсил я и повернул назад печальный, и мнит-ся мне: не в дереве же дело наше, а в правде. Так иду в большом смущении, прохожу последнюю деревню. Прохожу и вот вижу: старуха с огоньком обходит деревню. Я подождал, когда она со мной поравнялась, и спрашиваю:

— Бабушка, что это?

— Сынок,— отвечает,— радуйся: война кончилась, мы победили.

Тут сердце моё забилося. Не знаю, конечно, правда ли, верить или не верить, но всё равно мне стало всё ясно.

— Погоди! — шепнул Сидор.

И обернулся назад к берёзкам: за берёзками там слышались шаги человека.

Этот новый человек — полесник, и его сразу узнали: это был Тимофей из села Мати-гора; отдыхая, рассказал новость в сузёме: медведь вышел на путик Волчий зуб и выкрал из клетки у Мануёлы целый мешок муки. Мануёло же повесил петлю между деревьями из мягкого металла, и медведь попался.

— Сам видел? — спросили Тимофея.

— А как же, — ответил полесник, — медведь висит мёртвый между деревьями, и у медведя нос в муке. И Мануёло, весь зелёный от злости и беспокойный, читает ему:

— Ты медведь, и у тебя есть дом: твоя тёплая шкура.

Я тебя не трогал и не хотел трогать.

Шкура твоя дешёвая.

И ты опасен.

Зачем же хотел взять у меня муку?

И говорит мне:

— Возьми его себе, Тимофей, дарю тебе, мне он не нужен.

— А куда, — говорю, — мне с медведем в сузёме?

И не взял.

Сидор спросил:

— А не слышал ли ты о том, что война кончилась?

— Нет, — ответил полесник, — чего не слышал, о том говорить и не буду: не слыхал о войне, а медведя видел своими глазами — висит между деревьями в петле, сам неживой, а нос в муке, весь белый.

Посидев ещё немного, все гости расстались: Онисим пошёл в Коми, Сидор пошёл в Пинегу, полесник, сказав Сидору: «Догоню на Вороньей пяте», — принялся варить себе чай.

А неоконченный разговор остался берёзкам, они будут ждать.

Глава 35

Не первого на своём веку довелось Мануёле взять медведя петлей на своём путике. Но никогда не было такого медведя, чтобы весь его нос и до самых глаз был в муке.

В этот раз Мануёло был очень зол на медведя и оттого начал читать медведю свои слова, как видно, ему в наставление, а себе в оправдание. Он говорил ему, что ни один полесник слова не скажет, если голодный медведь возьмёт себе на еду сколько-нибудь дичи на путике. Говорил, что добрый сосед всё равно добрый — будь он человек или медведь, но как можно простить медведю дерзкое похищение дарёной колхозом муки?

Мануёло не забыл напомнить, что никак не хотел он его трогать, да и какой расчёт затевать ему спор с медведем: шкура его дешёвая и, добывая дешёвую шкуру, можно лишиться своей собственной.

— Так зачем же ты, — спросил решительно Мануёло, — взял и разломал мою клеть?

Медведь мёртвый в петле ничего не мог ответить. Мануёло внимательно и в глубоком раздумье поглядел на него и опять это заметил, что нос у медведя был белый, в муке до самых глаз.

Так бывает у иного охотника: ползёт он к зверю против ветра, защищённый от глаза частым кустарником. Зверь сидит на полянке и до того ничего не слышит и не видит, что скучно ему станет: ноготок жизни остаётся, а он, как человек, возьмёт и от скуки зевнёт.

Скорей всего, жалость к зверю рождается, когда человек поймёт его по себе.

Это самое, наверно, чуть-чуть и смутило Мануйлу, что зверь в гости к нему зашёл, не застал хозяина, вздумал полакомиться мукой человеческой: какое же в том преступление?

И почему он называется зверем, когда вид его такой добродушный, и так он погиб ни за что, и как будто белый нос его улыбается?

Доходил ли Мануйло в своём раздумье до жалости и слабости, или его смутило что-то другое?

Мы так понимаем, что жалость немного была, но слабости никакой не было, и когда пришёл гость, Тимофей, и отказался взять себе медведя, Мануйло хорошо выточил нож, привычной рукой снял шкуру, распялил её на просушку, перетопил жир весь, сколько осталось после зимней спячки, закоптил окорока.

После работы пришло время уснуть в своей избушке на своём путике, но как ни вертелся Мануйло с боку на бок, как ни устраивался на узкой лавочке, сна никакого не было и даже совсем напротив: казалось ему, будто он до сих пор всю жизнь проспал, а сейчас проснулся и вспоминает сон. И так ему казалось, будто во сне он шёл по своему путику, и всё, что было с ним во сне на своём путике, умно и правильно расстанавливается на большом, настоящем пути человеческом.

А может быть, это что-то совсем новое пришло Мануйле не от слабости, а, напротив, от силы, как бывает с младенцем, когда мать, охраняя себя на каждом шагу, носит его в своей тёмной утробе? Конечно, младенцу неплохо у матери, но дитя растёт, тесно становится, и оно рождается.

Так и Мануйло жил, и ему всегда казалось, будто нет на свете счастья больше, как ловить птиц на своём путике и рассказывать людям всем удивительную правду о том, что жить — это радость.

И вот вдруг почему-то не спится, и всё, что было во сне на своём путике, переходит в новом значении на какой-то большой путь, и сам Мануйло, как младенец, выходит из тёмной материнской утробы на свет...

Прежде всего ему вспомнились те детские следы на лапе и потом на речном песке: один след пошёл прямо, а другой завернул к смородине с набухшими почками. Понятно было и тогда, что девочка сломала ветку смородины и отдала её идущему впереди мальчику, а тот ветку бросил. Теперь же вдруг стало понятно, какие были эти мальчик и девочка. Это были те самые Митраша и Настя, которых он оставил в разлив рек на Красной Гриве: они не вернулись, а разошлись с ним и теперь были это они. А куда они шли, тоже стало понятно: это были дети его друга Весёлкина, и они шли к отцу в Корабельную чащу.

Словно какой-то чёрный туман, застилавший глаза, вдруг разошёлся, и стало всё понятно на пройденном пути и даже видно, как те же самые дети были на его путике, — и он их не видел, а теперь, когда он сам стал на большой путь, обращают на себя внимание в новом значении, в новых догадках.

То же было с «государственной тайной», тем самым, о чём он раньше запретил себе думать. Вдруг только теперь стало ясно, что запрещать себе думать никак нельзя и дума об этом никому не мешает.

Взялась же эта самая тайна в нём в то время, когда перед ним открылась необыкновенная дверь в кабинете Михаила Ивановича Калинина. Мало ли было чего в Кремле, чтобы заметить простому человеку, и Мануйло, конечно, тоже всё такое заметил, но больше всего он обратил своё внимание на эту дверь.

Толщиной эта дверь была раз в десять, а то даже и в двадцать толще какой-нибудь самой толстой амбарной двери, но открывалась и ходила на петлях легко и без всякого скрипа. Первая глупая мысль у полесника

при виде такой двери была о государственной тайне: дверь для того, чтобы ничего из неё никому не было слышно. Вот эта мысль о государственной тайне и ушибла Мануйлу. А это с ним и случилось: если нужно, бывало, запретить себе что-нибудь, то Мануйло мог сказать себе твёрдо своё нелъзя, и голова об этом сама переставала думать. Мануйло не один у нас такой человек, умеющий беречь грозный запрет, и это так удивительно! Поди запрети текущей воде размывать каменный берег, а человек сам себе запретит что-нибудь и больше об этом и не думает, и не думает...

Конечно, — кто знает? — может быть, своим особенным способом и он тоже думает, но что об этом можно сказать, если сам ничего он не знает?

Так она и легла, эта дверь, в душе Мануйлы, как предупреждение о государственной тайне, и так оно действительно было, что потом все мысли, все сказки Мануйлы летели, как позёмок в лесу, обходя встречное дерево. Так во всей своей болтовне он чуял государственную тайну вперёд и все свои слова обносил.

Теперь же, когда он вышел со своего путика на какой-то великий путь, запрет думать о встрече с Калининым в Кремле вдруг слетел. Почему, правда, здесь, в сузёмной глуши, про себя и по-своему не подумать особенно обо всём, что говорилось в кабинете Калинина, с тех пор как закрылась за ним тяжёлая дверь на лёгком ходу?

Было всё с виду так просто в этом кабинете и Мануйле не удивительно: с малолетства никаких знатных людей, никакой роскоши на севере Мануйло не знал. И что просто у Калинина, то это так и везде, и так это и надо. Вдали большой комнаты, у той задней стены, стоял на ступеньках высокий стол, и за ним сидел небольшой Михаил Иванович, точно такой, каким его постоянно печатают в газетах. При виде входящего Мануйлы он поднялся, но не сделался от этого много выше. Сразу поняв, кто пришёл, Калинин стоя кончал какие-то свои бумажные дела, что-то подвернул, что-то завернул, сунул в портфель, завязал накрест верёвочкой и стал спускаться с лесенки. Михаил Иванович болел, и, наверно, в этот день ему был запрет на работу, и для еды на весь день внизу, на другом столе, стояла ваза с яблоками. Этим яблочным днём, скорей всего, и объяснялось, что президент мог отдохнуть в длинной беседе с полесником.

Когда Калинин навстречу гостю начал спускаться по лесенке, Мануйло остановился на середине пути, и Калинин, поманив его рукою к столу, где стояли яблоки, сказал просто, как будто дело было где-то на гумне: — Иди, Мануйло, не робей!

И, подав ему руку, усадил против яблок, сам же сел напротив, за яблоками.

— Удивляюсь, Мануйло, — сказал Михаил Иванович, — везде у нас в государстве стала знаменем зажиточная жизнь, а ваш колхоз называется «Бедняком». Нашли пинжаки чем гордиться, своей бедностью. Что ты скажешь на это?

— Я же всё говорил Егору Ивановичу, — ответил Мануйло, — и он всё записывал. Бедность, говорил я, приходит сама собой: от сумы и тюрьмы не отказывайся. Но хвалиться бедностью, выставлять, как знамя, — это, говорю, никуда не годится. «А у тебя, — говорят, — свой путик, тебе хорошо, отдай в колхоз свой путик и будешь понимать бедняков». «Всё отдам, — говорю, — в колхоз, что получаю с путика, но путика отдать не могу, с путиком моим никто обращаться не может, этому меня деды, прадеды учили, путик — это моё нутро».

— Молодец! — ответил Михаил Иванович. — Я сам тоже такой и тоже в наш колхоз вошёл со своим путиком.

Тут Мануйло, наторевший на своих сказках, сразу понял, что Михаил Иванович о себе эту притчу сказал: что и он, как и всякий человек, с чем-нибудь, а не с пустыми руками на службу пошёл.

Думая так про себя, Мануйло до того забылся, что вынул из кармана горсточку чего-то и, вдруг одумавшись, хотел опустить это назад. Но Михаил Иванович заметил.

— Ты что это, — спросил он, — с Пинеги привёз семечки?

— Нет, — смущённо ответил Мануйло, — тут, в Москве, на базаре купил.

— А ну-ка, — весело улыбнувшись, сказал президент, — угости!

Свой человек! Но свой не свой, а сам своими яблоками угощать не стал. Мануйло было обиделся, но мысль его тут перешла сама на другое.

«Как же так? — подумал Мануйло. — К чему же выводит эта притча о своём путике?»

И только хотел попросту об этом спросить, вдруг Михаил Иванович сам его спрашивает:

— Расскажи мне, Мануйло, как вы там, на севере, живёте, какие леса, много ли в лесах птицы и зверя?

— Зверя, — ответил Мануйло, — ходит в лесах довольно, и птица гремит, только лесам и людям от войны плохо: лес захламлен, и заела пила.

Такое счастье выпало Мануйле, что Михаил Иванович вздумал в беседе с ним отдохнуть. Мануйло завёл длинную историю о том, каким мастером на севере был прежний лесоруб. Великий мастер, истративший всю жизнь на мастерство топора, может в день свалить и отработать сто кубометров. Но вот явилась на Пинегу пила, и две неучёные женщины, без всякого особенного даже виду, могут в день отмахнуть семьдесят пять. А мало ли теперь из-за войны явилось свободных женщин. А ещё и то надо в расчёт взять, что принялись хороших работников из мужчин и женщин награждать: наградят мужика — он подчас и портится, наградят бабу — она ещё лучше работает. Так вот пила и заела всё мастерство топора.

— Ну, а чем лесу из-за пилы плохо? — спросил Михаил Иванович.

— Тем плохо, что все одинаково, мужики и бабы, топор и пила, спешат, выбирают только хлысты, а верхушки бросают. Хлам этот гниёт, закорыши поедают здоровые деревья.

— Что же делать? — спросил Михаил Иванович.

— Вам лучше знать, Михаил Иванович, — ответил Мануйло, — если можно, скажите мне, вы знаете.

— Да, я знаю, — сказал Калинин, — нужно войну кончать!

Услыхав эти слова, Мануйло, дрогнув, оглянулся на дверь.

И Михаил Иванович, поняв простого человека со всей его «государственной тайной», тем самым голосом, каким с простыми людьми говорят о тайнах этих, тихонько сказал:

— Ты пока немного поддержи язык за зубами...

И сказал тихим голосом «тайну».

Вот из-за этого-то Мануйло и запретил себе думать о своей встрече в Кремле. Он знал хорошо: если дать мысли свободу, она неминуемо обратится в сказку, а там непременно явится друг, кому одному только на свете всё можно сказать, и тогда сказку в себе не удержать.

Сказал же Михаил Иванович только одно, что через какой-нибудь месяц война кончится, и немца мы победим окончательно, и что тогда об охране лесов заговорят совсем другим голосом.

— Ты вот, Мануйло, — спросил Михаил Иванович, — скажи мне, есть ли ещё там в ваших местах такие леса, чтобы вовсе ещё не видали топора? Я сам вырос в лесах, но какие наши тверские леса! Полжизни в тюрьме.

полжизни в делах правлю, и другой раз тянет куда-то в невиданный лес, в такой лес, чтобы зверь непуганый ходил и птица на свободе гремела.

— У нас, — ответил Мануйло, — подальше в немеряных лесах есть Корабельная чаща.

— Погоди! — остановил Михаил Иванович.

И, взяв трубку, распорядился, чтобы чай был и еда.

Опять Мануйло покосился на дверь, как она открылась и как она закрылась, — такая дверца!

— Ну хорошо, ты сказал — Корабельная чаща, а скажи, как же в неё попадать и какая она. Ешь, друг мой, рассказывай, сколько хочешь.

И Мануйло, забыв совсем про государственную дверь, начал рассказывать, как всегда, чтобы выходило правдивее, по-своему, мерно рассказываясь.

Издали начал Мануйло:

— Речка Чёрная и речка Белая — две сестры,

Чёрная речка скорее сбегает в Пинегу,

И оттого Белая сестра сильно спешит.

Есть маленькая птичка на севере, и у птички маленькие лапки.

По берегу Чёрной речки бегают птичка,

Речка сбегает, и на песке остаётся от лапок строчка,

За целый день на берегу Чёрной реки целая страница.

А на Белой речке вода прибывает, и тоже бегают птичка,

Но каждая строчка на Белой уходит под воду.

И всё оттого, что Чёрная сестра спешит

И Белая ещё больше спешит и хочет нагнать сестру свою.

Можно дальше, Михаил Иванович, — спросил Мануйло, — вы слушаете?

— Очень хорошо, — ответил Калинин, — очень люблю. Ты, Мануйло, поэт! Только скажи, куда ты ведёшь?

— Веду я, — ответил Мануйло, — сначала на Пинегу.

Там на слуде стоит монастырь.

Пятнадцать вёрст не доедешь —

И видко!

И пятнадцать вёрст переедешь —

Всё видко!

Под высокий берег уходит вода,

И под землёй идут карбасы,

А наверху зелёные пожни,

На пожнях люди косят, —

До чего высокий берег!

Обрывы и скалы!

Красные и белые гривы:

Из белого жгут известь,

Из красного детям свистульки.

А в воде много рыбы,

И есть рыба лох, икра у лоха крупная.

Вы слушаете, Михаил Иванович?

— Милый мой, — ответил Михаил Иванович, — ты настоящий сказочник!

Мануйло от этой похвалы чуть-чуть смутился и сказал:

— Не, Михаил Иванович, — ошибаетесь, это у меня так выходит, а я сам всей душой хочу сказать правду истинную, для того и говорю, чтобы слушали и верили.

— Правду истинную, — повторил Михаил Иванович, — а ты знаешь, что это есть правда истинная?

— Знаю, — ответил Мануйло, — это есть слово такое.

И, увидав, как изумился Михаил Иванович, стал подробно рассказывать, как лежал он в лазарете с Весёлкиным и как Весёлкин в отрывном календаре прочитал, что предсказано там ещё в прошлом веке: Россия всему миру скажет новое слово, и слово это будет правдой.

— Вот оно что! — обрадовался чему-то Михаил Иванович. — Ты-то сам, — спросил он, — знаешь это слово?

— Нет, — ответил Мануйло, — знать где мне? А попытка не пытка: вдруг как-нибудь придёт — и скажу. А вы знаете?

— Знать-то, может, и знаю, — ответил Михаил Иванович, — да и слышу со всех сторон: к этому всё идёт, всё говорит о мире во всём мире.

— Это и есть слово правды?

— Это ещё не вся правда, — о мире во всём мире говорят всюду, а во всём мире — война. Наше слово придёт, когда настоящая жизнь сложится.

— А что есть настоящая?

— Коммунизм! — ответил Михаил Иванович. — Но мы ещё к этому вернёмся. А сейчас расскажи мне о той Корабельной чаше, где зверь ходит и птицы гремят.

— Кто знает! — смутился Мануйло. — Корабельной чащи теперь, может быть, и нет, и я тому сам виной.

— Как же это?

— А так было, что Весёлкин этот — человек без правой руки, и душа его горит огнём, хочет нашему делу и без руки послужить, и я ему про эту рощу в немеряных лесах и сказал, что люди там её почитают, как святыню. Он же ответил, что кому богу молиться надо, тот может везде молиться, а дерево всё равно пропадёт от червя или от пожара. Вот он это и взял себе в ум: такое дерево, говорит, нам дозарезу нужно на фанеру.

— Эх ты! Промахнулся, Мануйло! В наше время такие заповедные чащи надо охранять и, где нет лесов, — насаждать, а мало ли чего можно у нас найти на фанеру! Скажи, чем же уж так особенно хороша эта Корабельная чаша?

— Чем хороша? — сказал Мануйло. — А вот чем. В народе говорят, что в еловом лесу надо трудиться, в берёзовом лесу — веселиться, а в сосновом бору — богу молиться.

— Ну, и что же?

— А вот это и есть в Корабельной чаше, что деревья стоят там часто, даже и стяга не вырубешь. Одно дерево к одному, и все — как в золоте: до самого верху ни одного сучка не увидишь, все вверх, и тебя тоже тянет отчего-то вверх, только бы дали собраться — и улетел бы. А внизу белый-белый олений мох и так чисто-чисто. Руки вверх на полёт поднимаются, а ноги подкашиваются. И как станешь на белый ковёр на коленки — сухо-сухо! И мох даже хрустит. Стоишь на коленках, а земля тебя сама вверх поднимает, как на ладони.

— Эх, Мануйло, — покачал головой Михаил Иванович, — зачем же ты говорил об этом Весёлкину?

— Я же сказал сейчас: лететь хочется, а приходится стоять на коленках. Посмотрели бы вы сами на Весёлкина, и вы бы не устояли, до того он дышит правдой. Мне же самому больше всех туда хочется, в эту Чашу. А как я услышал Весёлкина, так и Чаша стала мне вроде сказки. И я Чашу свою за правду отдал, и вы бы, Михаил Иванович, тоже отдали.

— Обо мне-то и говорить нечего, — сказал Михаил Иванович, — я с жизнью своей повёл себя, как ты с Чашей: половину в тюрьме отсидел,

половину — в делах. Только всё-таки, если не поздно, найди ты Весёлкина и шепни ему от меня...

— Слово? — спросил Мануйло.

— Не то самое, о чём ты думаешь, а близко. Мы говорим: «Мир во всём мире». Вот война кончится, и начнёт это слово весь мир завоёвывать. Ты ещё не совсем верно понимаешь меня, но сейчас поймёшь. У вас на путиках вырубает каждый полесник своё знамя. Какое знамя оставил тебе отец на своём путике?

— Наше знамя — Волчий зуб.

— Так вот, поставь знамя на всём человеческом пути не Волчий зуб, а «Мир во всём мире», и это будет знамя всего нашего Союза.

На этом разговор бы и кончился, Мануйло заметил: Михаил Иванович стал думать о чём-то другом. Но как уйти, раз уже зарубил себе это, чтобы спросить на расставанье? И Мануйло спросил:

— О нашем разговоре, Михаил Иванович, мне на всю жизнь хватит думать. А только осмелюсь спросить вас, как вы тогда сказали о своём путике: притча это, или же и у вас в старое время полесники тоже промышляли на путиках?

— Притча, — ответил Михаил Иванович вставая. — Я был деревенский мальчишка, ну, и подружился с господскими ребятами: хорошие были ребята, народники, и тоже всё о правде говорили, искали путей, как жить по правде, а сами жили в усадьбе и спорили тоже о том, что есть правда. Очень они мне полюбились, но их правда с моей как-то не сходилась. Мне просто хотелось, чтобы все наши деревенские мужики могли бы так хорошо, как они сами, книги читать, о правде спорить на досуге. Вот я на этот самый простой путь для человека и стал и всю жизнь этого путика своего держался: полжизни в тюрьме провёл, полжизни — в делах. А когда мне доложили, что ты в Москву прибыл на защиту своего путика, я вспомнил этот свой путик.

Так и было с Мануйлой, что пришёл его час в становой избушке на лавке под густым пологом чёрного дыма. Всё вспомнилось и сразу же перешло в дело: надо немедленно итти спасать Корабельную чашу, по пути найти маленьких людей и доставить к отцу.

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

Корабельная чаша

Глава 36

Бывают ли ещё где-нибудь в мире такие разливы весной, как у нас? И что главное в таких огромных переменах — это, что каждое живое существо, даже крот какой-нибудь, даже мышь, вдруг становится вплотную перед своей судьбой. Казалось каждому раньше, что шёл по жизни с песенкой, и вдруг всё кончено, песенка спета. Теперь хватайся за ум и спасай свою жизнь!

Так было в ту ночь, когда вдруг из лесов бросились реки и вся присухонская низина сделалась морем. Тогда из Сокола в Котлас на всех парах мчался буксирный пароходик с начальниками, хорошо знавшими Мануйло по прежним сплавам.

Какой тут мог быть разговор о каких-то своих маленьких частных делах, когда реки поднимают и выпирают лес в глубинных заламах, когда даже все служащие в той же Верхней Тойме — бывало, и сам прокурор — с баграми в руках спешат на помощь бурлакам.

Поняв общее положение, Мануйло быстро стащил ялики товарищей охотников в свой незатопляемый шалаш, и начальники без всяких раз-

говоров увезли Мануйлу на Верхнюю Тойму спасти запонь от нажима глубинного залама.

А дети остались на широком разливе, как сироты, на милость народа. Когда же они на своём плоту с потоком круглого леса попали в прорыв запони на Двине, ночью их подобрал пароход «Быстров» и передал в контору лесной биржи на Тойме Нижней, а не на Верхней, где был Мануйло. Тут-то и раскрылось, что месяц тому назад их отец, Василий Вёселкин, сержант с подвязанной рукой, с особыми полномочиями по части выбора леса для авиационной фанеры, направился в немеряные леса вблизи Мезени, в заповедную Корабельную чашу.

И сошлось дальше, что в то самое время, когда Мануйло шагал по сузёму к своему путику за Пинегой, Митраша и Настя ехали туда, на Пинегу, на одной лошадке-«ледяночке». Их хорошо снабдили продовольствием, дали указания с точными приметам, как им найти заповедный лес. В верховьях Пинеги они сдали куда следует свою лебяночку и пошли вперёд — где по общей тропе, где охотничьими путиками, оставшая в чутком сузёме загадки своими следами.

Поначалу казалось им — просто итти по общей тропе: лес и лес, в лесу же они выросло. Но вдруг оказалось, сузём совсем не то, что у нас называется лесом.

Взять каждое дерево, каждую птицу — и оказывается, в сузёме всё живёт по-своему, всё растёт и поёт не как где-то ещё в детстве мы слышали и по-детски раз навсегда поняли.

Кукушка в нашей природе печальная птица, и особенно это чувствуют люди, когда прилетят кукушки на неодетый лес.

У нас «Ку-ку!» звучит безответно, и оттого сам вникаешь в ту птичью печаль и, когда песня кукушки кончается, думаешь: «Улетела кукушка туда, где все кукушки живут».

А теперь тут вот она и есть, та самая страна, где все кукушки живут.

Каждая кукушка заманивает куда-то и тоже обманывает: идёшь, идёшь, а там нет ничего — всё те же ёлки, страшные, колючие, и нога утопает в долгом мху.

Идёшь, идёшь, и вот засветилось окошечко, подумаешь: сейчас отдохну на поляне. А это, оказывается, с бугорка показался на небе просвет. Не удаётся даже и поглядеть с бугорка на море лесов; тёмными лесами, ничего не видя, так и спустишься в низину, и там опять другая кукушка заманивает, обещает и всё обманывает и обманывает.

Вот отчего, скорей всего, и дивились прохожие загадным детским следам в долгомошнике: каждого, наверно, хватала за сердце мысль о том, что вот бы так свой собственный ребёнок да попал бы тоже в сузём и ходил бы в нём в поисках выхода.

Может быть, и так повёртывалась мысль человека военного времени, что иным детям и выйти-то некуда, если отец был убит, а мать умерла с горя.

Но уж, конечно, никому в голову не могло прийти, разглядывая следы, где на песочке у ручья, а где в моховых примятинах, что это следы детей, идущих действительно в сузём к своему родному отцу.

Было раз, кто-то из пешеходов захотел напиться в стороне от общей тропы в «Незакрытом колодце» и крикнул оттуда:

— Подите, подите сюда!

Прохожие завернули к колодцу и сами тоже удивились: «Незакрытый колодец» теперь был закрыт.

А внизу, на размытой водою земле, были отпечатки маленьких ног.

— Хорошие дети! — согласились между собой все прохожие.

И ещё было раз тоже: тропа шла тропой вперёд, а ножки детей свёртывали. Этому никто не подивился: мало ли зачем по нужде надо бы-

вает свернуть человеку с общей тропы. Но когда потом те же следы опять вместе вышли на тропу, кому-то захотелось понять, зачем это нужно было свернуть детям с общей тропы.

И вот что, разобрав жизнь в лесу, понял следопыт.

У каждой тропы общей в сузёме есть своя особенная жизнь. Конечно, если густо кругом и видишь тропу только у себя под ногами, то ничего не заметишь. Но бывает, давно на веках сбежала вода, лес как бы разорвался, заболоченная низина сохла. И так осталась на далеко видимое пространство в разрыве леса тропа человеческая.

Какая же это красивая, сухая, белая тропа, сколько на ней чудесных изгибов! И вот что всего удивительнее: тысячи людей, может быть, в тысячах лет шли по этой тропе, шли-шли, и среди них, может быть, не раз проходили и я и ты, мой друг дорогой. Но не я и не ты один являемся творцами этой тропы. Один шёл, другой обсекал этот след с носка или с пятки. То удивительно, что весь прошедший человек не вывел общую свою тропу, как рельсу прямо. Но у общей тропы, извилисто красивой и гибкой, сохранился особый характер, и это не мой характер и не твой, мой друг, а след всего человека.

Все, кто ходил по еловому лесу, знают — корни у ёлки в землю не погружаются, а плоско, как бы на блюде, лежат. От ветровала обороняются рогатые ёлки только тем, что одна оберегает другую. Но как ни оберегай, ветер свой путь знает и валит деревья без счёту. Часто падают деревья и на тропу. Перелезть дерево трудно, мешают сучья, обходить не хочется: дерево долгое. Чаще всего прохожие вырубает то самое дерево, что мешает прямо идти всем по тропе. Но был случай, дерево легло слишком большое, и возиться с ним никому не захотелось. Тропа завернула и обошла кругом дерево. Так это и осталось на сто лет: люди привыкли делать необходимый крюк.

Теперь, скорей всего, вышло так: кто-нибудь из детей шёл впереди и сделал этот крюк, а другой увидел его прямо перед собой на другой стороне и спросил себя: «Зачем же люди делают крюк?» Поглядев вперёд, он увидел — след на земле пересекает тропу, как тень огромного дерева, хотя вокруг нигде не было таких великанов. Когда же он подошёл к этой тени, то увидел — это не тень, а труха от сгнившего дерева. А люди ходят по привычке: сто лет ходили по тени и труху принимали за преграду. Ребята теперь перешли через труху и своими следами вернули всех на прямой путь.

— Ребята не простые, — сказали прохожие, — это умственные ребята идут.

Загадка о детях, идущих куда-то далеко в сузёме, росла ещё и потому, что все, кто шёл и вперёд и назад, следы детские видели, но никто из идущих ни с той стороны, из Коми, ни отсюда, с Пинеги, самих детей не видал, не встречал.

А всё было оттого, что Митраша и Настя внимали совету добрых людей: всяких встреч избегали и, чуть слышат шаги или голоса, уходят с тропы и, невидимые, затихают.

Так они всё и шли и шли потихоньку, ночуя, когда доведётся, в лесной избушке, а то и у нудьи, как здесь говорят: «на сендухе».

Раз было, пришли они к речке какой-то и очень ей обрадовались и решили тут ночевать, у нудьи.

По эту сторону реки, по берегу высоко, был какой-то старый огромный лес, переспелый, там с табачными суками, там полугрудник, и в трещинах. Небольшое строение, почти разваленное и с большими нездешними окнами, показывало, что тут начиналась лесорубка когда-то и даже устроена была контора. Но лес оказался порочным, и рубка была бро-

шена. Так он и остался цел, этот девственный лес, из-за того, что был испорчен трещинами мороза и расклёван птицами в поисках червей.

На той же стороне реки была бесконечно светлая рада с мелкой сосной по болоту, и оттуда доносились первые чуфыканья и бормотанья вечеряющих тетеревов.

Митраша сказал Насте:

— Давай, Настя, не будем заводить нудью: мы сегодня очень устали, не хочется что-то возиться. Погляди, везде тут перья: утром сюда прилетят тетерева, тут, скорей всего, ток. Давай нарубим лапнику и сделаем себе шалаш. Может быть, утром я убью черныша, и мы себе сварим обед.

— Только лапнику нарубим, — ответила Настя, — на подстилку, и не нужно нам шалаша: переночуем в домишке.

Так и решили. К тому же в домике оказалось много прошлогоднего сена, а в сене можно спать и в мороз.

Как раз против окошка пришёлся закат, и красное солнце садилось в сурадьа, а внизу всё перенимала по-своему река, и отвечала на все перемены цветущего неба вода.

Как и думал Митраша, перед закатом прилетел с той стороны токовик, сел на ветку против самой избушки и, сделав своё обычное приветствие природе по-тетеревиному, пригнув голову в красном платочке к самой ветке, надолго забормотал.

Можно было понять, что токовик звал с той стороны сюда весь тетеревиный народ, но, вероятно, они чуяли возможность мороза и не хотели тревожить самок, сидящих на яйцах.

Весь тетеревиный народ вразброд по великому сурадью оставался на местах. Но каждый косач с места ответил токовику, и от этого началась в сузьме своя особенная, для всех прекрасная колыбельная песнь.

Тысячи людей в тысячах лет слушали эту колыбельную песнь природы, и все понимали, к чему эта песнь, но никто о ней не сказал твёрдого слова.

Но вот пришла война такая, каких не бывало испокон веков, и теперь, на войне, умирая или радуясь тому, что жив остался на свете, многие поняли колыбельную песнь природы и в ней её главный закон.

Мы все знаем этот великий закон всей жизни: жить всем хочется, и жизнь хороша, и надо, непременно надо жить хорошо, жизнь стоит того, чтобы жить и даже страдать за неё.

Песня эта не новая, но, чтобы по-новому принять её в себя и об этом подумать, нужно послушать, как в северных лесах на заре красивые птицы, увенчанные красным огоньком на голове, по утрам на заре встречаются с солнцем.

В этой колыбельной песне сузёмных сурадий есть для человека намёк на то время, когда в молчании растительной жизни шумел только ветер, но ещё не было никаких живых голосов.

Время проходило в молчании живых существ. Стихая, ветер иногда передавал свой безобразный шум задумчивому журчанию бесчисленных родников и ручьёв. И совсем незаметно когда-то и мало-помалу родники и ручьи передали свои звуки живым существам, и они сотворили из этого звука колыбельную песнь.

Кто хоть раз в своей жизни слышал, ночуя на воздухе, эту колыбельную песнь, тот и спать будет так, будто и спит, и всё слышит, и сам тоже поёт.

Так было и с Митрашей. Устроив Насте из сена и елового лапника хороший ночлег, он сел у окна. Когда прилетел токовик, он, конечно, не стал его стрелять: если не сегодня, то завтра непременно этот токовик созовёт сюда множество птиц из сурадий.

Солнце, небо, заря, река, синее, красное, зелёное — все по-своему принимали участие в колыбельной песни всего горизонта бесконечных сурадий. А кукушка вела свой счёт времени, но не мешала и оставалась неслышной, как маятник в комнате.

Это была светлая северная ночь, когда солнце не садится, а только на время затаивается, чтобы переодеться в утренний наряд.

Солнце долго шурилось, как бы не решаясь оставить даже на короткое время этот мир без себя. Даже когда оно и совсем скрылось само, на небе от него остался свидетель жизни: большое малиновое пятно. Река небу ответила таким же малиновым пятном.

Небольшая зарева птичка на самом верху высокого дерева пере-свистнула нам о том, что солнце там, где она видит, переодевается и просит всех помолчать.

— Прощайте!

И все кукушки во всех сурадьях замолчали, и от всех звуков на воде осталось только малиновое пятно, соединяющее вечер и утро.

Сколько времени так прошло в молчании, с одним только малиновым пятном на реке, никто бы не мог сказать: все, наверно, немного вздремнули.

И вдруг Митраша услышал с той стороны, со всех сурадий, великий, торжественный крик журавлей:

— Победа!

Сорвался с оживающего солнца первый золотой луч.

— Здравствуйте! — чужфыкнул токовик.

Со всех сурадий в ответ токовику чужфыкнули черныши, захлопали крылья, и, появляясь каждую минуту, всё новые и новые птицы представлялись токовику и всем: подпрыгивали и выговаривали по-своему одно и то же своё:

— Здравствуйте!

Холоднее всего во всей ночи и дне бывает, когда солнце всходит, и, наверно, это бывает просто от холода. Но нам кажется, будто тетерева из особого трепета птичьего перед царём природы склоняют до самой земли свои головы, украшенные красным цветком. Они не прыгают, не чужфыкают, а ту же самую баюкающую песнь теперь повторяют, как почтительное приветствие солнцу.

Встреча солнца кончается сигналом токовика, призывающего к бою:

— Крэк!

Тогда сотни красных огней на головах, белых хвостовых и чёрных, лирами, перьев, радужно отливающих в свете восходящего солнца, соединились в живом и радостном трепете.

«Разбудить бы Настю, — подумал Митраша, — у нас таких токов не бывает».

И, прошептав ей что-то на ухо, приподнял и показал.

Настя никогда не видала токов и тихонько спросила:

— Что они делают?

Митраша, усмехнувшись на девочку, ответил:

— Кашу варят.

Тетерева мало испугались митрашиного выстрела и принялись опять не то богу молиться, не то кашу варить.

Трудно было оторваться от зрелища боя, но время пришло, и в солнечном тепле у своего костра брат и сестра начали хозяйствовать: щипали птиц, потрошили, жарили и кашу варили из своего пшена.

Глава 37

Когда долго в сузёме идёшь, о чём-то своём думаешь, вдруг захочется выйти из себя и поглядеть, что же делается на свете без меня. Тогда первое, чему подивисься, это что не ты, а деревья идут мимо тебя.

Да и как идут-то бойко!

— Настя! — сказал Митраша, когда за вечерело. — Тебе не кажется так, будто не мы идём, а деревья сами идут мимо нас.

— А как же, — ответила Настя, — это всегда кажется!

— Да и как ещё кажется, — сказал Митраша. — Эти деревья, что к нам поближе, скоро идут, а подальше от нас — потише и, чем дальше от нас, — всё тише и тише.

— А вон звезда, и я смотрю на неё, она всё на месте, и, сколько мы ни пройдем, она всё останется на своём месте.

— Кажется, она впереди нас идёт и путь нам показывает.

Подумав немного, Митраша ещё сказал:

— Как это может быть, чтобы сейчас показалась звезда: здесь, на севере, небо всю ночь остаётся светлое. Это, скорей всего, не звезда. Где она, покажи!

Насте показывать было нечего: звезды больше не было, звезда потерялась.

— Это ты выдумала, — сказал Митраша.

И в то же самое время вдруг сильный порыв ветра зашумел по деревьям, и в лесу стало темно.

Тогда всё стало понятным: тучи кругом закрыли небо, стало настолько темно, что в какое-то окошечко на небе показалась звезда. А пока о ней разговаривали, окошечко закрылось и зашумел ветер.

И как ещё зашумел!

Никто не знает в наших обыкновенных лесах, как шумит ветер в сузёме.

Но почему же так вышло, что наши маленькие странники вздумали выйти на ночь глядя куда-то ещё дальше в дремучем сузёме?

Это несчастье случилось оттого, что по плану, начертанному ещё в Нижней Тойме, последняя росошина реки Коды должна была уйти «под лето» (на юг).

Так оно и было. Пришла последняя росошина, её проводили «под лето», через это странники уверились в близком достижении цели и поспешили итти на северо-восток.

В пятистах шагах отсюда по общей тропе стоит белый столб, и чёрным по белому на нём начертан крест. Это означает, что с этого места начинается область Коми — область немеряных лесов, и все реки отсюда текут не в Двину, а в Мезень.

Так оно и пришлось: был белый столб, и родники струились из-под ног в ту сторону. Общая тропа отсюда уходила влево, и надо было дойти до зарубки на дереве, изображающей знамя старинного путика — Воронья пята.

Пришли к Вороньей пяте в три рубыша и свернули на путик.

Теперь по плану надо было итти по путикю до тех пор, как не послышится голос речки, текущей в Мезень, речки Порбыш.

Вот тогда-то за вечерело, и начался спор о звезде: была она или это так показалось.

Сказано ещё было в плане, что как послышится говор речки, то не надо больше держаться тропы — зачем она? Надо бросить путик, итти прямо на говор к реке и берегом до кладочек, перейти их и тут близко от берега будет тот самый прудик, где живут народные любимцы — вьюн и карась. У прудика этого чистого лежит даже плица, чтобы зачерпнуть

воды, напиться или сварить себе что-нибудь. На горе стоит избушка, и в ней всегда прохожий оставляет сухие дрова, лучинку и спички. И эта избушка — последняя на пути в Корабельную чащу. С этого места надо подняться на три горы (три речные террасы), и наверху будет заповедная Корабельная чаща.

Когда стало вечереть, Митраша и Настя всё шли и силились слушать тишину: не услышат ли они звуков речки.

Правда, не ночевать же на сендухе, когда осталось только чуть-чуть пройти. Вот отчего в напряжённом ожидании говора речки и стало показываться, будто деревья навстречу идут и звезда где-то вдали указывает путь.

Ещё бы совсем не много, только бы услышать говор реки, направленный к нашей душе, но ветер перехватил голос воды и разбросал мирные звуки в шуме лесном.

Тогда-то вот в лесу наступила тьма крошечная, из-под ног исчезла тропа и хлынул дождь.

А что это северный лес, если нет у тебя под ногой тропы человеческой? Эти огромные выворотни, замшелые от времени, обращаются в медведей, и каждый ревет.

Попробуй крикнуть, друга позвать чудесным нашим родным словечком: «Ау!» И словечко сейчас же вернётся к тебе, бессильное, ничтожное и смешное.

Мало того, что вернётся, оно раскроет тебе, что в ту сторону, откуда ты вызывал себе друга, на двести вёрст тундра, и на ней разберёшь только какие-то кустики, самородные грядочки, и на грядочках этих морошка, и больше нет ничего. А в другую сторону будет ещё глуше.

Только, только упусти из-под ног тропу человеческую, и ты пропал. И дети её упустили.

Глава 38

Высокий берег реки был везде высокий и поднимался над водой и лесами тремя речными террасами. Но там, где заканчивался путик Воронья пята охотничьей избушкой, берег выделялся особенной высотой перед всеми горами реки, и вся эта местность вокруг называлась всегда у полесников Т р и г о р ы.

Первая ступень террасы, или первая гора, называется Тёплой. Можно подумать, она из-за того называлась Тёплой, что росли по ней больше всё берёзы и отсюда полесники брали себе дрова и обогревались. Но, скорей всего, не за это гора была названа Тёплой, а что самой роще на этой горе было тепло: тут ветер северный, ударяясь в стену, останавливался, деревья росли в тёплом угреве.

Вторая гора речной террасы называлась Глухой — всё из-за того же самого, что ветер у этой стены замирал. Неплохая тут, в заветрии, поднималась роща, но несравнима она была с дивной Корабельной чащей на широком открытом плоскогорье третьей горы. Тут-то вот старики-полесники наставляли сыновей и внуков примером из жизни природы: в тёплом заветрии вырастали деревья кое-какие, а на третьей горе, на свободных ветрах, выросла неслышанной мощи Корабельная чаща.

— Так вот, детки, — говорили старики, — не гонитесь поодиночке за тёплым счастьем: эта погоня за тёплой жизнью не всегда приводит к добру.

Ребята из-за резвости своих лет плохо слушали стариков, делали, однако, вид — соглашаются. И, только чтобы голос подать, от себя говорили:

— А ежели не гоняться за тёплой жизнью, то чего же нам ещё достигать?

Старики и этому вниманию радовались, им бы только за что-нибудь ухватиться и выложить перед молодыми правила их жизненного опыта.

И показывали опять на Три горы, где в тёплом заветрии выросли хилые роши, а на большой горе, на свободных ветрах, поднялась первая в мире Корабельная чаща.

— Глядите, — говорили старые люди, — такая тесная чаща стоит, в ней стяга не вырубешь, и дереву тут даже и упасть нельзя: прислонится и стоит. Такая чаща выстоит против всякого ветра и сама себя обороняет.

— Дерево нам не пример, — защищались молодые, — дерево стоит, а мы достигаем.

— Ну да, — отвечали старшие, — достигаете! Дерево тоже достигает: растёт. И мы, люди, не только за чем-то гоняемся, а тоже за что-то стоим.

И, подумав немного, так ещё говорили:

— Мы тоже не против хорошей жизни, только мы стоим за то, чтобы жить хорошо и трудиться, а не гоняться в одиночку за счастьем: вон глядите, одинокое дерево продувает и в заветрии за Тёплой горой, а в Корабельной чаще каждое дерево стоит за всех и все деревья стоят за каждое. Поняли?

— Поняли, — отвечали молодые.

Приходит новый человек в Корабельную чашу — и всё ему дивно кругом и кажется: вот он когда-то давно тут был и что-то забыл, а теперь всё нашёл и будет жить по-новому. Даже и слова вспомнит старинные: «Не гонитесь поодиночке за счастьем, а стойте дружно за правду».

Вспомнит, обрадуется и тут же, в тепле своего огонька, забывается и дремлет.

А Корабельная чаща стоит и стоит.

И каждый новый, кто приходит сюда, непременно, взглянув на неё, что-то вспомнит своё прекрасное и через короткое время тут же всё забывает.

У Мануйлы были в памяти такие тропочки, пробитые оленями, и такие особенные свои затёсы на деревьях, что он мог ходить по сузёму много скорей, чем все ходят в сузёме по общей тропе. Ему бы только хлеб за спиной в мешке, а ветер, и холод, и зверь ему были не страшны.

Теперь ему казалось, будто идёт он совсем каким-то новым путём и к чему-то ещё небывалому, а когда встречал свои же собственные затёсы и замеченные олени тропочки, то сам себя спрашивал:

— Как же это я тогда, ещё глупый, не видя ничего впереди, мог верно замечать свой будущий путь?

И, очнувшись, сам себе улыбался, как маленькому, и повторял сам себе, как ребёнку:

— Вот оно что!

В том смысле, скорей всего, он повторял эти слова, как, бывало, на своём пути, когда дедовские приметы складывались с чем-нибудь своим, замеченным только сейчас и небывалым. Так радостно было себя самого новым человеком находить в заветах отцов, что он всегда дивился и говорил сам себе, как ребёнку:

— Вот оно что!

Теперь было тоже так: шёл он к чему-то совсем новому и небывалому, а свои же заметки были все старые, о чём-то очень далёком, и как будто в прошлом он был совсем другим человеком.

Как бы там ни было, но этими своими заметками, затёсами и оленьими тропками под сильным дождём и в бурю он пришёл к реке в то самое время, когда дети потеряли свою звезду и с ней выпустили из-под ног тропу человеческую.

По знакомым кладочкам он перешёл речку, поднялся к пруду, где жили вьюн и карась, поднялся ещё повыше, к избушке, окружённой берёзками.

В темноте, даже не высекая огня, он нашёл в печном челе лучинки и спички, оставленные, как полагается на севере, последним, кто здесь ночевал, для того неизвестного, кто придёт после него.

Тут были и сухие дрова, заготовленные для неизвестного, и теперь он, сам неизвестный, пришёл и зажигает дрова, и добро того человека обращается в огонь для другого, и он, голый, развесив мокрую одежду, обогревается.

Хорошо на душе! И кажется, откуда-то слышится голос другого хорошего человека:

— Это я оставил тебе после себя пучок сухих лучинок и спички. Я же там, возле прудика, срубил тебе беседку. Теперь возле лавочки выросли берёзки.

Чёрный дым валит из чела, поднимается вверх и там останавливается, и мало-помалу избушка наполняется плотным дымом сверху всё ниже и ниже.

Когда дым спускается так низко, что чёрное небо его висит над самой головой голого человека и, ещё бы немного, и он в нём бы задохнулся, голый человек с распаренным телом снимает одежду и, укрываясь ею, ложится на лавку против печного чела.

Чёрное небо теперь больше не низится, нет больше и пламени, но раскалённый камень глядит на человека большим красным глазом, и от него дышит тепло, и человек тепло этого камня принимает себе, как добро.

Тогда кажется на земле всё так просто.

Никакого другого и нет добра на земле, как что один человек сделал для неизвестного друга, и этот, благодарный, принимает и завтра тем же самым отблагодарит какого-то другого, ему не известного.

Человеку пожилому трудно сразу заснуть, да и не хочется. Чёрным тёплым одеялом висит дым над тобой, а глазам никак не хочется сомкнуться, до того привлекает чем-то красное пятно в темноте и великое дыхание добра.

Может быть, и покажется иному человеку из большого города, что он там где-то, в большом городе, блуждал и тут, у этого огня, нашёл свой дом, и ему бы захотелось вернуть человека к этому дубру первоначальному...

Но возврата нам нету, и дом наш не у костра в заповедном лесу, не позади, а весь — впереди.

Мануйло не задавался такими мыслями городского человека, он глядел на огонь и знал: жизнь в большом городе глядела на него тем же огнём добра человеческого. Этот огонь ему представлялся в полусне огромным костром, и на нём, как в большой кузнице, железо от руки человека переходило в добро.

И если бы ему показать то, от чего мы страдаем в большом городе и от чего нас иногда тянет к огню первобытному, он бы очень удивился на нас, вспомнил, как радовался сухим лучинкам и спичкам в курной избе, и сказал бы нам:

— Вот оно ещё когда началось!

Спать в охотничьей избушке — это почти что спать на воздухе: всё слышно, и сон, конечно, сном идёт, а что слышится — рядом идёт, и понятно: то сон, а то жизнь. Были крики, были стоны в лесу, и одно время было совершенно так, будто ребёночек звал маму, а в ответ ревели медведи. И до того это было явственно, что, ночью человек впервые в сузёме, он бы неминуемо подумал — ему скорей надо встать, искать младенца в лесу и биться с медведями.

Но всё это, как привычное для Мануйлы, проходило рядом с чем-то другим. Когда же буря начала стихать, Мануйло и этого не упустил в своём сне. После полуночи и ближе к рассвету лес передал свой голос реке.

Этот переход от голоса леса к голосу реки для спящего человека был всё равно, как спал бы он на колючих и подвижных вершинах тёмного леса и вдруг улёгся на светлое, покойно-ленивое летнее облако. И слышно оттуда, как в тихом лесу люди перекликаются своими голосами и как река внизу с кем-то переговаривается на стороне человека.

До того явственно отделялись слова человека, что Мануйло вскочил, оделся, взял ружьё, вышел.

Заря занималась, река отвечала заре, а по чёрным кладочкам реку переходили знакомые Мануйле мальчик с длинным ружьём и за ним девочка со складной палаткой.

Глава 39

Земля под Корабельной чащей не стояла плоским полом, а катилась зеленовато-белыми, похожими на лунный свет увалами. На ходу эти увалы оленьего моха для ног были почти незаметны, но глазам казалось будто перед тобой одна в одну переходят волны лунного света. Смотришь на эти увалы, и тебя тоже тянет итти, куда они сами катятся. Оттого каждый незнакомый с местностью приходит этими увалами непременно к Звонкой сече по открытой на всю даль Третьей горе.

Тут кто-то жил в незапамятные времена, и, наверно, это он для своей избушки срубил какой-нибудь десяток деревьев.

Как это постоянно бывает в сузёме, на месте срубленных деревьев-пионеров выросли берёзы и своим берёзовым шёпотом о делах человеческих стали привлекать сюда новых гостей, вольных сторожей Корабельной чащи.

Так повелось в области Коми, что кто-нибудь очень пожилой, потерявший силу работать в семье, уходил на Звонкую сечу и там жил. Та первоначальная избушка на Звонкой сече, конечно, с тех далёких времён истлела, но каждый новый сторож подновлял её для себя, и она оставалась и дожила до нашего времени, сохраняя свою обычную форму курной охотничьей избы.

Ни одного прежнего бревна, наверно, не оставалось в этой избе, но после нового сторожа прибывало на смену истлевшим несколько новых брёвен, а на поляне вырастало несколько новых берёз.

Лавочка была возле избушки, и если сесть на неё, то как раз перед глазами то окошко с Третьей горы, откуда синими грядями, голубея, переходит лесная даль в голубой туман.

Вся поляна между огромными соснами была похожа на донышко лесного ведра, открытого к небу.

Свет великий, могучий, огромный, непереносимый для растений, выросших в тени, охватывал всю Сечу и вызывал к жизни светлюбивые травы.

Только одна-единственная из теневыносливых растений — ёлка стояла на середине поляны.

Сколько же вынесла борьбы сама с собой эта ёлка, чтобы все свои клеточки, приговоренные для борьбы с тенью, перестроить на клеточки, способные принять новый великий свет!

Помогал ли этой ёлочке сколько-нибудь человек в борьбе её за правильную форму, или она-то как раз и пробудила в древнем человеке стремление к человеческой форме, называемое у нас правдой?

Теми ли словами, как мы, но каждый простой человек, сидевший на лавочке у избушки, против ёлки необычайно правильной формы, как-нибудь доходил же до таких слов:

— Не гонитесь, деточки, за счастьем в одиночку, а гонитесь дружно за правдой.

Сеча, наверно, и названа Звонкой за то, что весной на заре все песни болотных птиц врываются через окошко сюда и в неопределённом урчании разносятся колыбельной песнью по всем лунным увалам. Ты идёшь по сухому, хрусткому белому мху, и с тобой идёт эта песнь самая древняя и забытая.

А уж если сесть на лавочку и слушать, то тут-то вот и случается одно и то же со всеми. Кажется, в этих нетронутых рукой человека лесах сохраняется какое-то наше великое добро, великое счастье, забытое нами, манящее.

Силу в себе чувствует каждый, будто только вот взяться, и всё вокруг поднимется к новой, чудесной, небывалой жизни.

Последним сторожем Корабельной чащи пришёл в эту Звонкую сечу Онисим, тот самый, кому досталось стеречь Чашу в наше новое время.

Сюда же, к Онисиму, по самой ранней весне пришёл солдат с перевязанной рукой и назвался Василием Весёлкиным из города Переславля-Залесского.

Он не скрывал, зачем он пришёл: для того, чтобы Корабельную чашу сделать полезной для человека.

И подробно рассказал, какая нужда сейчас в фанере.

Выходило из рассказа: Чашу непременно надо срубить.

Была у Онисима любимая не одна только лесная Чаша, он проводил на своём веку и всех своих любимых людей: все ушли.

Но мысль у него своя оставалась, спокойная и сердечная. Скорей всего, Весёлкин ему даже чем-то понравился.

— Сделать Чашу полезной для человека, — сказал он спокойно, — из каждого дерева сделать дубинку и хлестать ею по головам?

— Затем и хотим срубить Чашу, — ответил Весёлкин, — чтобы взять самим в свои руки дубинку и не допустить нашего врага.

— Хорошее дело, — ответил Онисим, — только неужели же негде фанеры достать, как только из нашего леса? Так, пожалуй, и нас с тобой на дубинки возьмут.

— Лес этот, — ответил Весёлкин, — перестоялся, он должен без пользы для человека пропасть от червя или пожара.

— От пожара мы стережём, — сказал Онисим, — а червя в этом лесу нет.

— Всё равно, какое же добро в том, что такой лес готовый и стоит без пользы?

— А он не так стоит, — ответил Онисим, — он у нас вроде школы для молодых людей. Мы им указываем: одинокое дерево валится даже и от лёгкого ветра, а в Чаше даже какому дереву упасть надо, и то падать некуда. И на веках уже так у нас было, что показываем на Корабельную чашу и учим: «Одинокое дерево продувает и в заветрии за Тёплой горой, а в Корабельной чаше дерево стоит за всех и все деревья стоят за каждое. Не гонитесь же в одиночку за счастьем, а стойте дружно за правду».

На эти слова Весёлкин ничего не ответил.

Утром, на заре, он услышал пение птиц и, вспомнив своё детство в лесах, вышел.

Он хорошо знал, как чудесно поют тетерева на заре, но того, что было на Звонкой сече, он не знал никогда. Каждая голова красивой

птицы, похожая на красный цветок, склоняется перед восходящим солнцем к земле.

Так и Весёлкин, слушая колыбельную песнь лесной пустыни, начал было склоняться перед солнцем и замирать. Но взгляд его упал на одну ёлку среди берёзовой Сечи, всю покрытую красными маленькими шишками, и на них летела уже золотая пыльца.

Тут ему вспомнилась своя далёкая ёлочка, когда свет великий, могучий упал на неё и по-своему она зацвела.

Весёлкин вскочил со своей лавочки и увидел, что Онисим у порога, с палкой в руке и сумкой с продовольствием за спиной, смотрит на него и, будто насквозь понимая, улыбается.

— Ты думаешь, дедушка, — сказал он, — мне легче твоего расставаться с лесом?

Старик ещё больше улыбнулся, как будто слова Весёлкина подтвердили его догадку.

Онисим подошёл к Весёлкину, поласкал его плечо и ответил:

— Тебе, дружок, много легче: ты ещё молод. Но кто знает, может быть, мы с Корабельной чашей и не расстанемся.

Так они и разошлись своими путями: Весёлкин — в село набирать рабочих, а Онисим надумал себе в эту ночь, как многие в таких трудных случаях, пойти к Калинин и просить его постоять за Корабельную чашу.

Глава 40

Перед тем как рубить и пилить спелый сосновый бор, лесорубы на высоте своего собственного роста вырубают на каждом дереве канавки, как они называют, у сь. По этим усам из дерева течёт ароматный сок и с усов попадает в особый, подвязанный к дереву стаканчик.

Вскоре после вырубки усов для стока густой ароматной смолы порезанные на дереве участки коры начинают краснеть, и кажется, будто из дерева не смола вытекает, а кровь.

Такая подготовка леса, перед тем как его рубить, называется подсочкой на смерть.

Так было и в Корабельной чаше, когда Весёлкин добился своего и привёл на Звонкую сечу десятки мальчиков для подготовки Корабельной чаши на сруб.

Под наблюдением Весёлкина мальчики устроили себе тут же, на Звонкой сече, в соседстве с избою сторожа, лёгкие бараки, а потом приступили к подсочке на смерть.

Не сразу из-под ножа вытекает смола у сосны. Ничего бы Мануйло снизу и не заметил, не угляди он наверху, на Третьей горе, одного мальчишку на дереве. Было это рано поутру, когда, уложив детей, Мануйло вышел к пруду захватить воды, одуматься после бури, в чём согласиться с природой, на что попенять, увериться тоже, всё ли ещё попрежнему живут в прудике дружные рыбы — вьюн и карась.

Хорошо после бурь и дождей согреться под чёрным пологом курной избушки, но хорошо тоже, выспавшись, выйти из-под чёрного тепла на белый свет.

Утро после весенней бури задалось самое мирное, и только-только бы человеку порадоваться! Как вдруг, оглянувшись кругом, Мануйло что-то необычайно заметил, встревожился и пригляделся к деревьям Корабельной чаши на Третьей горе.

Тут-то вот и оказалось, что на Третьей горе и возились какие-то мальчишки с блестящими на солнце ножами в руках.

Приглядевшись получше, пораздумав, Мануйло весь потемнел в лице и сказал сам себе вслух:

— Это подсочка на смерть!

Оставалось ещё надеяться, что подсочка только началась и её можно остановить.

Что делать? Бежать туда? Будить детей?

Мануйло ещё раз оглядел всё вокруг и вдруг видит: из-под горы поднимается к пруду старик с седой бородой и голубыми глазами. До чего же знакомый старик!

Упираясь в кладочки на реке росошкой своего твёрдого посоха, старик перешёл мостик, пригляделся к Мануйле...

Сколько лет прошло! И всё-таки вспомнилось.

— Ушкало помнишь? — спросил Онисим.

— Онисим! — узнал тоже Мануйло и вспомнил разговор о палочке, найденной когда-то возле прудика, где исстари жили вьюн и карась.

И вот какой был Мануйло, что шестьдесят лет человеку минуло, всё на свете видел, даже Москву и Калинина, а как вспомнил ушкало и о том, как он в простоте своей указал товарищу в лазарете Корабельную чашу, и теперь встретился с ясными глазами старого Онисима, то не мог глядеть, как на солнце, потупился, смешался.

— Видишь ли ты? — спросил он, указывая на мальчиков со сверкающими ножами в руках.

— Я это знаю, — ответил Онисим, — они только начали подсочку, я спешу: война кончилась, и это дело надо бросать.

— Нет, — ответил Мануйло, — ты не понимаешь всей беды с вашей Корабельной чашей...

— Не знаю? — повторил Онисим. — Как же так не знаю, что ты говоришь?

И сел на ту самую лавочку-беседку, где и сто и больше лет присаживались люди, и сами собой, не спрашиваясь, выросли четыре берёзки.

Мануйло, конечно, тут же подсел к старику.

Всё рассказал Онисим о том, как пришёл к ним солдат с подвязанной рукой и уговорил пожертвовать на войну с врагами Корабельную чашу. И что он собрался было итти к Калинину, но на дороге, в первой же от сузёма деревне, узнал большую радость для всех и тут же вернулся: если кончилась война, то зачем же рубить Корабельную чашу?

Вслушав Онисима, Мануйло сказал ему только одно:

— Не понимаешь ты, дед, в чём тут наша сказка.

Онисим улыбнулся и поглядел прямо в глаза Мануйлы и ласково сказал ему:

— Могу, конечно, и не понять, друг мой, а ты не гордись и сказку свою обрати в правду.

— Правда, — ответил Мануйло, — дедушка, как была правдой, так и теперь она остаётся.

— А я про что же сам говорю постоянно молодым? Правда! Да и не я один, а и все деды и прадеды наши учили: «Не гонитесь, деточки, за счастьем в одиночку, гонитесь дружно за правдой».

— Вот так точно мне и Калинин сказал: мало ли найдётся у нас лесов для войны, чтобы сделать дубину из дерева и хлестать ею врага. А есть такие леса, откуда вытекает великая река. Начало такой реки вот и надо хранить. А у них во всём мире так ведётся, что сначала все леса изведут, а потом хватятся, да уж поздно: леса извели, а без лесов на солнце вся правда наша и высохла.

— Тебе это Калинин сказал? — спросил Онисим.

И сразу весь помолодел.

— Калинин это сказал, — ответил Мануйло, — и велел мне скорее итти сюда и спасти Корабельную чащу: есть и бумага от него. Он сказал ещё, что, по таким заповедным лесам мы будем учиться выращивать новые небывалые леса на защиту мира во всём мире.

— И как же ты понимаешь, — спросил Онисим, — войн теперь на земле вовсе не будет?

— Вот и я тоже так спросил Калинина, и он мне ответил: пусть и война, да люди будут сближаться между собой не для войны, а для мира.

— Это правда истинная, — ответил Онисим. — Пойдём теперь на гору.

И, оставив детей в избушке досыпать своё время, Онисим с Мануйлой поднялись на Третью гору. Лунными увалами оленьего моха они прошли на Звонкую сечу.

Сказать, чтобы так уж очень-то обрадовался Весёлкин своему другу, нельзя. Он был весь чем-то связан, и видно было чем: эту подсочку на смерть делать было ему нелегко.

Слушая Мануйлу и всё, что сказал Калинин, Весёлкин долго молчал и, выслушав до конца, крепко задумался.

Вдруг он увидел: на полянке, под ёлочкой необыкновенно правильной формы, Митраша с Настей остановились, как дикие зверьки.

Они узнали отца, он сразу догадался, спросил:

— А мать?

Ему ничего не ответили.

И он вдруг всё понял и весь изменился.

Ещё пели тетерева утреннюю свою колыбельную песнь, — едва ли сейчас слышал эту песнь Весёлкин. Он сел на лавочку. Несколько корстких мгновений прошло, а как показалось долго!

Вдруг он вздрогнул, очнулся, оглянулся вокруг на поляне и встретился глазами с ёлкой необычайно правильной формы, в красных шишках, осыпанной золотой пылью.

В эту минуту солнце вышло из облаков, и свет великий, желанный и страшный бросился на поляну.

— Ну, герои мои, здравствуйте! — сказал отец, и дети бросились к нему.

За это время все мальчики, работавшие на опушке Корабельной чащи, собрались на Звонкой сече.

Увидав их, Весёлкин приказал закончить подсочку на смерть и положить пластыри на все раны.

Так и была спасена Корабельная чаща хорошими нашими простыми людьми.



РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

У ОЧАГА

С аварского

Дверца печки растворена, угли раздуты,
И кирпич закопчён, и огонь тускловат.
Но гляжу я на пламя, и кажется, будто
Это вовсе не угли, а звёзды горят.

Звёзды детства горят, звёзды неба родного.
Я сижу у огня, и мерещится мне,
Будто сказка отца вдруг слышалась снова,
Песня матери снова звенит в тишине.

Полночь.

Гаснет огонь.

Затворяю я дверцу —

Нет ни дыма, ни пламени, нет ничего.

Что ж осталось?

Тепло, подступившее к сердцу,

Песня матери, сказка отца моего.

Перевод Н. Гребнева



РОБЕРТ БЕРНС О СЕБЕ

В России давно знают Роберта Бёрнса. Белинский причислял стихи великого шотландца к сокровищам мировой лирической поэзии; русские поэты, начиная с Лермонтова, перевестили его произведения. Широкую известность получили стихи «шотландского барда» в переводах С. Маршака.

О жизни Бёрнса знают мало. В Англии и Шотландии написаны многотомные биографии поэта, но, за немногими исключениями, в них искажён его образ и никак не раскрыта истинно демократическая, революционная сущность его поэзии. Одни биографы пытаются принизить Бёрнса, изображая его пьяницей и гулякой, стихийно талантливым, но необразованным, чуть ли не полуграмотным недоучкой, «провинциальным поэтом местного значения»; другие рисуют его идиллическим певцом сельской жизни, составителем песенок на старые народные мотивы, прославляющих природу и любовь.

Бёрнс говорил, что каждая строчка его стихов — рассказ о его жизни. Кроме того, сохранилось начало его автобиографии, множество писем, черновых набросков, дневников поэта и записей современников. При чтении этих документов перед нами встаёт подлинный Бёрнс — человек огромного обаяния, гордый и независимый, настоящий патриот, высокообразованный, интересный собеседник, заботливый семьянин. Читая его письма и дневники, глубже понимаешь стихи, в которых он восстаёт против несправедливости и лжи, против продажных правителей, елейных ханжей и знатных дармоедов.

Несколько лет назад шотландский художник Гендерсон сделал серию гравюр по дереву, в которых он, по имеющимся портретам, попытался воссоздать образ Бёрнса. Он издал эти гравюры, сопроводив их произвольно подобранными в хронологическом порядке отрывками из стихов и писем Бёрнса, из воспоминаний современников, газетных статей и других документов, и назвал книгу «Бёрнс с себе».

Мы печатаем в сокращённом виде материалы из этой книги, добавив к ним отрывки из подлинных писем Бёрнса, в частности из автобиографического письма д-ру Муру, и стихи поэта в переводах С. Маршака.

1. БЕДНОСТЬ И БЕЗВЕСТНОСТЬ

Из письма доктору Муру

Август 1787 года.

Дорогой сэр!

В течение последних месяцев я объездил множество мест, а сейчас длительное нездоровье приковало меня к постели. Чтобы немного отвлечь мысли от гнетущей меня тоски, мне взбрело на ум рассказать Вам о себе. Имя моё вызвало некоторый шум в наших краях. Вы оказали мне честь, приняв горячее участие в моей судьбе, и, быть может, правдивый рассказ о том, что я за человек и как я стал таковым, займёт Ваше внимание в свободную минуту.

Отец мой родился на севере Шотландии, в семье фермера и, сызмала осиротев, был предоставлен самому себе. Несколько лет бродил он по свету и накопил немало опыта и наблюдений. Ему я обязан теми небольшими крупицами мудрости, какие живут во мне. Редко встречал я человека с таким глубоким пониманием людей, их обычаев и нравов. Но суровая, резкая прямота и крутой, необузданный нрав вряд ли идут кому-либо на пользу. Оттого-то и я родился сыном бедняка.

Первые шесть-семь лет моей жизни прошли неподалёку от Эйра, в поместье небогатого, но почтенного джентльмена, где мой отец служил садовником. Останься он в этой должности, меня наверняка отправили бы подручным или батраком на какую-нибудь захудалую ферму. Но самым горячим желанием отца, самой заветной его мечтой была возможность воспитывать детей у себя на глазах, пока они не научатся отличать добро от зла. Благодаря великодушной помощи своего хозяина мой отец смог взять в аренду маленькую ферму, чтобы нам жить всем вместе.

В те годы меня никак нельзя было назвать всеобщим любимцем. Во мне отмечали отличную память, упорство, вспыльчивый характер и какое-то идиотски-восторженное благочестие. Говорю «идиотское», но вернее было бы назвать его ребяческим.

И всё же я помню — и это, пожалуй, одно из самых ранних моих воспоминаний, — как однажды в церкви, совсем ещё мальчишкой, я разозлился до слёз, увидев, что молоденькая девушка, служанка из помещичьего дома, поспешно вскочила со скамьи, чтобы пропустить своего хозяина — надутого, чванящегося своей толстой мощной уроды, который с важным видом проследовал мимо девушки, даже не взглянув на неё. А она была прехорошенькая!

Хотя моему учителю иногда и приходилось пускать в ход розгу, я всё же делал отличные успехи в английском и к десяти-одиннадцати годам стал докой по части существительных, глаголов и наречий.

Многим я обязан и одной старушке, жившей у нас в семье, хотя она и была на редкость невежественна, суеверна и простодушна. Но никто на свете не знал столько песен и сказок, как она, — о чертях, привидениях, феях, колдуньях, ведьмах, оборотнях, блуждающих огнях, об упырях и великанах, заколдованных замках и драконах, о леших, что живут в густых кустах терновника, о гномах, выходящих на петушиный зов к бочонкам с крепким элем, о русалках, плывущих по заливу в беззвёздные ночи.

От этих старых песен прорастали дремавшие во мне зёрна поэзии, а страшные сказки так поражали детское моё воображение, что до сей поры, блуждая по ночам в глухих местах, я иногда невольно настораживаюсь, и, хотя трудно найти человека, более скептически настроенного, чем я, мне часто приходится призывать на помощь всю свою философию, чтобы стряхнуть беспричинный страх.

Первые две книги, которые я прочёл самостоятельно, доставили мне больше удовольствия, чем все с тех пор читанные томы. Это были «Жизнь Ганнибала» и «История сэра Уильяма Уоллеса»¹.

Ганнибал так вскружил мою юную голову, что я в восторге маршировал за барабаном и вольной вербовщика и мечтал стать высоким и сильным, чтобы попасть в солдаты. А история Уоллеса влила в мою кровь ту любовь к шотландскому народу, которая будет кипеть в ней, покуда её живой поток не остановится в моих жилах навеки...

Особенно памятен мне один воскресный летний день — единственный день недели, который вполне принадлежал мне, — когда я прошёл несколько миль, чтобы с благоговением истого паломника поклониться Ленгленскому лесу, где, по преданию, укрылся Уоллес. И разглядывая каждую ложбинку, каждый холм, где мог бы найти убежище мой славный соотечественник, я чувствовал, как в сердце моём разгорается желание написать песню, хоть сколько-нибудь достойную подвигов нашего героя.

Соседство городка Эйр было для меня чрезвычайно полезным. Я завязал знакомство с другими юношами, стоявшими по своему положению выше меня. Они, как юные актёры, уже репетировали ту роль, какую им суждено было играть на жизненной сцене, тогда как мне — увь! — предстояло в безвестности оставаться за кулисами. Но в этом раннем возрасте наши молодые аристократы ещё не могут составить себе

¹ Национальный герой Шотландии, боровшийся с англичанами за независимость своей родины.

точное представление о той неизмеримой пропасти, которая лежит между ними и сверстниками-оборванцами. Этим знатым юнцам надо сначала попасть в светское общество, чтобы у них, как того требует благопристойность, выработалось высокомерное презрение к бедным, безвестным, необразованным парням, крестьянам и рабочим, которые, может быть, и родились в одной деревне с ними. Мои знатные товарищи никогда не насмеялись над неуклюжим парнишкой-пахарем, с огрубелыми руками и ногами, ничем не защищёнными от всех стихий во всякое время года. Друзья дарили мне разрозненные книжки. Внимательно присматриваясь к их манерам, я уже тогда смог кое-что перенять, а один из них даже выучил меня читать по-французски! Когда они уезжали в дальние края, я провожал их с глубоким огорчением, но вскоре мне пришлось пережить ещё более тяжёлое горе. Добрый хозяин моего отца скончался, ферма оказалась для нас разорительной, а в довершение всех бед мы попали в лапы управляющего, который потом послужил прообразом для моей повести в стихах «Два пса». Отец мой женился очень поздно,— я был старшим из семерых детей. Тяжёлая жизнь подорвала его силы, и работать он уже не мог. Срок аренды фермы истекал через два года, и, чтобы продержаться эти трудные годы, мы стали отказывать себе во всём. Жили чрезвычайно бедно. Для своих лет я был неплохим пахарем, а следующий по старшинству, брат Гильберт, тоже ловко орудовал плугом и помогал мне молотить рожь. Может быть, какой-нибудь сочинитель романов не без удовольствия посмотрел бы на нас со стороны, но мне было нелегко. До сих пор во мне вскипает возмущение, когда вспоминаю наглые угрозы мерзавца-управляющего, доводившие всех нас до слёз..

Так я жил, в монашеском уединении и каторжном труде, почти до шестнадцати лет, когда впервые согрешил стихами.

...Я был юнцом, но и тогда
Обрывки строк в часы труда
Твердил я непрестанно,
Пока подруга юных дней
Не придала строфе моей
И склад и лад неожиданный.

Все знают наш деревенский обычай — во время жатвы давать парням в подручные девушки. Моей помощницей была чудеснейшая девчонка, Нелли, всего лишь одной весной моложе меня. Трудно подобрать для неё слова на литературном английском языке. У нас в Шотландии про таких говорят: «Пригожая, хорошая да ласковая!» И вот она, сама того не зная, впервые пробудила в моём сердце ту пленительную страсть, которую я и по сей день, несмотря на горькие разочарования, житейскую мудрость и книжную философию, считаю самой светлой из всех человеческих радостей, самой дорогой нашей услугой на земле. Никогда я прямо не говорил Нелли, что люблю её. Да и самому мне было непонятно, почему я так охотно отставал вместе с нею ото всех, когда мы возвращались вечером с работы; почему сердце моё трепетало при звуках её голоса, как струна эоловой арфы, и почему у меня так бешено стучала кровь в висках, когда я касался её маленькой руки, чтобы вытащить колючки терновника или злую занозу. Много было в ней такого, от чего могла зародиться любовь, да к тому же она прекрасно пела. На её любимый мотив я и попытался впервые выразить свои чувства в рифмах. Разумеется, я и не воображал, что сумею писать стихи, какие печатают в книжках: я знал, что их сочиняют люди, владеющие греческим и латынью. Но ведь моя девушка пела песенку, которую будто бы сложил сын одного мелкого землевладельца про работницу с их фермы, и я не видел причины, почему бы и мне не рифмовать, как рифмует он.

Так для меня вместе начались любовь и поэзия.

Отец мой попрежнему боролся с нуждой, пока наконец не избавился от кабальной аренды и не смог взять другую ферму, побольше. Условия были легче, и в течение четырёх лет мы жили безбедно, но потом у отца с его лендлордом начались разногласия из-за условий аренды. Три года мой отец захлёбывался в омуте сутяжничества.

ства, и только смертельная болезнь, подточившая его силы, спасла его от ужасов долговой тюрьмы, унеся в те пределы, где негодьям не дано творить зло, а усталым уготован отдых.

Годы, что мы прожили на этой ферме, были для меня полны событий. Вначале я был, наверно, самым неловким и неотёсанным парнем во всём приходе — ни один отшельник не был так далёк от жизни. Все мои сведения из древней истории ограничивались «Географической грамматикой» Гэтри и Салмона, а представление о современных обычаях, о литературе и критике я получил из журнала «Спектейтор» («Обозреватель»). Сочинения Поупа, несколько трагедий Шекспира, «Руководство к земледелию», «Пантеон», Локк — «О человеческом разуме», «История Библии», «Британский садовод», лекции Бойля, труды Алана Рамзея, «Размышления» Гарвея и, наконец, «Избранные английские песни» — вот круг моего чтения.

Томик «Избранных песен» был неизменным моим спутником. Правя возком или идучи на работу, я вчитывался в песню за песней, строфу за строфой, стараясь отличить истинно-высокое и трогательное от напыщенного и ходульного. Я убеждён, что этим занятиям я обязан всем своим критическим чутьём, если оно во мне есть.

На семнадцатом году жизни для усвоения хороших манер я стал посещать сельскую школу танцев.

Отец относился к этим сборищам с необъяснимой неприязнью, и уходил я из дому вопреки его желанию, в чём раскаиваюсь по сей день. Впрочем, несмотря на всё моё легкомыслие, я в течение многих лет держался вдалеке от всяких пороков.

Самым большим недостатком моей жизни было отсутствие в ней определённой цели. Во мне рано зашевелилось честолюбие, но оно искало выхода вслепую, как гомеровский циклоп из стен своей пещеры. Я сознавал, что положение моего отца обрекает меня на вечный труд. Только два входа в храм фортуны были открыты для меня: врата скардной бережливости и стезя мелкого, хитрого мошенничества. Первый вход был настолько узок, что я никак не мог в него протиснуться, второй путь был мне всегда ненавистен: встать на него — значило унижить и запятнать себя.

У меня не было никаких видов на успех в жизни, но я жаждал общения с людьми, обладал природной живостью характера, умением всё замечать и обо всём составлять собственные суждения. По натуре я был склонен к приступам беспричинной тоски, что заставляло меня избегать одиночества. Всё это влекло меня к обществу друзей, где я заслужил репутацию начитанного малого, с беспорядочным, но самобытным образом мыслей человека, который умеет высказать своё мнение и даже обладает некоторыми задатками здравого смысла. Не удивительно, что я становился желанным гостем везде, где мне случалось бывать, и, как только собирались два-три товарища, я непременно оказывался среди них. Но самым сильным влечением моей души был un penchant à l'adonnable moitié du genre humain¹. Сердце моё мгновенно воспалялось, как трут, стоило только какой-нибудь богине заронить в него искру. Но, как и во всех сражениях, счастье моё бывало переменным: то меня венчал успех, то я терпел обидное поражение...

Ещё одно обстоятельство сильно повлияло на мой ум и характер: на девятнадцатом году моей жизни я целое лето провёл вдали от семьи, в маленьком приморском городке. Там, в хорошей школе, я изучал топографию, землемерие, проектирование и прочие науки, в которых делал значительные успехи. Но ещё больших успехов я достиг в изучении рода человеческого. То было время расцвета контрабандной торговли, и мне случалось сходиться с людьми, которые занимались этим делом. Мне было внове видеть безудержный разгул и разухабистое веселье, но я никогда не чурался тёплой компании.

Нет у нас шелков и меха,
Нет и золота в ларце,
Но зато такого смеха
Не слышали во дворце!

Но, хоть я и научился осушать кружку до дна и бесстрашно вмешиваться в хмельные ссоры, всё же я усердно занимался своим землемерием, пока одна прехорошенькая

¹ Склонность к прекрасной половине рода человеческого (фр.).

fillette¹, жившая рядом со школой, не перепутала всю мою тригонометрию и не пустила меня по касательной к сфере моих занятий. Несколько дней я ещё бился над синусами и косинусами, как вдруг в один ослепительный полдень, определяя в саду высоту солнца, познакомился с моим ангелом.

Нечего было и думать о занятиях. Всю оставшуюся неделю я только и делал, что сходил с ума или украдкой бегал на свидания...

Для неё были написаны стихи:

Как дождь весной — листве
лесной,
 Как осень — урожаю,
 Так мне нужна лишь ты
одна,
 Подруга дорогая!

Несомненно, существует теснейшая связь между любовью, музыкой и поэзией. Могу сказать о себе, что я и не мыслил стать поэтом, пока не влюбился. А тогда рифма и мелодия стиха стали непосредственным голосом моего сердца...

Я вернулся домой гораздо более взрослым и развитым. Круг моего чтения расширился, я прочёл произведения Томсона и Шенстона². Я познакомился с новыми для меня сторонами жизни и завязал обширную переписку со своими товарищами по школе. Эта переписка помогла мне выработать хороший слог. Как-то я набрёл на собрание писем выдающихся людей времён королевы Анны и стал изучать их самым тщательным образом. Я хранил черновики тех моих посланий, которые мне самому нравились, и моему самолюбию льстило, когда я сравнивал их с письмами моих корреспондентов. Каждая почта приносила мне такое количество ответов, как будто я был каким-нибудь важным дельцом с обширной клиентурой.

Так текла моя жизнь до двадцати трёх лет. Величайшее удовольствие доставили мне две книги, прибавившиеся к моей библиотечке: «Тристам Шенди» Стерна и «Благородный человек» Макензи. Поэзия попрежнему была любимым моим занятием, но я предавался ей только по настроению. Обычно у меня в набросках находилось несколько стихотворений, и я брал то, которое в данную минуту более соответствовало моему душевному состоянию, и бросал его, когда оно мне надоело. И если во мне вспыхивала страсть, бушевавшая, как тысячи дьяволов, я укрощал её рифмой. Погружаясь в стихи, я чувствовал, как, словно по волшебству, мой пыл стихает и всё во мне успокаивается. Стихи тех дней почти не попали в печать, кроме «Зимы», «Элегии на смерть моей овцы Мэйли», баллады «Джон — Ячменное Зерно» и трёх песен.

Двадцать третий год принёс мне перемену в жизни. Отчасти по прихоти, отчасти из-за того, чтобы заняться каким-нибудь делом, я поступил в прядильню, в соседнем городе Эрвине,— учиться ремеслу. Однако меня постигла неудача. Мой патрон оказался первостатейным негодяем, который добывал деньги нечестным пугём. И в довершение всего, когда мы весело встречали Новый год, наша мастерская, по пьяному недосмотру хозяйки, загорелась и сгорела дотла, а я, как настоящий поэт, остался без гроша в кармане...

Мне пришлось отказаться от своих планов. В это время грозные тучи уже нависли над головой моего отца, и, что хуже всего, он тяжело заболел чахоткой. В довершение ко всем моим несчастьям одна belle fille³, которую я боготворил, бросила меня, вопреки обещанию стать моей женой, — и как обидно бросила!

В конце концов все эти неудачи довели меня до такого состояния, что месяца три я находился в глубочайшей меланхолии...

Поворотным событием в моей жизни было знакомство с одним юношей, благороднейшим человеком, претерпевшим в жизни множество неудач. Он был сыном простого ремесленника, но один знатный человек, взяв его под своё покровительство, дал ему

¹ Девочка (фр.).

² Поэты XVIII века. Томсон, автор «Времени года», был одним из любимых поэтов Бёрнса.

³ Красивая девушка (фр.).

благородное воспитание. В самом начале карьеры Ричарда Брауна (так звали юношу) его покровитель умер, и юноша в отчаянии поступил матросом на корабль. Я познакомился с ним после того, как он был высажен на берег с американского контрабандного судна без единого гроша в кармане. Не могу не добавить, что в настоящее время, когда я пишу эти строки, бывший неудачник стал капитаном большого вестиндского торгового корабля.

Мой новый друг был человеком независимого, гордого ума и великодушного сердца. Я любил его мужественный облик, восхищался им до самозабвения и, конечно, во всём усердно подражал ему. Во многом это мне удавалось: по натуре я был горд, но он научил меня направлять эту гордость. Жизнь он знал гораздо лучше меня, и я с жадностью слушал его. Он был единственным из встреченных мною людей, кто больше, чем я, был способен на безумства, когда путеводной звездой жизни становилась женщина. Но он говорил о незаконной любви с легкомыслием настоящего моряка, а я до встречи с ним смотрел на неё со страхом. Лишь в этом его дружба повредила мне: последствия были таковы, что вскоре по возвращении на ферму, к плугу, я написал стихи «Моему незаконнорождённому ребёнку»:

Дочурка, пусть со мной беда
Случится, ежели когда
Я покраснею от стыда,
 Боясь упрёка
Или неправого суда
 Молвы жестокой...

Тебе могу я пожелать
Лицом похожей быть на мать,
А от меня ты можешь взять
Мой нрав беспечный,
Хотя в грехах мне подражать
Нельзя, конечно!

Будучи в городе, я прочёл только два разрозненных тома «Памелы» и «Фердинанда», получив некоторое представление о романах. Кроме стихов на религиозные темы, я ничего не писал. Но, прочтя «Шотландские песни» Роберта Фергюссона, я вновь ударил по струнам моей дикой лиры в благородном соревновании с поэтом.

Когда мой отец скончался, всё его имущество пошло в пасть прожорливых псов, рычащих у входа в конуру Правосудия. Но вся наша семья постаралась наскрести остатки своих сбережений, и на них мы с братом Гильбертом взяли в аренду по соседству ферму под названием Моссгил. Брату не хватало моего легкомысленного воображения, моих увлечений в дружбе и любви. Зато по трезвому уму и житейскому опыту он стоял гораздо выше меня.

Я взялся за работу на ферме со всей решительностью: «Надо приняться за дело, надо жить мудро!» Я читал книги по земледелию, я подсчитывал возможный урожай, ездил на ярмарки. Короче говоря, несмотря на искушение дьявола, мира и плоти, я стал бы настоящим солидным фермером, но, к несчастью, в первый год мы купили негодные семена, а во второй слишком поздно убрали хлеб — и оба раза потеряли половину урожая. Все мои благие намерения были опрокинуты, и я снова вернулся к прежнему образу жизни.

Меня уже знали в наших краях как сочинителя стихов. Первое моё поэтическое чадо, ещё раньше увидавшее свет (конечно, только в рукописи), была шуточная «Ода» по поводу ссоры двух достопочтенных кальвинистов. Мне самому казалось, что стихи имеют некоторые достоинства. Но, чтобы оградить себя от нареканий, я отдал их приятелю, большому любителю таких произведений, сказав, что «не знаю, кто автор, но считаю стихи довольно удачными». И действительно, они вызвали настоящую бурю одобрений — таким точным оказалось описание и духовенства и мирян. Потом появилась «Молитва святоши Вилли», которая до того переполошила церковный совет, что он несколько раз собирался для проверки своей священной артиллерии, выясняя,

нельзя ли направить её против безбожных рифмоплёттов. К несчастью, из-за своих увлечений я попал под жестокий обстрел церковников совсем по другой причине. Речь идёт о самом мрачном периоде моей жизни, о котором написана поэма «Жалоба». Я и сейчас не могу спокойно думать об этом... Тогда я чуть не сошёл с ума от горя...

Эти строки относятся к роману Бёрнса с Джин Армор, ставшей впоследствии его женой. Родители Джин, узнав, что она обещала выйти замуж за Бёрнса, человека очень бедного, воспротивились их свадьбе, уничтожили подписанное Джин и Робертом брачное свидетельство, которое, по шотландским законам, является достаточным для заключения брака, увезли Джин, ожидавшую ребёнка, из города и стали преследовать Бёрнса, грозя ему тюрьмой. В это время друзья поэта предложили ему уехать на Ямайку. Тогда же были написаны стихи:

Моя Шотландия, прощай!
 Милей мне твой туманный край
 Садов богатых юга.
 Прощай, родимая семья,
 Сестра, и брат, и мать моя,
 И скорбная подруга!
 С тоской тебя я обниму.
 Малютка дорогая,
 Тебя я брату своему
 С надеждой поручаю...

Я отдал свою часть фермы брату Гильберту и стал готовиться к отъезду. Но, перед тем как покинуть родину навеки, я решил издать стихи. Я проверил все свои произведения, стараясь быть как можно беспристрастнее. Мне показалось, что они заслуживают внимания, и мне страстно захотелось, чтобы меня назвали талантливым малым, даже если это признание никогда не достигло бы моих ушей... Могу честно сознаться, что и тогда, будучи *un raucge insoppi*¹, я был почти столь же высокого мнения о себе и своих стихах, как сейчас, когда читатель высказал им одобрение. Я долго проверял себя перед этим. Я сравнивал себя с другими. Я старался собрать все мнения, чтобы определить, что я значу как человек и как поэт. Я был достаточно уверен, что стихи мои будут встречены хорошо. Но в худшем случае я надеялся, что грохот атлантических валов заглушит голос критики, а новизна вест-индской природы заставит забыть всяческое пренебрежение ко мне...

Из писем 1786 года

Июль.

Сейчас надену вретиче и посыплю голову пеплом — иду каяться на церковный совет.

...Публично каялся в церкви. Сделал это для того, чтобы получить свидетельство на отъезд.

...Смогу уехать в Вест-Индию в октябре. Книга моя будет готова недели через две — во всяком случае до моего отъезда. Дорого она мне обошлась!

Гильберт обещает кормить, одевать и воспитывать мою незаконную дочку Элизабет, как своё родное дитя. Чтобы он смог выполнить эти обязательства, я перевожу на его имя всё своё имущество, скот, обстановку — словом, всё, что у меня останется после уплаты наших общих с ним долгов за аренду фермы, а кроме того, весь доход, который даст издание моих стихов.

...Отец Джин получил правомочие посадить меня в тюрьму, если я не внесу огромнейший залог. Перебегаю из норы в нору, от одного приятеля к другому.

¹ Безвестным бедняком (фр.).

Август.

Наконец моя книга вышла в свет — шестьсот экземпляров, из них триста пятьдесят уже разошлось по подписке

..Я в горячке — готовлюсь к путешествию в Вест-Индию. Со дня на день жду извещения от капитана корабля, как только он прибудет в Гринок.

...Все мои планы лопнули. Капитан «Нэнси», с которым я должен был уйти, предупредил меня слишком поздно. Я был так стеснён в деньгах (главным образом из-за издания моих стихов), что не успел закончить все дела в течение двух дней. Теперь я надеюсь уйти на корабле «Белл» в конце будущего месяца.

Сентябрь.

Мне больше нечего бояться м-ра Армора. Церковники не посмеют меня тронуть; хотя полномочие на арест ещё существует, но самые знатные люди нашей округи обещали мне своё заступничество. Джин ничего не предпримет против меня и, я уверен, помешает своим родителям навредить мне: только страшными угрозами они заставили её подписать петицию. Я виделся с ней один раз. Сейчас она в страхе перед близкими родами. Мне тревожно, мне очень тревожно. Говоря по правде, у меня в душе такая пустота, такая тоска по ней. Наверно, мне никогда больше не обнимать это прелестное создание. У неё свои недостатки, у меня — свои, да и у каждого так...

Господи, благослови мою бедную, так горячо когда-то любимую девочку. Её окончательно совратили родители...

3 с е н т я б р я, воскресенье.

Роберту Муру

Мой друг, мой брат! Ты, должно быть, слышал, что Джин вернула мне залог любви вдвойне. Чудесный мальчишка и девочка пробудили в моей душе тысячи противоречивых чувств — и сердце бьётся то от светлой радости, то от мрачных предчувствий.

Боюсь, что все мои надежды останься дома несбыточны. Но об этом позже, в конце будущей недели, когда к тебе нагрянет

преданный твой друг Р. Б.

Моё честолюбие вполне удовлетворено приёмом, который оказала моим стихам эйрширская публика.

Роберт Эрон, двадцатидвухлетний современник Бёрнса, писал: «Даже батраки и работницы с ферм охотно отдавали с трудом накопленные деньги, отказываясь от самого необходимого, чтобы достать томик стихов Бёрнса. Мне дали книжку в субботу вечером, и я закрыл её на рассвете воскресного дня, прочитав и перечитав каждое слово».

Другой современник рассказывал, что рабочие ткацкой мастерской в Килмарноке, купив книжку в складчину, разделили её по листкам и учили стихи наизусть, обмениваясь прочитанными страницами.

...Хочу попытаться вторично издать свою книгу. Если удастся, то задержусь дома. Если нет — уеду, как только кончим уборку хлеба.

Н о я б р ь.

Собираюсь в начале будущей недели в Эдинбург¹. Гильберт и вся семья в восторге! После всех расходов у меня очистилось около двадцати фунтов. Это весьма кстати.

...Завтра еду в Эдинбург, на чужой лошади, без единого знакомого в городе, без единого рекомендательного письма в кармане!

¹ Стихи Бёрнса имели успех и среди буржуазной публики — главным образом среди шотландских националистов, которые и пригласили его в столицу Шотландии — Эдинбург.

2 В БОЛЬШОМ СВЕТЕ

(1786—1787)

Н о я б р ь . Э д и н б у р г .

Скоря неделя, как я в городе. Снимаю комнату вместе с Джоном Ричмондом¹. С самого приезда страдал головными болями. Сейчас мне лучше.

..Выхожу в свет, горя надеждой завоевать известность и славу, как надеялись и до меня сотни других. Но кто они? Такие же люди, как я. А семерым из десяти не хватает даже доли моих способностей! К тому же у меня есть пара новых штанов, куртка у меня из лучшей шотландской шерсти, есть у меня и голландская рубашка, и чулки, и туфли. Только свой шотландский берет — а с какой гордостью я носил его когда-то! — пришлось променять на десятишиллинговую шляпу. Что ж, Робин, друг, смелей!

Из письма сэру Джону Уайтфорду

Сэр, Вы первый в здешнем городе проявили ко мне интерес. Я недостаточно знаком с этикетом, поэтому не знаю и не спрашиваю ни у кого, прилично ли мне поблагодарить Вас письменно. Но прошу Вас поверить, что письмо это ни в какой мере не продиктовано низким пресмыкательством. Как бы я ни был беден, у меня есть мое независимое состояние — мой плуг.

Мне нечем отблагодарить Вас за Вашу доброту, сэр, кроме самых искренних и горячих пожеланий счастья от всего моего признательного сердца.

Роберт Бёрнс.

Вот что рассказывали современники Бёрнса о его пребывании в Эдинбурге.

«Мне было пятнадцать лет,— писал Вальтер Скотт,— когда Бёрнс приехал в Эдинбург. Это был крепкий коренастый человек, державшийся просто, непринуждённо и с большим достоинством... Во всём его облике чувствовалась сила и ум. По глазам сразу можно было определить поэтический темперамент. Большие и тёмные, они горели (я говорю «горели» в самом буквальном смысле слова), когда он говорил о чём-нибудь с силой и увлечением. Никогда мне не приходилось видеть такие глаза, хотя я и встречался с самыми знаменитыми людьми. В его речах слышалась полная уверенность в себе, однако безо всякого самодовольства. Общество Эдинбурга ласкало и баловало его; жаль, что помощь, оказанная ему, была весьма незначительной.

Но, хотя он был так беден, что ему вечно грозило полнейшее разорение, хотя в те дни его ждала судьба бродяги или просто нищего, он казался столь гордым и независимым, словно владел несметными богатствами.

Среди людей образованных и со вкусом, умевших ценить его беседы, он производил большое впечатление умной, содержательной и вдохновенной речью. Но только в женском обществе по-настоящему раскрывалось его необыкновенное обаяние».

Джошуа Уокер, домашний учитель в семье одного маркиза, писал о сильнейшем впечатлении, которое произвела на него встреча с Робертом Бёрнсом:

«Сильный, отлично сложенный, гораздо более складный, чем можно было ожидать от крестьянина, он всё же несколько грубоват по внешности. Он высказывает свои чувства решительно и твёрдо, хотя и без всяких потуг на светскость. А сколько напора в его речах! Образ его мыслей и способ выражения в одинаковой мере сильны; он и мыслит и говорит обо всём своеобразно, даже отдалённо не повторяя общие места.

¹ Девятнадцатилетний приятель Бёрнса.

После завтрака я попросил его поделиться с нами своими неопубликованными произведениями. Я обратил особое внимание на его манеру чтения — он читал просто, медленно, отчётливо и выразительно, без всякой декламации или искусственности. Он стоял во время чтения лицом к окну, и глаза его были устремлены не на слушателей, а туда, вдаль».

Профессор Стюарт пишет:

«Внимание, которым его окружали во всех слоях общества, наверняка вскружило бы голову всякому другому человеку. Но Бёрнс остался таким же простым и по манерам и по внешности, так поразившей меня, когда я впервые увидел его у себя в имении. Множество приглашений, которые он получал, будучи в Эдинбурге, мешали мне видеть его так часто, как мне хотелось. Раза два он, по моей просьбе, заходил за мной рано поутру. Мы отправлялись на прогулку в горы, и он чаровал меня своей беседой даже больше, чем при наших встречах в обществе».

Выдержки из газет и журналов

Из журнала «На досуге»

Разрешите представить вам поэта из наших краёв, с чьими творениями я недавно познакомился. Это Роберт Бёрнс, пахарь из Эйршира, которого я смело могу назвать талантом. Упомянув о его скромном звании и указав на его низкое происхождение и отсутствие настоящего образования, я не хочу этим оттенить достоинства его поэзии. Его стихи, безотносительно к его биографии, вполне достойны нашего одобрения.

...Некоторые его строки вызывали возражения из-за легкомысленного и кощунственного их духа. Но если мы примем во внимание, в каком невежестве погрязли низшие классы, если мы задумаемся над тем, из каких слоёв вышел этот юноша, в каких привычках он рос, с каким обществом сталкивался, мы, пожалуй, скорее пожалеем, чем вознегодуем, что чувство приличия так часто бывает оскорблено при чтении небольшого томика, столь занимательного и приятного в остальных отношениях.

Из газеты «Эдинбургское обозрение»

...В творчестве его есть странности, напоминающие о низком происхождении автора, и ошибки, причиной которых, безусловно, является недостаток образования. В его любовных стихах нет изящества и рыцарского уважения к женщине. Быть может, ни один поэт не писал о любви с такой страстью, но этот пыл порою лишён скромности и может показаться оскорбительным чувством утончённо-сдержанных дам высших кругов. Произведения Бёрнса столь же подлежат порицанию, сколь и похвале. Но нельзя читать их без того, чтобы не составить себе гораздо более высокое понятие об уме, вкусах и способностях нашего крестьянства, чем имели до сих пор представители светского общества.

Из журнала «Ежемесячное обозрение»

Жители Шотландии, принадлежащие к высшим слоям общества, прилагают величайшие усилия, чтобы говорить на изысканном и чистом английском языке. Поэтому всякий пишущий на шотландском диалекте неизбежно вызовет у них (высших классов) чувство отвращения. И вот мистер Бёрнс...

«Низкое происхождение», «недостаток изящества», «чувство отвращения». Бедные мои, несчастные песни! А впрочем, какое мне дело до мнения этих людей? Я становлюсь знаменитым чуть ли не как Фома Кемпийский или Джон Бэньян! Пусть критики убиваются ко всем чертям!

До последнего времени я был слишком в тени. А теперь я дрожу, чтобы меня не погубили, вытащив на слепящий свет учёной критики.

Д е к а б р ь.

Здесь, в Эдинбурге, я встречаюсь с людьми различных слоёв общества, не знакомых мне доселе. Я живу в новом мире. Меня познакомили со всей знатью. Среди признанных моих покровителей — герцогиня Гордон, лорд и лэди Гленкэрн, профессор Стюарт (читающий философию в университете) и другие. Я часто вижу с доктором Блэклок. В нём я нашёл человека ясного ума и доброго сердца. Мы все ценим его заслуги, хотя стихи его удивительно пусты.

Подозреваю, что мои политические взгляды могут показаться ересью самым лучшим моим друзьям. Но я ни в коем случае не хочу подымать об этом спор ни с одним существом в мире, хотя у меня есть некоторые основные убеждения, от которых я вряд ли когда-нибудь отрекусь... Никак не могу согласиться с выпренными суждениями о «Гражданах мира вообще». Во мне живут национальные традиции, которые, по-моему, сильнее всего горят именно в сердцах шотландцев.

Нет такой злой обиды под солнцем, которая досаждала бы мне больше, чем приём, оказываемый мне знатными мира сего. Сознывая, что люди рождены равными, я с горечью смотрю на самодовольную, чванную тупость какого-нибудь сквайра или сэра. Мне обидно слушать, как смеются бездарным, тупым осгротам идиота, в ком способностей не хватает даже на то, чтобы стать дешёвым бродячим портняжкой, а сердца нет ни на грош!

Никогда доспехи Саула не ложились так тяжело на плечи Давида, как ложится на мои плечи пышная мантия общественного признания, в которую облачили меня мои друзья и покровители. Я говорю об этом не из ложной скромности. Я долго изучал себя, вижу, чем я был недавно и чем бы мне надо стать, и вполне знаю себе цену как человеку и как поэту. И если даже свет или друзья иногда расходятся со мной во мнениях, я молча остаюсь при своём.

Я н в а р ь.

Будущее для меня попрежнему темно, как первозданный хаос. Мой щедрый друг, мистер Патрик Миллер, говорил со мной об аренде одной фермы близ Дамфриса, который стоит на третьем месте среди городов Шотландии и по значению и по изысканному обществу. Но мистер Миллер ничего не понимает в качестве земли и хотя, безусловно, хочет сделать мне добро, он может вовлечь меня в такую сделку, которая совершенно разорит меня. Обещал поехать с ним в начале мая посмотреть эту ферму.

Ф е в р а л ь.

Мою физиономию решил увековечить знаменитый гравёр, мистер Бьюго. Если успеется, я буду, как дурак, смотреть с титульного листа моей книги, как смотрели до меня и другие глупцы...

Трёх месяцев не прошло с тех дней, как моя родная земля горела у меня под ногами и я собирался лететь к западным берегам Атлантики не в поисках богатства, но желая скрыть свой позор. Тогда я не знал другого занятия, как ходить за плугом, и не мог похвастать более знатными связями, чем знакомство с нашим сельским приходом. А сейчас я отмечен светом, мне покровительствуют, со мной вступают в дружбу. И всё же иногда я чувствую себя весьма неловко.

Из протокола заседания церковного совета и казначеев Кэннонгэйтской церкви

Лета тысяча семьсот восемьдесят сельмого, второго дня февраля месяца, заслушано и внесено в протоколы заседаний письмо мистера Роберта Бёрнса следующего содержания:

«Джентльмены, с грустью я услышал, что на вашем кладбище, в заброшенной и забытой могиле, покоятся останки Роберта Фергюссона¹— поэта, справедливо прославленного. чей талант в веках будет украшением Шотландии. Прошу вас, джентльмены, разрешить мне установку простого надгробного камня над дорогим прахом, дабы сохранить память о бессмертной славе поэта».

М а р т.

Скоро выходит моё первое эдинбургское издание — через неделю или, самое большее, через десять дней.

Думаю, что у меня останется около двух- или трёхсот фунтов. На эти деньги я намерен вернуться к старому моему знакомцу — плугу — и сызнова начать жизнь фермера. Я не собираюсь бросить поэзию. Идя за плугом или складывая скирды, я по-прежнему в свободные минуты буду ухаживать за своей сельской музой, прославившей меня во всей Каледонии².

А п р е л ь.

Очень трудно — а для меня почти невозможно — всегда быть занимательным и остроумным, хотя я охотно признаю за собой эти способности. Обычно я сам люблю слушать себя — во всяком случае ничуть не меньше, чем слушать других.

Нет, пожалуй, других писателей, так тесно связанных, как я, с моим кругом, с простыми людьми, с которыми я главным образом и соприкасался. Теперь я повидал и здешнюю эдинбургскую жизнь, и, хотя общество меня почтило всяческими знаками внимания, а выдающиеся светочи литературы проявили ко мне много дружественного участия и доброты, я всё-таки никогда не откажусь от своего собственного образа мыслей.

Я отлично понимаю, что только новизна моего облика, моя деревенская неуклюжесть и грубоватый, лишённый лоска образ мыслей подняли меня на гребень волны всеобщего признания. Но слишком ясно я предвижу то время, когда эта волна спадёт и оставит меня на берегу. Не терплю предсказывать дурное, но я твёрдо решил, что гренебрежительное отношение этих людей не должно меня трогать.

Книга моя, наверно, выйдет из печати в ближайшую среду.

Еду путешествовать дней на десять-двенадцать с Робертом Эйнсли, моим лучшим здешним другом. Собираемся посетить исторические места Каледонии.

Принимаю Вашу критику, сударыня, и хотел бы подвергаться ей пореже. Вы правы, говоря, что я не очень-то прислушиваюсь к советам. Более достойные поэты, чем я, столько льстили власть имущим и богачам, что я-то твёрдо решил никогда не льстить ни одному живому существу. Клянусь Всевышним! Никогда ни перед кем не стану я пресмыкаться. Мне так же мало дела до королей, лордов, попов, критиков и прочих, как всем этим уважаемым особам до моей поэтической светлости!

Знаю, что с их стороны может ожидать меня в будущем, — пошлые оскорбления, а быть может, и презрительное забвение³.

¹ Шотландский поэт-песенник, умерший в возрасте двадцати трёх лет в страшной нужде.

² Старинное название Шотландии.

³ Из письма к миссис Денлоп, старой даме. поэтессе довольно слабой, но внимательной читательнице Бёрнса. Она разобрала его стихи «Сон» за пренебрежительное отношение к королю.

Один из современников, рассказывая, как Бёрнс относился к стихам — своим и чужим, — говорит:

«На одном литературном вечере разговор зашёл об «Элегии» Грея¹, которую Бёрнс обожал. Один из гостей, пастор соседней церкви, начал резко критиковать стихи Грея. Роберт стал на их защиту, настаивая, чтобы пастор процитировал те места, которые он считает неуместными. Тот попытался привести несколько отрывков из «Элегии», но каждый раз путал и перевирал стихи. В конце концов Бёрнс вспылил и обозвал пастора «безмозглым тупицей».

Хозяйка дома, сидевшая рядом, держала на коленях ребёнка. Бёрнс тут же наклонился к нему и сказал: «Прошу прощения, мой маленький друг».

Летом этого же года, после выхода второго издания стихов, Бёрнс впервые поехал путешествовать верхом по Шотландии и Англии. Сохранились отрывочные записи, короткие описания тех мест, где побывали Бёрнс и его спутник, меткие характеристики людей, а главное — множество стихов, написанных в дороге. Поэт посетил исторические места и прислал своему другу стихи:

Навек простись, Шотландский край,
С твоею древней славой.
Название самое прощай
Отчизны величавой...
Мы стали английскую не раз
В сраженьях притупили,
Но золотом английским нас
На торжище купили.

После короткого пребывания в Эдинбурге поэт опять едет путешествовать, на этот раз со школьным учителем, м-ром Николь, а по возвращении в Эдинбург он увлекается молодой светской дамой, «Клариндой», героиней многих его стихов. Но жизнь в столице тяготит Бёрнса, он приезжает домой, где пишет приведённый выше набросок своей автобиографии, так и не законченной им. Ещё один приезд в Эдинбург, окончательный расчёт с издателем, который долго задерживал деньги, и, наконец, возвращение на ферму в Моссгил, откуда он пишет другу:

М о с с г и л.

Я изменил все свои планы.

По возвращении сюда я нашёл мать, моих братьев — Гильберта и Вильяма — и двух моих сестёр на пороге разорения. Условия аренды их фермы ужасны. Чтобы избавить семью от нужды, я отдал им 180 фунтов — почти половину своего «капитала».

Я серьёзнейшим образом проверил моё собственное положение, мои надежды и настроения и наконец твёрдо решил: хочу с помощью лорда Гленкэрн поступить на службу в акцизное управление. Это верный хлеб — 35 фунтов в год.

Мне придётся встретить немало препятствий на жизненном пути, но нет на свете непреодолимых трудностей.

3. ФЕРМЕРСКАЯ ЖИЗНЬ

(1788—1791)

М а р т.

Знаю, мой вечно дорогой друг, что Вы порадуетесь за меня, когда я расскажу Вам, что наконец взял в аренду ферму. Вчера заключил договор с мистером Миллером на ферму Эллисленд, в пяти-шести милях от Дамфриса. С Духова дня начинаю строить дом, таскать известь и прочее — и да поможет мне небо, — нелегко мне будет заставить себя думать только о будничных делах...

¹ «Размышления на сельском кладбище».

Никогда больше не стану искать близости к миру остряков и людей «ком или фо». Никогда больше не буду возвращаться в высших сферах, куда гуртом валит светское стадо — и себя показать и на других поглазеть.

Хотелось бы принадлежать к людям, умеющим стойко переносить страдания и тяготы, потому что я всегда презирал плаксивый визг жалоб...

Стану простым фермером — нет счастливее этой жизни, если только она даст возможность просуществовать!

А поэзию придётся на время отложить!

А п р е л ь .

С благословения бога моих отцов я теперь женатый человек! Я женился на моей Джин.

Вот песня, которую я написал для неё в наш медовый месяц:

Из всех ветров, какие есть,
Мне западный милей.
Он о тебе приносит весть,
О девушке моей.

Леса шумят, ручьи журчат
В тиши твоих долин.
И, как ручьи, мечты мои
К тебе стремятся, Джин.

...Я доволен своим поступком и, по правде сказать, всё больше и больше доволен своим выбором. Пусть у меня в доме не будет светской болтовни, изысканных манер и модных нарядов, зато со мной будет крепкое, молодое и прелестное создание, очаровательная девчонка с необыкновенно спокойным, добрым характером, всегда ровным настроением и чудесным здоровьем. Живая, весёлая, она вдобавок ко всем этим качествам на редкость хороша собой.

...Что значит ум жены по сравнению с её сердцем? У моей Джин — золотое сердце, и она любит меня преданно и нежно. Право, бедняжка относится ко мне с каким-то священным благоговением и желает одного — быть во всём такой, какой я хотел бы её видеть. Она верит, как в Евангелие, что я — *le plus bel esprit et le plus honnête homme*¹ на свете.

Сама она не потратила за всю жизнь и пяти минут на чтение стихов или прозы. Но пусть она не читала ничего, кроме Библии или Евангелия, и никогда не знала других балов, кроме сельских свадеб, зато она поёт, как птица в лесу, — я не слышал голоса нежнее!

Пока я буду в отъезде (строить новый дом), моя мать и сёстры будут обучать её, как надо вести хозяйство на ферме, доить коров и прочее.

Мне сейчас нужны книги. Из романистов я читал Фильдинга внимательнее всего. Есть ещё Ричардсон, но, к несчастью, его герои принадлежат к другому миру. Хочу иметь произведения Смоллета ради его несравненного юмора. Самые дешёвые издания мне подойдут. Я привередлив, только когда дело касается книг поэтов. Не помню, сколько стоит Каупер, но мне надо достать его стихи.

М а й .

Вергилий, в переводе Драйдена, привёл меня в восхищение. Лучше всего, по-моему, его «Георгики». Это совершенно новый для меня род литературы, и он вызвал во мне

¹ Самый блестящий талант и самый честный человек (фр.).

тысячи новых мыслей Но когда я читаю «Георгики», а потом проверяю собственные свои силы, похоже, будто рядом поставили низкорослого жеребёнка и кровного рысака. Сознаюсь, однако, что «Энеида» разочаровала меня. Мне кажется, что тут Вергилий во многих местах рабски подражает Гомеру. Не думаю, что в этом виноваты переводчики.

Люблю отмечать во время чтения места, поразившие меня. Я ещё недостаточно вчитался в перевод Торквато Тассо, чтобы составить о нём определённое мнение.

И ю н ь.

Завтра начинаю работу на ферме — и бог в помощь моему плугу!

...Вот уже второй день, как я на своей ферме. Я единственный житель хижины, где устроил себе временное прибежище. Она открыта всем ветрам, какие есть, и всем дождям, какие льют, и порывы ветра ослабевают только тем, что им приходится пробиваться сквозь бесчисленные щели в стенах. Я не простуживаюсь насмерть только потому, что задыхаюсь от дыма.

...Третий день живу в этих краях, далеко от всех, кого люблю. Вокруг только недавние знакомцы, за исключением Дженни Геддс — старой моей кобылы.

...Господи, как неустойчива жизнь человека в этом мире! Я так боюсь всего, так устал, что в любую минуту готов бы лечь и уснуть навеки, пока изменчивый вал не опрокинет углое судёнышко или оно само не разобьётся вдребезги.

...Джин всё ещё в Мосгиле. Она приедет из Эйршира, когда будет готов новый дом, который я строю. Поэтому я провожу дней по восемь то там, то тут. Наш новый дом, конечно, не дворец, но он будет простым, удобным жильём.

...Существую я или не существую, — «большому свету», который я недавно покинул, столько же дела до меня, как до шайки бродяг! Я предвидел это с самого начала, и всё-таки... Какие тонкокожие животные, какие чувствительные растения эти бедняги-поэты! Как мы вырастаем на целый локоть, когда нам хлопают, как съёживаемся, когда нами пренебрегают!

...Хочу всегда сохранять чувство собственного достоинства.

И ю л ь.

Моя жена ждала меня тут. Я был искренне счастлив видеть её.

Только в июле 1788 года церковь наконец решила признать брак Бёрнса и узаконить его детей. Церковный совет устроил «очистительную церемонию», на которой «мистер Роберт Бёрнс и его названная жена, Джин Армор, признались в своём незаконном браке и, раскаявшись в оном, пожелали, чтобы церковный совет предпринял соответствующие меры, каковые он найдёт нужными, для торжественного утверждения данного брака. Совет, рассмотрев их просьбу, постановил выразить обоим порицание за незаконные их отношения. Имея по уставу право налагать штраф в пользу бедных, совет постановил предоставить сумму штрафа на благовидное усмотрение м-ра Бёрнса. Мистер Бёрнс вручил одну гинею».

А в г у с т. Э л л и с л е н д.

Вчера я обедал у мистера Патрика Миллера — впервые с того дня, как стал его арендатором. Хозяйка дома спела нам песню.

Все восхищались музыкой и словами. Хозяйка спросила меня, кто написал песню. «Я, сударыня! — сказал я. — Это, пожалуй, лучшие мои стихи». Она не обратила ни малейшего внимания на это объяснение! Да, права старая шотландская пословица: «Мякина королей лучше ржи простых людей...» Хотел ещё процитировать евангельскую притчу насчёт «метания бисера», но это было бы слишком сильно сказано..

А в густ. Моссгил.

Приехал из Эллисленда. Выхал верхом в три часа ночи. Труся рысцой по берегу, набросал вчерне стихи.

...Я твёрдо решил: отныне, что бы я ни писал, буду писать неторопливо. Снова еду на ферму, где весь месяц буду занят уборкой хлеба.

Большинство моих соседей ведёт, так сказать, растительный образ жизни. Они знают прозу только по молитвам, проповедям и так далее и расценивают её, как свою домотканину, — по длине, на локоть. О поэтах они имеют такое же представление, как о носорогах!

А я в свободное время провожу мозолистой ладонью по своей покрытой паутиной лире, совсем как старуха проводит рукой по колесу заброшенной прялки.

Задумал что-то вроде драмы из сельской жизни.

Сентябрь. Эллисленд.

Из писем к Джин

Моя любимая, всю ночь видел тебя во сне. Но боюсь, что раньше, чем через три недели, мне нельзя надеяться на счастье встречи с тобой. Уборка продолжается. Осталось совсем мало, но сегодня я сам сложил два стога и устал, как собака. Может быть, ты возьмёшь у Гильберта круг свежего сыра и пришлешь мне.

Надеюсь, твои новые платья будут готовы к моему приезду. По-моему, тебе лучше всего взять половину льняной пряжи у Гильберта и заказать столовое бельё, хотя мне кажется, что ткач запросил дьявольски дорого.

Твой верный муж Р. Б.

Приписка: Только что посоветовался с одной из здешних хозяек насчёт столового белья. Она считает, что можно достать самое лучшее полотно по два шиллинга ярд. Так что, пожалуй, повремени с заказом до моего возвращения. На днях съезжу в Дамфрис и справлюсь там о ценах.

Недавно, после жатвы, написал стихи.

Кроме того, заложил фундамент довольно большого поэтического здания. За эти последние восемь-десять месяцев я писал совсем мало.

Ноябрь.

Через две недели перебираюсь со всеми пожитками в Эллисленд.

Видно, моя боль в колене никогда не пройдёт. Неудачное падение с лошади этой зимой ещё ухудшило дело.

Написал ещё одну песню. Доктор Блэклок очень её хвалит, но сам я ещё не вполне удовлетворён. Она начинается так:

За дружбу старую до дна,
За дружбу прежних дней...

Мистер Крич, мой издатель, всё ещё должен мне около пятидесяти фунтов. Он заставил меня много раз ездить в Эдинбург — с 7 августа 1787 года по 13 апреля 1788 года, — пока наконец не снизошёл и не дал мне чек. Да и то я не получил бы ничего, если бы не написал ему яростное письмо.

В общем, надеюсь получить фунтов четыреста с лишним. Всё ещё завишу от милости этого джентльмена.

Новогоднее утро 1789 года.

В это утро полагается задумать желание...

Моя последняя песня стоила мне многих трудов, но это совсем не значит, что она удалась. У меня наготове ещё две-три строфы. Эти отрывки, если мой план удастся, будут небольшой частью задуманного целого.

Все свои стихи я сочиняю легко, но потом долго их исправляю¹.

¹ Интересно, что Денис Давыдов почти то же сказал о Пушкине: «Пушкин пишет стихи за присест (разрядка наша.— Р. Р.-К.), однако марает много».

Будет ли сплетённая мною пряжа храниться, как драгоценные нити шелкопряда, или её сметут, как тусклую пряжу паука?

Январь. Эллисленд.

Думаю и рифмую утром, днём, ночью: тысячи поэтических замыслов — пасторали, драмы, — словом, витаю где-то в области фантазии.

Только бы критика не надела на меня смирительную рубашку...

Снег и холодный январский ветер...

Через неделю начну возить известь на двух лошадях.

Теперь я могу содержать семью и жить скромно, но независимо.

...Пришлось ехать в Эдинбург. К своему удовлетворению, уладил все дела с издателем по-дружески и, насколько можно, по справедливости. Конечно, он не такой человек, как надо, и не так со мной рассчитался, как следовало бы, но мне всё же причитается около 400—450 фунтов. Дал Гильберту 200. Для меня их благополучие так же важно, как моё собственное.

Март. Эллисленд.

Вернулся из Эдинбурга вчера вечером. ...У кого есть свой дом, хотя бы и маленький и скромный, да ещё если дома у него уютно и тепло, как у меня, такому человеку вся столичная суета будет казаться скучной и отталкивающей.

...Часто в пышности улицы Принца, когда мне приходилось жаться к стенке, чтобы коляска какого-нибудь богатого шенка не столкнула меня в грязь, я раздумывал — за какие заслуги в прошлой жизни они родились на свет с готовым богатством в кулачонках? Какая лежит на мне вина, что меня выкинули в жизнь им на потеху? Где-то я читал сказку про короля, который был так всем недоволен, что сказал: «Если бы Творец Небесный со мной посоветовался, я избавил бы его от множества трудов и от множества глупостей».

Апрель.

Так как я не питаю никаких верноподданнических чувств к некоему монарху, то могу сказать, что в прошлый четверг моему сердцу не грозила ни малейшая опасность разорваться от счастья¹.

Торжественная церемония! А для меня всё это — церемонное торжество кривляк и лицемеров.

...Сегодня, с самого раннего утра, я вышел сеять в поле. Вдруг прогремел выстрел, и мимо меня проковылял несчастный зайчишка: видно, он был сильно ранен. Какой бессердечный болван посмел стрелять по зайцам в эту пору, когда у них у всех дети?

Написал стихотворение «О подбитом зайце, проковылявшем мимо меня». Послал его доктору Грегори в Эдинбург. Вот некоторые его замечания:

«Подбитый заяц» — тема неплохая, но размер выбран неудачно». «Стих связанный, не льётся свободно...». «В первой строфе две первые строки слишком простонародны и резки:

Стыдись, бесчеловечный человек,
Долой твоё разбойничье искусство!

«Бесчеловечный» как прилагательное — неудачно и не вяжется с поэтическим настроением «Разбойничье» — слово непоэтическое и не возвышенное. В серьёзной поэзии такие слова употреблять не должно. Вся третья строфа слишком груба:

¹ В этот день происходило торжественное богослужение по случаю выздоровления короля Георга Третьего от душевной болезни.

Калека жалкий, где-нибудь в тиши,
Среди заросшей вереском поляны,
Иль у реки, где свищут камыши,
Ты припадёшь к земле кровавой раной.

Слово «калека» очень простонародно и резко. «Кровавой раной» тоже не очень поэтично!»

И так далее и тому подобное!!! Нет у этого Грегори сочувствия к бедному грешнику-поэту!

М а й.

Строим, чиним, пашем, сеем. Кроме того, читаю тетрадку стихов молодой поэтессы. Мучился и мучаюсь каждый день, исправляя их. Стихи — безнадежная дрянь. Но предки барышни видали лучшие времена. По этой причине я и занялся такой чёрной работой.

И ю н ь.

Настроение неважное, хотя и нет к тому особых причин. Просто в последнее время нехорошие предчувствия и тяжёлые, мрачные мысли туманят мне душу.

А ведь честному человеку бояться нечего. Если мы ляжем в могилу и от нас останется только груда костей, которые превратятся в прах земной, — да будет так! По крайней мере, придёт конец горю, заботам, тоске и нужде. А если та часть наша, которую зовём мы Разумом, переживёт нас... Но если пораздумать — можно усомниться во многом. Во все века у всех народов были на то свои объяснения, и человеку мыслящему надо самому додуматься до истины, особенно в тех вопросах, которые для всех людей одинаково значительны и одинаково непонятны и темны.

А в г у с т.

Мне снова повезло. Жалованье акцизным теперь повысили до 50 фунтов в год, и по любезности инспекции я буду назначен в район, где я живу. Думаю приступить к своим обязанностям в начале будущего месяца. Мне придётся объезжать очень большой район, но, к счастью для меня и для моих умственных занятий, местность очень романтическая.

Ещё радость! Миссис Бёрнс одарила меня здоровым, крепким сынишкой. Орёт он так, что весь дом звенит. Настоящий мальчишка — плотный, красивый. Личико такое, что и двухмесячному впору. Мать здорова, как всегда. А у меня со всеми этими челами забот по горло.

С е н т я б р ь.

Какая спешка на ферме в это время года! И только густой туман нынче с утра заставил меня искать у милой моей музы убежища от хандры, которой я боюсь пуще чёрта.

В осенние каникулы Алан¹ и я поехали в гости к Вилли Николю². Какая радостная встреча!

Наш Вилли пива наварил
И нас двоих позвал на пир,
Таких весёлых молодцов
Ещё не знал крещёный мир!

Н о я б р ь.

Капитану Ричарду Брауну

Я так был занят, дорогой мой друг, что не смог урвать и часа, чтобы ответить на оба твои письма. Приезжай к нам! Мы славно проведём вместе день, а может быть, и продлим его до полуночи, прежде чем ты снова уйдёшь в море. Ты самый давнишний

¹ Учитель местной школы.

² Учитель, с которым Бёрнс путешествовал по Шотландии.

друг, какой у меня остался на земле... Давай же разопьем с тобой кружку под мой любимый тост: «Пусть товарищи нашей юности останутся друзьями нашей старости!»

Декабрь.

Служба в акцизе оказалась гораздо легче, чем я предполагал. Я имею смелость быть честным и не боюсь никакой работы. А к тому же моя беспокойная жизнь не мешает моей связи с музами. Они посещают меня, как, впрочем, и всех своих знакомцев, и ненадолго и не часто; но всё же я иногда встречаюсь с ними, бродя по холмистым окрестностям реки Нит.

Пусть люди говорят, что хотят, о неприятной работе в акцизе, но мне очень важно иметь службу, которая кормила бы мою семью и давала мне независимость. Лучше пусть я крашу своё место, чем место красит меня.

Всё чаще обдумываю драму. Человек никогда не знает, какими способностями одарила его природа, пока не испробует их. И если я, потратив несколько лет на подготовку и чтение, потерплю неудачу, ничего дурного в этом не будет. У меня есть Шекспир, и я изучу произведения всех выдающихся драматургов, писавших по-английски и по-французски, — других языков я не знаю.

Январь.

В Дамфрисе сейчас гастролирует весьма неплохая труппа актёров. Я видел их раза два. Познакомился с директором.

Нервы у меня в отчаянном состоянии. Эта проклятая ферма отняла всю радость жизни. К чёрту её! Если бы я от неё избавился, я наконец вздохнул бы свободней.

Кроме работы на ферме, я еженедельно по долгу службы объезжаю верхом не меньше двухсот миль.

Театральная труппа уезжает из Дамфриса через неделю. Для меня большим приобретением было знакомство с директором труппы — м-ром Сазерлендом. Я редко встречал людей достойнее и умнее. Написал для него пролог, который он с жаром продекламировал под громкие аплодисменты публики. И для бенефиса миссис Сазерленд я тоже написал пролог.

Мои мальчишки, Бобби и Фрэнк, чудесно растут и здороваются.

Март.

Мне нужны подержанные, или в самом дешёвом издании, драмы Отвея, произведения Бен Джонсона, Драйдена, Конгрива, Уичерли, Ванберга, Джибберса и кого-нибудь из более поздних — Марлина, Гаррика, Кольмана, Шеридана. Очень нужен Мольер по-французски, а также Расин, Корнель и Вольтер.

В Мартинов день 1791 года аренда за ферму повышается до 20 фунтов в год, и я решил отказаться от неё. И то я буду считать, что счастливо выпутался, если потеряю на этом фунтов сто, не больше. Хватит с меня фермы!

Остаётся только служба в акцизе, которая, несмотря на всё, мне не противна. На неё теперь вся надежда.

Вот рассказ современника, профессора Гиллесли, о Бёрнсе в роли акцизного:

«Я видел его на ярмарке, в деревне Торхилл. Кэт Уотсон, очень бедная женщина, открыла небольшой кабачок на один только день — и без лицензии. Бёрнс зашёл к ней, и я очень боялся, что он конфискует бочки, где находился тот запретный товар, за которым он должен был следить. Но он многозначительно поманил пальцем Кэт, и она подошла к дверям. Я стоял достаточно близко,

чтобы слышать его слова: «Кэт, в уме ли ты? Неужели ты не знаешь, что мы с податным инспектором через сорок минут нагреем к тебе? А пока — до свидания!» И через минуту он уже скрылся в толпе.

Конечно, намёк был понят, и это спасло бедную вдову от штрафа в несколько фунтов».

Сентябрь. Эллисленд.

Как будто нашёл новый способ управляться со своими неплательщиками. Докладываю я обо всех. Но на суде сам беру под защиту тех бедняков, которые не могут платить. А судьи, видя мою искренность, вполне мне верят.

Октябрь.

Конец жатвы. Сегодня весёлый праздник — рожь убрана, пахари и все работники собрались на пир. В честь такого события пришлось вытащить из пыльного угла мою старую пуншевую чашу.

Приятель Бёрнса описывает этот праздник: «Тут собрались Роберт, Джин, её сестра, трое её родственников, помогавших при уборке, и несколько соседей-крестьян. Вечер провели, как полагается в таких случаях, — все танцевали и под конец каждого танца целовали девушек. Роберт, как всегда, остроумен и как будто вполне счастлив».

О другом осеннем дне в том же году вспоминает Джин:

«Всё утро Роберт гулял по своим любимым местам у реки. Позже и я пошла к нему туда с ребятами. Он расхаживал, мурлыкая что-то про себя, и я с малышами нарочно отстала и шла позади, в кустах. Он очень мало сочинял в тот год. И вдруг он обернулся и стал вслух читать стихи, задыхаясь от счастья. Он читал очень громко, и слёзы катились у него по щекам».

Это было начало поэмы «Тэм О'Шэнтер».

Январь.

Книги! Как мне нужны книги! Но эти вампиры-книготорговцы высосали из меня всю кровь!

Питеру Хиллу, книгопродавцу

Возьмите эти три гинеи в счёт проклятого долга, который затыкает мне рот вот уже пять или шесть месяцев. Совершенно не умею извиняться перед человеком, у которого я в долгу. О бедность, ты сводная сестра Смерти, родственница дьявола!..

Нет, пусть попы говорят что угодно, — мне становится легче, когда я как следует побогохульствую! Теперь могу продолжать: будьте любезны прислать мне через дамфрисского почтаря «Джозефа Эндрюса», «Дон-Кихота», «Арабские сказки», «Родерика Рэндома» и пятый том «Наблюдателя».

Февраль.

Это первая попытка писать после несчастья, которое навлек на меня мой злой гений. Моя чёрная кобыла упала, и я сломал правую руку.

Март. Воскресенье.

Наш церковный причт, представляющий собой огромное созвездие тупиц, в зените недели излучает глупость, к немалому назиданию своих разинь-прихожан. А они глупы, терпеливы и спокойны, не умеют думать о том, что лежит вне их окружения.

Апрель.

При всей своей бедности я столь же независим, как любой из монархов, и гораздо счастливее их. С нескрываемым презрением я могу смотреть на ничтожество в пригорном звании и относиться с искренним уважением к честному бедняку.

Знаю, что нищим я родился, нищим и умру. Но льщу себя надеждой, что моя поэзия переживёт мою бедность.

Сентябрь

Один из моих добрых соседей, капитан Риддель из Гленриделя, устроил нечто вроде передвижной библиотеки, и организована она так просто, что в любом захолустье можно создать такую же.

Капитан Риддель объединил своих арендаторов и соседей-фермеров в общество; при вступлении каждый член общества вносит пять шиллингов. На эти вступительные взносы и в кредит, за счёт дальнейших поступлений, приобретена порядочная библиотека. Меня избрали чем-то вроде заведующего. Большинство голосов решается, каких авторов приобретать. Впоследствии книги будут распродаваться с аукциона, но только между членами общества.

Октябрь

Отказываюсь от фермы. Мой хозяин хочет её продать. В конце концов служба в акцизе, что бы против неё ни возражали, мне вполне подходит. Мне легко быть на этой работе честным человеком. И сама служба лёгкая. А вести дела, когда мне наплевать, внесут в казну деньги или нет, совсем не то, что видеть вытянутые лица людей, когда высокомерный лендлорд или ещё более высокомерный управитель требует с них деньги за аренду, а им нечем платить.

...Крич, мой издатель, написал мне удивительно откровенное письмо, в котором сообщает, что собирается печатать третье издание. И так как он «по-братски заботится о моей славе», то желает включить туда всё, что я написал после второго издания. И добавляет, что я буду полностью вознаграждён... двумя-тремя экземплярами для подарков друзьям! Все мои друзья знают, что я денег не ценю, но... Нет, я огладываю перо!

4. УХОД С ФЕРМЫ (1791—1795)

Октябрь. Дамфрис.

Снял дом в городе, обставил его.

Джин впоследствии рассказывала: «В доме было три комнаты на первом этаже. Средняя — маленькая, как шкаф, служила кабинетом Роберту. Приехали мы в Дамфрис не с пустыми руками. Распродажа в Эллисленде была удачная, народу пришло много. Одну нашу корову, стельную первым телёнком, мы продали за 18 гиней, и покупателю не пришлось раскаиваться в этой покупке. И другие две коровы — их подарила Роберту миссис Денлоп — тоже пошли за хорошую цену. Мы взяли с собой в город славную коровёнку, но и её пришлось продать: пасти её было негде».

Ноябрь

Отъезд из Эллисленда и устройство в городе отняли у меня столько времени и мыслей, что, кроме неотложных деловых писем, я ничего не писал. Теперь всерьёз займусь акцизной службой. Уже вошёл в колею. Дел у меня будет гораздо меньше, чем в Эллисленде, да, кроме того, и жить будет легче. А переменить жизнь было необходимо. На ферме меня ждало полное разорение.

Февраль

Я задолжал пять фунтов десять шиллингов мастеру за надгробный камень над могилой бедного Фергюссона. Два года этот прохвост делал надгробие, после того как принял от меня заказ; и ровно два года, после того как он прислал мне счёт, я ему не платил! Значит, мы с ним квиты. А теперь он имеет смелость требовать с меня и

¹ Бёрнс продал все авторские права Кричу.

проценты с этой суммы! Но, принимая во внимание, что ему задолжал один поэт за надгробие, поставленное другому поэту, этот малый должен был бы в благодарном удивлении благословлять небеса за то, что он вообще увидел хоть ломаный грош из этих денег!

«23 февраля, — рассказывает современник Бёрнса, Локкарт, — в заливе был замечен подозрительный бриг. Бёрнс был среди тех, кто следил за этим судном. Оно попало на мель. Команда у контрабандистов, очевидно, была многочисленная и хорошо вооружённая, поэтому из Дамфриса был вызван отряд драгун. Когда они прибыли, Бёрнс во главе отряда пошёл вброд с саблей наголо и первым взобрался на палубу. Контрабандисты перепугались и сдались, несмотря на численный перевес. Судно было захвачено, и весь контрабандный товар — оружие и боеприпасы — продан на следующий день с аукциона в Дамфрисе.

Бёрнсу заблагорассудилось купить в качестве трофея четыре мортиры. Все эти четыре орудия, за которые он заплатил три фунта, он послал во Францию, в помощь Революции. В Дувре они были перехвачены таможеней.

Тогда же он написал стихи «Дерево свободы».

Сентябрь. Дамфрис.

Из всей чепухи религиозная чепуха — самая вредная. Довольно и даже больше чем довольно с меня этой чепухи! Почему набожный человек всегда стремится обкорнать и принизить все душевные порывы? Конечно, эти ваши «чада церкви» добродетельны, подчас бывают справедливы, и даже иногда я встречал в них сочувствие, но всё же они ходят меж простых смертных с той же чванной надменностью, что и шотландские лорды сельского поколения, случайно попавшие в среду ремесленников в засаленных фартуках. Помню, как в дни молодости, когда я был пахарем, я считал невыносимым, чтобы благородный лорд был дураком или набожный человек — мерзавцем. Вот какие невежды эти пахари!

Мистеру Джорджу Томсону

Сэр, я только что получил Ваше письмо. Что касается до вознаграждения, то Вы можете считать, если хотите, что мои песни стоят слишком дорого или слишком дешево. И то и другое будет совершенно правильным. Я пишу стихи для удовольствия.

Ваш покорный слуга Роберт Бёрнс.

Октябрь.

Занят исправлением нового издания стихов (третьего). Вместе с обычной моей работой это занимает всё моё время.

В этом сезоне у нас играет блестящая труппа.

В пятницу назначен бенефис м-ра Гранта. У него большой талант. Но человек он скромный и очень бедный. Пьеса интересная. Правда, шотландской публике, несомненно, больше понравились бы произведения, выросшие на местной почве, чем эти двухактные и трёхактные пьесы, изображающие нравы, которые известны здесь лишь из вторых рук.

Свобода! Как дорога эта тема для меня, с моими национальными традициями! Свобода — бесценное сокровище, её стоит купить любой ценой!

Мне кажется, что если бы я мог, я осушил бы все слёзы на всех глазах.

Декабрь.

На душе у меня грустно. Стране нашей нанесли тяжкие раны, но я ничем не могу послужить делу, которое уже давно умерло. По сравнению с пылом моих чувств, я кажусь себе жалким и беспомощным, как дитя. Почему так расходятся наши желания

и наши возможности? Я стараюсь не становиться ни на чью сторону. Я не желаю принадлежать ни к той, ни к другой партии¹. Кто виноват, что миром так скверно управляют? Толкуют о реформах. Бог мой, вот я бы им устроил реформу! К чёрту слепые бы с высоких постов все больваны, которых вознёс случай. Если люди одной природы любят одно и то же, одинаково ненавидят всё нечестное и одинаково презирают всё недостойное, то, во имя здравого смысла, разве они не равны между собой? Долой знатных олухов! Вот только с подлецами я не знал бы, что делать. Впрочем, будь мир устроен по-моему, в нём не было бы ни одного подлеца!

Пока Европа занята судьбами империй и падением королей, мы в нашем краю взволнованы и взбудоражены слухами о распространении республиканского духа.

В здешнем нашем театре гимн «Боже, храни короля» был встречен ропотом неодобрения и выкриками, и публика неоднократно требовала, чтобы пели «Са ира»².

Я сидел в партере, и крики шли оттуда. Но я не участвовал в шуме, даже рта не раскрыл... Политика для меня—дело опасное... Что же касается моих личных убеждений...

Несколько дней спустя.

Вот письмо, полученное от доброго моего друга, Вилли Николя, преподавателя единбургской школы:

«Дорогой мой безбожник Бобби, ну какое тебе дело, что именно пиликают паршивые дамфрисские музыканты — «Са ира» или «Боже, храни...»? Даже если бы ты презирал короля, ты бы не мог, как джентльмен, пожелать ему худшей судьбы: вряд ли слабоумие можно считать особым проявлением божьей милости! Но сюда дошли слухи о твоём неосторожном поведении...

Впрочем, довольно политики. Как поживает миссис Бёрнс с ребятишками? Сердечный им привет. Искренне твой, Вильям Николя».

Ах, мой славный, добрый, мудрый и весёлый Вилли, конечно, поэты не славятся особой осторожностью, но я-то никаких оскорблений королю не наносил.

31 декабря.

Я был поражён, смущён и растерян, когда инспектор Митчелл сообщил мне, что получил приказ из акцизного ведомства с требованием расследовать мои политические заблуждения и с обвинением во враждебном отношении к правительству. Меня обвиняют в республиканстве, и по этой причине мне грозит быть выброшенным на произвол судьбы в страшные когти нужды.

Я мог бы храбро смотреть навстречу невзгодам, будь я один, но видеть горячо любимую жену и беспомощных малышей без всякой поддержки... О господи, как семейные узы подрывают всякую решимость и лишают человека смелости!

В это время шли жестокие гонения на сторонников политических реформ и людей, сочувствовавших Французской революции. По словам современников, Бёрнс «вёл себя весьма неосторожно». Неоднократно, на званых обедах или просто в большой компании, он провозглашал рискованные тосты. Так, он предложил выпить «за последний стих в последней главе последней Книги Царей» или «за то, чтобы наш военный успех соответствовал справедливости этой войны» (то есть войны против революционной Франции).

Известно также, что Бёрнс читал запрещённые памфлеты Тома Пэйна — знаменитого публициста и политического деятеля, бежавшего в тот год из Англии, где его изображения жгли на всех площадях. Строки из книги Пэйна «Права человека» отразились в стихотворении Бёрнса «Честная бедность».

Январь.

Начальство вынесло мне порицание. Если бы не заступничество м-ра Грэйма из

¹ Бёрнс говорит здесь о двух партиях — тори и вигов.

² Песня Французской революции.

Финтри, меня выбросили бы на улицу, даже не выслушав. Теперь, однако, в этой части всё улажено. Я остался на службе, но понимаю, что все мои надежды продвинуться разлетелись в пух и прах...

К политике будь слеп и глух.
Коль ходишь ты в заплатах.
Запомни: зрение и слух —
Удел одних богатых!

Надеюсь, что стихи мои всё ещё будут читать, когда рука, их написавшая, давно сгниёт в земле.

Всякий, кто хоть мало-мальски знает душу поэта, поймёт, что для него нет ничего в мире ценнее его стихов. Не бойтесь! Меня будут гораздо больше уважать через сто лет после моей смерти, чем теперь.

Февраль.

Мистеру Кричу, издателю

Сэр, я узнал, что моя книга вскоре выйдет из печати. Прошу Вас уделить мне двадцать экземпляров. Я хотел бы преподнести их некоторым большим людям, которых я уважаю, и некоторым маленьким людям, которых я люблю.

Март.

Я только что вышел в двух томах!

Август.

Осень — плодотворнейшее время для меня. Я пишу больше стихов, чем во все другие времена года.

От природы у меня есть музыкальный вкус, но он мало развит. Оттого и многие музыкальные произведения, в особенности те, ценность которых заключается в сложном контрапункте, как бы ни восхищали они слух знатоков, часто кажутся моему грубому уху просто мелодическим шумом. А с другой стороны, меня приводят в восхищение простые, незамысловатые мелодии, вызывающие презрение учёных музыкантов. От старого напева «Гей, тутти, тайти» у меня, бывало, слёзы выступали на глазах. Во многих местах Шотландии сохранилось предание, будто это марш Брюса под Баннокберном. И вчера, во время вечерней прогулки, воспоминание зажгло во мне такие восторженные мысли о Свободе, что я тут же сочинил на эту мелодию нечто вроде шотландской оды.

Вот конец:

Бой идёт у наших стен,
Ждёт ли нас позорный плен?..
Лучше кровь из наших вен
Отдадим народу.

Наша честь велит смести
Угнетателей с пути
И в сраженьи обрести
Смерть или свободу!

Сентябрь.

Пока я сам не сумею — худо ли, хорошо ли — напеть какую-нибудь мелодию, я не могу сочинять на неё слова. Вот как я делаю: сначала вникаю в музыку, выбираю тему. Потом придумываю первую строфу — это обычно самое трудное. Когда она готова, я выхожу погулять, иногда стдыхаю и опять хожу, напевая мелодию со словами. А если я чувствую, что муза моя заупрямилась, я вновь возвращаюсь к уединённому очагу моей комнаты и там переношу свои излияния на бумагу, покачиваясь на задних ножках своего кресла.

«А когда песня окончена.— рассказывает друг Бёрнса,— он проводит её через испытание: миссис Бёрнс поёт, а Роберт внимательно слушает, и если жена

говорит, что какое-нибудь слово трудно пропеть, он старается изменить строку. Но никогда он не жертвует смыслом ради звучания, разве только по настойчивой просьбе какого-нибудь учёного музыканта. Больше всего он любит работать в сумерки».

А п р е л ь.

Есю зиму меня мучила страшная хандра... С весной, слава небесам, я опять воспрянул духом.

М а й.

Теперь в течение шести-семи месяцев я смогу по-настоящему заниматься песнями: мне наконец удалось раздобыть пастушью волынку. Это очень грубый инструмент, состоящий из трёх частей: ствола, сделанного из берцовой овечьей кости; рожка, представляющего собой обыкновенный коровий рог срезанный с узкого конца; и, наконец, дудки — узловатой камышинки, точно такой, какую можно всегда увидеть у пастушат, когда зеленеет рожь.

И ю н ь.

По всей стране служат благодарственные молебны по поводу победы при Ушанге. Вот лицемеры! Убивать людей — и благодарить за это бога! Не примет бог вашей благодарности за убийство!

Всё время хвораю. Мои друзья-медики грозят мне летучей подагрой. Надеюсь, они ошибаются!

...Давно уже Слава перестала трубить в свой звонкий рог при моём появлении. Но я горд попрежнему. Когда меня будут класть в могилу, пусть выпрямят во весь рост, чтобы я занял каждый дюйм земли, принадлежащий мне по праву.

И ю л ь.

Вчера миссис Бёрнс одарила меня четвёртым сыном.

О к т я б р ь.

Дорогой друг!

Девушку, которой посвящены стихи «Крэгбернский лес» и «Малютка в локонах льняных», я могу в самом невинном и платоническом смысле слова назвать своей возлюбленной — или как хотите!¹ Только не вздумайте хитро шурить глаза или трепать языком со своими знакомыми по этому поводу! Нет и нет!!!

Но неужели Вы думаете, что в те минуты, когда мне особенно хочется вдохновения для песен, я начинаю молиться и поститься? *Tout au contraire!*² — я стараюсь создать совсем другое настроение и восхищаюсь какой-нибудь прекрасной женщиной!

Д е к а б р ь.

Как скоро проходит жизнь! Ещё недавно я был мальчиком. Кажется, только вчера я стал юношей. А теперь, в тридцать пять лет, я уже начинаю ощущать, как немеют мышцы и скрипят суставы от надвигающейся старости.

Ф е в р а л ь. Э к к л и ф и х а н.

По долгу службы попал вчера с вечера в эту богом забытую скверную деревушку. Из-за глубоких снежных заносов не могу ехать дальше. А вдобавок ко всем моим злключениям сегодня с самого обеда какой-то бездарный скрипач так мучил свой несчастный инструмент, что по сравнению с этими звуками визг свиньи под ножом

¹ Речь идёт о шестнадцатилетней дочке соседа.

² Совсем напротив! (фр.).

мясника показался бы музыкой! Передо мной стоял выбор — то ли напиться, чтобы забыть обо всех несчастьях, то ли повеситься, опять-таки, чтобы всё позабыть. Как человек благоразумный, я выбрал из двух зол меньшее — и сейчас я весьма пьян. Надо лечь спать.

М а р т.

Позирую Риду для миниатюры, и мне кажется, что он делает самый похожий мой портрет.

...По моему мнению, Рид совершенно испортил всякое сходство.

5. ПОСЛЕДНИЙ ГОД

(1795—1796)

Все посещавшие Бёрнса в эти годы не могут забыть впечатления, которое он производил на людей. «Я сидел против него за обедом, — вспоминает сын одного из старых друзей Бёрнса, — и никогда не забуду его живое, необычайно одухотворённое лицо, глубокий, богатый оттенками музыкальный глос и эти неповторимые глаза, которые, казалось, по-настоящему излучали свет и пылали живым огнём».

А Джесси Льюарс, сестра сослуживца, помогавшая Джин по дому, вспоминает: «Привычки у Бёрнса были самые простые и скромные. Если случайно, бывало, вернётся домой, а обед ещё не готов, он никогда ни чуточки не сердился. В доме был запас хорошего эйрширского сыра, его присылали друзья. Бёрнс возьмёт кусок хлеба с сыром и сядет с книгой, весёлый, довольный, будто пирует по-царски. Всегда он любил, чтобы жена хорошо одевалась, чисто, красиво, и не терпел распушенности и неаккуратности. И если что увидит, не только сделает замечание, а сам поедет и купит ей самое лучшее платье, какое ему по средствам».

Я н в а р ь.

Из письма к миссис Денлоп

Увы, сударыня, Вы уже давно перестали писать, а мне так горько лишаться последних радостей моей жизни. Эта осень отняла мою младшую дочурку, мою любимицу. Едва оправившись от этого горя, я стал жертвой злейшей ревматической простуды, и долго чаша весов колебалась между жизнью и смертью. Теперь я начинаю ползать по своей комнате и даже один раз вышел за порог, на улицу.

Не знаю, как обстоят дела у Вас, в Эйршире, но тут у нас настоящий голод — и это при полном изобилии всего! Сколько раз моя семья и сотни других семей сидели без крупинки муки: ни за какие деньги ничего нельзя купить. Как долго «свинская толпа»¹ будет молчать и терпеть, я не могу сказать... Желаю Вам всяческого счастья.

Р. Б.

И ю н ь.

Здоровье моё настолько плохо, что я совершенно неспособен «демонстрировать свою лояльность» каким бы то ни было способом².

Меня так замучил ревматизм, что я только и могу твердить одно: «Проклятый восточный ветер!» Написать любовную песню? О, нет! Если уж писать, так писать стихи богохульные или сугубо мятежные!

И ю л ь. К у р о р т Б р а у.

Дорогой мой Каннингэм!

Вот уже восемь или десять месяцев, как я болею — иногда лежу, иногда нет. По последние три месяца меня изводит мучительнейший ревматизм, доведший меня до

¹ Цитата из книги, враждебной Французской революции.

² Написано в ответ на приглашение одной дамы приехать на парадный вечер по поводу дня рождения короля, «чтобы продемонстрировать Вашу лояльность».

последней степени истощения. Вы бы просто не узнали меня: я так бледен, так слаб, что иногда только с чужой помощью могу встать с кресла. Я пал духом, совершенно пал духом...

Но самая чертовщина заключается в том, что во время болезни акцизный служащий получает не 50 фунтов, а только 35. Скажите же, во имя всех скопидомов, каким образом я могу просуществовать с женой и четырьмя детьми на 35 фунтов? Прошу Вас принять во мне участие и попросить наших инспекторов сохранить за мной полный оклад.

Миссис Бёрнс грозит через неделю-другую прибавить к моим отеческим заботам ещё одну (пятую!). Всего лучшего!

Р. Б.

И ю л ь.

Современница и друг Бёрнса, увидев его после долгой разлуки в этот последний месяц, писала: «Когда он вошёл в комнату, меня потряс его вид. Казалось, он уже стоит на грани жизни. Первые его слова были: «Ну, сударыня, нет ли у Вас поручений на тот свет?» За столом он почти ничего не ел. Видно было, что забота о семье тяжело гнетёт его. Но ещё больше он тревожился о своей литературной судьбе, особенно о посмертном издании стихов. Он сожалел, что написал так много эпиграмм на людей, которых не хотел обидеть. Он горько сетовал, что не успел привести в порядок свои рукописи: сейчас он уже был не в силах заняться этим. В беседе он очень оживился и успокоился. Редко я видела его таким мудрым и таким сосредоточенным. Мы расстались в сумерки. На следующий день мы снова увиделись и распрощались, чтобы никогда больше не встретиться».

10 и ю л я.

Милый брат!

Вести мои будут не очень радостными для тебя: я болен и едва ли выздоровею. Застарелый ревматизм довёл меня до такой слабости, что я едва держусь на ногах. Аппетит совсем прспал. Вот уже неделя, как я купаюсь в море; и хотя мне стало несколько легче, я втайне опасаясь, что холодные купанья могут мне повредить. Пусть бог поможет моей жене и детям. Они будут очень бедны. У меня есть серьёзные долги, отчасти из-за моей болезни, отчасти из-за необдуманных расходов в Дамфрисе. Долги эти отнимут часть того, что я оставляю семье. Передай поклон матушке.

Твой Р. Б.

12 и ю л я.

Джеймсу Бёрнсу

Дорогой кузен!

Когда ты предлагал мне денежную помощь, я и не думал, что она может так скоро понадобиться. Мерзавец-лавочник, которому я должен значительную сумму, забрав себе в голову, что я помираю, возбудил против меня процесс. Всё, что от меня осталось, — кожу да кости! — непременно бросят в тюрьму. Не можешь ли ты оказать мне услугу и обратной почтой прислать десять фунтов? Ах, Джеймс, если бы ты знал моё гордое сердце, ты бы посочувствовал мне вдвойне! Не привык я просить... Мой врач уверяет меня, что тоска и угнетённое настроение — половина моей болезни. Представь же себе мой ужас, когда затеялось это дело! Если бы его уладить, мне стало бы, наверно, много легче. Надеюсь, ты меня не подведёшь. Спаси меня от ужасов тюрьмы!

Р. Б.

Прости, что я ещё раз напоминаю: вышли деньги о б р а т н о й п о ч т о й!

14 июля.

Из письма к Джин

Любовь моя, не хотел писать, пока не мог сообщить о результатах морских купаний. Они облегчили мои боли и как будто укрепили меня. Но аппетит попрежнему очень плохой. Кроме каши и молока, ничего не могу взять в рот. Я был очень счастлив, получив письмо от Джени Льюарс, где она сообщила мне, что все вы здоровы. Передай самый нежный привет ей и всем нашим детям. В воскресенье мы с тобой увидимся! Твой любящий муж.

Р. Б.

16 июля.

Записка соседу по курорту

Дражайший сэр!

Мне нужно незамедлительно вернуться домой, так как уже два дня я не получаю никаких известий от миссис Бёрнс. Осмелюсь ли просить, чтобы Вы одолжили мне Вашу пролётку? Для меня будет удобным любой час после трёх пополудни.

Искренне благодарный Вам Р. Бёрнс.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО БЕРНСА

18 июля.

Мистеру Армору (отцу Джин)

Дорогой сэр!

Бога ради, немедленно пришлите к нам миссис Армор¹. Бедняжка Джин может слечь каждую минуту.

Сегодня я вернулся с морских купаний, и мои медицинские друзья пытаются убедить меня, что я выздоравливаю. Но я чувствую, что силы мои подорваны, и эта болезнь сведёт меня в могилу.

Ваш зять Р. Б.

21 июля четырёх сыновей Бёрнса привели попрощаться с отцом. Они стояли у его постели, пока он не перестал дышать. В тот день, когда его хоронили, Джин родила пятого сына.

Бёрнса провожали с воинскими почестями и целую милю, до самого кладбища, гроб несли на руках. Похороны превратились в мощную демонстрацию любви и глубочайшего уважения простых людей Шотландии к своему народному поэту.

День рождения Бёрнса — 25 января — стал национальным праздником. На всех фестивалях и конгрессах в защиту мира шотландские делегации несут плакаты с портретами поэта. Он и сегодня с теми, кто защищает «простой, рабочий, честный люд», о котором он так хорошо писал в своих бессмертных стихах.

Перевод и пояснения
Р. Райт-Ковалёвой.

¹ Мать Джин.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДЕМЕНТЬЕВ

★

ПАРТИЯ И ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

(Краткий обзор материалов)

Коммунистическая партия Советского Союза неизменно поддерживает всё передовое в литературе, помогает бороться с вредными идейно-художественными влияниями, мудро направляет развитие литературы по пути служения интересам народа, интересам Советского государства. И в дооктябрьский период и на всех этапах истории социалистического строительства партия разъясняла характер и особенности творческих задач, стоящих перед нашей литературой. Забота о высокой идейности и правдивости литературы сочетается в указаниях партии с заботой о художественном совершенствовании литературы.

Большое значение Коммунистическая партия придавала всегда языку печати и литературы. Взгляды классиков марксизма-ленинизма на сущность языка и его роль в общественной жизни, указания партии по вопросам языка печати, агитации и пропаганды, выступления В. И. Ленина, касающиеся в той или иной мере вопросов языка и стиля, работа И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», язык и стиль партийной публицистики, произведений Ленина и Сталина оказали сильное влияние на советскую литературу и имеют весьма существенное значение для её дальнейшего роста.

1

В. И. Ленин ещё в своих работах дооктябрьского периода определил сущность языка и его значение в истории человеческого общества. «Язык есть важнейшее средство человеческого общения»¹, — писал он. Разрабатывая марксистско-ленинские программные положения по национально-

му вопросу, И. В. Сталин указывал, что общность языка является одним из признаков нации¹.

Вместе с возникновением наций, учит марксизм-ленинизм, окончательно формируются и национальные языки, так как существование и развитие нации немыслимо без единого общенародного языка. Марксизм-ленинизм всегда признавал наличие и необходимость общего национального языка, обслуживающего членов общества, независимо от их классового положения.

Отсюда ясно, как исказили марксизм-ленинизм Марр и другие вульгаризаторы марксизма, утверждавшие, что язык является надстройкой и имеет классовый характер.

Считая язык важнейшим средством человеческого общения, партия уже в дореволюционные годы уделяла серьёзное внимание совершенствованию языка агитации и пропаганды, публицистики и литературы. Марксистскому пониманию процессов развития языка враждебны и отрицание объективных законов развития языка и фатализм тех буржуазных лингвистов, которые не признают возможности сознательного воздействия людей на языковую практику.

Более всего партия заботилась о том, чтобы язык рабочей печати и литературы, агитации и пропаганды был простым и ясным, доступным и популярным, подлинно народным языком.

Ещё в резолюции Второго съезда РСДРП «О партийной литературе» указывалось, что «насущной задачей партии в данный момент является создание строго

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 368.

¹ См. И. В. Сталин. Сочинения, т. 2, стр. 293—294.

выдержанной литературы, доступной для возможно более широкой массы читателей»¹. Позднее шестая (Пражская) конференция РСДРП в резолюции «О центральном органе» выразила пожелание, чтобы пропагандистские статьи в ЦО «писались более популярно и доступно для рабочих»².

В. И. Ленин настаивал, что писать и говорить надо «просто и ясно, доступным массе языком, отбросив решительно прочь тяжелую артиллерию мудреных терминов, иностранных слов, заученных, готовых, но непонятных еще массе, незнакомых ей лозунгов, определений, заключений»³.

Забота партии о простоте и ясности языка печати, о его народности всегда была неразрывно связана с разоблачением различных «красот» слога и стиля, краснобайства, учёно-философской тарбарщины, фразёрства, напыщенного пустословия, коверканья и искажения общенародного языка. Громя врагов рабочего класса — либералов и черносотенцев, меньшевиков и эсеров, троцкистов и анархистов, В. И. Ленин обнажал и пороки языка и стиля их писаний и выступлений. «Красивые и бессодержательные фразы... обычно прикрывают оппортунизм»⁴, — указывал В. И. Ленин. «Господа герои фразы! господа рыцари революционного краснобайства!»⁵ — называл В. И. Ленин эсеров. «Язык запутан так, как клубок ниток, с которым давно играл котенок», — характеризовал Ленин стиль решений кадетского совещания, которое «точно нарочно формулировало свои положения самым невразумительным языком»⁶.

Указания партии по вопросам языка печати, выступления В. И. Ленина за народность языка, против всяческого словоблудия касались, разумеется, самым непосредственным образом и языка художественной литературы. Нет никаких оснований для противопоставления языка художественной литературы национальному разговорному и общелитературному книжно-письменному языку.

Как известно, в буржуазной литературе

перед революцией получили распространение символизм, акмеизм, футуризм и другие декадентские направления. Все эти реакционные группировки стремились использовать национальный язык в своих интересах, обработать его в соответствии со своей глубоко антинародной эстетикой. Наиболее ретивые из декадентов пытались оторвать язык литературы от общенародной речи, лишить его реального смысла и превратить в обособленный жаргон для немногих, в кружковой жаргон.

Символисты, считая поэзию «магией слов», писали туманно и непонятно. Они пренебрегали общепринятым смыслом слов и пытались одурманить читателей невнятными «музыкальными» словосочетаниями. «Символика говорит исполненным намёков и недомолвок, нежным голосом сирены или глухим голосом сибиллы, вызывающим предчувствия», — заявлял Бальмонт. Будучи идеалистами и мистиками, символисты видели в языке не средство общения людей, не орудие развития и борьбы общества, а «эхо иных звуков» или средство «самопостижения». «...Цель творчества не общение, а только самоудовлетворение и самопостижение. И слово первоначально создано не для общения между людьми, а для уяснения себе своей мысли», — писал В. Брюсов в 1901 году.

Футуристы, крикливо выступавшие против взглядов символистов на язык и их поэтической практики, на самом деле лишь довели до абсурда стремление символистов обособить язык литературы от общенародной речи, их установку на создание особого поэтического жаргона, лишённого объективного содержания.

Футуристы, подобно символистам, как бы следовали заветам осмеянного Белинским поэта Бенедиктова:

Изобретай неслыханные звуки,
Выдумывай неведомый язык!

Игорь Северянин уродовал язык поэзии жеманным салонным словотворчеством, Хлебников и Крученых изобретали «заумный» язык, далёкий от какого бы то ни было смысла. В своих манифестах футуристы хвастались тем, что они «расшатали» синтаксис, уничтожили правописание и знаки препинания и питают непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.

¹ Сборник «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Госполитиздат, 1953, ч. 1, стр. 54.

² Там же, стр. 284.

³ В. И. Ленин. Сочинения, т. 11, стр. 262.

⁴ «Ленинский сборник», V, стр. 87.

⁵ В. И. Ленин. Сочинения, т. 24, стр. 508.

⁶ Там же, т. 18, стр. 525, 531.

Критические высказывания В. И. Ленина о туманности и вычурности выражений, о «красотах» стиля, о всевозможных словесных ухищрениях и выкрутасах были направлены и против разного рода декадентов, служили делу их разоблачения. Партийная печать вела борьбу как с декадентской идеологией, так и с декадентским стилем и жаргоном.

Не случайно В. И. Ленин в ряде своих работ, высмеывая стиль разного рода оппортунистов, уподобляет его «художественным» упражнениям декадентов. «Присматривайте-ка вы немножко, тов. Плеханов, за Мартыновым и Старовером, право присматривайте! — писал В. И. Ленин в материалах к статье «Первые уроки» (1905 год). — Пишут они красиво, слов нет, совсем даже по новому красиво, в декадентском стиле, но вот, что к чему у, это у них не всегда выходит»¹. В аналогичном смысле высказался В. И. Ленин и в статье «Должны ли мы организовать революцию?» «Оппортунисту, — утверждал он, — всегда нужны такие лозунги, в которых, по ближайшем рассмотрении, не оказывается ничего кроме звонкой фразы, кроме какого-то декадентского словесного выверта»².

В. И. Ленин не раз отмечал, что жаргон и стиль декадентов так же враждебны пролетарской печати и литературе, как и жаргон и стиль других врагов рабочего класса. В своём труде «Аграрный вопрос и «критики Маркса» В. И. Ленин советовал «не забывать никогда о том, что члены боевой социалистической партии должны и в ученых своих трудах не упускать из виду читателя-рабочего, должны стараться писать просто, без тех ненужных ухищрений слога, без тех внешних признаков «учености», которые так пленяют декадентов и титулованных представителей официальной науки»³.

Большое значение для литературы имели выступления В. И. Ленина против засорения русского языка иностранными словами, за чистоту национального языка. Известно, что русские аристократы издавна пренебрегали родной речью и «баловались французским языком при царском дворе и в салонах»⁴. Позднее

«французско-нижегородский» жаргон получил распространение в среде буржуазной интеллигенции: у публицистов, учёных, писателей. В литературе иностранными терминами и выражениями злоупотребляли декаденты. Отрывая язык литературы от общенародного русского языка, они насаждали литературный космополитизм и наводняли свои произведения непонятными, но якобы красивыми и звучными иностранными словечками разного рода.

Достаточно, например, напомнить о латинских названиях сборников стихов Брюсова, о космополитической лексике поэзии Гумилёва, о «парфюмерном блюде» Северянина, о нелепых попытках Хлебникова создать вселенский язык. Жаргон декадентов соответствовал их ориентации на реакционные направления иностранной литературы, на таких писателей, как Теофиль Готье, Бодлер, Верлен и даже Маринетти.

В. И. Ленин уже до революции критиковал употребление иностранных слов без надобности, засорение русского национального языка. Известная заметка 1919 или 1920 года «Об очистке русского языка» явилась как бы итогом продолжительных наблюдений и размышлений.

В 1913 году В. И. Ленин выступил в «Правде» с заметкой «Образованные депутаты». Псевдом послужила речь депутата Думы, октябриста Люца, заявившего, что большевики стремятся будировать чувства рабочих. В своей заметке В. И. Ленин писал:

«Французское слово «boudier», передаваемое русским «будировать», означает — сердиться, дуться. А г. Люц, очевидно, производит это слово от «будоражить», или, может быть, «возбудить». Как смеялись гг. буржуазные депутаты и буржуазная пресса, когда в I Думе один крестьянин употребил слово «прерогативы» в смысле «рогатки»! А между тем ошибка была тем простительнее, что разные «прерогативы» (т. е. исключительные права) господствующих являются, на самом деле, рогатками для русской жизни. Но образованность г. Люца не «возбудировала» смеха его образованных друзей и их печати»¹.

Это отрицательное отношение к засорению русского языка иностранными словами проявилось и в ряде других выступлений В. И. Ленина. Познакомившись

¹ «Ленинский сборник», V, стр. 76.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 8, стр. 146.

³ Там же, т. 5, стр. 135.

⁴ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1950, стр. 17.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 19, стр. 32.

в 1911 году с книгой некоего С. Щеголева «Украинское движение, как современный этап южно-русского сепаратизма», В. И. Ленин характеризовал её как сыщицкую и отметил, между прочим, что Щеголев «ругает все польское с слюной у рта, а сам пишет с полонизмами вроде «привабливание» (415 и др.), «кордон» (35 и др.), «виктория», «ревелиция» (60), «артефакт» (168)»¹.

Выступая в апреле 1917 года на Седьмой Всероссийской конференции РСДРП(б), В. И. Ленин утверждал, что искусные пропагандисты и агитаторы должны уметь объяснять истины марксизма широким массам «без иностранных слов»².

Так В. И. Ленин постоянно призывал писать и говорить просто, без иностранных слов, без всех тех словесных ухищрений, которые «так пленяют декадентов».

Коммунисты всегда горячо и преданно любили свою Родину, глубоко уважали русский народ, гордились его революционным движением, достижениями русской культуры, русским языком. «Мы любим свой язык и свою родину»³, — писал В. И. Ленин в знаменитой статье «О национальной гордости великороссов». «Великим и могучим»⁴ назвал он русский язык в статье «Нужен ли обязательный государственный язык?» Партия оберегала русский язык от порчи, от засорения, от искажения, выступала за его чистоту и богатство, против чужеродных влияний. В своём отношении к языку партия развивала замечательные традиции русских писателей-классиков, прежде всего традиции Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина и других революционно-демократических писателей и критиков, которые сыграли такую большую роль в истории русского национального языка.

И в то время, как господствующие классы царской России, буржуазные политические деятели и публицисты, декадентские литераторы пренебрегали национальным языком, портили его, большевистская печать высоко ценила русскую народную речь и развивала её. «Бывают такие крылатые слова, которые с удивительной метко-

стью выражают сущность довольно сложных явлений»¹, — писал В. И. Ленин. Известно, что В. И. Ленин постоянно ссылаясь на поговорки и пословицы, на меткие выражения и слова крестьян и рабочих.

Так, в нескольких своих работах В. И. Ленин называет процесс обеднения и разложения крестьянства словом «раскрестьянивание». «Сами крестьяне в высшей степени метко и рельефно характеризуют этот процесс термином: «раскрестьянивание»², — заметил он в классическом труде «Развитие капитализма в России». В 1905 году, характеризуя приём делегации рабочих-железнодорожников премьер-министром Витте, В. И. Ленин отметил, что Витте «говорил, по меткому выражению самих железнодорожных рабочих, «как настоящий чинодрал, виляя как всегда, не давая ничего определенного»³. В 1917 году в своём историческом докладе на Апрельской конференции партии В. И. Ленин обратил внимание на выступление одного углекопа, произнёсшего «замечательную речь, в которой он, не употребив ни одного книжного слова, рассказывал, как они делали революцию»⁴.

Однако здесь очень важно подчеркнуть, что любовь и уважение к народной речи, к простоте и популярности языка соединились у В. И. Ленина с резко отрицательным отношением ко всякой псевдонародности в языке и стиле, к популярничанью, основанному на пренебрежении к народным массам. В этом отношении особенно интересна незаконченная ленинская заметка о журнале «Свобода», издававшемся группкой, именовавшей себя «революционно-социалистической», а на деле являвшейся оппортунистической.

«Журнальчик «Свобода» совсем плохой, — писал В. И. Ленин. — Автор его — журнал производит именно такое впечатление, как будто бы он весь от начала до конца был писан одним лицом — претендует на популярное писанье «для рабочих». Но это не популярность, а дурного тона популярничанье. Словечка нет простого, все с ужимкой... Без выкрутас, без «народных» сравнений и «народных» словечек — вроде «ихний» — автор не скажет ни одной фразы. И этим уродливым языком разжевы-

¹ «Ленинский сборник», XXX, стр. 10.

² В. И. Ленин, Сочинения, т. 24, стр. 235.

³ Там же, т. 21, стр. 85.

⁴ Там же, т. 20, стр. 55.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 261.

² Там же, т. 3, стр. 141.

³ Там же, т. 9, стр. 363.

⁴ Там же, т. 24, стр. 212.

ваются без новых данных, без новых примеров, без новой обработки избитые социалистические мысли, умышленно вульгаризируемые»¹.

Популярничанье, вульгаризация, указывает далее В. И. Ленин, очень далеки от подлинной популярности. Вместо того чтобы, исходя из простых и известных фактов, подводить читателя к глубоким мыслям, к самостоятельной работе, «вульгарный писатель, — по словам В. И. Ленина, — предполагает читателя не думающего и думать не способного, он не наталкивает его на первые начала серьезной науки, а в уродливо-упрошенном, посоленном шуточками и прибауточками виде, преподносит ему «готовыми» все выводы известного учения, так что читателю даже и жевать не приходится, а только проглотить эту кашницу»².

Эти замечательные суждения В. И. Ленина о дурном популярничанье, об уродливом языке с так называемыми «народными» словечками, шуточками и прибауточками били не в бровь, а в глаз и буржуазным политикам, прикидывающимся друзьями народа, и неонародническим литераторам, натуралистически воспроизводящим местные крестьянские говоры, и писателям (вроде Ремизова и Клюева), для сочинений которых характерен разного рода фальшивый, псевдонародный стиль.

Образцовым языком партия всегда считала язык произведений русских писателей-классиков. Общенародный язык, обработанный великими мастерами художественного слова, выступает в русской классической литературе в своей могучей силе и удивительной красоте.

Известно, что в дореволюционные годы русскую классическую литературу, её идеи, её язык оплёвывали и либералы-«веховцы», и символисты, и футуристы. Футуристы открыто призывали «сбросить» Пушкина, Толстого и других писателей-классиков «с парохода современности» и сломать их язык. Хлебников и Крученых нагло заявляли, что в бессмысленном бормотании «тыр, бул, цыл» и т. д. «более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина».

Партия решительно выступила против реакционных попыток буржуазных полити-

канов и разных декадентов очернить классическую литературу и её язык. «...Язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч!»³, — писал В. И. Ленин. Он с восхищением отзывался о страстном стиле Толстого, о простоте и точности художественного языка Чехова, о силе проповеди Чернышевского.

Активно пропагандировала классическое наследие в области литературы и языка партийная печать и критика. «Правда» писала о «кristально чистом» стихе Огарёва, о «простоте и ясности слога» Гончарова, о «продуманной и прочувствованной» работе Короленко над словом⁴ и т. д. Партия призывала агитаторов и пропагандистов, работников печати, писателей учиться языку у народа, у русских писателей-классиков.

Но партия не только оберегала и хранила классическое наследство. Она стремилась к тому, чтобы рабочая печать и литература развивали русский язык применительно к новым историческим условиям и задачам, стоящим перед пролетариатом и народными массами в период подготовки социалистической революции.

«Я ничего так не желал бы, ни с чем так много не мечтал, как о возможности писать для рабочих»⁵, — заявил В. И. Ленин ещё в 1897 году. Писать для рабочих, для народа, проводить в массы идеи социализма и революции — это значило писать не только просто и ясно, но и страстно, горячо, по-боевому, вдохновенно. Маркс, по словам Ленина, писал «с величайшей страстностью, с горячим гневом»⁶. «Без «гнева» писать о вредном — значит, скучно писать. А Вы сами указываете — и справедливо — на однотонность!»⁷ — писал В. И. Ленин в 1912 году редакции газеты «Правда».

Партия всегда высоко ценила яркое, образное художественное слово. Ещё в девяностых годах В. И. Ленин, анализируя народническую статью «Новые всходы на народной ниве», похвалил одно место этой статьи за то, что в нём мысли выражены «в рельефной, лаконической, красивой фор-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 55.

² См. «За правду», 28 ноября 1913 года; «Правда», 6 июня 1912 года; «Рабочая правда» 21 июля 1913 года.

³ В. И. Ленин. Сочинения, т. 34, стр. 4.

⁴ Там же, т. 2, стр. 498.

⁵ Там же, т. 35, стр. 23.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 285.

² Там же, стр. 285—286.

ме»¹. И. В. Сталин в статье о V съезде партии отмечал, что Роза Люксембург «художественно-метко»² охарактеризовала двусмысленную, торгашескую политику Бунда.

Партийная печать всегда выступала против словесных штампов и шаблонов, серости и однотонности языка, бережно относилась к индивидуальному, творческому своеобразию литературного стиля, придавала большое значение выразительности и многообразию художественных средств писателей. Известно, что В. И. Ленин, как редактор «Искры», «Вперёд» и других большевистских изданий, весьма бережно относился к особенностям языка и манеры разных авторов, стараясь сохранить всё своеобразие стиля их произведений. «...Литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию... — указывал В. И. Ленин в программной статье «Партийная организация и партийная литература», — в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию»³.

Партийные публицисты и литераторы учились у В. И. Ленина находить слова и стиль, наиболее пригодные для воплощения идей научного социализма и пролетарской революции. В 1904 году в «Письме из Кутанса» И. В. Сталин писал: «Прочёл брошюру Галёрки «Долой бонапартизм». Ничего себе. Если бы он бил своим молотом сильнее и глубже, было бы лучше. Шутливый тон и просьба о пощаде лишают его удары силы и увесистости и портят впечатление у читателя. Тем более бросается в глаза этот недостаток, что автор, повидимому, хорошо понимает нашу позицию и прекрасно уясняет и развивает некоторые вопросы. Человек, стоящий на нашей позиции, должен говорить голосом твёрдым и непреклонным. В этом отношении Ленин — настоящий горный орёл»⁴.

Особенно настойчиво выступала партия за правдивость и реализм языка. Буржуазия, её политики и литераторы, заинтересованные в том, чтобы скрыть, замазать, исказить правду жизни, выработали и соот-

ветствующие способы лживого или уклончивого словесного выражения. По словам В. И. Ленина, буржуазия «боится прямо взглянуть на вещи и назвать их своим именем»¹. Совершенно другое отношение к правде жизни и её отражению в слове у рабочего класса и его партии. «Надо называть вещи своими именами. Надо разоблачать всяческие отговорки и отводы глаз, чтобы рабочая масса вполне ясно понимала суть дела»², — писал В. И. Ленин.

Именно поэтому партия всегда с такой непримиримостью боролась против «фразёрства» — звонкого, напыщенного пустословия, прикрывающего лживость или бедность содержания. «Нет ничего более противного духу марксизма, как фраза», — утверждал Ленин в 1911 году по поводу разгула «прямо-таки тартареновской фразы»³ в органе ликвидаторов «Наша Заря». Он призывал партию беспощадно «разоблачать фразерство и мистификацию, где бы они ни проявлялись, в «программах» ли революционных авантюристов, в блестящих ли их беллетристики, или в возвышенных предиках о правде-истине, об очистительном пламени, о кристальной чистоте и о многом прочем»⁴.

Таким образом, в дооктябрьский период партия активно выступала против порчи языка литературы буржуазными публицистами и декадентами, утверждала величие русского национального языка и языка классической литературы, заботилась о совершенствовании языка пролетарской печати и литературы.

Борьба партии против буржуазной литературы, за реализм и народность литературы, за литературу, которая была бы «частью общепролетарского дела»⁵ и служила не эксплуататорскому меньшинству, а трудящимся массам, была неразрывно связана с борьбой за народность, реализм, чистоту, богатство её языка. Программная статья В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» всесторонне определяла принципы пролетарской литературы.

Совершенно несомненно, что выступление В. И. Ленина и партийной печати по

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 328.

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 2, стр. 51.

³ В. И. Ленин. Сочинения, т. 10, стр. 28.

⁴ И. В. Сталин. Сочинения, т. 1, стр. 56.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 363.

² Там же, т. 11, стр. 405—406.

³ Там же, т. 17, стр. 358—359.

⁴ Там же, т. 7, стр. 25.

⁵ Там же, т. 10, стр. 27.

вопросам языка и, разумеется, самый стиль партийной публицистики оказали ещё в до-октябрьские годы влияние на русскую литературу. Под их воздействием развивался язык А. М. Горького, Д. Бедного, А. Серафимовича, революционной и демократической поэзии и прозы.

Известно, какое сильное влияние оказал В. И. Ленин на А. М. Горького. Оно распространялось и на язык писателя. В частности, В. И. Ленин в письме от 3 января 1911 года советовал Горькому не обольщаться такими словами, как «реализм, демократия, активность», ввиду того, что эти слова постоянно используются «буржуазными ловкачами» «от кадетов и эсеров у нас до Бриана или Мильерана здесь (во Франции.—А. Д.), Ллойда Джорджа в Англии и т. д.»¹. Также запомнилось Горькому, как В. И. Ленин в споре с Богдановым на Капри обвинял того в неясности языка и ссылался при этом на афоризм: «кто ясно мыслит — ясно излагает»².

Огромное впечатление произвела на Горького речь Ленина на V съезде партии в Лондоне. Вот что он писал об этом в своих воспоминаниях: «Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл... Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре — точно произведение классического искусства: всё есть, и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были — их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке»³.

Как представитель пролетарского искусства А. М. Горький ещё в дореволюционные годы вёл борьбу против натурализма и декадентства в языке литературы. Например, Д. Семёновский вспоминает, как Горький советовал молодым поэтам «выбросить из головы всю современную бутафорию и театральщину, все эти «дали», «эдемы», «фиалы», «дохлых Прекрасных дам» и прочую дребедень». Критикуя вычурный язык повести Айзмана «Кровавый разлив», Горький призывал «писать

лучше — т. е. спокойнее, проще, — сильнее, красивее». Он постоянно советовал изучать язык русской классической литературы и народного творчества. «В народном творчестве, — писал Горький в 1904 году В. И. Анучину, — сокрыты беспредельные богатства, добросовестный писатель должен ими овладеть. Только тут можно изучить родной язык...»

Очевидно влияние партийной печати на язык произведений Д. Бедного. Школа «Звезды» и «Правды», в которой сформировалось поэтическое дарование Д. Бедного, была не только школой большевистских идей, но и совершенного литературного языка. Сотрудник дооктябрьской «Правды» М. С. Ольминский вспоминал, что «Правда» уделяла много внимания литературному языку, вырабатывая «новый тип статей, не скучную популяризацию и не интеллигентщину». Приведя далее случаи, когда статьи, поступившие в редакцию, браковались за литературщину, за употребление иностранных слов без надобности и т. п., М. С. Ольминский заключал: «Уже в этом выражалась литературная политика партии»¹.

Практика работы в партийной печати и помогла Д. Бедному писать просто и выразительно, опираясь на богатства русского народного языка, языка Пушкина, Крылова, Некрасова, широко применяя политическую лексику большевистской публицистики.

2

Очень остро стали перед партией вопросы языка после Великой Октябрьской социалистической революции, в первые годы советской власти.

Революция пробудила к творческой активности миллионы трудящихся. Партия должна была направить массы рабочих и крестьян на путь строительства социализма, защиты отечества, приобщить их к сознательной хозяйственной, политической, культурной деятельности. Для этого надо было широко развернуть устную и печатную агитацию и пропаганду и добиться, чтобы их идейный уровень был высоким, а язык — доступным и ярким.

Вместе с тем это было время формирования советской печати и литературы. Литература стала достоянием народа. Круг

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 34, стр. 383.

² М. Горький. «В. И. Ленин». Собрание сочинений, т. 17, стр. 21.

³ Там же, стр. 13.

¹ «Правда», № 1, 5 марта 1917 года.

читателей необычайно расширился и с каждым днём увеличивался.

В этих условиях та забота о народности, ясности и популярности языка, которую партия проявляла ещё в дореволюционные годы, стала особенно актуальной и важной. О необходимости писать просто, в доступной народу форме говорилось и в решениях съездов партии, и в специальных указаниях Центрального Комитета партии, и в выступлениях и работах В. И. Ленина.

VIII съезд партии специально обсудил вопрос о партийной и советской печати и предложил партийным журналистам и литераторам писать «простым, понятным языком», «живо и популярно»¹.

В. И. Ленин требовал вести коммунистическую пропаганду на понятном для народа языке, разъяснять политику партии «конкретно, просто, ясно, для массы, для десятков миллионов»². Во время дискуссии о профсоюзах В. И. Ленин, разоблачая троцкистов и бухаринцев, решительно осудил и пущенные ими в ход искусственные, непонятные, запутывающие дело термины «производственная демократия» и «производственная атмосфера». Позднее, беспощадно разгромив вредную, схоластическую книжонку Бухарина «Экономика переходного периода», он высмеял и бухаринскую псевдоучёную «игру в дефиниции». «О, академизм! О, ложно-классицизм! О, Третьяковский!»³ — писал Ленин.

Пропаганду идей коммунизма в те годы особенно затрудняло засорение советской печати и литературы иностранными словами, непонятными для народа. В. И. Ленин (как известно, ещё до революции выступавший против злоупотребления иностранными терминами) обратил на это обстоятельство особое внимание. Мы имеем в виду знаменитую заметку «Об очистке русского языка», написанную Лениным, видимо, в 1919 или в 1920 году и опубликованную в декабре 1924 года в «Правде».

«Русский язык мы портим, — писал Владимир Ильич. — Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефек-

ты», когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?»

Ленин указывал далее, что употребление иностранных слов без надобности «затрудняет наше влияние на массу».

«Например, — писал В. И. Ленин, — употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово «boudier» (будэ) значит сердиться, дуться. Поэтому будировать значит на самом деле «сердиться», «дуться». Перенимать французски-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык.

Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?»¹

Как видим, употребление иностранных слов без надобности Ленин расценивал как пережиток «словоупотребления», свойственного русским помещикам. Выступая против засорения русского языка иностранными словами, В. И. Ленин боролся против порчи национального языка господствующими классами царской России, за чистоту общенародного русского языка.

Говоря о коверканье русского языка, В. И. Ленин имел в виду и некоторые речи на собраниях, и язык газет, нередко злоупотреблявших иностранными терминами, и тарбарский язык научных статей (вроде статьи А. Деборина «Диалектический материализм»), и те произведения художественной литературы, которые были засорены иностранными и книжными словечками и выражениями. «Литераторам простить этого нельзя»², — писал В. И. Ленин в заметке «Об очистке русского языка».

Большое внимание партия обратила на развитие агитации и пропаганды в братских республиках Советской России. В данном случае писать и говорить понятно и доступно означало прежде всего писать и говорить на родных для братских народов языках. Привлечь массы трудящихся братских республик к активному участию в социалистическом строительстве можно было, обращаясь к ним на родном языке.

До революции партия решительно выступала против русификаторской полити-

¹ Сборник «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. 1, стр. 454.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 30, стр. 333.

³ «Ленинский сборник», XI, стр. 385.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 30, стр. 274.

² Там же.

ки царизма, запрещавшего различным народам России говорить, писать, учиться на родном языке.

После Октябрьской революции советская власть сразу предоставила угнетённым при царизме народам возможность развивать школу, печать, литературу, искусство, науку на родном, понятном для них языке. X съезд партии в резолюции «Об очередных задачах партии в национальном вопросе» указал, что одна из задач партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам невеликорусских народов «развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные учреждения на родном языке»¹.

Партия решительно боролась против всяких пережитков великорусского шовинизма в вопросах языка. «У нас,— говорил В. И. Ленин на VIII съезде партии,— есть, например, в Комиссариате просвещения или около него коммунисты, которые говорят: единая школа, поэтому не смейте учить на другом языке, кроме русского! По-моему такой коммунист, это — великорусский шовинист. Он сидит во многих из нас и с ним надо бороться»².

Свободное развитие языков братских народов Советского государства явилось одним из важнейших условий роста советской литературы в братских республиках — литературы социалистической по содержанию, национальной по форме.

Указания партии на необходимость вести пропаганду, писать на простом и понятном для широких народных масс языке имели огромное значение для молодой советской литературы. Они были неразрывно связаны с борьбой партии за коммунистическую идейность советской литературы, за новый метод и стиль художественного творчества. При этом следует вспомнить, что советская литература выростала в ожесточённой борьбе с враждебными направлениями, пытавшимися использовать язык в своих интересах.

Многие представители буржуазно-дворянской литературы из лагеря «внутренней эмиграции», полные бессильной ненависти к революции и победившему народу,

со злобой относились и к языку народных масс. Они издевались над теми изменениями, которые произошли в русском языке в результате революции, и прилагали все усилия к тому, чтобы сохранить и реставрировать тот условный антинародный, псевдолитературный жаргон, который они выработали в своих кружках. Реакционный журналчик «Вестник литературы» утверждал, например, что через пролетарскую литературу «просачивается вульгаризация языка».

Язык произведений буржуазных писателей изобилует книжными выражениями, мёртвыми, отжившими словами, иностранными терминами. Пережитки декадентского литературного жаргона сказывались и в творчестве некоторых писателей, перешедших на сторону революции, например, В. Брюсова. Демьян Бедный в стихотворении «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» справедливо упрекал Брюсова за то, что тот продолжал в своих стихах злоупотреблять непонятными советским читателям именами и образами: Альдебаран, Мвутанг, Эос, Медея и другие.

...Вот я махнул в такие «дали»,

Что... разучился уж по-русски говорить,—

иронически характеризовал Д. Бедный стихи Брюсова.

Декадентам — образам и стилю их поэзии — подражали и многие поэты-пролеткультовцы, мнившие себя творцами нового искусства, а на деле являвшиеся эпигонами символизма.

Политика партии в области литературы и искусства способствовала борьбе с влияниями символизма, акмеизма и других буржуазных течений. Взгляды партии на язык печати и литературы помогли советским писателям разоблачить отмирающий антинародный литературный стиль и жаргон декадентов и выработать стиль, отвечающий запросам советского народа.

Партия помогла советским писателям покончить и с довольно распространёнными тогда псевдоноваторскими попытками некоторых литературных группировок ликвидировать существующий русский литературный язык и заменить его «новым».

В свете марксистско-ленинской теории языкознания совершенно очевидна нелепость и абсурдность попыток осуществить переворот в языке, не считаясь с объективными законами его развития.

¹ Сборник «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. 1, стр. 559.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 19, стр. 172—173.

К группировкам, пытавшимся ликвидировать существующий язык, принадлежали прежде всего футуристы. После Октября они начали оправдывать своё нигилистическое отношение к языку классической литературы и свои старые декадентские идеи... революцией. Дескать, революция, разрушившая старый строй, должна разрушить и старый язык. Поэтому футуристы стали с удвоенной энергией рекламировать заумь Хлебникова, беззастенчиво уродовать и коверкать общенародный русский язык.

С футуристами смыкались пролеткультовцы. Упростили и вульгаризаторы марксизма, они тоже с пренебрежением относились к классической литературе, тоже утверждали, что язык классиков является якобы «дворянским» и «буржуазным» языком, тоже стремились создать новый язык. «Если футуризм выдвинул проблему «словотворчества», то пролетариат неизбежно её тоже выдвинет,— говорилось в одной из программных статей пролеткультовского журнала «Пролетарская культура»,— но самое слово он будет реформировать не грамматически, а он рискнёт, так сказать, на технизацию слова... Мы не предпроемаем формы технизирования слова, но ясно, что это будет не только звуковым усилением, оно будет постепенно отделяться от живого его носителя — человека».

До полного абсурда довели псевдоноваторское коверканье языка имажинисты — одна из самых крикливых и самых шарлатанских группировок. Перепевая итальянского футуриста Маринетти, они призывали «разбить кандалы грамматики, оковы склонений, спряжений, цепи синтаксической согласованности», утверждали, что самое естественное положение слова — «слово вверх ногами», требовали: «долой глагол, долой предлоги».

Партия подвергла беспощадной критике Пролеткульт и решительно осудила фокусничанье футуристов и других последышей буржуазного искусства. В опубликованном 1 декабря 1920 года в «Правде» письме ЦК РКП(б) о Пролеткультах говорилось, что в Пролеткультах стали заправлять делами «футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму идеалистической философии и, наконец, просто неудачники, выходцы из рядов буржуазной публицистики и философии», что под видом пролетар-

ской культуры они преподносили рабочим «буржуазные взгляды в философии (матризм), а в области искусства прививали нелепые извращённые вкусы (футуризм)».

В 1919 году на Всероссийском съезде по внешкольному образованию В. И. Ленин решительно выступил против того, чтобы «...самое нелепейшее кривляние выдавалось за нечто новое, и под видом чисто пролетарского искусства и пролетарской культуры преподносилось нечто сверхъестественное и несуразное»¹.

В. И. Ленин считал нелепыми и попытки пролеткультовцев создать «новый пролетарский язык». В этом отношении очень важны его пометки на статье пролеткультовца В. Плетнёва «На идеологическом фронте». Плетнёв писал: «Бешеная стремительность революции уже сейчас вносит в наш язык новое содержание, ломая его «благородные» классические формы. Наш лексикон, подчиняясь темпу жизни, становится телеграфно-чётким, отрывистым, сгущающим содержание слова до колоссальных размеров. Переведите-ка на старый «благородный» русский язык Обломова пару слов: «электрификация» и «радиоактивность»...»

Ленин поставил знак вопроса прогив этого места статьи и подчеркнул вызывающие возражения слова: «телеграфно-чётким, отрывистым, сгущающим содержание», «язык Обломова»².

«Ну, зачем печатать глупости под видом важничающего всеми учеными и модными словами фельетона Плетнева? — писал В. И. Ленин.— Отметил 2 глупости и поставил ряд знаков вопроса. Учиться надо автору не «пролетарской» науке, а просто учиться... Ведь это же фальсификация исторического материализма! Игра в исторический материализм!»³.

Что же касается футуристической и имажинистской зауми, то, судя по воспоминаниям товарищей, работавших с В. И. Лениным, всякие «заумные» слова, словечки и выражения отталкивали его своей антихудожественностью и бессмысленностью.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 308.

² «Ленин о культуре и искусстве». Изогиз, 1938, стр. 289.

³ В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 473.

О том, как возмущало Ленина псевдонаторское коверканье русского языка, свидетельствует и его отрицательное отношение к ряду сложносокращённых слов, получивших после революции довольно широкое распространение и проникших в художественную литературу. На VIII съезде партии В. И. Ленин сказал, что к «уродливому слову «совнархоз» мы сами еще не сумели привыкнуть, с иностранцами же, говорят, бывают случаи, когда они ищут в справочнике, нет ли такой станции»¹. Высмеивал В. И. Ленин и другие сокращённые словечки, искажающие и засоряющие русский язык, который «так хвалил Тургенев»².

Язык классической русской литературы, богатства русского национального языка постоянно пропагандировались партией. Широко известны, например, настойчивые указания В. И. Ленина на необходимость издания словаря современного русского языка. В письме к А. В. Луначарскому от 18 января 1920 года Владимир Ильич предложил советским учёным «создать словарь настоящего русского языка»³. После этого Ленин несколько раз запрашивал Наркомпрос, как обстоит дело с изданием словаря русского языка («от Пушкина до Горького»). Образцового, современного. По новому правописанию»⁴.

Предостерегая против злоупотребления малообразумительными и непонятными неологизмами, Ленин показывал пример любовного отношения к русскому языку и умелого употребления его неисчерпаемого словаря. Известно, например, что в те годы он тщательно изучал словарь Даля, интересовался приведёнными там поговорками и пословицами и высказывал восхищение

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 166.

² Там же, т. 33, стр. 244—245. Заметим кстати, что и в первые годы революции и позднее находились защитники (в том числе и среди писателей) непонятных и уродливых сокращённых слов. В 1924 году Н. Огнев писал: «В школе второй ступени, где я преподаю, такие сокращения, как Алмакзай (Александр Максимович Зайцев) или Пепа (Пётр Павлович), давно завоевали себе право гражданства... И это вовсе не уродование языка, как думают иные; это — стихийный процесс словотворчества, который куда как важнее наших измышлений. Язык стремится к сокращению, язык американизируется, и это вовсе не плохо. это — рост...»

³ Там же, т. 35, стр. 369.

⁴ Там же, стр. 421.

разнообразием эпитетов и богатством образных выражений русского языка.

В. И. Ленин выступал против псевдонаторского коверканья национального языка и гордился тем, что многие русские слова, рождённые революцией, распространились по всему свету. Ленин не раз отмечал, что «везде в мире слово «Совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся»¹. «Слово «большевик» и слово «Совет» повторяется теперь на всех языках мира»², — писал он.

Сильное влияние на советскую литературу, на повышение её идейного уровня, на развитие её языка и стиля оказала борьба партии против «революционного» фразёрства, представлявшего в те годы большую опасность для дела революции. Известно, как широко использовали революционную фразу в своей борьбе против партии и Советского государства такие враги советского народа, как эсеры, анархисты, троцкисты, «левые коммунисты». Чтобы разгромить всех этих контрреволюционеров, надо было разоблачить и их демагогическую спекуляцию революционными лозунгами, революционной фразой.

Ещё перед Октябрём В. И. Ленин обрушился на эсеровскую газету «Дело народа» за её «грозный тон, эффектные революционные восклицания», фразёрствование «под якобинца». «Конечно, — иронизировал Ленин, — если слова: Революция и Восстание писать с большой буквы, то это «ужасно» страшно выходит, совсем как у якобинцев. И дешево и сердито»³.

После Октября В. И. Ленин неоднократно выступает против демагогического фразёрства, прикрывающего контрреволюционную сущность, и даже посвятил этой задаче специальную работу «О революционной фразе». Он нанёс сокрушительный удар троцкистам, «левым коммунистам» и другим врагам партии и советского народа. «Лозунги превосходные, увлекательные, опьяняющие, — почвы под ними нет, — вот суть революционной фразы»⁴, — писал Ленин.

Партия боролась и с проявлениями буржуазно-интеллигентского фразистого под-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 224.

² Там же, стр. 345.

³ Там же, т. 24, стр. 507.

⁴ Там же, т. 27, стр. 1.

хода к делу в различных областях социалистического строительства. В 1919 году И. В. Сталин, сообщая В. И. Ленину о серьёзнейших недостатках в работе пермских партийно-советских органов, писал: «...пермская и вятская партийно-советская печать не отличается ни умелой постановкой работы, ни пониманием очередных задач Советской власти (ничего, кроме пустых фраз о «мировой социальной» революции, не найдёте в ней...)»¹. Пустое фразёрство было недостатком не только пермско-вятской печати. Ко всем советским журналистам и литераторам обращался В. И. Ленин в известной статье «О характере наших газет», призывая их бороться с политической трескотнёй и интеллигентскими рассуждениями².

Проникла «революционная» фраза и в художественную литературу. Такие литературные группировки, как футуристы, пролеткультовцы и другие, старались как можно громче рекламировать свою «революционность», маскируя чуждые пролетариату идеи звонкими фразами. Футуристы вопили о «Революции Духа», о необходимости «взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые художественные формы», пролеткультовцы громко кричали о революции не только на земле, но и в космосе, о пришествии «железного мессии» — пролетариата, о «машинизме» и «планетарности» пролетарской литературы. В высокопарных абстрактных стихах пролеткультовцы воспевали «Завод», «Железо», «Труд», «Пролетариат» с большой буквы, в космическом масштабе. Их не интересовала реальная, повседневная жизнь и борьба пролетариата, защищавшего отечество на фронтах гражданской войны, строящего социализм. Пышные риторические абстракции пролеткультовцев были как нельзя более далеки от действительности.

Борьба партии с революционным фразёрством помогла советской литературе покончить с футуризмом и пролеткультовщиной, с их звонкой, абстрактной, псевдореволюционной риторикой и направила её на изображение реальной жизни советского народа правдивым, простым художественным словом.

«Швыряться звонкими фразами — свойство деклассированной мелкобуржуазной интеллигенции»¹, — писал В. И. Ленин. Разоблачая беспочвенную, оторванную от действительности декламацию, звонкие фразы, В. И. Ленин требовал от партийных работников, журналистов, литераторов внимания к простым, будничным делам, правдивых, основанных на знании жизни слов. «Поменьше пышных фраз, побольше простого, будничного, дела... — писал он в работе «Великий почин». — Поменьше политической трескотни, побольше внимания самым простым, но живым, из жизни взятым, жизнью проверенным фактам коммунистического строительства — этот лозунг надо неустанно повторять всем нам, нашим писателям, агитаторам, пропагандистам, организаторам и так далее»².

С таким же советом наблюдать внизу — в армии, в деревне, на фабрике, — как рабочие и крестьяне строят новую жизнь, обратился тогда В. И. Ленин и непосредственно к А. М. Горькому³.

Характерно, что В. И. Ленин не отделяет задач писателей от задач агитаторов, пропагандистов, организаторов. И те и другие должны не уместовывать, не увлекаться красивыми и громкими фразами, а тщательнее изучать и глубже осмысливать реальные явления действительности. Именно поэтому партия, враждебно относясь к звонкому, пустому фразёрству в печати и литературе, поддерживала простое, понятное массам, правдивое, основанное на изучении жизни художественное слово.

В этом отношении очень важна и статья В. И. Ленина о книге А. Тодорского «Год — с винтовкой и плугом», безыскусственно, без всяких красот слога и пышных фраз рассказывающей о строительстве советской власти в Весьегонском уезде. В. И. Ленин назвал эту книгу Тодорского «замечательной». «Описание хода революции в захолустном уезде вышло у автора такое простое и вместе с тем такое живое, что пересказывать его значило бы только ослаблять впечатление»⁴, — писал он.

После Октябрьской революции роль партии в развитии литературы и литературного

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 4, стр. 215—216.

² См. В. И. Ленин. Сочинения, т. 28, стр. 30.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 298.

² Там же, т. 29, стр. 395, 386.

³ См. В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 347—350.

⁴ В. И. Ленин. Сочинения, т. 28, стр. 363.

языка неизмеримо выросла. В первые годы советской власти под влиянием партии развивалось творчество зачинателей советской литературы — Горького, Маяковского, Д. Бедного, Серафимовича, формировались эстетические принципы Шолохова, Фадеева, Фурманова, Н. Островского и других советских писателей, выступивших в литературе после гражданской войны.

Наглядным примером может служить идейно-художественное становление Маяковского. Влияние партии на развитие языка и стиля поэзии Маяковского и его взглядов на литературный язык огромно.

Как известно, в творчестве Маяковского первых лет революции, при всём его значении, довольно явственно сказывались пережитки футуристического формализма и псевдоноваторства. Это относится и к языку поэзии Маяковского. В. И. Ленин, по словам А. М. Горького, не одобрял Маяковского за то, что тот «выдумывает какие-то кривые слова»¹.

Под воздействием партии Маяковский постепенно освобождался от футуристической усложнённости в языке поэзии, от нигилистического отношения к языку классической литературы и словесных экспериментов. Язык его стихов становится всё более простым и понятным, поэт ориентируется на разговорную народную речь, на язык большевистской публицистики. Известно, например, что о плакатах РОСТА поэт говорил, что это была работа «большого словесного значения, работа, очищающая наш язык от поэтической шелухи на темах, не допускающих многословия».

Партия способствовала распространению в народе общественно-политической лексики, таких понятий и слов, как «социализм», «пролетариат», «комиссар», «агитатор» и т. д. Маяковский и здесь шёл по пути, указанному партией. Он уже в годы гражданской войны издевался над оторванным от жизни, условным поэтическим жаргоном декадентов и вводил в поэзию политические призывы, слова и выражения общественно-политического характера, распространившиеся и укрепившиеся в языке народа после революции. Ещё в 1918 году поэт иронизировал над такими выражениями, как «царица свобода», и возмущался

тем, что «количество слов «поэтических» ничтожно. Соловей — можно, «фсрсунка» — нельзя»¹.

И позднее — в двадцатые годы — Маяковский активно выступал против пережитков мёртвого, пустого салонного литературного жаргона, против обособленного от языка народа «расслабленного интеллигентского язычишка с его выхолощенными словами». Одна из главных задач советских поэтов, по мнению Маяковского, заключается в том, чтобы широко ввести в поэзию говор «миллионов», «язык масс».

В статье 1923 года «С неба на землю», посвящённой вопросам языка печати и литературы, Маяковский прямо ссылался на советы В. И. Ленина и М. И. Калинина писать просто и кратко. На основе этих советов Маяковский и подверг в своей статье уничтожающей критике пережитки декадентского туманного и невнятного литературного жаргона. «Открываешь какой-нибудь журнал, — писал он, — сплошь испещрён стихами: тут и «жемчужные зубки», и «хитоны», и «Парфенон», и «грёзы», и чёрт его знает, чего тут только нет».

Маяковский выступил в своей статье и против непонятных штампованных фраз: «проходит красной нитью», «достигло апогея», «дошло до кульминационного пункта», «потерпела фиаско» и т. д. и т. д. до бесконечности». Известно, что поэт высмеял эти фразы и в стихотворении «О «фиасках», «апогеях» и других неведомых вещах».

Маяковский гордился великим русским языком — языком Ленина; в его поэзии засияло «величайшее слово партия» и многие другие слова и понятия, вошедшие в язык народа после революции.

Пролетариат —
неуклюже и узко
тому,
кому
коммунизм — западня.

¹ Выступления в те годы против условного поэтического жаргона, за обогащение языка революционной поэзии были весьма актуальны. Достаточно напомнить, что злобствующий акмеист Оцуп даже в 1921 году продолжал кликушествовать, что Блок якобы только случайно мог сказать в поэме «Двенадцать» о «буржуе» и «Учредительном собрании», что поэзия не должна употреблять таких выражений, как «кто не работает, тот не ест» и т. п.

¹ М. Горький. Собрание сочинений, т. 17, стр. 45.

Для нас
это слово —
могучая музыка,
могущая
мёртвых
сражаться поднять.

3

За годы советской власти словарный состав русского языка пополнился значительным количеством новых слов и выражений, возникших в связи с появлением нового, Советского государства, новой культуры, развитием социалистического производства. Смысл ряда слов и выражений изменился, получил новое значение.

«Народ-языкотворец», повсеместно привлечённый революцией к активной общественной и культурной деятельности, обогатил русский язык. Некоторые из новых слов и выражений, прочно вошедших в национальный язык, были взяты из местных диалектов или из круга профессиональных слов и выражений, некоторые были образованы посредством сокращения сложных выражений, некоторые были созданы вновь. Этот довольно интенсивный процесс изменений в языке, разумеется, не был гладким, прямолинейным и протекал не без осложнений. В литературный и разговорный язык иногда проникали разные местные и жаргонные словечки и выражения, которые не обладали должной точностью, ясностью, выразительностью.

В период значительных изменений в языке особо ответственна роль писателей. Обогащая и развивая язык литературы, отбирая для этого лучшие достижения современного народного языка, они призваны в то же время охранять национальный язык от порчи, отсеивать всякий «словесный хлам» — разного рода узкоместные, иностранные и жаргонные словечки и обороты. В двадцатые годы так и делали лучшие советские писатели.

Но было тогда немало литераторов, которые, вместо того чтобы способствовать совершенствованию русского языка, засоряли литературу всякого рода языковым мусором. Иные (молодые, только что пришедшие в литературу писатели) делали это по неопытности¹, другие — под влияни-

¹ «Мы все пришли в литературу из областей, в которых выросли, привыкли к областному говору. И в наших первых произведениях было много слов, не являющихся общепонятными», — говорил А. Фадеев.

ем чуждых «теорий». Обычно все эти литераторы, как ранее футуристы и пролеткультовцы, ссылались на возникшую якобы необходимость «освежить» и «обновить», «демократизировать» и «революционизировать» русский литературный язык.

Некоторые из писателей пытались «демократизировать» и «перестроить» русский литературный язык, опираясь на отмирающие местные диалекты, которые они выдавали за особый «крестьянский язык». В журнале «Печать и революция» даже в 1926 году утверждалось, что советские писатели должны «создать новую поэтику, новый литературный жанр на почве диалекта».

Другие писатели в своих попытках «обновить» язык литературы ссылались на несуществующий «рабочий язык», «комсомольский язык» и т. п. На практике это приводило к засорению национального литературного языка всевозможными исковерканными и жаргонными словечками и выражениями. Примеры не нужны — достаточно вспомнить «Комсомольские рассказы» М. Колосова (1926) или некоторые страницы первых изданий «Цемент» Ф. Гладкова.

Весьма отрицательную роль сыграли в развитии языка советской литературы такие литературные группировки двадцатых годов, как «Серапионовы братья», левовцы и конструктивисты, РАПП и другие. Как известно, некоторые из этих группировок своим возникновением были обязаны оживлению капиталистических элементов в стране в связи с нэпом.

«Серапионовы братья» культивировали всякие литературные фокусы, преклонялись перед уродливыми стилизациями Ремизова и Замятина. Левовцы твердили зады футуризма. Конструктивисты оправдывали обращение писателей к жаргону теоретическими измышлениями о «локальной семантике» и пренебрежительно относились к русскому языку. Рапповцы вульгаризировали и упрощали марксизм и в области языка. Подобно пролеткультовцам, они кричали о необходимости заменить «буржуазный» язык «пролетарским», наивно полагая, что могут отменить объективные законы развития языка.

Вредное влияние оказывали тогда на развитие языка советской литературы и разные псевдонаучные теории, исходившие из

«Опояза» (общество по изучению поэтического языка). Опоязовцы (Шкловский, Жирмунский, Эйхенбаум и другие) противопоставляли «язык практический» и «язык поэтический», утверждая, что каждый из них якобы подчинён своим законам. Они отрывали язык от мышления и действительности, культивировали эстетское формалистическое обыгрывание языка и всякие уклонения от норм общенародного языка, превозносили орнаментальную, стилизованную прозу, символизм и футуризм в поэзии.

Со второй половины двадцатых годов среди некоторой части литературоведов, критиков и писателей стало распространяться и «новое учение о языке» Н. Я. Марра. Учение Марра и его последователей о классовом и надстроечном характере языка, марровская теория стадияльного развития языка подкрепили измышления пролеткультовцев, рапповцев и других вульгаризаторов марксизма.

На почве чуждых влияний и возникли в двадцатые годы такие явления, как засорение произведений некоторых писателей диалектизмами, иностранными словами, воровским жаргоном, как грубый, ломаный обывательский «сказ», чрезмерная архаизация языка исторического романа, словесные выкрутасы в поэзии.

Всевозможные путаные и вредные представления о языке литературы оказывали в двадцатые годы воздействие даже на писателей, которые в своём развитии уже тогда шли от языка классической литературы и лучших достижений национального русского языка. Так, А. Фадеев, характеризуя впоследствии свою первую повесть «Разлив» (1923), писал в статье «Мой опыт рабочему автору»: «В литературе имело место тогда сильное влияние школы «имажинистов». Важнейшей задачей художественного творчества «имажинисты» считали изобретение необычайных сравнений, употребление необыкновенных эпитетов, метафор. Под их влиянием и я старался выдумать что-нибудь такое «сверхъестественное». В первой повести и получилось много ложных образов, фальшивых, таких, о каких мне стыдно сейчас вспоминать».

«Имажинисты», о которых вспоминает Фадеев, были далеко не единственными пропагандистами вычурного, манерного, «сверхъестественного» стиля. В той же

статье Фадеев вспоминал: «В тот период развития литературы (1922—1923 гг.) была в моде так называемая «рубленая проза». Многие пишущие говорили: «Произведение будет динамическим, если писать короткими фразами в три-четыре слова»... Писать «рубленой прозой» я в тот период своей литературной работы считал для себя в известной мере обязательным».

Нечто подобное произошло в те годы и с К. Фединым. «Попав,— по его словам,— в самое пекло тогдашней молодой литературы», он тоже заразился «литературной корью», что и сказалось в его первой книге — «Пустырь» (1923). «По первой моей книге,— писал позднее Федин,— легко судить, как протекала болезнь,— жар любви к образной речи, ритмический озноб, лёгкий бред сказом»¹.

Руководя советской печатью, добиваясь завоевания пролетариатом позиций в области художественной литературы, борясь за утверждение в советской литературе метода социалистического реализма, партия в двадцатые годы попрежнему обращала большое внимание на вопросы языка. Достаточно сослаться на резолюцию XIII съезда партии «О печати», на опубликование в декабре 1924 года программной заметки В. И. Ленина «Об очистке русского языка». Партия продолжала бороться за чистоту и богатство национального литературного языка. Она выступила против усилившихся в первые годы нэпа буржуазных влияний на язык литературы, против засорения языка литературы чуждыми элементами.

«Необходимо усилить связь печати с массами, приблизить её к ним...» — указывалось в резолюции XIII съезда партии «О печати». Отсюда съезд делал вывод и относительно языка печати, подчеркнув, что нужно «умелое сочетание максимума популярности и яркости изложения с серьёзностью и обстоятельностью содержания»². Особое внимание съезд обратил «на необходимость создания массовой художественной литературы для рабочих, крестьян и красноармейцев»³.

¹ Аналогичную историю рассказал и Ф. Гладков. Об этом см. в книге А. Тарасенкова «О советской литературе». «Советский писатель», М. 1952, стр. 223—224.

² Сборник «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. 1, стр. 864.

³ Там же, стр. 870.

Задача создания литературы, рассчитанной на массового читателя и понятной ему, выдвигалась и в известной резолюции ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы». В ней говорилось: «Партия должна подчеркнуть необходимость создания художественной литературы, рассчитанной на действительно массового читателя, рабочего и крестьянского; нужно смелее и решительнее порывать с предвзвешенными барьерами в литературе, и, используя все технические достижения старого мастерства, вырабатывать соответствующую форму, понятную миллионам»¹.

«Замечательно удачное изложение труднейших и важнейших вопросов» В. И. Ленин в 1922 году отметил в книге И. И. Скворцова-Степанова об электрификации РСФСР. «Автор прекрасно сделал,— писал В. И. Ленин,— что решил писать книгу не для интеллигентов (как у нас принято писать книги, подражая худшим манерам буржуазных писателей), а для трудящихся, для настоящей массы народа, для рядовых рабочих и крестьян»². За «простой и правдивый рассказ» И. В. Сталин в 1929 году похвалил книжку Е. Микულიной «Соревнование масс», отдав ей предпочтение перед многочисленными статьями «о философии соревнования», «о корнях соревнования» и т. п.³

Партия беспощадно разоблачала фальшивые словесные хитросплетения, прикрывавшие клевету на советский народ, лживые «оракульские изречения» и «галмудизированные абстракции» троцкистов, бухаринцев и разных литературных подпевал этих злейших врагов народа и требовала от печати и литературы правдивого изображения жизни, правдивого слова. «Не дай бог, если мы заразимся болезнью боязни правды,— говорил И. В. Сталин в 1929 году.— Большевики тем, между прочим, и отличаются от всякой другой партии, что они не боятся правды, не боятся взглянуть правде в глаза, как бы она ни была горька»⁴.

Резко осуждала партия всякого рода рекламные «художественные» упражнения,

дешёвые литературные сенсации, рассчитанные на обывателя. Кое-кто пытался выдать подобного рода произведение за проявление большевистской самокритики. И. В. Сталин дал жестокий отпор такому опознанию лозунга самокритики:

«Критикуйте недостатки нашего строительства, но не опешлите лозунг самокритики и не превращайте его в орудие рекламных упражнений на тему: «Бандиты двухспальной кровати», «Выстрел, который не раздался» и т. п.

Критикуйте недостатки нашего строительства, но не дискредитируйте лозунг самокритики и не превращайте его в кухню для изготовления дешёвых сенсаций»¹.

Отрицательно относилась партийная печать к засорению литературы местными диалектизмами. Она решительно отвергала мнение о том, что язык классической литературы якобы обветшал и его надо заменить более «демократическим» «крестьянским языком». Ещё в письме Луначарскому от 18 января 1920 года В. И. Ленин, называя словарь В. И. Даля «великолепной вещью», отмечал в то же время, что «ведь это областной словарь и устарел», и предлагал создать словарь слов, «употребляемых теперь и классиками, от Пушкина до Горького»². Позиция Ленина очевидна: словарю областнических слов он предпочитает словарь национального литературного языка, созданный русским народом и обработанный классиками.

Вредной была позиция тех литераторов и работников печати, которые псевдонародное коверканье языка и наводнение его местными словечками пытались оправдать ссылками на необходимость писать для крестьян на каком-то особом языке. Резолюция XIII съезда партии «О печати» подчёркивала, что одним из необходимых качеств массовой крестьянской газеты является «доступное крестьянству изложение, без фальшивого опрошения и ненужной вульгаризации»³.

Очень важные мысли по поводу так называемого «крестьянского языка» и языка

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 11, стр. 137.

¹ «Правда», 1 июля 1925 года.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 217.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 369.

³ И. В. Сталин. Сочинения, т. 12, стр. 111.

³ Сборник «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. 1, стр. 866.

⁴ Там же, стр. 9.

для крестьян высказал один из выдающихся деятелей большевистской партии М. И. Калинин. Замечательный, опытнейший мастер пропаганды и агитации, великолепный знаток русского языка, М. И. Калинин оставил очень много высказываний по вопросам языка, которые должны быть известны каждому агитатору, журналисту, писателю.

«Иной говорит, что для крестьянина нужен особый язык, слащавый, приторный. Это сказки, — утверждал М. И. Калинин в одном из выступлений в 1924 году. — Крестьянин любит самый обыкновенный, хороший, нормальный русский язык... Крестьяне так же говорят по-русски, как и все прочие».

Как видим, М. И. Калинин решительно отрицает существование особого «крестьянского языка», отличного от русского общенародного языка. В дальнейшем изложении Калинин до конца поясняет свои мысли. «Прочтите самых лучших русских классиков, — говорит он. — Возьмём Пушкина. Казалось, это — писатель, который писал от «верхушек». Или Тургенев. Прочтите его «Записки охотника» или любой из его романов. Вы увидите, как прост его язык и как понятен; прочтите такой рассказ простой, деревенской бабе, и она его великолепно поймёт»¹.

Таким образом, критикуя литераторов, которые разлагольствовали об особом «крестьянском языке» и на этом основании пренебрежительно относились к языку писателей-классиков, наводняли советскую литературу местными словечками и речениями, М. И. Калинин утверждает, что «дворянский» (якобы) язык Пушкина и Тургенева доступнее и понятнее крестьянам, чем фальшивый язык писателей, подделывающихся под выдуманную «крестьянскую речь».

По словам М. И. Калинина, вульгарная, псевдокрестьянская литература «как бы молчаливо подразумевает в крестьянине человека с примитивными, более упрощёнными умственными способностями, для которого должен быть особый более упрощённый язык».

Отвергая всё отсталое, ограниченное в народной речи, партия учила отбирать всё живое, выразительное и меткое. На краткие и меткие выражения рабочих ссылал-

ся И. В. Сталин на XV съезде партии¹. И на XVI съезде, характеризуя подрывную политику троцкистов и бухаринцев, он обратился к словам рабочих: «Недаром говорят у нас рабочие: «пойдѣшь «налево» — придѣшь направо»².

Выступая против засорения языка местными диалектами и жаргонами, против «теории» и практики языковой «революции» и «рабочего» или «крестьянского языка», партия высоко ценила национальный русский язык, язык классиков русской литературы, язык произведений и выступлений В. И. Ленина и И. В. Сталина.

К произведениям В. И. Ленина и И. В. Сталина, являющимся образцами русского литературного языка, постоянно обращались и обращаются советские писатели. «Хорошо было бы упростить стиль статей в «Комсомольской правде», обязать сотрудников писать по-простому, короткими фразами, по возможности без иностранных терминов, так, как умел это делать Ильич»³, — писали в 1925 году товарищи И. Сталин, В. Молотов, А. Андреев членам редакции «Комсомольской правды». «Учитесь знанию языка, работайте над языком, как Ленин и Сталин»⁴, — советовал М. И. Калинин работникам печати.

Яркая характеристика литературного стиля и языка В. И. Ленина была дана И. В. Сталиным в 1924 году в его речи «О Ленине». «Только Ленин умел писать о самых запутанных вещах так просто и ясно, сжато и смело, — когда каждая фраза не говорит, а стреляет»⁵, — говорил И. В. Сталин. В той же речи он характеризовал и выступления В. И. Ленина перед аудиторией: «Необычайная сила убеждения, простота и ясность аргументации, короткие и всем понятные фразы, отсутствие рисовки, отсутствие головокружительных жестов и эффектных фраз, бьющих на впечатление, — всё это выгодно отличало речи Ленина от речей обычных «парламентских ораторов»⁶.

¹ См. И. В. Сталин. Сочинения, т. 10, стр. 337.

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 12, стр. 309.

³ Там же, т. 7, стр. 155.

⁴ М. И. Калинин. Речь на вечере печати в Доме союзов 5 мая 1933 года. «Правда», 6 мая 1933 года.

⁵ И. В. Сталин. Сочинения, т. 6, стр. 53.

⁶ Там же, стр. 55.

¹ Сборник «М. И. Калинин о литературе». Лениздат, 1949, стр. 61—62.

Указания партии, выступления В. И. Ленина, И. В. Сталина и их соратников по вопросам языка печати и литературы оказали благотворное влияние на развитие советской литературы двадцатых годов. Но следует ещё раз напомнить, что в то время ряд литераторов высказывал путаные, а кое-кто и прямо враждебные взгляды на литературный язык. Об этом свидетельствуют, например, некоторые отклики на заметку М. С. Ольминского «Порча языка», напечатанную в 1929 году в газете «Комсомольская правда». В своей заметке Ольминский повторял и развивал некоторые ленинские мысли о языке печати и литературы, то есть протестовал против употребления иностранных слов без надобности, против нелепых сокращений, вроде «Варнитсо» или «Раннион», против воскрешения местных говоров. Ольминский жаловался, что художественные произведения нередко пишутся не на русском языке, а на жаргонах, что некоторые «пролетарские беллетристы» забыли «о существовании единого русского языка». «Пора заняться вопросом, какие изменения языка целесообразны и какие являются хламом», — писал Ольминский.

На статью откликнулись и читатели и писатели. Вылазка футуриста Третьякова, позднее разоблачённого врага советского народа, была нагло направлена против выступлений партии по вопросам языка. Он в издевательском тоне говорил о языке классической литературы, врал, что в портовых жаргонах якобы «выковывается» международный язык, толкал писателей на путь «усыновления» иностранных слов и жаргонизации языка.

К сожалению, некоторые другие писатели, хотя и были далеки от вражеских космополитических измышлений Третьякова, всё же не обнаружили правильного понимания вопроса. И. Сельвинский не нашёл ничего лучшего, как перепечатать отрывок из «Пушторга», в котором иронизировал над «цветочками руссизма», утверждал, что стоит «за вырыв корней, за помесь французского с нижегородским», что писателям надо «держаться бы курс на новый язык латинизированного разноречья».

Однако большая часть советских писателей тех лет активно поддерживала выступления партии по вопросам языка. В частности, против вылазки Третьякова и заблуждений Сельвинского очень резко

выступил тогда К. Федин в напечатанной в журнале «Звезда» статье «Фельетон о языке и критике».

Во главе писателей, проводивших правильную линию в вопросах языка и реализующих её в своём творчестве, стоял А. М. Горький. Он неоднократно призывал писателей учиться языку у В. И. Ленина. «Нет ничего такого, что нельзя было бы уложить в простые ясные слова. В. И. Ленин неопровержимо доказал это», — писал Горький в 1930 году. Несколько позднее Горький снова указывает на простоту и ясность языка В. И. Ленина: «Настоящая мудрость всегда выражается очень просто — Владимир Ильич Ленин яркое свидетельство этого. Чем проще язык, чем образнее язык, тем лучше вы будете поняты». Во время дискуссии о языке в тридцатых годах Горький считал необходимым напомнить писателям о ленинском отношении к языку. «Нам нужно вспомнить, как относился к языку Владимир Ильич», — писал он.

Решительно возражал Горький против обособления литературного языка от живой речи народа. «Уместно будет напомнить, — писал он в 1928 году в статье «О том, как я учился писать», — что язык создаётся народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами. Первый, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его».

Та обработка речевого материала, о которой писал Горький, предполагала решительную борьбу против засорения литературного языка всевозможными диалектизмами и провинциализмами. В 1930 году в письме одному из начинающих литераторов Горький писал: «...Вы принимаете «местные речения», «провинциализмы» за новые оригинальные словообразования, — тогда как материал Ваш говорит мне только о том, что великопнейшая, афористическая русская речь, образное и меткое русское слово — искажаются и «вульгаризируются»... «Литератор должен писать по-русски, а не по-вятски, не по-балахонски», — учил Горький.

Уже говорилось о воздействии партии на развитие языка поэзии Маяковского, на эстетические взгляды поэта.

Одним из замечательных мастеров художественного слова является А. Н. Толстой. «Художником пера» назвал его И. В. Сталин. И опять-таки несомненно, что и взгляды Толстого на язык литературы и самый язык его творчества развивались под воздействием партии.

Когда была опубликована заметка В. И. Ленина «Об очистке русского языка», А. Н. Толстой откликнулся на неё большой статьёй «Чистота русского языка» («Красная газета» от 22 декабря 1924 года). В ней он решительно выступил за приближение литературного языка «к пониманию широких масс», высоко оценивал язык классической литературы и порицал условный литературный язык декадентов. «Октябрьская революция,— писал А. Толстой,— до основания и навсегда разрушила те условия, в которых развивался условный литературный язык. Не напрасно за нынешние годы литература полным лицом повернулась к Пушкину. Это был революционный инстинкт. Ничто не порождается без преемственности. Преемственность послеоктябрьской литературы — Пушкин».

На заметку Ленина опирается Толстой и в своём протесте против употребления иностранных слов без надобности. «Что касается введения в русскую речь иностранных слов, то Владимир Ильич Ленин прав: не нужно от них отрешиваться, не нужно ими и злоупотреблять».

Под влиянием партии перешёл от «рубленной прозы» и вычурного языка своей первой повести «Разлив» к ясному и выразительному языку «Разгрома» А. Фадеев. Одно из выступлений Фадеева начала 1926 года было непосредственно посвящено разъяснению взглядов партии на язык печати. «Рабселькоры,— говорил Фадеев,— должны очищать свой материал от всякой иностранщины (не впадая, однако, при этом в крайность); надо во главу угла поставить культуру слова, стараться употреблять как можно больше таких слов и выражений, которые вполне понятны широким массам».

Активно пропагандировал указания партии по вопросам языка печати и литературы Демьян Бедный. Когда в «Правде» была напечатана заметка Ленина «Об очистке русского языка», Д. Бедный сразу же стал горячо рекомендовать её писателям. Выступая в начале января 1925 года на

Всероссийском совещании пролетарских писателей, Д. Бедный сказал: «...недавно вы могли видеть фотографический снимок заметки Ильича с его мыслями о чистоте языка. Владимир Ильич всегда думал о том, как надо говорить с массами, чтобы им всё было понятно. Этот фотографический снимок я рекомендую вам вырезать из «Правды» и вставить его под стекло в раму, чтобы он всегда вам напоминал о завете Ильича: «пишите просто».

И в своих стихах этого времени Д. Бедный неоднократно выступал против разного рода «языколомов», за простоту и ясность языка поэзии.

«Повсюду развелись у нас языколомы»,— возмущался поэт в стихотворении «Кар-р-ра-ул!!», имея в виду распространение разного рода нелепых сложносоставных слов.

...диво истинное в том,
Что за такой разврат язычный,
Который терпит наш читатель горемычный,
Нас не свезли ещё в сумдом,—

писал поэт, иронически поясняя, что «сумдом» означает сумасшедший дом.

Особенно примечательно стихотворение Д. Бедного «О соловье». Оно относится к 1924 году и было направлено против выступлений опозовцев и лефовцев по вопросам языка.

Два отрывка из этого стихотворения бесполезно напомнить:

На «грубой» простоте лежит досель
запрет,—

И сноб морочит нас «научно»,
Что речь заумная, косноязычный бред —
«Вот достижение! Вот где раскрыт секрет,
С эпохой нашей настроенный созвучно!»
Нет, наша речь красна здоровой

красотой.
В здоровом языке здоровый есть устой.
Гранитная скала шлифуется веками.
Учитель мудрый, речь ведя с учениками,
Их учит истине и точной и простой.

Дальше Д. Бедный, ссылаясь на В. И. Ленина, до конца разъяснял свою позицию:

Советский сноб живёт. А снобу сноб
сродни.

Нам надобно бежать от этой западни.
Наш мудрый вождь, Ильич, поможет нам
и в этом,
Он не был никогда изысканным эстетом
И, несмотря на свой — такой гигантский! —
рост,

В беседе и в письме был гениально прост.
Так мы ли ленинским пренебрежём
заветом?!

Что до меня, то я позиций не сдаю.

На чём стоял, на том стою,
И, не прельщаяся обманной красотой,
Я закаляю речь, живую речь свою,
Суровой ясностью и честной простотой.

На высказывания Ленина о литературе и её языке ссылался Д. Бедный и в своей книге «О писательском труде», защищая простоту языка против всякой вычурности, кривлянья и ломанья.

Горячо боролся за чистоту и богатство языка Д. А. Фурманов. Автор «Чапаева» бережно относился к языку классической литературы. «Надо любить и хранить те образцы русского языка, которые унаследовали мы от первоклассных мастеров», — писал он. Фальшивые имитации под народную речь вызывали у Фурманова решительные возражения. По этому поводу он писал одному из начинающих авторов: «Вы ошибочно взяли псевдонародный язык, выдавая его за подлинный рабочий: «чаво», «ведмедь», «када», «тада» и т. д. — вовсе не являются типичной рабочей речью. Отдельные рабочие, конечно, могли так говорить, но нельзя это обобщать и распространять на всех рабочих, как правило. Это неверно, а потому и художественно фальшиво».

Таким образом, партия помогла советским писателям преодолеть чуждые воздействия на язык литературы, усилившиеся в первые годы нэпа, разоблачить порочные измышления о языке литературы, распространявшиеся некоторыми литературными группировками, показала вред натуралистического засорения языка литературы диалектизмами и жаргонными словечками. Как известно, в двадцатые годы были созданы «Мои университеты» и «Дело Артамоновых» А. М. Горького, поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!» В. Маяковского, «Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Любовь Яровая» К. Тренёва и другие замечательные произведения, знаменовавшие идейный и художественный рост советской литературы, рост языкового мастерства советских писателей.

4

Построение в Советском Союзе социализма и уничтожение противоположности интересов между городом и деревней, индустриализация страны и коллективизация крестьянства, ликвидация провинциальной изолированности, распространение всеоб-

щей грамотности среди населения и радиофикация городов и сёл способствовали стиранию различий между общенародным русским языком в его литературной форме и местными диалектами. В связи с этим в тридцатые годы перед советской печатью и литературой на первый план выдвинулись задачи преодоления остатков местной языковой обособленности и повышения качества литературного языка. Разрешение этих задач являлось обязательной предпосылкой дальнейшего идейного и художественного роста советской литературы.

Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидировавшее РАПП и объединившее всех писателей нашей страны в единый Союз писателей, необычайно способствовало развитию советской литературы. Но для того, чтобы в советской литературе окончательно победил и утвердился метод социалистического реализма, для того, чтобы наши писатели могли успешно выполнять почётную роль «инженеров человеческих душ», им необходимо было поднять уровень художественного мастерства, повысить качество языка художественных произведений. Тем более, что хотя литературные группировки, мешавшие здоровому развитию языка советской литературы, и прекратили своё существование, всё же некоторые писатели продолжали отстаивать неправильные взгляды на язык литературы. При этом они опирались или на порочную теорию Марра, или на вульгаризаторские взгляды пролеткультовцев и рапповцев.

Партия продолжала проявлять постоянную заботу о богатстве и чистоте национального языка и выступать против его порчи и засорения.

В той или иной форме и степени вопросов языка и стиля касались некоторые партийные и правительственные документы, выступления выдающихся деятелей партии.

Известна, например, суровая оценка Советским правительством некоторых учебников по истории СССР, наполненных «напыщенной болтовнёй о самой счастливой стране в мире», «восклицательными знаками, кликами восхищения и разного рода трогательными анекдотами, песенками и общими характеристиками плюс перечисление 3—4 наиболее популярных пер-

венцев первой пятилетки вместо того, чтобы точно, ясно и просто показать, как в итоге двух пятилеток создана мощная промышленность, крестьяне объединились в колхозы, сельское хозяйство переведено на базу тракторной техники, а для защиты рабоче-крестьянского государства создана мощная, технически оснащённая Рабоче-Крестьянская Красная Армия¹.

Требую, чтобы писали и говорили «остро и крепко, но честно и правдиво, без прикрас»², И. В. Сталин решительно осуждал всякую пустопорожную болтовню. В отчётном докладе на XVII съезде партии он убийственно высмеял «честных болтунов», оперирующих штампованными словечками: «мобилизовались», «поставили вопрос ребром», «скоро будет перелом», «намечаются сдвиги», — болтунов, способных «потопить любое живое дело в потоке водянистых и нескончаемых речей»³.

Болтунов, прикрывающих свою бездельность пустыми формулами: «нажимаем», «осваиваем», «устраиваем неполадки и неувязки»⁴, осудил и Г. М. Маленков в своём докладе на XVIII партийной конференции. О вреде засорения русского языка такими сокращёнными словечками, как «ИЗО», говорил В. М. Молотов в беседе с художниками⁵. Л. М. Каганович очень резко выступил против штампов, шаблонов и стандартов в литературной работе. «Борьба со стандартом, — говорил он, — есть борьба с автоматизмом, схематичностью, борьба за живое русское слово»⁶.

Считая, что огромную роль в развитии

и совершенствовании языка играют писатели, партия не раз обращалась к ним с призывом обратить самое серьёзное внимание на повышение качества литературного языка. «Активно бороться за культуру языка»¹ призывал советских литераторов от имени Центрального Комитета партии А. А. Жданов в своей речи на Первом Всесоюзном съезде писателей. Соединять «увлекательность и доступность изложения с принципиальной выдержанностью и высоким идейным уровнем»² рекомендовал Центральный Комитет партии писателям, работающим в области детской литературы.

Очень большой интерес представляет беседа М. И. Калинина с молодыми крестьянскими писателями 15 мая 1934 года. Большую часть своей речи М. И. Калинин посвятил работе писателей над языком.

Настойчиво внушал Калинин молодым писателям, что «без настоящего знания родного языка никто никогда настоящим писателем не будет», что для того, чтобы стать писателем, «нужно прежде всего знать русский язык». «Какие из вас получатся писатели, если вы не знаете хорошо родной язык?»³ — говорил он.

Хорошо знать родной язык — это значит учиться языку у классиков русской литературы, учиться у них тщательной работе над каждой фразой своих произведений. «Источник языка, — говорил Калинин, — это Пушкин, Гоголь, Гончаров, Горький и другие наши классики»⁴.

Хорошо знать родной язык — это значит учиться языку у народа, настойчиво собирать меткие и точные слова и выражения народной речи. Советуя молодым писателям «понравившиеся выражения переносить все в записную книжку», М. И. Калинин указывал, что «все большие писатели исключительно внимание уделяют народной речи»⁵. «Народ, — говорил Калинин в другом выступлении, — это всё равно, что золотоискатель, он выбирает,

¹ Постановление жюри правительственной комиссии по конкурсу на лучший учебник для 3-го и 4-го классов средней школы по истории СССР. В сборнике «К изучению истории», М. 1933, стр. 33, 36.

² Письмо т. Иванова и ответ т. Сталина. Партиздат, М. 1940, стр. 10.

³ И. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, стр. 480—481.

⁴ Г. М. Маленков. О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта. Доклад на XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) 15 февраля 1941 г. Госполитиздат, 1941, стр. 34.

⁵ С. Герасимов. Разговор с художниками. «Литературная газета» № 14 от 10 марта 1940 года.

⁶ Л. М. Каганович. Речь на приёме редакторов дорожных газет и работников газеты «Гудок». В книге: С. Новиков, Д. Мескин. Из опыта работы железнодорожной печати. М. 1940, стр. 6.

¹ А. А. Жданов. Советская литература — самая идейная, самая передовая литература в мире. Госполитиздат, 1953, стр. 10.

² «Решения партии о печати». Политиздат. М. 1941, стр. 158.

³ Сборник «М. И. Калинин о литературе», стр. 69, 68.

⁴ Там же, стр. 70.

⁵ Там же, стр. 72.

сохраняет и несёт, шлифуя на протяжении многих десятилетий, только самое ценное, самое гениальное»¹.

Рекомендуя учиться языку и художественному мастерству, М. И. Калинин советовал не бояться подражания, утраты своего собственного стиля. «Сначала у вас могут быть подражания классикам,— убеждал он,— не бойтесь, на первых порах это не вредно. Собственный стиль вырабатывает жизнь»². Калинин всегда ратовал за творческое своеобразие литературного стиля, против всякого рода словесных штампов, готовых формулировок, трафаретных выражений. Каждый должен стремиться писать своим языком, «у каждого писателя есть свой стиль»³,— говорил он.

В качестве примера писателя, много учившегося и выработавшего при этом свой глубоко индивидуальный стиль, Калинин называл Шолохова. «Его «Тихий Дон» я считаю нашим лучшим художественным произведением,— говорил он.— По языку чувствуется, что он (Шолохов) много и упорно учился... Я не верю, чтобы он написал «Тихий Дон», не будучи хорошо знаком с нашими классиками»⁴.

Высказывания М. И. Калинина о языке советской литературы заслуживают самого серьёзного внимания со стороны наших критиков и писателей. Они способствовали повышению качества языка нашей литературы и преодолению ошибочных взглядов на язык, свойственных некоторым писателям.

Неоценимую помощь в борьбе за культуру языка оказал партии А. М. Горький, остро и глубоко поставив вопросы языка в ряде своих статей 1933—1934 годов. Как уже говорилось, в этих статьях Горький отстаивал и развивал взгляды партии на язык.

Как известно, споры о языке в тридцатые годы усилились после выступления А. С. Серафимовича по поводу творчества Ф. Панфёрова. Однако Горький сразу же поставил вопрос шире и принципиальнее— о качестве языка литературы социалистического реализма: каким должен быть этот язык, каковы задачи писателей в области языка?

Взгляды Серафимовича и Панфёрова не были сколько-либо оригинальными и новыми. Панфёров ратовал за создание нового языка — «языка революции»; Серафимович пренебрежительно отзывался об «обливанном», то есть обработанном литературном языке и восторгался проявлениями «мужицкой силы» в языке. Панфёров пытался оправдать засорение литературы исковерканными словечками и провинциализмами. Серафимович защищал «корявый», «рогатый», «стихийный» язык, то есть язык, не подчиняющийся лексическим и грамматическим нормам национального литературного языка. Рассуждения Серафимовича и Панфёрова, по сути дела, представляли собою разновидность рапповских упрощённых представлений о языке.

Горький, исходя из взглядов партии на язык, выступил против «революции» в языке, за органическое закономерное развитие и обогащение национального литературного языка, языка писателей-классиков, против «мужицкой демократизации» русского языка, за его чистоту и совершенствование. Поэтому Горький, борясь за идейность и народность советской литературы, энергично обрушился и на «вредносные» мнения Серафимовича, Панфёрова и других и на засорение русского литературного языка диалектизмами и жаргонизмами, «заумное» словотворчество, употребление иностранных слов без надобности. «Нельзя ссыматься на то, что «в нашей области так говорят»,— книги пишутся не для одной какой-то области»,— писал Горький. Словотворчество Хлебникова и Андрея Белого, по его мнению, порождает «словесный хаос»¹, а «втыкание в русскую фразу иностранных слов» затрудняет читателя. «Нет смысла писать «конденсация», когда мы имеем своё хорошее слово — сгущение»,— отмечал Горький. Вообще, по словам Горького, «искусственные, надуманные «новшества» в этой области (области языка. — А. Д.) так же бессиль-

¹ Насколько актуально было выступление А. М. Горького против Хлебникова, можно судить по тому, что в тридцатые годы и даже позднее среди писателей было немало поклонников этого пропагандиста «зауми». Так, Д. Петровский, выступая на Первом съезде писателей, заявил: «Хлебников без преувеличения может стать в ряду величайших мастеров слова и будет стоять, я надеюсь, здесь к следующему съезду вместе с Маяковским».

¹ Сборник «М. И. Калинин о литературе», стр. 194.

² Там же, стр. 71.

³ Там же, стр. 70.

⁴ Там же, стр. 71.

ны, как и консервативная защита устаревших слов, смыслы коих уже стёрлись, выпали».

Особенно возмущало Горького засорение русского языка нелепыми словечками: «мура», «буза», «волынить», «шамать», «дай пять», «на большой палец с присыпкой», «на ять» и т. д. и т. п. «Есть у нас одесский язык», — писал Горький, — и не так давно раздавались легкомысленные голоса в защиту его «права гражданства», но первый начал защищать право говорить «тудую», «сюдою» — ещё до Октябрьской революции — сионист Жаботинский».

Горький считал, что, обрабатывая речевой материал народа, литературный язык «откидывает из речевой стихии всё случайное, временное и непрочное, капризное, фонетически искажённое, не совпадающее по различным причинам с основным «духом», то есть строем общеплеменного языка».

Для Горького борьба за чистоту языка была связана с утверждением в литературе метода социалистического реализма. Горький полагал, что изображение нашей действительности невыполнимо посредством «многословия, пустословия и набора уродливых слов из мещанского лексикона провинции» и «повелительно требует богатства, простора, ясности и твёрдости языка». «Я спрашиваю вас, Серафимович, и единомыслящих с вами: возможно ли посредством идиотического языка, образцы коего даны выше, изобразить героинку и романтизм действительности, творимой в Союзе социалистических советов?» С другой стороны, борьба за чистоту и ясность языка была для Горького неотделима от повышения идейного уровня литературы. Он подчёркивал, что лексическая малограмотность «сопряжена с малограмотностью идеологической». «Необходима, — писал он, — беспощадная борьба за очищение литературы от словесного хлама, борьба за простоту и ясность нашего языка, за честную технику, без которой невозможна чёткая идеология».

Были и другие причины, заставлявшие Горького столь настойчиво выступать за чистоту языка советской литературы. Великий писатель видел, что наша литература играет важную роль в пропаганде идей коммунизма среди всех народов земли, гордился мировым значением советской литературы и стремился устранить все по-

мехи на пути её международного распространения. Поэтому он и указывал некоторым советским литераторам, что «язык, которым они пишут, или трудно доступен или совершенно невозможен для перевода на иностранные языки».

Вообще выступления Горького по вопросам языка проникнуты чрезвычайно глубоким пониманием огромной роли языка в истории человеческого общества. Широко известны слова Горького: «Борьба за чистоту, за смысловую точность, за остроту языка есть борьба за орудие культуры. Чем острее это орудие, чем более точно направлено, тем оно победоносней. Именно поэтому одни всегда стремятся притуплять язык, другие оттачивать его».

Статья Горького «О языке», помещённая в «Правде» 18 марта 1934 года, была снабжена послесловием от редакции. «Правда» указывала, что А. М. Горький «вполне своевременно» выступил за повышение качества литературного языка, так как сейчас все вопросы социалистического строительства решаются «под знаком борьбы за качество». Вместе с тем «Правда» подчёркивала, что Горький поднял вопрос «исключительной важности», так как «речь идёт о качестве того языка, которым каждый день говорит наша литература, наша печать с миллионами трудящихся».

Приведя слова В. И. Ленина: «Надо объявить войну коверканию русского языка», «Правда» осуждала тех писателей, которые, «протаскивая в литературу бессмысленные и уродливые, засоряющие русский язык слова, пытаются прикрыться соображениями о том, что величайшая революция в экономике и сознании людей не могла не обогатить языка». «Не думают ли эти товарищи, — писала «Правда», — что словечки вроде «вычкурдывать», «хардыбачить», «базынить», «шамать» и т. п. есть именно те новые слова, которые обогащают русский литературный язык?»

Вместе с тем «Правда» указывала, что торопливую, небрежную и неряшливую работу над языком «не следует прикрывать политически-наивными разговорами о том, что «растрёпанный» язык наиболее подходящ для изображения «мужицкой стихии».

Заканчивалось послесловие «Правды» безоговорочным одобрением выступлений Горького по вопросам языка: «Редакция «Правды» целиком поддерживает А. М. Горького в его борьбе за качество лите-

ратурной речи, за дальнейший подъём советской литературы. Всему фронту советской литературы, наряду с борьбой за высокий идейный уровень художественных произведений, с борьбой против враждебной пролетариату идеологии, надо крепко взяться за решение проблем мастерства, проблемы овладения ярким, красочным и богатым языком».

Статьи Горького о языке вызвали самый живой интерес у писателей. За чистоту и богатство национального литературного языка, против его засорения и порчи выступили М. Шолохов, А. Толстой, Ф. Гладков, К. Федин, Л. Леонов и другие. Большое внимание вопросам языка было уделено на Первом съезде советских писателей. Всё это явилось одним из показателей плодотворного влияния на писателей взглядов партии на литературу и её язык, идейного роста советской литературы.

«Нам нужны и дополнительно новые слова, созданные революцией, и новаторство в литературной форме, и новые книги, рисующие величайшую из эпох в истории человечества, — писал Шолохов. — Но только тогда сумеем мы — писатели — создать такие произведения, которые будут стоять на одном уровне с эпохой, когда научимся и новые слова тащить в литературу, и книги писать не по панфёровскому рецепту... Иначе же так и останемся «честными болтунами» и творцами посредственных произведений».

Напомним, что выражение «честные болтуны» взято Шолоховым из доклада И. В. Сталина на XVII съезде партии.

Сходные с мыслями Шолохова соображения высказал Ф. В. Гладков в своём выступлении на Первом съезде писателей СССР. «Если вредно для нас эпигонство в отношении языка (ибо язык влияет на сознание), то не менее вредна и «детская болезнь левизны» в новаторстве», — говорил он.

Очень горячо за изучение языка классической литературы выступил К. А. Федин. Он резко протестовал против того, чтобы писатель, пытающийся говорить о необходимой точности и ясности слова, зачислялся по штату «консерваторов», а «любое косноязычие» выдавалось за языковое «новаторство». «...Даже безболезненная и мирная кончина боевой «зауми» ничему не

научила иных адептов неперемного словотворчества», — возмущался Федин. С другой стороны, Федин осуждал и литераторов, «под видом учёбы у классиков подновляющих графареты пошлой дореволюционной беллетристики». Большое значение для художественной литературы имеет, по словам Федина, язык большевистской публицистики.

А. Н. Толстой, выступая против того, чтобы «областные выражения, местные провинциализмы» выдавались за народный русский язык, указывал на мировое значение русского языка. «Настанет время (и оно не за горами), — писал Толстой, — русский язык начнут изучать на всех меридианах земного шара. Язык, на котором мыслил Ленин, на котором с математической ясностью и простотой Сталин выражает философию движения истории...»

Статьи Горького по вопросам языка были высоко оценены партией. Выступая от имени Центрального Комитета партии на Первом Всесоюзном съезде писателей, А. А. Жданов сказал: «Нам нужно высокое мастерство художественных произведений, и в этом отношении неоценима помощь Алексея Максимовича Горького, которую он оказывает партии и пролетариату в борьбе за качество литературы, за культурный язык»¹.

Не ограничиваясь послесловием к статье Горького «О языке», «Правда» 26 ноября 1934 года дала специальную передовую «О чистоте языка наших газет», в которой снова одобряла выступления Горького по вопросам языка. «В дискуссии о языке наших художественных произведений прав от начала до конца А. М. Горький», — писала «Правда», выступая против засорения языка советской печати иностранными терминами, непонятными сокращёнными словами, диалектизмами.

Под влиянием партии и выступлений Горького качество языка советской литературы в тридцатые годы значительно повысилось. Натуралистические и формалистические «красоты» языка и стиля стали значительно реже встречаться в произведениях наших писателей. Некоторые литераторы (например, Ф. Гладков) основательно переработали язык своих прежних книг,

¹ А. А. Жданов. Советская литература — самая идейная, самая передовая литература в мире, стр. 10.

очистили его, обогатили. В эти годы выходят такие выдающиеся в идейном и художественном отношении, замечательные своеобразием, богатством, чистотой языка произведения, как пьесы «Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие» и роман «Жизнь Клима Самгина» А. М. Горького, «Поднятая целина» и четвёртая книга «Тихого Дона» М. Шолохова, роман «Хмурое утро» и вторая часть романа «Пётр I» А. Толстого, «Педагогическая поэма» А. Макаренко, «Малахитовая шкатулка» П. Бажова, поэма А. Твардовского «Страна Муравия», стихи М. Исаковского и другие.

Огромное значение для развития советской литературы имеет забота партии о процветании национальной культуры и языков всех братских народов Советского Союза.

Как уже было сказано, партия и советская власть сразу же после Октябрьской социалистической революции предоставили угнетённым при царизме народам право развивать культуру и литературу на родном для них языке.

И. В. Сталин разъяснил, что ленинское диалектическое решение вопроса о судьбе национальных культур и национальных языков в период диктатуры пролетариата заключено в формуле: «расцвет национальных культур (и языков) в период диктатуры пролетариата в одной стране в целях подготовки условий для отмирания и слияния их в одну общую социалистическую культуру (и в один общий язык) в период победы социализма во всём мире»¹.

Борясь против уклонений к великорусскому шовинизму в вопросах языка, партия всегда относилась и относится непримиримо к местным буржуазно-националистическим тенденциям в области языка. А такие тенденции существовали. Так, в двадцатых годах украинские националисты даже вошедшее в украинский язык слово «завод» объявили чужим и предложили заменить словом «виробня». А в Белоруссии националисты нагло выступали против таких русских слов, вошедших в языки всех народов Советского Союза, как «колхоз», «совхоз», «комсомол», и предлагали слово «буржуазия» переводить — «мяшчане», слово «пролетариат» — «галста», слово «бедняк» — «злыдзень», выражение «социали-

стическое соревнование» — «итти на выперадки». При этом буржуазные националисты засоряли родные языки иностранными словами. В Белоруссии и на Украине они ориентировались на польский шляхетский жаргон, в восточных республиках наводняли национальный язык арабо-персидскими и турецкими элементами. Националистический и космополитический смысл всего этого очевиден. Националисты стремились к тому, чтобы оторвать отдельные народы и их культуру от Советского Союза, от братского русского народа и его культуры. Партия разгромила буржуазных националистов. Потерпела полный крах их политика и в области языка. Великий русский язык стал источником непрерывного обогащения равноправных национальных языков.

Мудрая политика партии в области культуры, учение И. В. Сталина о национальной культуре, социалистической по содержанию и национальной по форме, определили путь развития и успехи национальных литератур Советского Союза. В нашей стране с необычайной силой и красотой расцвела литература, основанная на братском содружестве писателей всех народов Советского Союза, объединённая единым методом — методом социалистического реализма.

5

В годы Великой Отечественной войны советские писатели приняли самое активное участие в борьбе советского народа с гитлеровской Германией. Их произведения воспитывали в советских людях любовь к Родине, мужество и смелость, ненависть к фашистским захватчикам. Советская литература стала суровым и правдивым голосом народа, поднявшегося на защиту своей независимости. Художественное слово стало на вооружение советского народа.

Наша публицистика, поэзия, проза, драматургия военных лет своей силой, народностью многим обязаны той работе над языком, которая велась до войны советскими писателями под руководством партии. Вместе с тем в годы войны советская литература испытала на себе сильное влияние лаконичного, точного и полного глубокого содержания языка обращений партии и правительства к народу.

Попрежнему о необходимости совершенствовать язык печати и литературы, агит-

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 12, стр. 370.

таци и пропаганды постоянно напоминал М. И. Калинин. «Язык для агитатора — это всё», — убеждал М. И. Калинин агитаторов-фронтовиков, советуя им научиться говорить ясно и ярко, без трафаретных и пышных фраз. «...Перед вами бойцы, простые люди, которые прошли с боями тысячи километров, видели много тяжёлого, так что им общие, да ещё пышные фразы — нож к горлу. Им надо, чтобы агитатор ясно и коротко излагал определённые мысли»¹.

И снова М. И. Калинин повторял: «Языку надо учиться у классиков. Возьмите Тургенева. Где вы найдёте такое, как у него, описание внешности героев его произведений? Пусть предложат каждому из вас описать хотя бы свою жену. Найдёте вы для этого нужные слова? Не каждый это сумеет сделать, хотя знает близкого человека очень хорошо. Напишут общие слова. Но ведь от агитатора требуется большее: нужно, чтобы описание получилось у него красочным»².

О том, что «не зазорно будет поучиться языку у наших классиков», М. И. Калинин говорил и в беседах с корреспондентами «Известий» и Всесоюзного радиокомитета, обращая их внимание на то, что Гончаров и Тургенев «уделяли очень большое внимание родному языку, кропотливо отделявая каждую фразу своих произведений», а во Франции Флобер и Мериме «придавали такое значение стилю, что принимали во внимание даже самую расстановку отдельных слов в предложении»³.

В годы войны были созданы «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Василий Тёркин» А. Твардовского, «Нашествие» Л. Леонова, «Русские люди» К. Симонова, стихи и песни М. Исаковского и А. Суркова, пламенные публицистические статьи А. Толстого, И. Эренбурга и другие произведения нашей литературы, замечательные и своим глубоким содержанием и силой, богатством, яркостью своего языка.

В сентябре 1942 года на совещании секретарей обкомов комсомола по пропаганде М. И. Калинин был задан вопрос, какие формы и материалы агитации и пропаганды он считает лучшими, наиболее дей-

ственными. М. И. Калинин указал на произведения художественной литературы. «Агитаторы и пропагандисты, — заявил он, — должны отыскивать животворящие зёрна русского слова и мысли и нести их народу... Если вы будете с такими материалами выступать перед народом, то я ручаюсь, что такой способ агитации будет наиболее действенным и будет иметь наибольшее влияние»¹.

В послевоенные годы (как и прежде) партия не раз обращала внимание наших писателей на необходимость серьёзной работы над языком художественных произведений. В постановлении ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» говорилось, что значительная часть поставленных в театрах пьес на современные темы написана «без достаточного знания их авторами русского литературного и народного языка»². В постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» были подвергнуты суровой критике сочинения М. Зощенко за изображение советских людей «примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами»³. Известно, что искажённое изображение советских людей сопровождалось у Зощенко коверканьем русского языка, распространением обывательского жаргона и разного рода ломаных и грубых словечек и выражений, засоряющих наш язык.

В 1948 году вопросов литературного языка коснулся А. А. Жданов в своём выступлении на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). Он напомнил о борьбе В. И. Ленина против употребления иностранных слов без надобности и решительно осудил псевдопрогрессивные попытки усложнения русского языка посредством введения иностранных словечек. «Неверно, что всякое усложнение равносильно росту мастерства, — говорил А. А. Жданов. — Нет, не всякое. Кто считает всякое усложнение прогрессом, тот глубоко заблуждается. Приведу пример. Известно, что в русском литературном языке употребляется немало иностранных слов, известно, как высмеивал злоупотребление иностранными словечками Ленин, как он ратовал за очищение родного языка

¹ Сборник «М. Калинин. О коммунистическом воспитании». Лениздат, 1947, стр. 178—179.

² Там же, стр. 178.

³ Сборник «М. И. Калинин о литературе», стр. 111.

¹ Сборник «М. И. Калинин о литературе», стр. 177, 184—185.

² «Партийная жизнь», 1946, № 1, стр. 66.

³ Там же, стр. 59.

от засорения иностранщиной. Усложнение языка путём введения иностранного слова вместо русского тогда, когда есть полная возможность употребить русское слово, никогда не считалось прогрессом языка. Например, у нас иностранное слово «лозунг» заменено сейчас русским словом «призыв», а разве такая замена не является шагом вперёд?!»¹.

Позднее о необходимости повышения качества языка художественной литературы писала «Правда» в выступлении по поводу пьесы В. Кожевникова «Огненная река» и в известной статье «Преодолеть отставание драматургии».

Большое значение для развития литературного языка имеет вышедший в 1950 году труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». В этом произведении И. В. Сталин обобщил и развил марксистско-ленинское учение о языке, нанёс сокрушительный удар по вульгаризаторским взглядам на язык, раскрыл роль языка в развитии общества и показал перспективы развития национальных языков.

В свете труда И. В. Сталина становится особенно ясной история нашего литературного языка и роль партии в его развитии. Работа И. В. Сталина кладёт конец ложным и порочным взглядам на язык советской литературы и определяет задачи, стоящие в области языка перед нашими писателями. В труде И. В. Сталина содержатся ответы на многие вопросы, касающиеся языка литературы и глубоко волнующие всех писателей.

Ясно определяет И. В. Сталин специфические особенности языка как общественного явления и его огромное значение.

«...Язык обслуживает общество, как средство общения людей, как средство обмена мыслями в обществе, как средство, дающее людям возможность понять друг друга и наладить совместную работу во всех сферах человеческой деятельности, как в области производства, так и в области политики, так и в области культуры, как в общественной жизни, так и в быту»².

Очевидна ответственность писателей, как мастеров слова, обрабатывающих, шлифующих, обогащающих общенародный язык.

¹ «Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б)». Издательство «Правда», М. 1948, стр. 145.

² И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1950, стр. 36.

История русского общенародного языка свидетельствует, что литература играет очень большую роль в его развитии. Общеизвестно, например, что многие слова, введенные в оборот или созданные писателями-классиками, укоренились в русском языке, что многие меткие и яркие выражения Пушкина, Грибоедова, Крылова, Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и других писателей получили самое широкое распространение в народе и даже стали пословицами и поговорками. На развитие русского языка в советскую эпоху значительное влияние оказал язык А. М. Горького, В. Маяковского, М. Шолохова, А. Толстого и других писателей.

Язык развивается вместе с развитием общества, и художественная литература всемерно способствует его совершенствованию, обогащению, развёртыванию всех заключённых в нём возможностей. Язык должен наилучшим образом выполнять своё назначение в качестве средства человеческого общения, орудия борьбы и развития общества, силы, помогающей прогрессу.

Вместе с тем язык, по выражению Горького, является «первоэлементом» и «основным материалом» литературы. Язык писателя — это средство его общения с читателем и воздействия на читателя, средство образного воспроизведения действительности, создания типических характеров, раскрытия идейно-эстетического замысла. Писатель не сможет выразить своих мыслей и чувств, нарисовать пейзаж или бытовую картину, изобразить человека, если он не найдёт для этого точные, меткие, яркие слова, если язык его скуден, а все герои его произведений говорят на один лад.

И. В. Сталин напоминает, что творцом и носителем языка является народ. И литературный язык создаётся народом и его мастерами слова, «художниками пера».

Язык художественной литературы нельзя отрывать от общенародного языка или противопоставлять ему. Белинский, Чернышевский, Добролюбов и русские писатели-классики высоко ценили общенародный национальный язык и пристально изучали его. В. И. Ленин и И. В. Сталин указывают, что великий национальный русский язык — это язык Пушкина, Толстого, Горького и других выдающихся писателей. Одно из важнейших достоинств произведе-

ний классической литературы и заключается в том, что они созданы на основе богатейших сокровищ общенародного языка. Опираясь на традиции классической литературы, основываясь на марксистском учении о языке, Коммунистическая партия всегда боролась за народность литературного языка. Глубокое освоение достижений общенародного языка, несомненно, является одним из серьезных средств повышения художественного уровня нашей литературы.

Порочная теория особого поэтического языка, выдуманная декадентами и формалистами, ведёт на практике к омертвлению языка художественной литературы, к превращению его в предмет эстетского, формалистского обыгрывания, в средство выхолащенных стилизаций. Художественно-образительные задачи языка неотделимы от его главной задачи — быть средством общения людей, средством обмена мыслями в обществе. Когда в руках декадентов, заумников, разного рода стилизаторов язык отрывался от общенародного языка и переставал быть средством общения людей, он неизбежно превращался в жаргон и утрачивал всякую, в том числе и эстетическую, ценность.

Марр и его ученики тоже противопоставляли литературный язык общенародному. Они утверждали, что до революции литературный язык был языком господствующих классов — дворянства и буржуазии, а нелитературный, разговорный, был языком крестьян и рабочих. Эта «концепция» не менее вредна и порочна, чем взгляды декадентов и формалистов. Она вносила путаницу не только в языкознание, но и в литературу.

Известно, что до появления трудов И. В. Сталина по языкознанию наши литературоведы, критики и писатели нередко писали и говорили о классовом характере русского литературного языка, о «дворянском языке» Тургенева, о «разночинно-демократическом языке» Чернышевского, о «пролетарском языке» Горького и т. п. На практике порочная теория классовости языка писателей приводила к нелепым попыткам произвести «революцию» в литературном языке.

И. В. Сталин разбил мнения о классовом характере языка и показал, что язык является единым для нации общенародным языком. Он и создан не одним каким-либо классом, а всем обществом и обслуживает

не один какой-либо класс, а всех членов общества.

Обычно и лингвисты и писатели, считающие язык классовым явлением, принимали и выдавали за «буржуазный», «пролетарский», «крестьянский» язык разного рода жаргоны, которые и противопоставляли общенародному национальному языку. В свете марксистско-ленинского учения о языке очевидны ошибочность и вред такой позиции. Дело в том, что классовые и групповые жаргоны лишены самостоятельности, не имеют ни своей грамматики, ни своего основного словарного фонда и подчинены поэтому национальному языку. Кроме некоторого количества специфических слов, оборотов, выражений, данный жаргон ничем не располагает. Поэтому классовые жаргоны имеют узкую сферу обращения, совершенно не годятся в качестве общенародного средства общения и обречены влечить жалкое существование.

Отсюда ясно, насколько жалкими были попытки декадентов и их последышей обособить язык русской литературы от общенародного языка и навязать ей салонный жаргон или кружковую заумь, насколько бесплодно было стремление пролеткультовцев и рапповцев создать «пролетарский язык», насколько ошибочным является увлечение некоторых наших литераторов теми или иными жаргонами. Партия, Горький были тысячу раз правы, выступая против жаргонов, выдаваемых за классовые языки, против засорения литературы жаргонными словечками и выражениями.

Столь же неправильным и вредным является и засорение произведений литературы провинциализмами, местными словами и выражениями. И. В. Сталин указывает, что местные диалекты с образованием национальных языков «теряют свою самобытность, вливаются в эти языки и исчезают в них»¹.

Конечно, было бы неправильно осуждать писателей за всякое употребление местных, просторечных, профессиональных слов и выражений. Нередко они (как и архаизмы и неологизмы) требуются писателю для осуществления его художественных замыслов, в особенности для тех называемой речевой характеристики героев произведе-

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 44.

ния или введённого автором рассказчика. Художественное творчество допускает свободное применение самых различных элементов языка и не отвергает безотчётно ни одного слова и оборота. Такие писатели, как А. М. Горький, В. Маяковский, М. Шолохов, А. Толстой, никогда не отказывались от употребления местных слов и выражений, архаизмов, неологизмов и т. п., если находили это нужным, целесообразным.

Однако, применяя в художественном творчестве самые различные языковые и стилистические средства, следует исходить из внутренних законов и норм общенародного языка, заботиться о культуре и развитии общенародного языка, избегать всякой языковой обособленности, узости, замкнутости.

Большие художники никогда не загромождали своих произведений разными «характерными» языковыми элементами. Словарь, строй, ритмика, стилистика общенародного русского языка так богаты и разнообразны, что позволяют решить с успехом любую художественную задачу. Употребление диалектизмов, архаизмов, неологизмов и т. п. может быть оправдано только в том случае, если это помогает правдивому изображению действительности, не входит в противоречие с духом и характером общенародного языка, не нарушает простоты и общепонятности произведения.

Марксизм-ленинизм учит, что язык развивается по объективным, независимым от воли людей законам. Порочными являлись измышления в области языка футуристов, пролеткультовцев, рапповцев, воображавших, что они могут отменить объективные законы развития языка, что им ничего не стоит повернуть развитие языка так, как им хочется. Ясно, что позиция этих «языкомов» была типично субъективистской.

Основываясь на глубоком понимании объективных законов развития языка, И. В. Сталин в своём труде «Марксизм и вопросы языкознания» кладёт конец и вредному убеждению (ведущему своё начало опять-таки от футуристов, пролеткультовцев и рапповцев), что якобы советские литераторы обязаны заменить старый, дореволюционный язык каким-то новым, особым, советским. Существование этих взглядов поддерживалось теорией Марра, считавшей язык надстройкой и запутавшей не только многих лингвистов, но и известную часть литературоведов, критиков, писателей.

И. В. Сталин разоблачил теорию Марра о надстроечном характере языка и показал, что язык коренным образом отличается от надстройки. В то время как надстройка ликвидируется в результате революции, вместе с ликвидацией соответствующего базиса и общественного строя, язык остаётся в основном таким же, каким он был и до революции. Вместе с тем надстройка активно служит данному базису и строю, а язык одинаково обслуживает и старый и новый базис, и старый и новый общественный строй. Наконец, надстройка существует недолго, является продуктом одной эпохи, а язык сохраняется на протяжении ряда эпох.

«Современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина»¹, — пишет И. В. Сталин. — «Марксизм не признаёт внезапных взрывов в развитии языка, внезапной смерти существующего языка и внезапного построения нового языка»².

Нелепы и абсурдны были и теории ликвидации языка классической литературы и псевдоноваторские попытки создать особый, пролетарский язык. Эти примитивные взгляды и действия ничем не отличались от взглядов тех «марксистов»-троглодитов, которые считали, что следует скрыть старые, «буржуазные» железные дороги и построить новые дороги, «пролетарские». Попытки создать новый язык никакого успеха, конечно, иметь не могли и ничего, кроме вреда, не принесли.

Партия всегда вела борьбу против псевдоноваторства в языке. Насколько при этом критика И. В. Сталиным марксистских заблуждений и ошибок попадает не в бровь, а в глаз разным вульгаризаторам марксизма в литературе, свидетельствует такой факт. Выше говорилось о пролеткультовской «концепции» «технизации» языка, согласно которой язык отживает свой век и должен быть отделён от человека и заменён разными техническими изобретениями типа семафоров. Нечто подобное утверждал и Марр: «Язык (звуковой) стал ныне уже славить свои функции новейшим изобретением, побеждающим безоговорочно пространство... Будущий язык — мышление,

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 9.

² Там же, стр. 27—28.

растущее в свободной от природной материи технике. Перед ним не устоять никакому языку, даже звуковому, всё-таки связанному с нормами природы».

И. В. Сталин показал абсолютно антинаучный, идеалистический характер такого рода псевдоматериалистических рассуждений. По поводу приведённых выше утверждений Марра он писал: «Только идеалисты могут говорить о мышлении, не связанном с «природной материей» языка, о мышлении без языка»¹.

Решительно отвергая антинаучные представления о «внезапных взрывах» и «переворотах» в истории языка, марксизм-ленинизм вместе с тем учит, что язык развивается вместе с развитием общества. Словарный состав языка находится в состоянии почти непрерывного изменения. «Непрерывный рост промышленности и сельского хозяйства, торговли и транспорта, техники и науки требует от языка пополнения его словаря новыми словами и выражениями, необходимыми для их работы»², — пишет И. В. Сталин.

Это положение имеет очень большое значение для литературы, которая призвана способствовать здоровому росту и обогащению общенародного языка. Восхваление архаики и застоя в языке так же ошибочно и вредно, как и нелепые затеи ликвидировать старый язык и создать новый. «...Чем богаче и разностороннее словарный состав, тем богаче и развитее язык»³, — говорит И. В. Сталин.

За годы советской власти общенародный русский язык (как и украинский, белорусский, грузинский и т. д.) пополнился значительным количеством новых слов, утратил некоторое количество устаревших слов, придал новое значение ряду прежних слов и выражений и т. д. Писатели обязаны внимательно следить за развитием общенародного языка, укреплять и распространять всё новое, имеющее право на существование.

Наличие объективных законов развития языка вовсе, разумеется, не означает, что люди не могут воздействовать на язык. Осознав законы развития языка, люди могут использовать их в своих интересах, в интересах совершенствования языка как

орудия борьбы и развития общества. Как уже говорилось, писатель отбирает лучшие достижения языка, шлифует и обогащает язык. Язык художественной литературы — это образцовый, обработанный язык.

И было бы грубой ошибкой из признания объективного характера процессов развития языка делать вывод о необходимости пассивного, натуралистического воспроизведения в художественной литературе языковой «стихии» во всей её непосредственности. Такой вывод находился бы в решительном противоречии с марксистско-ленинским учением о языке. Писатель не только изучает и осваивает общенародный язык, но и активно способствует повышению речевой культуры народа. Как известно, партия всегда высоко ценит яркое и меткое художественное слово, индивидуальный вклад того или иного выдающегося писателя в общенародный язык, индивидуальное своеобразие языка и стиля писателей.

Язык русской классической литературы — общенародный язык, но это не мешает каждому из писателей-классиков по-своему пользоваться сокровищами общенародного языка и обрабатывать их. Романы Фадеева, Федина, Гладкова каждый читатель без труда отличит друг от друга по их языку и стилю, как и стихи Маяковского, Исаковского, Маршака. Горький именно за красочность, образность, своеобразие хвалил язык А. Толстого, Леонова, Чапыгина и других советских писателей. Только богатыми и многообразными художественными средствами можно изобразить характеры советских людей, борьбу нового со старым в нашей жизни, строительство коммунизма. Нечего и говорить, что своеобразие языка и стиля писателя нельзя путать с субъективным произволом разных «языколомов», не считавшихся с объективным процессом развития языка, пытавшихся писать на особом, непонятном народу языке.

Очень большое значение для понимания истории литературного языка и задач, стоящих перед писателями в области языка, имеет положение И. В. Сталина о том, что классы не безразличны к языку и влияют на язык. «Да, классы влияют на язык, вносят в язык свои специфические слова и выражения и иногда по-разному понимают одни и те же слова и выражения. Это не подлежит сомнению»¹, — пишет И. В. Сталин.

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 40.

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 39.

² Там же, стр. 11.

³ Там же, стр. 23.

Было бы совершенно неправильно принимать лишённые самостоятельности классовые жаргоны за классовые языки, но учитывать, что классы влияют на язык и стремятся по мере сил использовать его в своих интересах, необходимо. Так, определённые круги русского дворянства и буржуазии, дворянской и буржуазной интеллигенции с презрением отворачивались от народного языка, навязывали языку свои особенные — непонятные народу — слова и выражения, засоряли русский язык иностранными словами, придавали ряду слов свой особый, отличный от общепринятого смысл.

Достаточно вспомнить о выступлениях литературных реакционеров против языка Пушкина, о нападках эстетской критики и поэтов «чистого искусства» на язык поэзии Некрасова, о коверканье языка литературы декадентами. Во всём этом, несомненно, сказывались попытки некоторых кругов дворянской и буржуазной интеллигенции обособить язык литературы от общенародного языка и направить его развитие в своих интересах. Реакционный социальный смысл имели сказы замятиных и стилизации пильняков. Вредными являются и «словотворчество» А. Белого и Хлебникова, и засорение советской литературы диалектизмами и жаргонными словечками, и пристрастие некоторых писателей к словесным фокусам и выкрутасам.

В свете труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» становится до конца ясным огромное общественное значение выступлений Ленина, партии, Горького за общенародный язык, против попыток враждебных народу классов, отдельных литературных групп оторвать язык литературы от общенародного языка и превратить его в жаргон, засорённый разным «словесным хламом», против космополитических и националистических вредных влияний на язык советской литературы.

Марксистско-ленинское учение о языке обязывает советских писателей настойчиво заботиться о совершенствовании языка нашей литературы в интересах советского народа и бороться против вредных пережитков прошлого в языке литературы и чуждых воздействий на него.

Большое значение имеет труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» для развития литератур братских республик Советского Союза.

В своём произведении И. В. Сталин напомнил известную формулу марксистов о том, что культуры народов Советского Союза являются социалистическими по содержанию и национальными по форме, то есть по языку.

Указав на то, что русский язык так же хорошо обслуживает в настоящее время социалистическую культуру и социалистический строй русской нации, как до революции обслуживал буржуазную культуру и капиталистический строй царской России, И. В. Сталин продолжает:

«То же самое нужно сказать об украинском, белорусском, узбекском, казахском, грузинском, армянском, эстонском, латвийском, литовском, молдавском, татарском, азербайджанском, башкирском, туркменском и других языках советских наций, которые так же хорошо обслуживали старый, буржуазный строй этих наций, как обслуживают они новый, социалистический строй»¹.

Очевидно значение этих положений для развития литературы и культуры братских народов Советского Союза. Писатели Украины, Белоруссии, Грузии, Узбекистана и других советских наций обязаны всемерно заботиться о развитии, совершенствовании, обогащении родного языка, чтобы он наилучшим образом служил делу социалистического строительства и развития социалистической культуры, единой по содержанию и многонациональной по форме. Национальный литературный язык братских республик необходимо очистить от ненужных иностранных слов (например, арабо-персидских в языках восточных республик) и архаических пережитков.

Вместе с тем партия учит писателей всех народов Советского Союза сознательно и бережно относиться к великому русскому языку. Русский язык является орудием самой передовой культуры в мире. Его с любовью изучают трудящиеся всего мира. Он является источником обогащения для всех языков Советского Союза и могучим средством подъёма культуры и строительства коммунизма.

Появление труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», обобщившего и развивающего марксистско-ленинское учение о языке, вызвало многочисленные

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 8.

отклики со стороны писателей и необычайно усилило их внимание к вопросам языка и стиля. Вопросы работы писателей над языком художественных произведений были активно обсуждены на собраниях писателей, в печати были опубликованы статьи А. Фадеева, К. Федина, Ф. Гладкова, М. Рыльского и других писателей и критиков, раскрывающие значение выступления И. В. Сталина для развития литературы, рассматривающие задачи писателей в свете марксистско-ленинского учения о языке.

Работы И. В. Сталина по вопросам языкознания, говорил А. Фадеев, «помогают нам поставить во всём объёме вопросы развития и обогащения языка советской художественной литературы». Показав в одном из своих выступлений глубокое изучение русского языка Л. Н. Толстым, А. Фадеев заявил: «Вспоминая работы товарища Сталина по языкознанию, вы прекрасно поймёте сущность и значение этой стороны писательского труда».

О большом значении для художественной литературы трудов И. В. Сталина по языкознанию говорил и К. Федин в своей речи на Втором Всесоюзном совещании молодых писателей. Он заявил, что труды И. В. Сталина дают глубокую основу «для разработки эстетических принципов, которыми должен руководствоваться на практике писатель в области художественного слова». По мнению К. Федина, сталинские научные положения ярко освещают путь, которым идёт писатель к овладению мастерством слова, и, в частности, «помогут художнику правильно разрешить и чрезвычайно важный вопрос отношения общенациональной литературы к областному языку».

Некоторые существенные вопросы украинского литературного языка проанализировал в свете выступления И. В. Сталина М. Рыльский. Как и другие писатели, он полагает, что труды И. В. Сталина по вопросам языкознания «призывают к бережному и мастерскому использованию драгоценного словесного материала, побуждают заново поставить и решать многие существеннейшие вопросы нашего писательского труда».

Под влиянием указаний партии по вопросам языка, труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» повысились требования к языку произведений художественной литературы, усилилось внимание писа-

телей к слову. Достаточно сослаться на выступления Ф. Гладкова по вопросам культуры речи, вызвавшие самый живой отклик у читателей.

Даже такой взыскательный художник, как М. Шолохов, нашёл необходимым внести некоторые исправления и уточнения в язык и стиль новых изданий «Поднятой целины» и «Тихого Дона». В беседе с болгарскими писателями в 1951 году М. Шолохов сказал: «Злоупотребление диалектизмами в произведениях литературы считаю бесспорно слабостью. В новом издании я очищаю свои книги от местных слов... Употребление местных диалектов в какой-то мере допустимо, но надо это делать умело и со вкусом». Новые издания романов М. Шолохова являют собой образец совершенствования литературного языка даже таких художественных произведений, которые по праву можно считать классическими.

Внимательным отношением к языку отличается работа А. Фадеева над новой редакцией «Молодой гвардии». Не ограничившись доработкой содержания романа, созданием новых образов, введением новых эпизодов, А. Фадеев показал пример ответственного и любовного отношения к художественному слову.

Серьёзной переработке подверг язык своего романа «За власть Советов» В. Катаев. Как известно, в первом издании романа писатель несколько злоупотреблял «одессизмами» и разного рода жаргонными словечками. Наша печать, критикуя роман «За власть Советов», указала и на этот недостаток. В. Катаев прислушался к голосу критики.

Но не только приведённые выше факты говорят о совершенствовании языка современной советской литературы. Об этом свидетельствует и появление «Первых радостей» и «Необыкновенного лета» К. Федина, «Повести о детстве», «Вольницы», «Лихой години» Ф. Гладкова, «Степного солнца» П. Павленко, «Открытия мира» В. Смирнова, новых стихов Исаковского, Твардовского, Маршака и других произведений советской послевоенной литературы, в которых глубина содержания сочетается с чистотой и богатством языка.

Совершенно очевидно, что и разрешение ответственных задач, поставленных перед советскими писателями XIX съездом Коммунистической партии Советского Союза,

будет зависеть в известной мере от дальнейшего повышения качества языка нашей литературы. Для создания художественных образов советских людей «во всём великолепии их достоинства» (Г. М. Маленков), для бичующей сатиры, для правдивого изображения жизненных противоречий и конфликтов, для преодоления серости, свойственной ещё многим произведениям нашей литературы, потребуются богатый, выразительный, точный язык со всем многообразием его стилистических возможностей. И только в том случае наши писатели успешно разрешат поставленные перед ними задачи, если приложат все усилия к тому, чтобы овладеть всеми богатствами общенародного языка, будут учиться работе над языком у писателей-классиков, хорошо освоят марксистско-ленинское учение о

языке и указания партии по вопросам языка печати и литературы, агитации и пропаганды.

Коммунистическая партия всегда придавала языку печати и литературы большое значение, заботилась о чистоте, ясности, выразительности, богатстве национального литературного языка, выступала против его порчи и засорения, против псевдоноваторства, формализма и натурализма в языке и стиле. Борьба партии за идейность и народность советской литературы неотделима от борьбы за художественное мастерство, за совершенствование языка и стиля литературы. Указания партии по вопросам языка и стиля печати и литературы имеют непреходящее значение и помогают дальнейшему росту и процветанию советской литературы.



Т. МОТЫЛЕВА

★

МАРИЯ ПУЙМАНОВА

Советский читатель знает Марию Пуйманову по романам «Люди на перепутьи» и «Игра с огнём», которые пользуются у нас широкой популярностью. Третий том трилогии Пуймановой, «Жизнь против смерти», вышел в Праге в 1952 году и готовится к изданию на русском языке.

Мария Пуйманова — прозаик, критик и поэт — принадлежит к числу виднейших художников слова народно-демократической Чехословакии. Её романы и сборники стихов, вышедшие за последние годы, трижды отмечались государственными премиями. В мае 1953 года чехословацкая общественность торжественно отпраздновала шестидесятилетие со дня её рождения.

Трилогия Марии Пуймановой — её главное произведение, результат многолетнего труда и сложных творческих исканий. В связи с тем, что труд этот теперь завершён, особый интерес приобретает весь путь, пройденный Марией Пуймановой за три с половиной десятилетия её литературной деятельности.

Первая книга Пуймановой, «Под крыльями», автобиографическая повесть о детстве, начиналась так: «Я родилась в чистом доме, где люди были взаимно искренни и не имели друг от друга тайн...»

Эта книга вышла в 1917 году. Но великие социальные потрясения, охватившие народы Европы на исходе первой мировой войны, никак в ней не отразились. Молодая писательница, выросшая в обеспеченной, образованной семье (её отец был профессором церковного права в Пражском университете), в безмятежно-задушевном тоне рассказывала о первых радостях и горестях маленькой девочки. В этой первой повести Марии Пуймановой, носившей отпечаток незаурядного таланта, проявились и силь-

ные и слабые стороны её раннего творчества. В повести сказалась присущая автору чистота и ясность нравственного чувства, умение передавать внутреннюю поэзию честных, неспорченных человеческих натур; это качество Пуймановой создавало ей своеобразный иммунитет против ядов буржуазно-декадентского искусства. Но явная слабость её первой книжки была в том, что кругозор автора наглухо замыкался стенами родного «чистого дома», куда не проникали тревожения и тревоги внешнего мира.

Во многих произведениях Пуймановой, написанных в разное время, можно проследить борьбу двух противоположных тенденций. С одной стороны, впечатления общественной жизни воздействовали на сознание чуткой и одарённой писательницы; это побуждало её выражать в своих рассказах, повестях, стихах искренний гуманистический протест против несправедливости и лжи буржуазного общества. С другой стороны, навыки, привитые средой и воспитанием, не раз заставляли её ограничиваться узкими рамками семейной темы, а подчас — сбиваться на сентиментальную идилличность.

Становление Чехословацкой буржуазной республики сопровождалось острыми классовыми боями. В огне этих боёв родилась Коммунистическая партия Чехословакии. С ней связали свою судьбу чешские пролетарские писатели старшего поколения — Станислав Костка Нейман, Иван Ольбрахт, Мария Майерова. Революционный подъём в стране на пороге 20-х годов оказывал своё влияние и на тех писателей, которые были далеки от коммунистического движения.

Уже во второй своей книге, «Рассказы городского сада» (1920), Мария Пуйманова дала ряд правдивых социальных зарисовок, с сочувствием показала быт городской бед-

ноты, испытывающей на себе тяжёлые последствия войны. Но большая общественная тематика долго не могла по-настоящему развернуться в её творчестве. В середине 20-х годов — в период спада революционной волны на Западе и относительной стабилизации капитализма — значительные круги чешской интеллигенции снова поверили в прочность буржуазных устоев жизни. В этот период М. Пуйманова работала над повестью «Пациентка доктора Хегля», вышедшей в 1931 году и посвящённой проблемам семьи и морали. Реалистически точными штрихами дан здесь образ преуспевающего «модного» врача — эгоиста и циника; с чувством передана внутренняя драма юной девушки, полюбившей этого человека большой преданной любовью. Но буржуазный быт и нравы рисуются в повести по сути дела без гнева. Героиня книги, покинутая любовником, безропотно принимает тяготы внебрачного материнства, находя в заботах о ребёнке утешение и радость. Финал повести окрашен в примирительные тона: такова жизнь, ничего не поделаешь...

Пуйманова неоднократно возвращалась к теме детства, юношества. Её крепнувшее с годами искусство повествователя с большой полнотой проявлялось в изображении детской психологии, в умении вживаться во внутренний мир ребёнка или подростка. Мотивы её первой книги «Под крыльями» были развиты ею в повести «Предчувствие» (1943), в рассказах, написанных в разное время и собранных в книге «Рассвет» (1949). С редкостным искусством передаёт она думы, чувства, манеру речи детей разных возрастов — будь то девочка-подросток из профессорской семьи, начинающая малопомалу тяготиться слишком усердной родительской опекой, или озорной мальчуган, житель пражской окраины, — самолюбивый, любознательный, полный неистраченных жизненных сил. Зрелые произведения Пуймановой на темы детской жизни, разумеется, значительно превосходят по уровню мастерства её первую повесть. Но элемент наивной идилличности есть и в них. Трогательный мирок ребячьих помыслов и интересов лишь очень косвенно связан с тем большим миром, в котором живут взрослые. Писательница старательно убирает с дороги своих юных героев всяческие трудности и тревоги, — и даже там, где эти тревоги как будто бы возникают, повествование кончается безоблачно-благополучной развязкой.

Если бы Мария Пуйманова осталась далёким от общественной жизни буржуазным интеллигентом, каким она была в начале своей творческой деятельности, она вошла бы в чешскую литературу как мастер интимно-психологических жанров, как автор приятных, свежих книг о детях — не более того. Однако революционное мировоззрение, усвоенное ею на протяжении 30-х и 40-х годов, крепнувшая её связь с рабочим классом и его партией помогли ей вырасти в художника-реалиста большого масштаба, сыграть выдающуюся новаторскую роль в развитии литературы своей страны.

Мировой экономический кризис 1929—1933 годов вызвал серьёзные сдвиги в сознании выдающихся зарубежных мастеров культуры. Контраст между хаосом капиталистической экономики и победоносным строительством социализма в Советском Союзе становился всё более разительным и очевидным.

В 1932 году Мария Пуйманова вместе с группой рабочих разных национальностей совершила поездку в СССР, посетила Москву, Ленинград и Горький. В том же году она опубликовала небольшую книгу впечатлений — «Взгляд на новую землю».

Незадолго до поездки Пуймановой в Советский Союз появилась известная книга Юлиуса Фучика «В стране, где наше завтра уже стало вчерашним днём». Пуйманова сослалась на эту книгу в одном из своих путевых очерков, и сама в характеристике советской действительности во многом пошла по стопам Фучика. Она сознательно поставила себе целью — воздействовать своей книгой на умонастроение читателей, опровергнуть измышления клеветников, рассеять сомнения колеблющихся. Главное, что её интересовало, — советский человек, идейный и нравственный облик строителей социализма. «Каковы советские рабочие? У них есть чувство абсолютной внутренней уверенности... У них есть нечто такое, что не продаётся и не покупается: самосознание полноправных людей, непринуждённая ответственность поведения свободного человека, который всюду чувствует себя как дома». Вслед за Фучиком Пуйманова откровенно говорила в своей книге и о трудностях социалистического строительства. Она писала, что люди, составляющие себе мнение о СССР на основе отдельных бытовых неполадок, напоминают школьного учителя, ко-

торый «поставил бы двойку гениальному математику за кляксу в тетради».

Путешествие в СССР, по словам самой Пуймановой, дало ей «совершенно новый взгляд на жизнь». Именно после этого путешествия она начала всё теснее сближаться с революционными литературными деятелями своей страны, с авангардом пролетариата. Поездки в крупные промышленные центры, где происходили забастовки, встречи с рабочими и безработными в Мосте, Либерце, Злине, Брно, выступления совместно с Юлиусом Фучиком и другими передовыми писателями в защиту бастующих рабочих — всё это расширило идейный кругозор Марии Пуймановой, углубило у неё знание жизни своего народа, вызвало тяготение к большим социальным темам.

Середина 30-х годов ознаменовалась большим подъёмом международного антифашистского литературного движения. Лучшие писатели разных стран поднимали свой голос против фашистского варварства. Передовая литература Чехословакии добилась в эти годы больших успехов. Крепнувшее самосознание рабочего класса нашло выражение, например, в известных книгах Марии Майеровой «Сирена» и «Шахтёрская баллада». Сдвиги в сознании демократической интеллигенции, включавшейся в борьбу против фашизма и угрозы новой мировой войны, отразились в романе Карела Чапека «Война с саламандрами» и в его пьесе «Мать».

Гитлеровская «третья империя» нагло угрожала национальному существованию Чехословакии. Непрочность устоев чехословацкой буржуазной республики становилась всё более очевидной. Вопрос о будущем страны тревожил всех честных патриотов. У передовых чешских писателей выросло стремление осмыслить национальные судьбы своего народа, вникнуть в закономерности его развития.

В этой именно обстановке возник роман Марии Пуймановой «Люди на перепутьи» (1937) — первая часть её трилогии. В этой книге (действие которой охватывает период от начала 20-х до начала 30-х годов) говорилось о самом главном, о том, что больше всего волновало прогрессивно мыслящих людей Чехословакии. В ней говорилось об острых социальных противоречиях, скрытых за нарядным фасадом буржуазной республики, о коренной противоположности двух миров — мира капитализма, обрекающего

народные массы на бесправие, безработицу, нищету, и мира социализма, в котором воплощены надежды всего трудящегося человечества.

В романе «Люди на перепутьи» Мария Пуйманова проявила себя как зрелый и самобытный мастер слова. В этом романе, как и в следующей части трилогии, в сущности очень немного действующих лиц. Но зато каждое из них очерчено разносторонне и рельефно. В судьбах основных персонажей отражены существенные, типические моменты общественного развития страны.

В ходе работы над романом менялись творческие навыки писательницы, происходила ломка выработавшихся у неё прежде приёмов изображения мира и человека. В книге, правда, есть страницы, вполне укладывающиеся в традиционные рамки семейно-психологического повествования. Некоторые эпизоды, касающиеся личной жизни героини романа, Неллы, своей отвлечённой, внесоциальной трактовкой проблем любви и ревности переключаются с повестью «Пациентка доктора Хегля». Описание патриархального рождественского праздника у бабушки в поместье Нехлебы по духу близко первой книге Пуймановой «Под крыльями». Да и самый сюжетный замысел «Людей на перепутьи» основан, казалось бы, прежде всего на истории двух семей: адвоката-коммуниста Гамзы, его жены Неллы, их детей Елены и Станислава и привратницы Анны Урбановой и её детей Ондreja и Ружены. Но с первых же страниц рамки семейного романа становятся тесны для писательницы. Большой поток общественной, народной жизни естественно входит в повествование, определяет пути, какими идут персонажи. И это отнюдь не идёт в ущерб изображению душевного мира человека. Напротив: чем более органической и живой становится связь отдельных действующих лиц с судьбой народа, тем больше углубляется, обогащается и психологическая их характеристика.

И в советской и в чешской критике уже не раз отмечалось, что вторая часть трилогии, «Игра с огнём» (1948), качественно отличается от первой. В промежутке между выходом обеих книг Мария Пуйманова вместе с другими чешскими патриотами пережила удар мюнхенского предательства и последовавшую за ним национальную катастрофу, пережила тяготы немецко-фашистской оккупации, а затем — великую радость

избавления от гитлеровской неволи. После освобождения Чехословакии Мария Пуйманова вступила в Коммунистическую партию, с которой давно уже была тесно духовно связана. И в романе «Игра с огнём» (действие которого завершается событиями 1939 года) она запечатлела недавнее прошлое своей родины так, как это мог сделать зрелый художник-коммунист.

Уже в романе «Люди на перепутьи», главный пафос которого заключался в обличении буржуазного общества, очень ясно (и притом впервые у Пуймановой) зазвучала тема освободительной борьбы трудящихся. О крепнувшей силе рабочего класса напоминали и эпизоды стачечных боёв, и речь Гамзы перед бастующими, и смелое выступление молодого пролетария Франека Антенны на Первомайском празднике в Улах. Во второй части трилогии критика капитализма стала острее и глубже. Вместе с тем героическая революционная тема, которая в «Людах на перепутьи» возникала лишь эпизодически, в «Игре с огнём» сделалась главной, доминирующей. В действие вошла рабочая масса, «готвальдово войско труда» — главный носитель патриотической идеи повествования.

Над третьей частью трилогии Пуйманова работала в 1948—1952 годах. Это были годы, когда трудящиеся Чехословакии, разгромив силы внутренней реакции в памятные февральские дни 1948 года, развернули строительство основ социализма. Это вместе с тем были годы быстрого роста и подъёма международного движения за мир.

Действие романа «Жизнь против смерти» происходит в годы второй мировой войны. В нём говорится о преступлениях гитлеровских оккупантов, об арестах и казнях, о кровопролитных боях, об опасных буднях антифашистского подполья. Но роман этот создавался в период, когда сама жизнь неустанно напоминала автору о стремительном росте международного демократического, социалистического лагеря. И писательница сумела, повествуя о трагических событиях в жизни её родины, передать логикой образов неодолимую победоносную силу трудового народа — творца истории.

Трилогия Пуймановой началась, как рассказ о двух семьях. Она завершилась, как национально-героическая эпопея.

Работая над своей трилогией, Мария Пуйманова опиралась на большую литературную традицию.

Несколько лет назад Пуйманова в краткой статье, опубликованной в «Руде право» по поводу выхода нового издания сочинений Алоиза Ирасека, назвала те любимые книги, с которыми она не расставалась в годы гитлеровского «протектората». Это «Старинные сказания чешского народа» Ирасека, «Бабушка» Божены Немцовой, «Букет» Карла Яромира Эрбена и — «Война и мир» Л. Н. Толстого.

Названные здесь книги чешских писателей принадлежат к наиболее характерным, важным произведениям классической литературы Чехословакии.

Литература эта развивалась в своеобразных исторических условиях. Она отразила рост национального самосознания народа, пережившего трёхсотлетний гнёт монархии Габсбургов. Австрийские власти настойчиво проводили политику онемечивания, вытесняли чешский язык из печати, театра, школ. Крупнейшие чешские писатели XIX века активно сопротивлялись насильническим действиям ассимиляторов. Даже собрание национального фольклора, разработка народно-сказочных сюжетов вырастали у них в акт протеста против чужеземного гнёта. Таким актом протеста явился, например, «Букет» Эрбена — сборник баллад в народном духе, вышедший в условиях «баховского» реакционного режима в начале 50-х годов прошлого века — в один из самых мрачных периодов чешской истории.

Характерная черта многих разнообразных произведений чешской классической литературы — исключительно глубокое выражение патриотического чувства. Национальный пейзаж, сокровища старинной архитектуры, народные предания и песни, да и сам родной язык — всё это предстаёт в книгах чешских писателей, как драгоценное, кровное достояние нации, достояние, которое надо стойко хранить и защищать от иноземных посягательств. «Любите чешскую землю, как мать свою, превыше всего!» — говорит своим внукам Бабушка — героиня одноимённой повести Божены Немцовой. Образ старой крестьянки вырастает у Немцовой в национальный символ, олицетворяет мудрость трудового народа и его привязанность к родной стране.

Понятно, какую новую острую актуальность приобрели старые произведения чешских писателей-патриотов в те годы, когда стране стала угрожать немецкая агрессия. Во второй части трилогии Пуймановой есть

яркий эпизод: учительница женской гимназии Ева Казмарова даёт урок по повести «Бабушка». Она с глубоким волнением рассказывает девочкам о жизни и творчестве Немцовой, стараясь донести до них гуманистический смысл её книги.

Напомним ещё один эпизод. Инженер Тоник Скрживанек и его жена Елена возвращаются домой после нескольких лет работы в Советском Союзе, — и чешская природа, которую они видят из окна вагона, заставляет их с небывалой силой почувствовать, как дорога им родная страна. Национальный пейзаж оживает, одухотворяется в их глазах. «Черешни стояли в девичьей фате и смотрели из-за заборов миллионами цветочков, пчёлы святого Прокопия летели к ним, яблони Чешских братьев-садовников путешествовали вдоль дорог; по всей Чехии, как процессия подружек на свадьбе, тянулись цветущие сливы, а поезд напевал одну за другой все весенние песенки, выученные ещё в школе».

Поэтическая тема родины проходит через всю трилогию. И вслед за классиками чешской литературы Мария Пуйманова много раз любовно и вдохновенно описывает свою родную столицу. Переключка с писателями прошлого ясно слышна в той главе романа «Игра с огнём», где у молодого литератора Станислава Гамзы рождается замысел его «Пражских новелл». Однако благородный облик древней Праги, овеянный легендами и многократно воспетый чешскими поэтами, обретает у Пуймановой новые черты. В создаваемый ею образ столицы входят, как неотъемлемая составная часть, «люди с заводов и фабрик» — потомки строителей Праги и законные, настоящие её хозяева.

Национальная окраска, присущая трилогии Пуймановой, чувствуется, конечно, не только в тех её главах, где непосредственно звучат патриотические мотивы. Она сказывается в том эмоциональном ключе, в котором написано повествование, — в том своеобразном сплаве лиризма и юмора, в той непринуждённой разговорной интонации, какую мы часто находим в наиболее выдающихся произведениях чешской прозы.

Пафос национальной самозащиты и национального самоутверждения, присущий лучшим чешским писателям прошлого века, побуждал их особенно настойчиво работать над образами положительных героев. Далеко не всегда удавалось этим писателям дать полноценные реалистические фигуры пере-

довых людей, борцов. Но в их произведениях часто появлялись люди с ясной и чистой душой, исполненные чувства достоинства и подчас — хотя бы в наивной и стихийной форме — протестующие против угнетателей. Крестьянский вожак Ян Козина из «Псоглавцев» Ирасека, вольнолюбивая «дикая Бара» из известного рассказа Немцовой; молодой интеллигент-патриот Вацлав Бавор из «Малоостранских повестей» Яна Неруды, народный бунтарь Матоуш из романа Антала Шашека «О сапожнике Матоуше и его друзьях» — все эти образы, разумеется, очень различны. Но в каждом из них посвоему живёт демократический дух, присущий лучшим творениям чешской культуры. Опыт, накопленный писателями прошлого, помогает чехословацким писателям наших дней — в том числе, конечно, и Марии Пуймановой — воплощать лучшие черты национального характера в положительных героях современности.

Однако Мария Пуйманова как художник преемственно связана не только с чешской литературной традицией. Недаром в перечне её настольных книг мы находим «Войну и мир» Толстого.

Приведём свидетельство Марии Пуймановой (письмо в Союз советских писателей от 31 мая 1953 года) о том, что значит для неё наследие Толстого и как оно помогло ей в её работе над трилогией:

«Война и мир» действительно мой самый любимый роман, начиная с юных лет, и сопровождает меня в течение всей моей жизни. Лев Николаевич Толстой произвёл и производит на меня до сих пор глубокое впечатление — и тем, с какой правдивостью, без всякой условности, он изображает своих героев, и своим абсолютным знанием психологии. В этом отношении я научилась у него многому. А во время Великой Отечественной войны «Война и мир» была для меня — как и для многих чехов — источником утешения и надежды, что Гитлер кончит так же, как кончил Наполеон, как кончит каждый, кто осмелится напасть на Советский Союз.

Что касается моей трилогии, то я старалась написать честно и искренне о том, что я пережила вместе со всем своим народом, и выразить свою любовь к Советскому Союзу не громкими словами, а посредством живых образов. Несомненно и в эпическом понимании материала для меня учителем был Лев Николаевич Толстой. С его кон-

сервативным лжеучением я не согласна, но как художник он до сих пор является величайшим прозаиком мировой литературы».

Толстовская традиция в творчестве Марии Пуймановой — это интересный и сложный вопрос, в сущности — тема для особого исследования. Однако писательница сама очень ясно говорит здесь о том, в каких чертах её творчества проявилась эта традиция. Толстовский трезвый реализм оказал ей большую помощь в правдивом, конкретном изображении действительности и во многом определил присущие ей приёмы типизации. Исключительно много значит для Пуймановой психологическое мастерство Толстого. Основные персонажи её трилогии отличаются гораздо большей внутренней сложностью, многогранностью, богатством духовной и душевной жизни, чем большинство героев предшествующей чешской литературы. Толстовская «диалектика души» явилась для Марии Пуймановой очень важной школой разностороннего реалистического изображения человека.

По мере того как трилогия Пуймановой из истории жизни отдельных людей перерастала в повествование о судьбах народа, особую значимость приобретало для неё толстовское мастерство эпопей. Композиционные принципы «Войны и мира» помогли Марии Пуймановой воспроизвести в целостном художественном произведении жизнь нации в различных социальных разрезах, передать подъём патриотического чувства в народе, борющемся против иноземных захватчиков.

Конечно, классическая традиция предстаёт в творчестве писательницы-коммунистки Пуймановой в переработанном, преображённом виде. Работая над книгой «Жизнь против смерти», романистка, по её собственным словам, черпала моральную силу в трудах Сталина и Готвальда; она имела перед глазами такой вдохновляющий пример идейно целеустремлённого, партийного художественного творчества, как «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика. С книгой Фучика непосредственно тематически перекликаются те страницы в последней части трилогии, где описана тюрьма Панкрац и массовые расстрелы чешских патриотов в дни «осадного положения». Но самое важное, конечно, не эти отдельные точки соприкосновения между произведением Пуймановой и прославленной книгой Фучика. Гораздо важнее, что главная идея и главное чувство,

одушевляющие роман «Жизнь против смерти», — это пафос торжества человека над силами, несущими смерть, пафос всеобщей и бессмертия революционного, трудового народа — фучиковский, горьковский пафос.

Мария Пуйманова, как всякий крупный художник, впитала в себя опыт предшественников. И как всякий крупный художник, она внесла в литературу нечто своё. Ещё в романе «Люди на перепутьи» она с особенной силой и ясностью раскрыла непримиримую противоположность интересов труда и капитала. Мария Пуйманова дала глубокую критику псевдодемократического режима буржуазной республики. Впервые в чешской литературе она дала правдивое, конкретное реалистическое изображение судеб страны на протяжении двух с лишним десятилетий — от первых лет существования «независимой» буржуазной Чехословакии до конца второй мировой войны. В последней части трилогии Пуймановой читатель впервые увидел широкую картину национального сопротивления, разнообразные аспекты деятельности чешских патриотов-подпольщиков, возглавлявшихся Коммунистической партией.

Трилогия Пуймановой явилась важной вехой на пути утверждения метода социалистического реализма в чехословацкой литературе.

В опубликованной недавно статье Мария Пуйманова следующим образом формулирует один из коренных принципов своей творческой работы:

«...Романист не имеет права прийти, как говорится, на готовое. Он не может работать в уже определившейся обстановке; он должен пробиваться, продираться и пробиться со своими героями к правде в ходе самых напряжённых событий».

В ходе работы над трилогией Мария Пуйманова сама как бы заново формировалась как революционный художник, преодолевала навыки беспартийного, нейтрального отношения к материалу. Остатки этой нейтральности имеются лишь в отдельных, второстепенных психологически-бытовых эпизодах. Но в основе своей повествование Пуймановой очень последовательно подчинено идейному замыслу. И раскрывается этот замысел не в декларациях, не в заранее заданных тезисах: он очень органически выявляется в образах, в их взаимодействии и развитии.

Действие романа «Люди на перепутьи» начинается в первой половине 20-х годов. Отгремели баррикадные бои, описанные Ольбрахтом в «Анне-пролетарке». Молодая буржуазная республика вступила в полосу относительно спокойного существования.

И. В. Сталин говорил в 1925 году: «Свое национальное государство чехи уже получили как нация господствующая, живётся там рабочим пока что недурно: безработицы нет, упоение идей национального государства вполне налицо. Всё это не может не плодить иллюзий национального мира между классами в Чехословакии»¹.

Атмосфера временного «национального мира» налагает свою печать на взаимоотношения персонажей романа — даже и тех, кто не принимает всерьёз насаждаемых правящим классом иллюзий. За столиками кафе «Ред-бар» встречаются декадентствующая богема и передовые интеллигенты, буржуазный адвокат Хойзлер и коммунист Пётр Гамза. Сын капиталиста Карел Выкоукал щеголяет показной «революционностью», живя на средства богатого отца. В дальнейшем мы увидим, как отразится на судьбах действующих лиц трилогии нарастающее размежевание классовых, политических сил в стране. Карел Выкоукал «остепенится» и станет жирным, преуспевающим буржуазным дельцом. Хойзлер делается прислужником гитлеровских завоевателей, а Пётр Гамза — опасным для них противником. Но всё это впереди. В первых главах романа «Люди на перепутьи» мы видим Чехословакию именно в тот период, когда иллюзии классового мира, подкрепляемые кратковременным капиталистическим «процветанием», крепко владели умами очень многих чехов. Мария Пуйманова уже в первой части трилогии целеустремлённо боролась против этих иллюзий, опровергала их всем ходом действия своего романа. Задачи борьбы против пережитков буржуазно-демократической идеологии в её масариковско-бенешевском варианте, разумеется, не отпали для передовых художников Чехословакии и после торжества народно-демократического строя. И Мария Пуйманова на протяжении всей трилогии настойчиво «продирается к правде» вместе с теми своими персонажами, которым сама жизнь помогает отрешиться от привычек обывательского, индивидуалистического бытия.

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 7, стр. 61—62.

В этой связи понятно то важное место, которое занимают в трилогии Ондрей Урбан и Станислав Гамза — два сверстника, вошедшие в жизнь именно в период господства иллюзий классового мира. Оба они — и энергичный, честолюбивый пролетарий Ондрей и хрупкий, замкнувшийся в мире книг интеллигент Станислав — долгое время наивно верят в возможность свободного развития личности в буржуазном обществе. Оба они в конечном счёте становятся борцами за лучшее будущее своего народа. Пуйманова внимательно прослеживает происходящие в них перемены. Её живо интересуется не только конечный результат, но именно процесс: интересуется не только потому, что она на примерах Ондрея и Станислава показывает типические пути роста передового сознания в массах чешского народа, прошедших через испытания протектората, подполья и войны, но и потому, что критика буржуазно-обывательских устоев жизни даётся ею отчасти именно с помощью этих образов, через их посредство.

Так, она изображает одного из некоронованных королей Чехословацкой республики, промышленного магната Казмара, через восприятие Ондрея Урбана, вначале замороженного хитроумной демагогией своего хозяина, а затем постигающего истинную цену этой демагогии.

Образ Казмара вызвал в критике некоторые возражения. Пуйманову упрекали в том, что Казмар у неё показан умным, способным человеком. Но разве среди заправил капиталистического мира нет способных людей? Романистку упрекали в том, что изображение этого капиталистического хищника получилось у неё недостаточно острым. Думается, что подобные упреки неосновательны.

Как известно, прототипом Казмара явился обувной фабрикант Батя — тот самый, который изображён в книге Т. Сватоплука «Ботострой». У Сватоплука образ Шефа сделан в приёмах язвительного, злого гротеска. Выделяя и гиперболизируя черты грубости, бесчеловечности, типичные для капиталиста, Сватоплук добивается большого разоблачающего эффекта. Пуйманова достигает той же цели иными путями. Она заостряет образ, не прибегая к гротеску. Гнусная эксплуататорская сущность Казмара выявляется постепенно, путём безукоризненно правдивого воспроизведения его повседневных дел, его отношений с разнообразными

людьми, его поведения в общественной и частной жизни.

У Сватоплука Шеф топчет и рвёт книги. У Пуймановой Казмар не совершает таких бессмысленных поступков. Романистка просто мимоходом замечает, что он, как правило, не читает книг. В повествовании не раз приводятся тексты рекламных плакатов фирмы «Казмар-Яфета», скопированные с американских образцов: они говорят о потрясающем духовном убожестве всей казмаровской «системы».

Герой «Ботостроя» сразу предстаёт во всей своей омерзительной сути — без всякой маски. У Пуймановой Казмар носит маску, и понятно, для чего она ему нужна. Он демонстративно пожимает рабочим руки, произносит речи о гармонии интересов капитала и труда. Но он же в дни кризиса по пустяковому поводу увольняет кадровую работницу Галачку, прослужившую у него не один десяток лет; увольняет и Ондreja Урбана, который незадолго до того ринулся в огонь для спасения хозяйского имущества. Обличение Казмара становится особенно безжалостным именно потому, что преломляется через сознание молодого рабочего, который верил ему — и перестал верить.

В романе «Игра с огнём» реалистическая критика Казмара дополнена новыми чертами. Матёрый эксплуататор раскрывается как враг собственной родины. Вполне правдиво, что Казмар вступает в контакт с германскими фашистами без восторга и даже как будто бы нехотя. Но важно, что он вступает в контакт с ними! Казмар помнит ещё о том, как во времена австро-венгерской монархии немцы притесняли чешскую промышленность. Но он заодно с теми западными деятелями, которые предпочитают видеть в небе Европы свастикку, а не красную звезду. Так обнажаются корни самобийственной «мюнхенской» политики, проводившейся правящей верхушкой буржуазной Чехословакии.

Задачам разоблачения врагов родины подчинён и другой важный образ трилогии. Мы имеем в виду Ружену, сестру Ондreja Урбана.

Романистка и здесь ничего не упрощает, не «приходит на готовое». Но здесь она применяет иные (по сравнению с фигурой Казмара) приёмы построения отрицательного типа. Казмар был дан, как существо, почти что лишённое психологии, — дан, так ска-

зать, извне. Ружена показана изнутри, и притом в изменении, в развитии. Она вовсе не сразу предстаёт как законченная негодяйка. Пуйманова не боится даже наделить хорошенькую, глупенькую Ружену, девушку из народа, ослеплённую фальшивым блеском буржуазной столицы, вполне человеческим чувством — искренней, по-своему сильной любовью к Карелу Выкоукалу. Но те пространные внутренние монологи, в которых Ружена изливает свою любовь, а затем и своё разочарование, вовсе не внушают сочувствия к ней, а напротив — помогают увидеть всю мелкость, ничтожность её натуры. Продавшись богатому старику Хойзлеру, Ружена впоследствии с такой же готовностью продаётся гитлеровским офицером, а в конце войны возлагает все свои надежды на приход американских войск. И со страниц повествования вырастает уничтожающе правдивый портрет циничной, бессовестной мешанки, которую мелкое тщеславие, жажда удобств и лёгкой жизни привели к полной потере не только человеческого, не только женского, но и национального достоинства.

Если в первой части трилогии Пуймановой бытовые эпизоды иногда уводили читателя в сторону от главной, социальной темы, то в последующих частях проявилось замечательное умение писательницы насыщать даже незначительные на первый взгляд бытовые подробности серьёзным общественным содержанием. В книге «Жизнь против смерти» очень запоминается глава, где Ружена, одна из влиятельных дам протектората, с нескрываемо самодовольным чувством торжества принимает у себя в доме Неллу, муж которой заключён в концлагерь, обещает ей покровительство, утешает её приторными лицемерными словами. Описание домашней обстановки Хойзлеров, парижские деликатесы на богато сервированном столе, белоснежный накрахмаленный чепчик на голове нарядной горничной — все эти целеустремлённо отобранные детали усиливают в нас отвращение к чешским профашистам, наживавшимся на бедствиях своих соотечественников. Авторский приговор над подобными типами решителен и беспощаден. Ружена отреклась от родины — и родная мать отрекается от неё!

К концу второго тома трилогии в действие непосредственно вступает внешний враг чешского народа — гитлеровская Германия. О зверствах фашистов Пуйманова говорит

скупо, но выразительно. И, говоря о них, она каждый раз находит собственный, новый угол зрения, находит колоритные и иногда неожиданные подробности, с помощью которых она воспроизводит гнетущие будни фашистской оккупации.

В цитированной уже статье Мария Пуйманова вспоминает о том, что, работая над романом «Жизнь против смерти», она беседовала с лицами, пострадавшими от гитлеровского террора, в частности с Еленой Лефлеровой, молодой женщиной из деревни Лидице, и её товарками по заключению. «В их рассказах я находила будущие эпизоды романа с близкими действительности, обыденными деталями, полными чувства. Лефлерова упомянула, что в тот вечер, когда в Лидице пришли немецкие солдаты, она вместе с мужем покрывала лаком мебель. Не знаю почему, но это потрясло меня гораздо больше, чем если бы она бесконечно проклинала лидицких убийц».

Именно с этого и начинается глава романа «Жизнь против смерти», где описана трагедия Лидице. Молодожёны Блажена и Вацлав покрывают лаком мебель в своей скромной квартирке. Занимаясь этим невинным, сугубо мирным делом, они оба предельно далеки от мысли о том, что к ним вот-вот нагрянут фашисты, что их дом вместе со всей деревней будет разрушен дотла, что Вацлав пойдёт на казнь, а Блажена — в концлагерь. Мария Пуйманова, как и её герои, не произносит никаких широковещательных проклятий по адресу нацистских убийц. Но она очень непосредственно, очень живо даёт почувствовать всю бездну бессмысленной жестокости фашистов, которые убивали, терзали, подвергали неслыханным физическим и душевным мукам не только активных борцов-патриотов, но и множество самых безобидных, аполитичных людей.

Однако судьба Блажены из Лидице не просто иллюстрирует мерзость фашизма: она приобретает в романе и иной, принципиально более важный смысл. Пройдя через издевательства беспричинного ареста и страдания плена, потеряв дом и семью, католичка Блажена стряхивает с себя бремя религиозной веры и после освобождения Чехословакии возвращается на родину иным, политически повзрослевшим человеком. Она принадлежит к числу тех персонажей романа, которые, по словам автора, пробиваются к правде в ходе самых напря-

жённых событий. Рассказывая о гнусных действиях фашистских захватчиков и их пособников, Пуйманова с особым вниманием прослеживает, как эти действия рождали противодействие, как в ходе трагических переживаний войны и оккупации формировались и духовно созревали чешские патриоты, деятели национального сопротивления — нынешние строители социализма в народно-демократической Чехословакии.

В трилогии Пуймановой очень последовательно выражена мысль: и фашизм и борьба против него — явления международные. Гитлеровская «третья империя» не смогла бы захватить Чехословакию, если бы ей не помогли в этом руководящие деятели западных держав и чешские буржуазные политики, действовавшие в интересах казмаров: об этом писательница отчётливо сказала ещё в «Игре с огнём». Но, с другой стороны, чешские патриоты, поднимавшиеся против гитлеровских оккупантов, представляли собой часть великой международной армии трудящихся, борющихся против реакции и гнёта, против порабощения человека человеком: этот вывод, подсказываемый всем действием романа «Жизнь против смерти», подготовлен ещё первыми частями трилогии.

В одной из глав романа «Люди на перепутьи» Мария Пуйманова раскрывает международное единство интересов трудящихся с помощью оригинальной и многозначительной детали. Рабочие текстильного комбината Казмара находят в пакке американского хлопка чёрную тряпичную куклу. Они задумываются: значит ли это, что негритянка — сборщица хлопка — вынуждена брать с собой ребёнка, идя на плантацию? Или, быть может, сама сборщица — девочка, не переставшая ещё играть в куклы? Наёмные рабы Казмара, как бы они ни были сдурманены хозяйской демагогией, смутно чувствуют, что люди, которые тяжело трудятся по ту сторону океана, — их братья и сёстры по классу.

В этой же первой части трилогии появляется миссис Гарвей — мать невинно осуждённых юношей-негров. Для юной Елены, дочери Гамзы, встреча с негритянкой остаётся незабываемым переживанием, о котором она не раз вспоминает в ходе своей последующей жизни. А Пётр Гамза, участвуя в движении помощи братьям Гарвей, всту-

пает в схватку с теми же тёмными силами расизма, мракобесия, человеконенавистничества, с какими он сталкивается снова несколько лет спустя, когда он вместе с другими прогрессивными деятелями разных стран борется за освобождение Георгия Димитрова.

Образ Димитрова — одна из больших творческих побед Марии Пуймановой. «Игра с огнём» — первое и пока единственное произведение художественной литературы, где отображён героический поединок великого болгарского революционера с гитлеровскими поджигателями. Пуйманова бережно обращается с историческими фактами, передаёт ход Лейпцигского процесса документально точно; и тем не менее главы романа, посвящённые процессу, воспринимаются как явление искусства. Впечатления и переживания Гамзы, присутствующего на процессе, создают своеобразный лирико-патетический аккомпанемент к страницам судебной хроники и дают возможность увидеть, как мужественное поведение Димитрова воодушевляло передовых людей всего мира. «Здорово он им всё это высказал! Настоящий юнак Димитров!.. В воздухе пахнет озоном, и Гамза снова молод; раствориться в душе героя — это подобно самой возвышенной любви. Прекрасна неустрашимость!»

Читая страницы «Игры с огнём», посвящённые процессу Димитрова, мы ясно видим, как менялись повествовательные приёмы Марии Пуймановой в ходе работы над трилогией. Писательница часто и искусно пользуется формой «несобственно-прямой» речи; она как бы переводится в одно, то в другого из персонажей, усваивая их манеру думать и говорить. Но, начиная с хроники Лейпцигского процесса, в трилогии всё более явственно слышится собственный голос автора. По мере того как раздвигаются социально-исторические рамки романа, становится всё более трудно передавать напряжение и размах больших событий с помощью одного лишь психологического «микроскопа». Писательница перестаёт прятаться за своих героев, и всё чаще сама вмешивается в повествование. И это вмешательство отнюдь не ощущается как сухой публицистический привесок. Авторский голос в «Игре с огнём», а затем и в романе «Жизнь против смерти» звучит свежо и страстно, не с меньшей, а с большей эмоциональной силой, чем голос любого из пер-

сонажей. Именно этот авторский голос рассказывает о «людях с заводов и фабрик», которые в 1938 году энергично протестовали против мюнхенского соглашения, а в 1945 году помогали советским войнам освобождать чешскую столицу...

Но вернёмся к Гамзе. Этот честный, стойкий человек, безгранично преданный партии и родине, обрисован ясными и верными чертами — не как безукоризненный герой без страха и упрёка, а как живая человеческая личность. Но в критике уже указывалось, что коммунист Гамза почти не показан в своих повседневных связях с партией, воспитавшей его и направляющей его деятельность. О его общественной работе, как и о борьбе КПЧ перед второй мировой войной, мы узнаём фактически очень немного. И это в известной мере обедняет не только образ Гамзы, но всю революционно-героическую линию повествования.

А каков Гамза в третьей части трилогии? Мария Пуйманова рассказывает о его пребывании в концлагере Ораниенбург, о том, как он ободрял молодёжь, налаживал коллективную помощь слабым и больным, разъяснял товарищам по заключению смысл происходящих событий. Но, к сожалению, обо всём этом говорится несколько бегло — без той подкупающей конкретности, которую мы привыкли видеть у Марии Пуймановой.

Однако писательнице удаётся воплотить в образе Гамзы одушевляющую её книгу идею победы человека над смертью. Замученный в концлагере Гамза продолжает жить в сердцах и памяти своих товарищей. Он был одним из тех, говорит автор, что «передавали друг другу эстафету свободы». Студент Божек, вырвавшийся из фашистского плена, приносит на родину известие о мужественной гибели Гамзы. И так же, как сам Гамза в своё время вдохновлялся примером Димитрова, так вдохновляются его примером молодые патриоты непокорённой Праги.

Носительницей непобедимой «эстафеты свободы» становится и дочь Гамзы, врач Елена Скрживанкова. Она сохраняет в третьей части трилогии те обаятельные свойства жизнерадостности, прямоты, душевной цельности и ясности, какие были присущи ей и прежде. И она обретает новые героические черты, становясь деятелем антифашистского сопротивления.

Одна из глав романа, посвящённых Елене, вызвала споры в чешской критике. Романистка тщательно, с большим обилием верных деталей описывает, как Елена в тяжёлые дни войны, в условиях нужды и лишения, проявляя исключительную настойчивость, вылечивает от воспаления лёгких девяностолетнюю прабабушку. Стоило ли вводить в повествование такой эпизод? Нет ли тут рецидива старого пристрастия Марии Пуймановой к семейно-бытовому жанру? Понятно, что автора не столь уж интересует здесь судьба выжившей из ума старухи, сохранившей в неприкосновенности умонастроение старой чиновницы времён австро-венгерской империи. Пуйманова хочет показать в этом эпизоде незаурядные нравственные качества Елены, её глубоко гуманистическое понимание своего профессионального долга, её активное стремление к победе над болезнью и смертью. Но как выиграла бы книга, если бы эти качества Елены были шире и отчётливее раскрыты не только в картинах домашней жизни, но и в непосредственном изображении её подпольной деятельности!

Зато с замечательной ясностью обрисовывается характер Елены в главе «Выше голову», где описан расстрел чешских патриотов. Елена идёт на казнь поистине с гордо поднятой головой. Мария Пуйманова с большим искусством пользуется здесь тончайшим инструментом психологического анализа. Именно в этой главе, кстати сказать, очень ясно обнаруживается и связь Пуймановой как художника-психолога с традицией толстовского реализма и присущее ей революционное, новаторское восприятие классической традиции. Ведь именно Л. Н. Толстой впервые в мировой литературе с небывалой до него конкретностью показал посредством внутреннего монолога душевное состояние умирающего (прежде всего — в рассказе «Севастополь в мае», в описании гибели Праскухина, которое Чернышевский назвал «удивительным»). Толстовские приёмы психологического анализа получили широкое хождение в творчестве писателей-реалистов разных стран. Но если у Толстого смерть часто выступает как великий разоблачитель, помогающий увидеть внутреннее ничтожество людей, подобных Праскухину, то у Пуймановой предсмертные раздумья Елены выполняют противоположное назначение. Они передают негибкую моральную силу людей, оду-

шевлённых идеалами коммунизма, — людей, любящих жизнь и свободных от страха перед смертью.

Народно-героическая тема, широко развёрнутая автором в третьей части трилогии, потребовала новых сюжетных и композиционных приёмов. В центре романа «Жизнь против смерти», как и в центре двух предшествующих книг, стоят несколько основных персонажей, очерченных крупным планом. Но вместе с тем повествование становится всё более масштабным, вмещает много разнообразных человеческих судеб. Некоторые действующие лица, занимавшие прежде относительно скромное место, в последнем томе трилогии играют гораздо более активную роль. Обогащается характеристика коммуниста Франца Антенны, ставшего одним из руководящих деятелей патриотического подполья. Новые боевые качества проявляет Тоник Скрживанек, организующий взрыв немецкого поезда с боеприпасами неподалёку от бывшей цитадели Казмара. Активными помощниками партизан становятся молодая текстильщица Лидка и её муж Гаек, обнаруживающие в себе в суровую годину войны неизведанные духовные силы. В романе «Жизнь против смерти» появляются и новые действующие лица, необходимые автору для того, чтобы показать многообразие и сплочённость участников антифашистского сопротивления. Среди них — врач Зденка Недведова, «солнце лагеря», — молодая коммунистка, вселяющая бодрость в души своих товарок по заключению в концлагере Равенсбрюк; и юная, смелая Андела Пехова, связанная пражской подпольной организацией, — фигура, родственная Лиде Плахе из «Репортажа» Фучика; и уже знакомый нам студент Божек, воспитанник Гамзы, участвующий с оружием в руках в освобождении Праги... Пуйманова неоднократно вводит в повествование массу, — и масса эта образует не фон, а движущую силу эпического действия. Заключённые разных национальностей, томимые — и борющиеся — за колючей проволокой концентрационных лагерей; крестьяне отдалённых деревень, которые с готовностью дают приют людям, спасающимся от фашистского террора; столичные пролетарии, которые «в мирное время кормили, поили, одевали и возили Прагу, а теперь стали снабжать её оружием» для борьбы с оккупантами; бойцы чехословацкой воинской части, сражающиеся бок о бок с Советской Армией, — все

они, взятые вместе, образуют неодолимую силу, победоносно противостоящую фашистским убийцам.

Идейная зрелость Марии Пуймановой как художника, стоящего на позициях социалистического реализма, особенно ощутимо сказывается в том, как она изображает роль коммунистической партии в антифашистском сопротивлении. Правда, Пуйманова не берёт на себя задач хроника, не пытается дать исчерпывающую хронику деятельности компартии в годы оккупации; не пытается она и раскрыть перед читателями сложное устройство нелегального партийного механизма. Она подходит к своей ответственной теме прежде всего как художник, для которого логика истории облечена в живые человеческие образы. На страницах её романа сила коммунистической партии выявляется в высоких идейных и нравственных качествах людей, выращенных партией, направляемых ею. И каждый из действующих в книге коммунистов — Гамза и Елена, Францек Антенна и Зденка Недведова — не только проявляет высокое личное мужество в невыносимо тяжелых условиях, но и способен вести за собой других, быть наставником и примером для окружающих. Собираемый образ партии вырастает у Пуймановой из взаимодействия, сочетания, сопоставления разнообразных фигур коммунистов, действующих в романе. Среди многих лиц, созданных вымыслом художника, время от времени появляются и реальные исторические лица — Клемент Готвальд, Антонин Запотоцкий, Густа Фучикова. Образы видных деятелей компартии — пусть они и входят в повествование лишь ненадолго — подтверждают историческую достоверность той картины недавнего прошлого, которая дана Марией Пуймановой.

Сила и жизненность коммунистического мировоззрения выявляются у Пуймановой не только в поступках лиц, озарённых светом передовых идей; они обнаруживаются и в тех сдвигах, которые происходят за годы войны во многих рядовых тружениках, впервые и с большими усилиями «продирающихся к правде». Если супруги Гаек в дни оккупации впервые выходят за пределы узкодомашних забот и интересов, — это не в малой степени заслуга их друга Антенны. Если старая труженица Галачка отрешается от былой пассивности и покорности судьбе, — это не в малой степени за-

слуга Елены, её соседки по тюремной камере. Среди патриотов-антифашистов, действующих в романе, представлены люди разного духовного и душевного склада, в том числе и люди, политически совсем невежественные. Но благотворное воздействие коммунистов простирается и на них.

Марии Пуймановой во многих случаях удаётся очень убедительно передать этот рост обывателей, становящихся борцами. Очень хорошо показана, например, внутренняя эволюция супругов Гаек или Блажены из Лидице. Но не всегда это внутреннее развитие персонажей романа прослежено достаточно отчётливо. Несколько двойственной фигурой остаётся до конца учительница Ева, дочь Казмара. В первых частях трилогии эта робкая, невзрачная девушка выглядела безобидным и чуть-чуть жалким существом: сочувствие к рабочим и привязанность к родной культуре сочетались у неё с ребячливой верой в добропорядочность её хищника-отца. В третьей томе трилогии мы видим Еву Казмарову в концлагере Равенсбрюк. Но как она попала туда? И оказалась ли она от своих наивных иллюзий? Это остаётся неясным.

Одним из стержневых персонажей трилогии является, как мы помним, Станислав Гамза. Героическая смерть отца и сестры оказывает на него глубокое воздействие. Подпольщица Андела вовлекает его в борьбу с оккупантами. Станислав, интеллигент созерцательного склада, с юных лет отравленный литературой декаданса и идеологией «классового мира», в конце повествования встречает Советскую Армию на баррикадах Праги. Но его сомнения и колебания всё-таки показаны гораздо более впечатляюще, более рельефно, чем его антифашистская деятельность. В памяти читателя он всё-таки остаётся прежде всего как «человек на перепутьи».

Зато очень отчётливо, с большой глубиной психологического проникновения передано Марией Пуймановой внутреннее развитие Ondrea Urbana.

Ondrej с самого начала — цельный и вместе с тем сложный образ. Писательница смело и в то же время тонко раскрывает внутренние противоречия, присущие этому одарённому молодому рабочему. Вместе с Ondреем в повествование с первых же страниц входит тема созидательного труда, умелых рук, пылливой технической мысли. Его детство одушевлено мечтой о творче-

ской трудовой деятельности. «Мужчина возьмёт тиски, зажмёт в них ключ и выпилит в нём зубцы. У него есть всевозможные клещи, разводные ключи и множество шурупов, гаек и проволоки. Он повелевает огнём и металлами...» Эти мечты крепнут у Ондreja-подростка. «...У него открывались глаза, и мир показался ему огромным и неодолимым. Ондрей шёл на него один на один, как борец, засучив рукава».

Но тут мы уже чувствуем сложность тех путей, какими пойдёт Ондрей Урбан. Жестокая капиталистическая действительность приучает его думать, что сильный человек должен преодолевать препятствия не иначе, как «один на один». На примере Ондreja романистка очень наглядно показывает, как буржуазное общество извращает даже лучшие качества, присущие человеку. Молодой ткач испытывает подлинный творческий восторг, разглядывая, осяпывая шершавый кусок материи — первое изделие собственных рук. Но он не задумывается над тем, что своим трудолюбием обогащает паука-хозяина... В отравленной атмосфере казмаровской вотчины способный и гордый юноша заражается духом мелкого тщеславия, становится чужд собственному классу.

Через посредство Ондreja Пуйманова разоблачила волчью природу буржуазного мира. И через его же посредство показывает она облагораживающее воздействие социалистической действительности на человека.

В первых главах романа «Жизнь против смерти» действие переносится в Советский Союз. Мещанский индивидуализм Ондreja, получивший первые удары ещё в Чехословакии в период кризиса, мало-помалу выветривается за годы его работы на советских фабриках. Приехав в СССР в поисках работы, Ондрей попадает в небывалую для него атмосферу товарищеской солидарности, подлинного гуманизма. Его отношение к людям, его взгляды на жизнь становятся иными. Пуйманова даёт представление о том, насколько нелёгкой, во многом болезненной была для него эта внутренняя ломка. Лишь годы войны, пребывание в чехословацкой воинской части, сражавшейся с гитлеровцами, до конца завершают моральное выпрямление Ондreja. Он возвращается на родину другим человеком.

Писательница правильно почувствовала, что изображение перелома в духовном облике её героя сможет быть по-настоящему

убедительным только в том случае, если она сумеет осязательно, реально представить ту действительность, под влиянием которой изменился Ондрей. И она постаралась в своём романе показать Советский Союз и советских людей не в форме репортажа (как это сделала она сама в 1932 году, как это делали многие прогрессивные писатели разных стран до неё), а в развёрнутом художественном повествовании. Главы романа Пуймановой, непосредственно посвящённые советской жизни, приобретают особое важное, принципиальное значение оттого, что в трилогии Пуймановой идёт речь о роли СССР не только в судьбе Ондreja, но и в исторических судьбах чехословацкого народа.

Тема России — важная традиционная тема чешской литературы. Классики чешской поэзии и прозы неоднократно воспевали Россию как великую страну, опору братских славянских народов в их стремлении к национальной независимости. «Будь Москва то, будь то Прага, наша родина — одна», — писал некогда К. Я. Эрбен. Алоиз Ирасек в большом историческом романе «Ф. Л. Век» рассказал о том, как победа русского народа над Наполеоном помогла пробуждению национального самосознания в чешском народе, угнетённом австрийской монархией.

В передовой поэзии Чехословакии послеоктябрьских лет — например, в «Красных песнях» Станислава Костки Неймана — тема России приобрела, разумеется, качественно новое звучание. Советская страна предстала в произведениях чешских писателей как великий источник революционной энергии, опора трудящихся и угнетённых всего мира. Пуйманова и в этом смысле продолжает традиции передовой чешской литературы. Вслед за Юлиусом Фучиком она показывает Советский Союз как великую страну социализма, «оплот будущности» всего трудящегося человечества, и в то же время — как опору чешских патриотов, как великую братскую силу, несущую народу Чехословакии избавление от гитлеровского гнёта.

Перед тем, как писать третью часть трилогии, Мария Пуйманова побывала в Советском Союзе. В описании работ Ондreja на шелкоткацкой фабрике в Тбилиси, в изображении тех людей, с которыми он встречался в СССР, романистка опиралась на личные впечатления.

Пуймановой удалось передать в советских персонажах романа некоторые существенные, типические черты социалистического человека. И возлюбленная Ондreja, «золотая искорка», комсомолка Кето, как бы олицетворяющая неуязвимую молодость Советской страны; и её отец, пожилой колхозник, севший вместе с дочерью за парту, чтобы овладеть сельскохозяйственными знаниями; и директор фабрики Софья Александровна, старая коммунистка с богатым революционным прошлым, разгадавшая в чехе-ткаче задатки талантливого инженера; и незнакомый сосед по вагону, который в дни мюнхенской катастрофы ободряет Ондreja дружескими словами,— все эти и ряд других действующих лиц романа помогают чешскому читателю ближе увидеть ту среду, в которой выросло и сформировалось социалистическое сознание Ондreja.

Понятно, что писать о Советском Союзе на основе сравнительно беглого знакомства — дело нелёгкое даже для крупного художника. Эпизоды советской жизни у Пуймановой подчас не свободны от известной доли условности, от мелких натяжек (например, непонятно, в качестве кого Кето, агроном по профессии, собирается работать на шелкоткацкой фабрике). Довоенная советская жизнь рисуется в очень ярких, мы бы сказали, в праздничных красках; и при этом писательница не даёт достаточно ясного представления о том, что успехи социализма в СССР были достигнуты в борьбе с многочисленными врагами, в преодолении трудностей, с большим напряжением сил. Но зато правильно передано настроение советских людей в первый день Отечественной войны — их внутренняя мобилизованность, собранность, решимость к разгрому фашизма. Изображение жизни СССР в романе Пуймановой, не безупречное в деталях, верно по своему общему духу.

«Жизнь против смерти» завершается радостными картинками освобождения Праги в мае 1945 года. И тут Мария Пуйманова с большой силой и искренностью передаёт ликование чешского народа, его чувства любви и благодарности советским воинам.

С темой Советского Союза связан один из наиболее удачных, запоминающихся образов всей трилогии. Это мальчик Митя, внук Гамзы, сын Елены. В романе «Жизнь против смерти» он занимает очень важное место. Тут у Пуймановой проявляется и присущее ей с давних пор мастерство в об-

рисовке психологии ребёнка и вместе с тем идейная острота, содержательность, свойственные её зрелому творчеству.

Митя родился в Советском Союзе. Он твёрдо помнит слова, сказанные ему матерью: «Никогда не забывай, где ты родился,— в самой отважной стране на свете». На протяжении всего повествования Мите сопутствует, как своеобразный психологический лейтмотив, образ советского солдата. Память мальчика крепко хранит впечатления раннего детства: на фоне огромной белой цистерны с нефтью стоит часовой с винтовкой. «Красноармеец был недосыгаем во всех смыслах, и Митя не знал более благородного занятия, чем стоять на страже с оружием в руках на такой высоте и охранять нефтехранилище, куда ребят даже не подпускают».

Очень убедительно, человечно передаёт Пуйманова душевную драму Мити в годы оккупации. Живой, по-ребячьи непосредственный мальчик приучается свято хранить конспиративные тайны родителей. Мысль о Советском Союзе поддерживает Митю, когда он узнаёт о казни матери, когда он не решается даже с любимой бабушкой поделиться тревогой за отца, находящегося на нелегальном положении. Во время боёв за Прагу Митя получает задание: охранять помещение, где находятся пленные гитлеровцы. Ему мучительно хочется спать, но он вспоминает о советском часовом у нефтехранилища. «Нельзя уснуть, и не усну. Вот и я стою на страже, как он».

В образе Мити олицетворена юность народно-демократической Чехословакии, её светлое будущее. Чешские дети его поколения — те, что 9 мая 1945 года радостно встречали советских воинов, дарили им сирень, просили покатать на танке,— ныне становятся взрослыми и вступают в самостоятельную жизнь. Им нужны книги, которые помогли бы им разобраться в недавнем прошлом их страны,— книги, проникнутые уважением к памяти погибших героев, любовью к родине и революционным интернационализмом. Им нужны такие произведения, как трилогия Пуймановой.

У нас незаслуженно мало знают Пуйманову-поэта. На русском языке опубликовано всего несколько её стихотворений, да и то в очень несовершенных переводах. А это жаль! Мария Пуйманова не только выдаю-

шийся прозаик, но и интересный, своеобразный поэт.

Первый сборник её стихов, «Песенник», включавший произведения разных лет, вышел в 1939 году. За ним последовали «Стихи матери» (1940). Тематика этих первых сборников в значительной мере носила интимный, камерный характер; их поэтическая речь в иных случаях отличалась нарочитой недосказанностью. Но и в них повсюду проявлялась кровная связь писательницы с национальной, народной почвой (пример тому — маленькая поэма о старой няне, носившая программный заголовок «В людях люблю эту землю»); в них встречались светлые реалистические картинки детской жизни («Мальчик с собакой»).

Книга «Радость и горе» (1945) — памятник лет оккупации. Многие стихи в ней проникнуты глубокой скорбью и вместе с тем справедливым гневом. «Не простим им, ибо они ведали, что творили» — так кончается стихотворение о девочке, погибшей во время войны. В одном из стихотворений поэтесса говорит: «Я прожила в любви свой век — теперь учу ненависти своё старое добродушное сердце...» Но в этой книге запечатлено и счастье майских дней 1945 года. Чудесное маленькое стихотворение, посвящённое освободителям Праги, кончается строчкой на русском языке: «Да здравствует Красная Армия!»

В послевоенные годы поэзия Пуймановой становится всё более широкой и многообразной по своей тематике. Она вбирает в себя коренные проблемы современности, отнюдь не утрачивая при этом своего лирически непосредственного тона. Сборники «Признание в любви» (1949) и «Миллионы голубок» (1950) посвящены строительству новой жизни в Чехословакии, Советскому Союзу, международному движению за мир.

В поэзии Пуймановой проявляется присущее ей горячее чувство интернационализма. Она создаёт стихи о борьбе трудящихся Франции и Италии, антифашистов Греции. Её книга очерков «Славянский дневник» (1947) включает в себя ряд стихотворений о Болгарии и Польше. В то же время писательница с любовью запечатлевает то новое, что рождается в быту и сознании народных масс её родной страны. О духовном росте

трудящихся женщин Чехословакии выразительно говорят, например, её стихи, озаглавленные «Год партийного просвещения».

Проникновенно, задушевно пишет Пуйманова о Советском Союзе, о советских воинах («Как весна приехала на танке»). Она находит доходчивые, идущие из глубины души слова, чтобы рассказать чешским детям о великой стране социализма. Для юных читателей предназначено, в частности, стихотворение «Пять звёзд над Кремлём», написанное очень просто и очень сильно.

Одно из основных произведений Пуймановой за последние годы — большое стихотворение «Миллионы голубок», давшее название одноимённому сборнику. Оно особенно наглядно показывает, насколько безыскусственно и сердечно умеет говорить поэтесса о больших проблемах современной жизни. От лица женщин, матерей, от лица простых людей всего мира Пуйманова клеймит поджигателей-атомщиков, протестует против их военных приготовлений. Она прославляет радость мирной трудовой жизни.

В стихотворении «Миллионы голубок» есть примечательная строчка. Мария Пуйманова говорит о себе: «очарована красотой мира». И в самом деле: она всегда выступала как художник, умеющий обострённо-чутко реагировать на всё красивое, что есть в мире, любящий воспевать красоту родной страны, родной природы, чистой человеческой души. Однако её нынешнее творчество — не только песнь во славу мирной жизни, но и призыв к тому, чтобы отстаивать эту жизнь, защитить её от тёмных сил, которые ей угрожают.

Все произведения Пуймановой отмечены ярко выраженной гуманистической направленностью. Но гуманизм её первых книг носил созерцательный оттенок. Зрелое творчество Пуймановой проникнуто гуманизмом боевым, действенным. Её стихи последних лет свидетельствуют об этом с не меньшей ясностью, чем её проза.

Народ Чехословакии обладает многовековой богатой культурой. Изучение творчества Марии Пуймановой даёт возможность наглядно убедиться, какими новыми чертами обогащается эта культура в условиях победоносного строительства социализма.



СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Павловский. «В дальней стороне». — **В. Кардин.** Серый роман. — **К. Лапин.** «Дети большого дома». — **Г. Рабинович.** Книга о Ванде Василевской.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Волгин, А. Алексеенко. Разоблачение политики боннских реваншистов. — **Д. Уманский.** Правда о войне во Вьетнаме. — **И. Крупеников.** Теория и практика северного земледелия.

Литература и искусство

«В дальней стороне»

Роман П. Воронина «В дальней стороне» — первое крупное произведение молодого писателя. В нём рассказывается о жизни людей далёкого таёжного лесного участка в одном из районов Дальнего Востока.

Впечатление от первых глав складывается не в пользу романа: смущает сходство завязывающегося конфликта с тем, что уже было неоднократно читано.

Отставший от требований жизни руководитель вынужден уступить своё место другому, молодому, лучше понимающему новые задачи. Здесь же возникает и второй конфликт — между новым руководителем и его женой, тяготящейся таёжной жизнью и не понимающей своего вечно занятого мужа (добровольно ушедшего, к тому же, из министерства на практическую работу). Читая об этой скучающей и раздражительной женщине, с досадой угадываешь, как всё это будет развиваться дальше, как отсталый руководитель к концу романа осознает свою ошибку, а между мужем и женой — тоже к концу романа — настанет мир.

Но это первое впечатление вскоре рассеивается. Правда, всё так и получается, как угадывалось, то есть исправился отсталый руководитель, а жена поняла своего

мужа. Но основные герои книги оказались людьми с живыми и не без таланта очерченными характерами, и следить за развитием их судеб становится всё более интересно. Это не просто «консерватор», «новатор» и «консервативная жена новатора», а люди, которые встречаются друг с другом в реальной жизни, живущие и думающие каждый на свой лад.

Первые главы (как, впрочем, и вся первая половина книги) слабее последующих. В них молодой писатель, думается нам, по недостатку литературного опыта, позволил читателю предугадать слишком многое из того, что до поры до времени знать не следовало, а это, как известно, противопоказано искусству, одно из условий которого — естественная «неожиданность» происходящего. Писатель слишком много рассказал в этих главах и о том, что он сам думает о своих героях.

Эти художественные ошибки первых глав сразу же дали критикам возможность обвинить в схематизме весь роман. В газете «Советская Сибирь» с таким обвинением выступил Евг. Лучинецкий. Он увидел в книге лишь избитую литературную схему и все недостатки произведения объяснил именно этим.

Как уже сказано, действие развёртывается в тайге, вблизи строительства. Огромная стройка тормозится из-за недостатка леса;

Пётр Воронин. «В дальней стороне».
Роман. Новосибирское книжное издательство, 1953.

вырубку и вывозку надо увеличить по крайней мере вдвое. Коллектив лесоучастка состоит главным образом из переселенцев, приехавших сюда из западных областей Союза во время войны по вербовке. Это люди с очень тяжёлым прошлым, осиротевшие, пострадавшие, потерявшие семьи. Такой коллектив, думает начальник участка Скуратов, не способен выполнять поведенные планы. «А, что говорить! — с горечью рассуждает он. — Захочешь опереться, оглянешься, а почти и не на кого. Настоящих лесников десятков, не больше...» Так и шла работа — ни ходко, ни валкс: в начале каждого месяца «штурмовали», в конце каждого месяца отдыхали. Были даже кое-какие достижения. Жизнь как жизнь...

Скуратов рассуждает: ну чего ещё требовать, когда и так делается всё, что можно? Выше себя не прыгнешь! В лесу он работает с незапамятных времён, опыта — уйма, и опыт этот говорит, что увеличить выработку при наличных силах и технике, как хотите, — просто невозможно. «Лес рассчитывали по реке сплавить. Ну, а вода была низкая, морозы рано ударили. Сорвался сплав. Сейчас вся надежда, что дорогу железную закончат скоро. По ней будут и лес возить. А пока на нас вся опора. Вот и поджимают, требуют, чтобы мы больше давали. А мы за чужие дела не отвечаем. У нас и так куда ни кинь — везде клин. По одежке протягиваем ножки. Так-то... Вот людей бы нам подбросили да механизмов». Со своей точки зрения Скуратов вроде даже прав. Не верить ему нет оснований: человек заслуженный, нет такого угла в крае, где бы он не приложил к работе своих рук. Он имеет право говорить о себе: «Жил не даром. Пусть другие попробуют сделать больше моего».

П. Воронин показывает сложность человеческой души. Его Скуратов — советский человек, но он болен опасной нравственной болезнью. Свой богатый опыт он превратил в икону: смотреть смотри, поклоняйся, но трогать не мочи! Коллектив людей, отданный ему под руководство, оказался в результате лишённым инициативы.

Эта характеристика Скуратова складывается естественно, она возникает из избранных в романе отношений и поступков.

Здесь нет схемы, здесь есть реальный, правдивый характер. Как ни странно, именно это послужило Евг. Лучининому осно-

ванием для того, чтобы обвинить роман в... схематизме. Критик настолько держится за свою предвзятую мысль, что даже то, например, что Скуратов вызывает у читателя известную симпатию, сохраняющуюся на протяжении всей книги, рецензент объясняет «бунтом героя» против схемы, в которую его насильно уложил автор.

Как можно так истолковать хорошую реалистическую многосторонность образа! Читатель чувствует, что Скуратов — не конченный человек. В нём много подлинной силы, преданности делу, он честный советский человек. Как ни трудно ему было совладать с собой, он после долгих и серьёзных размышлений понял, что направил свою силу в неверную сторону, что его законная гордость своей прошлой работой превратилась в зазнайство и лишила прежний опыт живой ценности. Он выстрадал эту мысль, но, когда дошёл до неё, не стал закрывать глаза на тяжёлую для него правду. Естественно, что образ этого сильного и честного человека вызывает симпатию читателя, с тревогой следящего за его судьбой. Скуратов не из тех «отрицательных героев», которые молниеносно «перестраиваются» к концу романа; он на протяжении всего произведения переживает нелёгкую эволюцию.

Борьба между Скуратовым и его преемником Павлом Буровым обостряется их родственными отношениями: Павел — названный сын Скуратова. Скуратов никак не может отрешиться от мысли, что Павел — мальчишка, которого он знает «вот с таких пор», и все его нововведения считает несерьёзными. Павлу же, разумеется, трудно терпеть это пренебрежение, он горячится, порой говорит лишнее и горько жалеет, что попал на работу к родственнику, — ему неловко указывать на ошибки человеку, которому он многим обязан.

Герои книги П. Воронина — в большинстве своём люди трудной судьбы. Мастер Ромашов тяжело переживает разрыв со своей женой; он любит ребёнка, оставшегося у матери. Работница Авдотьина во время войны потеряла всю семью; прошло несколько лет, а она всё ещё чуть жива от непоправимого несчастья. Тоня, молоденькая дочь возчика Корнея Ивановича, обманута грязным проходимцем Ласточкиным.

У каждого свои заботы, своя нелёгкая жизнь. Но всеми подлинно советскими людьми владеет, всеми руководит любовь к

труду. Труд у них тоже нелёгкий — лесной, таёжный; но он даёт горячую радость творчества. Об этом в книге П. Воронина написано правдиво и интересно. Мы уже упомянули, однако, в начале нашей рецензии, что далеко не всё в этом романе удачно.

Бросается в глаза, что многие весьма важные для романа действующие лица, интересно намеченные автором, так и не получили в дальнейшем развития и конкретизации (Андреев, Сеня Петухов, парторг лесочастка Ахумов, бригадир Воронов, рабочие — Соседин, Соколин и другие). Есть, к сожалению, и характеры-штампы. Таков начальник строительства Белорусов; он разговаривает несколько военизированным тоном, у него обязательные «уверенные движения», «строгий взгляд», «громкий голос», он «подтянут», ходит «твёрдым шагом» — и, кроме этих дежурных «начальственных» признаков, мы так в нём ничего и не видим, ничего о нём не узнаём. Не запомнится читателю и секретарь парткома Игнатъев; это тоже «секретарь вообще». Его голос звучит «мягко, но вместе с тем требовательно», от него исходит «окрыляющая уверенность», он «не любит делать поспешных выводов»; глядит «вприщур» и т. д. и т. п.

Не всегда даётся автору индивидуальная языковая характеристика. Речь одного лишь Скуратова сразу выделяется своей образностью и лаконичностью и помогает читателю лучше узнать этого человека. Язык других героев гораздо менее индивидуален. Эта одинаковость языка особенно заметна тогда, когда сталкиваются и разговаривают между собой люди, очень раз-

ные по психическому складу, образованию, вкусам, взглядам. Так, например, между языком мрачного пьяницы мастера Ромашова и языком начальника участка Бурова нельзя заметить ни малейшей разницы — ни в словаре, ни в интонациях.

Описательная сторона романа изложена в основном добротным литературным языком. В ней есть запоминающиеся портретные и пейзажные зарисовки. Тем досаднее, что попадают куски, написанные в той искусственной и безжизненной манере, которую почему-то нередко оправдывают, называя её «очерковой» (хотя в очерке она так же плоха, как и в романе): «Ветер играл кумачом пионерских галстуков, обвевал ребячьи раскрасневшиеся лица, послушно уносил короткие бойкие выкрики и смех к центру улицы...»

Автор подчас умеет создать оригинальную художественную деталь. Но рядом с художественными находками есть описания скучные, загруженные ненужными деталями; автор не всегда чувствует оттенки слова («длинный локон свесился на шёку, отклоняясь в сторону при каждом выдохе»).

Мы говорили уже, что вторая половина книги написана более ярко и точно, чем начало романа. Создаётся впечатление, будто в ходе этой работы автор накапливал литературное умение, учился более сознательно относиться к мастерству. Будем надеяться, что последующие работы П. Воронина обнаружат дальнейший рост молодого способного писателя.

А. ПАВЛОВСКИЙ.

★

Серый роман

Роман Ильи Кремлёва «Солдаты революции» посвящён событиям периода иностранной военной интервенции и гражданской войны в нашей стране, истории обороны Астрахани под руководством С. М. Кирова, боям за освобождение Кавказа. Эта героическая борьба была одним из ярких проявлений сознательного исторического творчества миллионов простых людей, поднятых партией коммунистов на

Илья Кремлёв. «Солдаты революции». Журнал «Звезда» №№ 8—12, 1953.

борьбу за социализм. Естественно желание читателя найти в книге, посвящённой солдатам революции, живое, реалистическое изображение деятельности масс, сложных путей их политического роста, выдвижения из народной толпы вожаков — коммунистов и беспартийных. Долг писателя, взявшегося писать исторический роман, — показать, как внедрялась советская политика в массы, отобразить сложный и многообразный психологический процесс их приобщения к социалистическим идеям. Это требование — беспорное.

К сожалению, не так понял свою задачу И. Кремлёв. Он ищет приметы времени не в людях, не в их внутреннем мире, отражающем сущность исторического этапа, а в чисто внешних, эффектных и, как очевидно, кажется автору, «выигрышных» случайностях. Отдельные эпизоды такого рода менее бросались бы в глаза, если бы автор хоть сколько-нибудь приблизился к отображению роли народа в битвах революции и гражданской войны, если бы в книге хоть в какой-то мере была показана сила коммунистических идей, становление нового морального облика человека. Но этого, повторяем, в романе нет.

Вот, например, Астахов — один из существенных в книге персонажей. Его внутренняя жизнь настолько закрыта от читателя (и, повидимому, от автора), что нет и не может быть доверия к рассказанному писателем фактам его жизни. Так и не ясно, почему этот молодой рабочий, славший экстерном за шесть классов гимназии, недавно вступивший в партию, лишь в 1919 году впервые взявший в руки винтовку и начавший свою работу комиссара с того, что, составляя режим дня, записал в полевой книжке «дышать свежим воздухом — ежедневно от одиннадцати до пятнадцати минут двенадцатого», уже в 1920 году с успехом командует стрелковой дивизией. Нам мало известны мысли этого человека, его чувства. Поэтому то, что должно было стать в художественном реалистическом произведении признаками роста личности героя, остаётся всего лишь его служебными успехами. А этого ещё недостаточно для того, чтобы читатель понял и полюбил его, как он понял и полюбил Чапаева, Павла Корчагина, героев «Молодой гвардии».

Ухарь-братишка Панфилов становится командиром флагманского корабля, а впоследствии — сводного матросского отряда; боец продотряда Денисов назначается комиссаром бригады; скромная медицинская сестра Дуся переводится шифровальщицей в штаб армии; даже дочь царского генерала Варенька, прошедшая школу жизни в стенах Смольного института для благородных девиц, неожиданно принимается в партию и делается чуть не правой рукой секретаря Владикавказского горкома. Но все эти быстрые и поразительные изменения в судьбах героев лишь замечатель, посредством которого автор прячет

своё неумение изображать людей, раскрывать их психологию.

Тем персонажам, которым не уделено в достаточной мере и этих средств «индивидуализации», автор даёт лишь набор разухабистых матросских реплик, банальных любовных томлений, огромных маузеров, бескозырок, скрипящих портупей и прочего литературного реквизита.

В этом отсутствии реальных людей в романе — основная его слабость, чрезвычайно наглядно показывающая слабость исторического мышления и неполноценность художественного метода автора. Писатель не может художественно воссоздать правду истории, лишь цитируя подлинные документы и придерживаясь хронологической последовательности событий. Правда истории должна найти в романе своё воплощение в типических образах героев. И. Кремлёв не учитывает также и того, что быть человеком, типичным для эпохи, ни в коей мере не значит лишиться индивидуального мировосприятия. Писатель не учёл, что типические черты мировоззрения и психологии преломляются у каждого по-своему, что типичность вовсе не исключает индивидуальности.

При всей правильности своих суждений положительные персонажи романа не воспринимаются как конкретные, живые, думающие, чувствующие люди. Порой справедливые мысли, приходящие в голову герою, до того общи, что не только никак не характеризуют человека, но разрушают и без того не слишком конкретный образ.

Главарь одной из банд, орудовавших в горах Дагестана, Санап, желая доказать свои мирные по отношению к советским войскам намерения, привозит Астахову голову убитого горцами английского шпиона, снабжавшего банду оружием и деньгами. Разглядывая эту голову, Астахов узнаёт бывшего астраханского губпродкомиссара Недолина — того самого, под началом которого он, Астахов, работал в Астрахани. Что же почувствовал, о чём подумал в такую минуту Астахов? Он «...подумал о том, до какого оствережения и уродства довела этих тёмных горцев проводившаяся из-за кордона, из нищей, закабалённой англичанами Персии, многолетняя политика подкупа и шантажа». Он не поражён тем неожиданным открытием, что давно известный и лично знакомый ему человек оказался предателем. Нет, Астахов сразу

безупречно формулирует мысль, обязательно связанную с его индивидуальной реакцией. Можно ли ждать, чтобы такой Астахов был воспринят читателем как живая личность?

Во время революции на сторону народа переходили отдельные представители распадающихся эксплуататорских классов. В согласии с исторической правдой И. Кремлёв в своём романе вывел несколько таких фигур. Это — старый генерал Реутов, бывший царский офицер Гусев, сын купца-миллионера Самохин. Путь каждого такого человека извилист, сложен, и тут без психологического анализа обойтись нельзя. Однако и здесь И. Кремлёв прибегает к помощи «заменителей», то есть якобы значительных внешних проявлений, за которыми на самом деле ровным счётом ничего не стоит.

Старый аристократ, генерал-лейтенант генерального штаба Реутов изображён в романе как ближайший помощник С. М. Кирова во многих военных делах. И не только помощник, но и личный друг. Автор пытается понять и объяснить своего героя. Гражданская война носила не только социальный, но и национально-освободительный характер, так как она привела к разгрому иностранных интервентов, пытавшихся закабалить нашу Родину. Сознание этой роли Красной Армии и приводит Реутова в её ряды. Однако этого ещё недостаточно, чтобы советское командование могло спокойно доверить Реутову штаб армии. Ведь в романе И. Кремлёва есть и противоположный случай. Буквально на следующей странице после того, как приведены эти соображения в пользу Реутова, к Кирову приходит командир полка, член партии, бывший офицер Есипов. Ему не верят, считая, что Есипов лишь попутчик революции, а попутчики часто сворачивают с пути. Таким образом, общие предпосылки, при всей их правильности, всё же не служат полным ответом на каждый частный вопрос.

Нельзя считать серьёзным основанием для безоговорочного доверия к Реутову и его личную неприязнь к отдельным белым генералам. Мало что даёт и неожиданно обнаруженное «сермяжное нутро» старого генерала. «—Страсть люблю деревянной ложкой есть, — сказал Реутов, — сколько раз от жены-покойницы попадало. Моветон. А что мне моветон, когда в серебряной никакого вкуса нет?»

С точки зрения художественной правды подобные «характерные чёрточки» — просто «заменители». Почему же автор удовлетворился ими? Да лишь потому, что «старый генерал» найден автором не среди людей первых лет революции, а на книжных полках, среди многочисленных «перестраивающихся» и «сомневающихся» литературных стариков.

Переход купеческого сына Самохина на сторону народа автор отчасти объясняет тем, что его мать была солильщицей рыбы. А потом ещё Самохину привиделся сон. Вскоре после того, как председателем ЧК Атарбековым был выпущен на свободу необоснованно арестованный Самохин, ему приснился Атарбеков, повешенный на телеграфном столбе; на его мёртвой голове сидел ворон. Наутро неосознанная прежде неприязнь Самохина к прошлому приняла конкретные и действенные формы, он пошёл к Атарбекову и сообщил об известном ему заговоре. Не удивительно, что мотивируя переход Самохина на сторону революции таким способом, автор значительно обеднил и упростил образ.

Как, почему, по каким мотивам бывший царский офицер, убеждённый корниловец, Николай Гусев стал коммунистом? Автор этого вовсе не объясняет, а лишь требует, чтобы читатель принял этот факт на веру. Коль скоро Гусев выполняет конспиративные задания партии, то уже, мол, без нас где следует и кто следует получил ответы на все необходимые вопросы. Но для читателя от образа Гусева ничего не остаётся, кроме фамилии и некоторых внешних примет. На большее автор в данном случае претендовать не может.

Стремления И. Кремлёва наполнить образ Вареньки, дочери Реутова, значительным содержанием ни к чему не привели. Варенька, эта «тараторящая институтка», вначале к огорчению, а потом к радости старого отца влюбившаяся в рабочего-коммуниста Астахова, в меру болтлива, в меру капризна, в меру сентиментальна. Она увлечена Астаховым («Если бы вы знали, как я влюблена. Честное слово, первый раз в жизни, не считая того, что было в Смольном. Там мы влюблялись во всех учителей и братьев подруг...»), она от души желает аристократическое «папá» прозвонить впрёд как простонародное «па́па». Можно поверить, что под влиянием Астахова, новых обстоятельств и новых

людей она делается серьёзнее, что она даже идёт в медсёстры. Наконец, можно допустить, что она хочет вступить в партию. Но трудно поверить, что эта воспитанница Смольного института сразу же станет незаменимым работником в горьком партии, куда её направляет автор, стремящийся каждого героя «пристроить на должность».

Революция, гражданская война— это напряжённейшая борьба, крутые и во многом непредвиденные повороты в судьбе общественных классов и отдельных людей. И вместе с тем во всех этих огромных изменениях всегда проявляется основное направление исторического процесса. В романе И. Кремлёва очевидно увлечение внешней стороной военных событий и классовой борьбы в ущерб тому, что должно было прежде всего приковать внимание автора, — отражению этих событий и этой борьбы в сознании людей. В романе частенько мелькают подложные документы, цианистый калий, потайные звонки, отравленные торты, таинственные записки, прекрасные шпионки и т. д. Попросту говоря, автор, не веря в то, что можно заинтересовать читателя материалом, взятым из жизни, художественным воплощением исторической действительности, решил воспользоваться теми испытанными «интригующими» приёмами, которыми в литературе обычно изображается

Погоня в Западной пустыне,
Калифорнийская гроза
И погибавшей героини
Невероятные глаза.

И. Кремлёв неумеренно использует аксессуар детективной литературы, он питает явное пристрастие к описанию довольно однообразных разведывательных и контрразведывательных операций. В книге со строгим и величественным названием мелькают главки с романсовыми заголовками, вроде «Однажды в апреле...», «Когда зацветут сады», «Чтобы ты была счастлива...»

Завлечь читателя любыми средствами! И опытному чекисту, кристально честному коммунисту Георгию Атарбекову приписывается трагическая любовь к «интересной авантюристке» в голубом. Атарбеков чувствует, что шпионка его соблазняет; авантюристка изощряется, плетя любовные се-

ти, симулирует самоубийство. Атарбеков рыдает на подоконнике, но не поддаётся зову сердца...

И это написано об Атарбекове, о реальной исторической личности, о человеке, чей образ сохранён в документах и воспоминаниях,— о человеке, который был одним из достойнейших держать в своей руке «обнажённый меч революции!» Между прочим, эта история с голубой шпионкой, выдержанная в тоне самой тривиальной бульварщины, уже была однажды обнародована И. Кремлёвым в виде рассказа «Случай на Кубани» (журнал «Пограничник», 1947 год). Там автор указывал, что рассказ «написан на основе собственноручных записей Атарбекова». В рассказе, правда, Атарбеков с самого начала презирал и ненавидел белогвардейскую авантюристку. Но, очевидно, И. Кремлёв полагает, что то, чего нельзя в рассказе, можно в романе...

Если автора не остановило даже чувство уважения, которое, мы не сомневаемся, испытывает и он к памяти таких солдат революции, как Атарбеков, то по отношению к вымышленным или малоизвестным реальным персонажам романа пристрастие писателя к дешёвому эффектичанью принимает ещё большие размеры. Вот как он пишет, например, о любви:

«...Лошади шли так близко друг к другу, что Олёна могла бы на скаку обхватить коричневую от загара шею Гусева, прижаться к нему, положить его руку на свой пылающий лоб. Она и без того была возбуждена ошалелой скачкой, выстрелами, захватом города. Она боялась поглядеть на Николая и, когда сделала это, замерла от счастья.

«Боже мой, он меня любит»,— сказала она себе, словно совершая какое-то необычайно важное и трудное открытие, хотя давно уже догадывалась об этом.

«Любит... боже мой... любит»,— не думая ни о чём больше, повторяла она про себя...»

Остаётся добавить, что эти «волнительные чувства» испытывала Олёна — начальник штаба партизанского отряда к командиру отряда Гусеву, сидя на бешено мчащемся коне во время кавалерийской атаки, за мгновение до смерти от вражеской пули.

Несмотря на все эти ухищрения, роман не то что читается, а преодолевается с большим трудом. Сюжет дробится, распадается,

теряет всякую определённую и принимает затяжной характер. Напрасными оказываются попытки И. Кремлёва соединить эти линии родственными связями персонажей (Варенька выдаётся замуж за Астахова, Гусев оказывается племянником Реутова, а голубая шпионка — племянницей старого генерала).

С точки зрения композиционной целостности наиболее закончена та часть книги, которая может быть определена как переложение пьесы «Крепость на Волге», написанной И. Кремлёвым несколько лет назад.

В советской литературе немало примеров переработки повестей и романов в пьесы и сценарии, что, кстати сказать, за редким исключением (среди них есть такие блестящие, как «Чапаев»), не приводит к хорошим результатам. И. Кремлёв явился в своём роде «новатором»: он из пьесы сделал роман. При этом он механически перенёс почти все диалоги, реплики, эпизоды и даже ремарки из пьесы в роман. Персонажи пьесы качественно мало изменились, они скорее изменились количеством, то есть о них сказано больше, они обросли большим числом эпизодов, предназначенных чаще всего для «заманивания читателя». Например, в пьесе и в «Солдатах революции» есть скромный секретарь Кирова — Ванечка. В середине романа он вдруг направляется с крайне рискованным заданием во вражеский тыл, а затем, благополучно вернувшись, водворяется за свой залитый чернилами стол. Кто бы мог подумать? Оказывается, Ванечка — крупнейший конспиратор! «...Любая из иностранных или белогвардейских разведок, орудовавших в Астрахани, многое отдала бы даже за незначительную часть тех сведений, адресов и паролей, которые Ванечка... хранил в своей давно облысевшей голове. Даже привычное «Ванечка», — замечает писатель, — с которым вместо имени-отчества или фамилии обращались к сорокалетнему секретарю Кирова, было лишь маскировкой».

Итак, из пьесы можно сделать роман, из закалённого чекиста — страдающего мечтательного юношу, из незаметного секретаря — выдающегося разведчика.

Писатель охотно прибегает к юмору, желая не только завлечь, но и развлечь читателя. Несомненно, в памяти И. Кремлёва — в своё время автора юмористических рассказов — хранится немало анекдотов

и шуток, ему ведомы приёмы, посредством которых можно вызвать у читателя улыбку. Всё пушено в ход. В паузах, чтобы посмешишь публику, он вводит комиссара штаба Гоберидзе, обладающего кавказским темпераментом и грузинским акцентом, а также бывшего командарма Охрименко, недалёкого человека, лентяя, говорящего с украинским акцентом. Развёртывая действие романа в Нижнем Поволжье и на Кавказе, автор до конца использовал в развлекательных целях акценты и интонации отдельных народностей, населяющих эти места. Не ограничиваясь этим, он показал, как можно коверкать русский язык с помощью английского произношения, а также, как звучит русская речь в устах эстонца («Фрочем, тураки фесте есть»).

Эти приёмы свидетельствуют, однако, лишь об отсутствии у автора вкуса и подлинного чувства юмора. И. Кремлёв недалеко ушёл от уровня своих юмористических рассказов двадцатых—тридцатых годов, между тем как требования и запросы читателей выросли за это время неизмеримо.

Не способствует повышению заинтересованности читателя и повторение одних и тех же, слегка переименованных эпизодов. На протяжении пятнадцати страниц два раза одним и тем же способом герои добывают необходимый транспорт: Лещинский стучит по столу и расстёгивает кобуру, чтобы поллучить паровоз, Астахов грозит браунингом, требуя от писаря лошадей. Дважды в очень сходной ситуации после проведения собрания в очень сходных выражениях колеблющиеся прежде люди просят «вписать их в партию». Дважды показан один и тот же трюк «восточной дипломатии», когда собеседник, знающий русский язык, не признаётся в этом и ведёт переговоры через переводчика. Это также показывает невзыскательность автора, его странную уверенность в том, что в романе, при создании эпического полотна, — не до мелочей.

Читая роман «Солдаты революции», не можешь отделаться от впечатления, будто когда-то нечто подобное уже читал. Это относится не только к избитым сюжетным ходам, психологическим банальностям, многозначительным снам и многим другим вещам, о которых мы уже говорили, но и к тому, как об этом рассказано.

«Близорукий, похожий на Чехова, капельмейстер отчаянно замахал руками, полк взял «на караул», и торжественные звуки «Интернационала» поплыли над сонным от зноя Кутумом.

Киров говорил недолго. Он поздравил солдат с предстоящим походом и пожелал боевых успехов. Последняя его фраза утонула в зычном «ура». Оркестр повторил Гимн, Астахов от имени полка заверил Реввоенсовет, что полк ляжет костями, но не пропустит белых в Астрахань.

Новое «ура» пронеслось над набережной, Астахов спустился вниз, ему подвели коня, он легко, едва коснувшись стремени, оказался в седле, и полк тронулся к казармам».

Единственное, пожалуй, в чём здесь автор самостоятелен, — это капельмейстер, похожий на Чехова, то есть находка очень сомнительного вкуса; всё остальное нигде не списано, а не своё.

Но есть в романе И. Кремлёва места, которые невольно ассоциируются с произведением совершенно определённым.

При чтении «Солдат революции» память обращается к одной книге, вышедшей накануне войны и посвящённой тем же событиям, что и значительная часть романа И. Кремлёва. Это — повесть Зиновия Фазина со знакомым названием «Крепость на Волге». Вопрос о приоритете в выборе заголовка снимается сопоставлением дат: повесть З. Фазина издана в 1940 году, пьеса И. Кремлёва того же названия — в 1949 году. Но дело, конечно, не в заголовке.

Разумеется, и после З. Фазина путь к этой теме никому не заказан. Естественно и то, что, имея дело с тем же историческим материалом, И. Кремлёв не мог избежать известного сходства и параллелизма. Но нам приходится столкнуться с несколькими случаями, когда это сходство проявляется в эпизодах отнюдь не исторических.

Вот один из таких примеров.

У З. Фазина есть никак не историческая сцена поездки в тыл врага на рыбнице. Она выглядит так:

«— Слушай, браток, дело наше такое, что нас могут тае... — Заметив, что Гасан не понял этого слова, Губин провёл рукой по шее. — Понимаешь? Так вот, хочу с тобой уговор один заключить. Мы везём шифр, ценности, литературу. Отдавать всё

это врагу нельзя. Стало быть, есть один выход, браток: если только они нас остановят, начнут обыск, взорвать нашу посуду и... Нету у нас другого выхода. Ты как думаешь, Гасан?»

Азербайджанец угрюмо кивнул головой. Тогда Губин продолжал:

— Ну, молодец. Так вот — в трюме, за ящиками, припасены у меня две восьмифунтовые бомбы. Мы с тобой их поделим. В случае, если увернуться от этого корабля не удастся, одну — в неприятеля, другую — в свою лодку. Уговор?..»

Они условливаются, кто куда бросит бомбу. Но этой крайности удалось избежать благодаря находчивому Губину. «В ту минуту, когда перед носом рыбацкой лодки показались закрытые чехлами дула орудий, он снял свой засаленный картуз и начал призывно размахивать им, отчаянно крича:

— Эй, на корабле! Помогите! Терпим бедствие!..

...В прежние времена при встрече с парходом они (рыбаки. — В. К.) всегда попрошайничали, выманивали хлеба, пресной воды, табаку. Капитаны судов знали эту привычку рыбаков и не обращали на их просьбы никакого внимания. Офицер покачал головой, повернулся к рулевой рубке и что-то сказал. Над вспененным морем гулко задрожал воздух, и, хоть рыбацкая лодка находилась уже очень близко от корабля и вот-вот грозила врезаться в его борт, Губин... как обалделый, продолжал кланяться и кричать:

— Христа ради, братцы, хлебушка!..

— К чёртовой матери! — закричали с корабля в рупор. — Куда прёте, дураки? Под корму держи, сукин сын, под корму!..

Губин повернулся к бакинцу, стоявшему у штурвала, и обрушил на него такой яростный поток отборнейшей брани, что матросы и казаки на корабле весело загоготали:

— Так ему, стерве, ещё! Чтоб знал, куда править!

Рулевой понял манёвр Губина, крутым поворотом вывел парус из-под ветра и направил рыбницу под корму корабля. Опасность столкновения миновала. Губин всё молил о помощи:

— Братцы, дайте хлебушка!..

— Пошёл, дурак! — ругались казаки. — Бог даст.

Корабль быстро уходил. Очертания его таяли в сгустившихся сумерках».

У И. Кремлёва аналогичное путешествие описывается таким образом:

«На третий день пути рыбацкая, на которой они шли из Астрахани, натолкнулась на белогвардейский пароход. Яковенко заранее условился с Фёдором — в плен не сдаваться, в случае чего взорвать лодку. Денисов готов был бросить в трюм тяжёлую семифунтовую бомбу, когда неожиданная находчивость товарища спасла и команду и рыбацкую лодку.»

Скинув купеческий картуз, в который нарядили его в Особом отделе, Яковенко крикнул на корабль:

— Помогите хлебушком! Терпим бедствие, православные!

Под ватным пальто у Яковенко была такая же, как и у Фёдора, бомба. Денисов знал, что бовдари не задумаются бросить её в стоявших у борта офицеров.

Пока он причитал и кланялся, один из офицеров повернулся к рубке и отдал какое-то приказание. Пароход тревожно загудел, и офицер, вооружившись рупором, приказал рыбацкой лодке подойти под корму. И вот тут-то Денисов и смог оценить редкую находчивость своего спутника. Яковенко переглянулся со штурвальным, и тот направил лодку прямо в бок корабля.

Казалось, ещё минута, и рыбацкая лодка врежется в пароход. Бросив кланяться, Яковенко подбежал к штурвальному и обрушился на него с виртуозной бранью. Тотчас же стоявший на руле Петренко крутым поворотом вывел парус из-под ветра, и лодка пошла по инерции, почти вплотную к корме вражеского корабля.

Когда опасность миновала, высыпавшие на палубу казаки перебежали на другой борт и, пересыпая речь солёными словечками, принялись хвалить мнимого владельца лодки.

— В морду ему дай, в морду, — советовали они ему проучить зазевавшегося рулевого.

— Креста на вас, братцы, нет, — снова затынул Яковенко, — третий день не жрамши...

— А этого не хочешь? — показывая кулаки, гоготали казаки.

Пароход начал быстро отдаляться. Яковенко вынул детонатор из огромной своей бомбы и бережно перенёс её в трюм.

— На простом поймал, — посмеиваясь, сказал он. — Любкой капитан на Каспии знает, как попошайничают рыбаки. И хлеб

и табак выпрашивают. Ну и привыкли к этому и не дают, конечно. Потому-то и в нас не усомнились. Дела-а...»

И вправду — дела-а...

В историческом романе бывают моменты, когда писатель невольно остаётся один на один с историей. Мы имеем в виду авторские отступления, в которых писатель оценивает события и деятельность исторических лиц, людей прошлых времён и их дела. Наука служит фундаментом такого осмысления, даёт почву и направление, но не освобождает от самостоятельной работы.

Авторские отступления в романе «Солдаты революции», к сожалению, написаны бледно и не отличаются содержательностью. Человеку, проработавшему ряд лет над исторической темой, собственно нечего сказать по существу этой темы. Она им философски и творчески не осознана. И. Кремлёв не нашёл ни одного живого слова, чтобы рассказать о Великой Октябрьской революции. Серые куски «отступлений» трудно даже назвать авторским, настолько они безличны.

Мы не видим в его романе партийных руководителей, партийных органов, постоянно и тесно связанных с массой, не видим и коллективного метода руководства. С. М. Киров известен как один из партийных деятелей, в ком нашли наиболее полное воплощение большевистская идейность и большевистский характер. Кто не слышал о замечательной, истинно кировской вере в людей.

На каком бы участке Киров ни работал, он, подобно магниту, притягивал к себе лучших представителей рабочего класса, крестьянства, преданной народу интеллигенции. Киров всегда был окружён людьми деятельными, живыми, смелыми. Он умел пробудить в помощниках и товарищах инициативу, веру в свои силы, сознание своей нужности делу революции. Ничего этого и в помине нет в романе. Киров — и в этом несомненный промах писателя — лишён здесь той естественной для него среды, в которой только и можно было раскрыть всё богатство его натуры.

Лишь двух человек в течение длительного времени видим мы в романе подле Кирова — это находящийся «в стадии перестройки» начальник штаба армии, бывший царский генерал Реутов и председатель Астраханской ЧК Атарбеков. Остальные его

друзья сколько-нибудь существенной роли в романе не играют. Они, как говорится, «фон».

При таком примитивном понимании исторического процесса, при таком условно-схематическом воспроизведении человеческих характеров, при таких несовершенных, а зачастую и сомнительных приёмах художественного письма, какие мы показали, разбирая роман И. Кремлёва, пожалуй, излишне спрашивать, мог ли писатель справиться с ответственной задачей создания образа одного из выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства. Ответ очевиден: конечно, не мог. Жизнь и деятельность Сергея Мироновича Кирова неизмеримо богаче и ярче, чем этот роман.

Неужели в этой большой книге нет ни одного эпизода, образа, литературное воплощение которых не заслуживало бы одобрения? Разумеется, они есть.

Неплохо описана психология прасола Попова, прощающегося со своим хутором и сжигающего зимник с овцами. Тепло, хотя и незаслуженно белго, рассказано об Уллубии Буйнакском. Запоминается промелькнувшая в одной из первых глав эпизодическая фигура жены кулака, добивающей полумёртвого председателя комбеда. Но как мало таких удач, как редко непосредственность восприятия, искреннее человеческое волнение пробиваются сквозь толщу пустой и штампованной «литературности» и дурного вкуса!

И. Кремлёву не удалось создать правдивый, запоминающийся, яркий портрет солдат революции, воспроизвести их бессмертные дела. Богатый исторический материал, имевшийся в распоряжении автора, не послужил основой для создания подлинно реалистического произведения. Тема требовала более серьёзного подхода, более тщательного и добросовестного труда.

В. КАРДИН.

★

«Дети большого дома»

Роман армянского писателя Рачии Кочара «Дети большого дома» посвящён событиям Великой Отечественной войны.

Уже в первых главах мы знакомимся с основными героями — молодым, талантливым учёным Тиграном Аршакином, его женой Лусик, старой матерью Тиграна — и с второстепенными персонажами: студентом филологического факультета Аргамом, мечтающим стать писателем, его другом Каро, с их подругами — Седой и Анник. Людей, с которыми познакомил нас автор перед самой войной в столице Армении, на предприятых и в передовом колхозе, мы встречаем позже в воинском эшелоне и на передовой.

Мы видим в романе Великую Отечественную войну советского народа. В нашей художественной литературе на военные — и не только на военные — темы представители разных национальностей нередко отличаются друг от друга лишь по имени да по речевой манере (вернее, по манере вставлять в русскую речь иноязычные слова «хлопец»,

«генацвале», «уртак»). В книге Рачии Кочара действуют русские, украинцы, армяне, узбеки, грузины, и в психологии каждого из этих людей мы чувствуем культурное своеобразие наших наций, обогащающее общую культуру всей социалистической Родины.

Автор романа — армянин, он любит свой народ, чтит его героическое прошлое и славное настоящее. Но он с такой же любовью и уважением пишет о людях разных советских национальностей и понимает значение традиций, укрепляющих между ними единство. Исторические справки о том, как ещё в одиннадцатом веке киевские князья приглашали в своё войско воинво-армян, как отличались армяне, служившие в русской армии во время Отечественной войны 1812 года, органично и естественно входят в художественную ткань этого романа, вполне отвечая всему его духу. Военные условия помогают ещё более живо ощутить дружбу между социалистическими нациями, общность их борьбы; участились личные встречи между людьми, ранее жившими преимущественно в своей национальной среде. Житель прифронтового города Вовчи, ста-

Рачия Кочар. «Дети большого дома». Часть первая. Авторизованный перевод Арусь Тадеосян. Издательство Айпетрат Ереван, 1954.

рый Олесь Григорьевич Бабенко, ещё в 1888 году, служа в русской армии, побывал в Александропольской крепости (теперь город Лениканан) и тепло вспоминает жителей Армении. А главный герой книги — бывший филолог, ныне дивизионный политработник Тигран Аршакаян, — с увлечением читает «Летопись города Вовчи, записанную Олесем Григорьевичем Бабенко», цитирует наизусть Шевченко и Лесю Украинку.

Рачия Кочар изображает героиню и будни войны, тяжёлые оборонительные бои осени 1941 года, отход наших частей на восток, первые боевые успехи. В «Детях большого дома» читатель отметит точность деталей окопного быта, верность батальных картин. Автор — непосредственный участник войны, офицер-политработник, сотрудник фронтовой печати — хорошо знает жизнь, о которой пишет; герои его произведения живут и действуют так, как подсказывает логика развития их образов.

Тигран Аршакаян, попав на передний край нашей обороны, начинает постигать трудность предстоящих ему, его товарищам, его отчизне испытаний. Простой героизм русского паренька, связанного Славина, спокойная уверенность и твёрдость офицеров и политработников, наконец, личный военный опыт превращают Аршакаяна, который шёл на фронт с несколькими наивными романтическими представлениями о войне, в человека, сочетающего горячее стремление к победе со способностью трезво оценивать события и людей. Быстро он разобрался в бессмысленной показной храбрости генерала Галунова; Тигран убеждается, что это — позёрство человека, который внутренне не зерит в победу, а значит, не имеет права вести в бой подлинных героев — тысячи солдат и офицеров.

Самые тяжёлые эпизоды войны написаны в этом романе рукой художника; это не натуралистические картины военных ужасов, а согретая подлинным чувством, окрашенная личным отношением, пронизанная светлым оптимизмом правда о войне.

Справедливость этой оценки достоинств романа, по нашему мнению, подтверждают, например, такие эпизоды.

Начало войны. Всё дальше на восток отступает советская воинская часть. На марше батальон капитана Юрченко натывается на отряд гитлеровцев, передетых в красноармейскую форму: враги брошены в наш тыл, чтобы сеять панику. Картина этого

предутреннего боя написана так зримо, что можно начертить на бумаге схему его, можно вспомнить действия каждого участника боя. Гитлеровцы разгромлены наголову. Небольшая будто бы победа — всего лишь над отрядом силой в две роты, — но это одна из тех первых побед, которые вселяли уверенность в сердца солдат: врага можно бить, враг будет разбит!

С боями освобождён маленький русский городок Освова. Радуются бойцы своей победе, благодарят спасителей уцелевшие жители. Но вскоре город приходится оставлять: гитлеровские армии прорвали фронт на юге. Снова перед глазами читателя тяжёлая картина движения людских масс на восток. Но каждый боец и офицер знает: это лишь временное отступление. И хотя о начале победоносных операций советских войск говорится лишь в конце романа (историческое наступление в районе станции Клетской), всё содержание книги ведёт нас к грядущей победе.

Автор умело переводит действие из окопов боевого охранения на командный пункт полка, с заседания Военного совета армии — в неприятельский гарнизон, где действуют наши разведчики, из политотдела части — в компанию разложившегося начальника транспортной роты Сархошева.

Подлинное знание войны и широкий кругозор нужны для того, чтобы писатель всюду чувствовал себя «как дома», чтобы читатель уверенно и с интересом следовал за ним. Есть у Рачии Кочара несомненные удачи в изображении людей. Особенно живо запоминаются Тигран, Анник, Руденко, Шура. Мы считаем поэтому уместным, не ожидая выпуска следующей части романа, обратить внимание читателя на эту книгу. Но это обязывает нас также, не дожидаясь продолжения романа, сказать и о его недостатках.

Книга написана в своеобразной стилиевой манере. Русский читатель не сразу привыкает к романтической приподнятости выражений даже в обыденных разговорах действующих лиц — армян, а также в авторских описаниях предвоенных дней. Но когда Лусик говорит мужу: «—Арсенджан... мой светлый день, моё солнышко!», когда мать говорит своему сыну: «—Иди, сердце моё!», то мы воспринимаем это не как условно-литературную риторику, а как выражение повышенной яркости чувства, свойственного героям. Однако это речевое

своеобразие требует от писателя чрезвычайно строгого отношения к стилю, соблюдения меры, особенно в авторской речи. Рачия Кочар далеко не всегда эту меру знает.

Преувеличенность выражений, перенасыщение чувством особенно неприятно ощущаются там, где автор соединяет их с глубокомысленными, но малопонятными сентенциями: «Он был проникнут столь высокой торжественностью и, в то же время, охвачен такой сильной тревогой, что подобное отклонение мысли показалось бы несуразным и нарушило бы гармонию его переживаний». Обращает на себя внимание в этом примере и неловкое сочетание «высоких» оборотов, как «гармония переживаний», со слишком обиденным словом «несуразно». Переводчика мы за это винить не можем: перевод авторизованный, сам Рачия Кочар его одобрил, — очевидно, стиль оригинала передан верно.

Цитата, которая приведена выше, выписана из начала романа. Дальше таких стилистических излишеств гораздо меньше, но встречаются они и в последующих главах.

Автор как будто не доверяет читателю и старается подробно объяснить то, что и без того понятно и не нуждается вовсе в комментариях. Вот, скажем, перед тяжё-

лым боем бойцы разговорились о любви. Писатель считает нужным «оправдать» этот разговор. Появляется совершенно лишняя риторичная фраза командира батальона:

«— То, что мы можем в такое время рассуждать о любви, — это как раз и говорит о силе нашей, а не о слабости! Было бы ошибкой предполагать, что мы стали бесчувственными. Наоборот!»

Но читатель и не считал героев романа бесчувственными людьми, — ведь автор везде подчёркивал их эмоциональность.

Кажется, нет ничего легче, как вычеркнуть несколько лишних фраз. Но дело этим не решается. Хотелось бы, чтобы автор больше доверял и своему изобразительному таланту и своим читателям.

В романе «Дети большого дома» свыше полутысячи страниц, и этот объём недостаточно оправдан. Мы глубоко убеждены: если сократить его за счёт повторов, ненужных объяснений и других излишеств, книга станет весомее. Этого требует и большая правда романа и несомненное дарование автора, с первым значительным произведением которого впервые знакомится русский читатель.

К. ЛАПИН.



Книга о Ванде Василевской

Книга Е. Усиевич о Ванде Василевской — первый более или менее полный очерк жизненного и творческого пути писательницы.

Е. Усиевич уже неоднократно обращалась к творчеству В. Василевской и как критик (её перу принадлежат два очерка, посвящённых писательнице, один из которых опубликован в 1941, а второй — в 1951 году) и как переводчик (ею переведено, в частности, самое крупное произведение В. Василевской — трилогия «Песнь над водами»). Всё это не могло, конечно, не сказаться благоприятно и на рецензируемой книге. Хотя она в подзаголовке и названа «Критико-биографический очерк» и невелика по объёму, — перед нами работа, содержащая не только основные

факты, относящиеся к жизни и творчеству В. Василевской, но и немало наблюдений над особенностями художественного мастерства писательницы.

Особенно следует отметить содержательный анализ созданных В. Василевской персонажей. Е. Усиевич умеет не только кратко и выразительно передать историю героя, его жизненный путь, его место в общем замысле произведения, — она убедительно раскрывает скрытые общественные и психологические мотивы, заставляющие героя поступать именно так, а не иначе, показывает типичность именно такого поведения героя. Иначе говоря, критик помогает читателю осознать жизненную и художественную правду анализируемых образов, заставляет его внимательнее, пытливей вчитываться в произведение. Поэтому к лучшим страницам очерка нужно отнести страницы, посвящённые Кшисяку и Магде из романа «Родина», Ядвиге, Хожиняку и За-

Е. Усиевич. «Ванда Василевская». Критико-биографический очерк. «Советский писатель», М. 1953.

бельскому из трилогии «Песнь над водами», Пусе из «Радуги», и некоторые другие.

Но анализ художественных образов ни где не превращается для критика в самоцель. Е. Усиевич ни на минуту не забывает, что её очерк посвящён писателю-борцу, писателю-трибуну. И она стремится не упустить ни одной возможности, чтобы раскрыть идейную суть и агитационно-воспитательное значение творчества В. Василевской. Духовное величие людей, подобных Анатолю («Облик дня»), Кшисяку («Родина») или Петру Иванчуку («Песнь над водами»), определяется их верностью народу, их твёрдостью и мужеством в борьбе за его светлое будущее. Приводящая к катастрофе внутренняя несостоятельность Хожиняка («Песнь над водами») или Пуси («Радуга») является неизбежным следствием их эгоизма и индивидуализма, их измены народу.

Во всех этих наблюдениях и характеристиках, как мы уже сказали, выступает не только вдумчивый исследователь, но и переводчик, до тонкости знакомый с текстами. Глубокое проникновение в художественную ткань литературного произведения — то, чего так часто недостаёт многим критическим и историко-литературным исследованиям, — пожалуй, самая сильная сторона книги Е. Усиевич.

Другое существенное достоинство этой книги заключается в том, что творчество В. Василевской в ней показано в самой тесной связи с той исторической обстановкой, в которой возникали произведения писательницы, а её литературная деятельность рассматривается в единстве с общественной деятельностью. Это помогает критику убедительно раскрыть актуальность этих произведений, их партийность, объективные исторические предпосылки идейного и художественного роста В. Василевской.

Однако, подробно и убедительно обрисовав историческую обстановку, в которой складывалось и крепло писательское мастерство В. Василевской, Е. Усиевич почти ничего не сказала об обстановке литературной. А ведь тридцатые годы нынешнего века в Польше — это не только годы нарастания революционной борьбы пролетариата, передового крестьянства и демократической интеллигенции против фашистского режима, но и годы, когда в Польше складывался численно небольшой, но очень

весомый отряд пролетарских писателей, возглавляемый В. Василевской, В. Броневским и Л. Кручковским, а это составляет, конечно, интереснейшую страницу истории польской литературы.

Мы далеки от того, чтобы требовать подробного рассмотрения всех связанных с этим вопросов на страницах столь ограниченной по объёму книги. Но нельзя не заметить, что простого перечисления нескольких имён на протяжении десятка строк, которым ограничивается критик, всё же недостаточно. Более широкая обрисовка литературного окружения и борьбы, на наш взгляд, помогла бы автору ещё отчётливее и, конечно, полнее показать творческое своеобразие В. Василевской.

Е. Усиевич пишет о влиянии советской литературы на передовых польских писателей тех лет, в частности и на В. Василевскую. Но таких, например, указаний критика, как влияние «Матери» А. М. Горького на «Облик дня» В. Василевской (хотя это указание очень важно и верно), недостаточно, чтобы рельефно показать эту сторону литературно-исторического процесса. Было бы желательно, чтобы автор, если он вернётся к разработке творческой биографии В. Василевской, расширил свой труд также и за счёт литературно-исторического материала.

Из более частных недостатков очерка Е. Усиевич следует прежде всего отметить неоправданную, на наш взгляд, скупость характеристики романа «Земля в ярме». (Скупость эта особенно бросается в глаза рядом с превосходным анализом «Родины») Ведь нарисованная в этом романе картина распада, постепенного умирания семьи графов Остженских воспроизводит в миниатюре весь процесс загнивания правящих эксплуататорских классов фашистской Польши.

В книге лишь очень сжато сказано о стиле В. Василевской. Здесь встречаются меткие и интересные характеристики. Но, по нашему мнению, Е. Усиевич излишне сурово оценила описания природы в «Пламени на болотах». Она считает, что «...часть таких описаний можно было бы отнести к её (В. Василевской. — Г. Р.) слабым сторонам — описания бывают и растянутыми, и недостаточно оригинальными» (стр. 63). С этой оценкой нам трудно согласиться. Она во всяком случае нуждается и в более глубоком обосновании и в ряде существен-

ных оговорок. Такие пейзажи в «Пламени на болотах», как, например, описание ночной грозы, приводящей в ужас осадника Хожиняка, обладают силой художественного воздействия, несмотря на свою подчёркнутую приподнятость и некоторую литературную традиционность. В этом проявляется интересная (и недостаточно объяснённая критикой) особенность книг В. Василевской, производящих большое впечатление даже на тех читателей, которые ясно видят встречающиеся в них нарушения меры и других требований художественности.

В очерке Е. Усиевич есть мелкие погрешности. Так, писатель Эмиль Зегадлович назван Загдловичем (стр. 34), имя главного героя романа «Родина» почему-то передано в старом, искажающем правильное произношение написании «Кржисяк», хотя в своём же переводе этого романа Е. Усиевич употребляет правильное написание — «Кшисяк».

В целом же очерк Е. Усиевич — хорошая и добросовестная книга, которая поможет шире и полнее осмыслить творчество одного из выдающихся представителей советской литературы.

Г. РАБИНОВИЧ.

★

Политика и наука

Разоблачение политики боннских реваншистов

Широкую мировую общественность, всё миролюбивое человечество с глубокой тревогой следит за попытками Вашингтона и Бонна поставить народы перед совершившимся фактом возрождения гитлеровского вермахта. В Западной Германии всё более явственно вырисовываются контуры вновь создаваемой военной машины, которая призвана служить немецким милитаристам в осуществлении их планов подготовки новой завоевательной войны.

Недавно в Берлине Национальным комитетом по вопросам единства Германии выпущена в свет книга «Бонн готовится реваншистскую войну». Она содержит обширный документальный материал, убедительно разоблачающий агрессивную политику аденауэровской клики, этого штаба милитаризации и реваншизма в Западной Германии. Собранные в книге многочисленные факты, выдержки из западногерманских газет и журналов, высказывания боннских деятелей и эсэсовских генералов помогут читателю, особенно немецкому, лучше разобраться в позиции правящих кругов США, Англии и Франции, которую они заняли по германскому вопросу на Берлинском совещании министров иностранных дел четырёх держав.

За ширмой так называемого «европейского оборонительного сообщества» правительства западных держав принимают

„Bonn bereitet Revanchekrieg vor“. Berlin, 1954. (Бонн готовится реваншистскую войну. Берлин, 1954.)

недвуусмысленные меры к ускоренной милитаризации Западной Германии. Этот курс не только угрожает безопасности народов и делу укрепления мира в Европе, но и делает невозможным восстановление Германии на демократических и миролюбивых началах.

В своём заявлении «Об итогах Берлинского совещания» В. М. Молотов подчеркнул, что решение германского вопроса упирается теперь в одну основную проблему: восстанавливать или не восстанавливать германский милитаризм. Советский Союз, вынесший главную тяжесть борьбы с гитлеровской Германией, не может недооценивать угрозу новой агрессии. Последовательно проводя политику мира и дружбы между народами, Советское правительство неоднократно выступало с конкретными предложениями, обеспечивающими всем народам коллективную безопасность и направленными на быстрейшее воссоединение демократической, освобождённой от милитаризма Германии.

«Самое большое желание немецкого народа — это восстановление его национального единства и свободы... Единство и свобода возможны, однако, лишь при том условии, если самый опасный враг свободы Германии — немецкий милитаризм — будет уничтожен», — говорится в книге. Возрождение гитлеровского вермахта в аденауэровском государстве несовместимо с мирным разрешением германской проблемы и сохранением мира в Европе.

Книга осведомляет читателя о проведённой боннским правительством ремилитаризации Западной Германии. Уже сейчас здесь вооружено и обмундировано более 400 тысяч немцев. Сотни открытых и замаскированных военных и фашистских организаций, институтов, исследовательских учреждений собирают кадры для новых вооружённых сил. Четыреста западногерманских предприятий изготовляют продукцию, предназначенную для военных целей.

Как указывается в книге, одной из основ возрождаемой в Западной Германии регулярной армии являются созданные при оккупационных войсках западных держав немецкие воинские части. Для маскировки они именовались ранее «трудовыми формированиями», а теперь в английской зоне стали называться «немецкими организациями обслуживания», в американской — «трудовыми ротами», во французской — «вспомогательными рабочими и транспортными формированиями». Служащие этих подразделений носят военную форму, им присвоены воинские звания, соответствующие чинам бывшей гитлеровской армии; боевая подготовка их проводится под руководством командования оккупационных войск.

Замаскированные воинские части сформированы главным образом из военных преступников, бывших солдат, офицеров и генералов гитлеровского вермахта. Биржи труда западногерманских городов по указанию аденауэровского правительства занимаются вербовкой в эту нелегальную армию.

Материалы, приведённые в книге, показывают, что в Западной Германии уже несколько лет существуют под названием «полиция» размещённые по казармам моторизованные, вооружённые лёгким и тяжёлым оружием кадровые части формирующейся западногерманской армии.

Кроме того, на основании сепаратных решений совещания министров иностранных дел США, Англии и Франции, состоявшегося в сентябре 1950 года в Нью-Йорке, были созданы так называемые мобильные полицейские соединения, или «полиция готовности». По характеру своей организации, вооружению и обучению они представляют собой регулярные воинские части. Эти полицейские соединения также воспитываются в фашистском духе и широко используются

для подавления демократических и патристических сил.

Помимо чисто военных формирований, боннские органы создают в целях подготовки войны ряд полувоенных вспомогательных организаций по нацистскому образцу. Они также играют большую роль в возрождении вермахта. Так, например, «Техническая помощь» («Технише хильфсверке»), насчитывающая 70 тысяч человек, предназначена для подготовки кадров военно-инженерных частей. Она полностью моторизована и, как говорится в книге, «муштруется для того, чтобы быть использованной как во внешней, так и гражданской войне». Персонал её носит соответствующую форму и проходит военную и специальную подготовку. Согласно плану боннского правительства, в ближайшее время предполагается увеличить состав этой организации до 120 тысяч человек.

Другая организация такого рода — «Союз противовоздушной обороны» («Люфтшутцфербанд») — была создана в 1952 году во главе с бывшим гитлеровским «руководителем имперской воздушной обороны» генерал-лейтенантом Эрихом Хампе. Количество мобилизованных в это соединение достигает сейчас 30 тысяч человек. «Союз» имеет разветвлённую сеть — земельные отделы, окружные и районные бюро и «опорные пункты». В Западной Германии организуются специальные школы противовоздушной обороны, восстанавливаются бомбоубежища.

Видное место отведено в книге многочисленным солдатским союзам, являющимся «военным резервуаром», важным источником для возрождения старой фашистской армии. Речь идёт о таких организациях, как «Стальной шлем», президентом которого избран бывший гитлеровский генерал-фельдмаршал Кессельринг, «Союз немецких солдат», «Союз бывших военнослужащих войск СС», «Киффхойзербунд» и многие другие. «Будучи основанными по инициативе аденауэровского правительства, милитаристские союзы сбросили свою маскировку блюстителей «социальных интересов» и организаций по поиску пропавших без вести участников войны, обнаружив свою действительную цель: мобилизовать солдат второй мировой войны для третьей войны, восстановить «Великую Германию» и, по образцу Гитлера, приняться за «наведение нового порядка в Европе». Бонн-

ское правительство и западногерманские капиталисты оказывают солдатским союзам большую финансовую помощь. Например, фашистская газета «Дейче Зольдатенцейтунг» получает ежемесячную субсидию в размере 20 тысяч марок. «Стальной шлем» Кессельринга пользуется поддержкой банкирского дома Шредер и К°, владельцы которого в прошлом предоставляли в распоряжение нацистской партии огромные суммы и способствовали приходу к власти Гитлера.

Наряду с этим в Западной Германии существует много милитаристских, так называемых традиционных союзов, созданных на базе воинских соединений, частей и подразделений бывших гитлеровских и даже кайзеровских вооружённых сил. В книге приводится подробный список солдатских союзов и милитаристских организаций с указанием их адресов. Всего насчитывается уже 528 таких «традиционных союзов», а если учесть, что большое число их подразделяется на областные и районные, то получается, что действительное количество военных организаций составляет несколько тысяч. Об их характере говорят уже сами названия: «Великая Германия», «Парашютно-танковый корпус Геринга», «Дивизия личной охраны Гитлера», «Гренадерская дивизия фюрера», «Эсэсовская танковая дивизия «Герман Геринг» и так далее.

Эти фашистско-милитаристские союзы заняты собиранием, учётом и переподготовкой солдатских и офицерских кадров, распространением идей фашизма и реваншизма, подготовкой населения Западной Германии к новой войне.

На солдатских слётах, всё чаще устраиваемых в Западной Германии, нацистские гаулейтеры, эсэсовские командиры и гитлеровские генералы открыто теперь заговорили о захватнических целях возрождающегося германского милитаризма. На этих сборищах вновь поются песни «Победоносно побьём мы Францию...», «Мы идём на Англию...»

Вопреки всем международным соглашениям и прежде всего вопреки действительной воле немецкого народа, говорится в книге, в западногерманском государстве учреждено целое военное министерство. Оно скрывается под ничем не говорящим названием «Ведомство Бланка». Это самое большое министерство боннского правительства. В нём работает свыше тысячи штатных

сотрудников, созданы военно-морской, авиационный, военный и другие отделы. «Тот самый гитлеровский генеральный штаб, который своей деятельностью погубил миллионы людей и который сражался за Гитлера до «пяти минут после двенадцати», вновь существует и работает в Бонне — на этот раз для Аденауэра и американцев, но с той же целью: добиться господства немецкого милитаризма над Европой».

В октябре прошлого года на борту американского эсминца «Гольден» состоялось совещание, в котором приняли участие контр-адмирал США Роберт Э. Орем, аденауэровский военный министр Бланк, бывший гитлеровский генерал Хойзингер и назначенный на должность командующего западногерманским флотом адмирал Гейе. На этом совещании было принято тайное соглашение о создании в Западной Германии, при поддержке американцев, морских вооружённых сил и, в первую очередь, подводного флота.

Соединённые Штаты Америки в своё время приняли меры к сохранению основных гитлеровских авиационных кадров и помогли многим немецким ассам бежать в Аргентину. Теперь эти беглецы вернулись в Бонн. Мессершмитт получил свой завод в Аугсбурге и строит крупные предприятия по производству самолётов в Эссене, где будет производиться ежемесячно 300 бомбардировщиков. Военный преступник Хейнкель ещё в 1951 году выступил в печати с заявлением: «Я и свыше тысячи моих сотрудников готовы начать строительство немецких авиамоторов». Вновь действуют и щедро финансируются почти все авиационные институты и исследовательские учреждения, которые некогда служили подготовке нацистских воздушных сил. Десятки тысяч немцев в американской форме уже несколько лет работают и обучаются на американских военных аэродромах.

Специальный раздел книги посвящён восстановлению военного производства в Западной Германии. В настоящее время сотни заводов изготовляют танки, самолёты, парашюты, подводные лодки, взрывчатые вещества и удушливые газы, огнестрельное оружие, различного рода военную амуницию, то есть всё — «от спального мешка до авиамотора, от запасной броневой части до быстроходного катера», — что изготовлял Гитлер перед своим нападением на другие народы».

В книге приводятся многочисленные факты психологической обработки западно-германского населения. Всё больше растёт мутный поток литературы, пропагандирующей военщину. Насчитывается уже более двух десятков чисто милитаристских еженедельников и ежемесячников, в том числе «Военно-научное обозрение», «Военно-воздушный флот», «Военно-морское обозрение», журнал парашютистов «Зелёные дьяволы». Сейчас, при правительстве Аденауэра, выпускается больше милитаристских журналов, чем во всей гитлеровской Германии. Целью распространения этой литературы является воспитание шовинизма и военного духа.

Боннское правительство заявляет, что германские милитаристы найдут все возможности для развития своих военных способностей в «европейском оборонительном сообществе». При этом подчёркивается, что «передовыми бойцами в борьбе за Европу были и остаются эсэсовцы» и им должна принадлежать ведущая роль в «европейской армии». Однако, указывается в книге, об «обороне» и о «Европе» говорил и Гитлер. Теперь об этом разглаговольствуют Аденауэр и его правительство, последний главнокомандующий Гитлера во Франции, Голландии, Бельгии и Италии Кессельринг, приговорённый к смертной казни за расстрел 335 итальянцев и затем помилованный, эсэсовские генералы Гудериан,

Гауссер, Рамке и другие. «Они совершенно не скрывают того, что под «обороной» и «Европой» подразумевают то же самое, что подразумевал в своё время и Гитлер. Их «оборона» означает агрессию, их «Европа» означает господство немецкого милитаризма в Европе, их «сообщество» — сsolidарность в преступлении. Европейская безопасность возможна лишь тогда, когда будет уничтожен злейший враг безопасности — немецкий милитаризм».

Книга «Бонн подготавливает реваншистскую войну» принесёт большую пользу в деле раскрытия подлинных намерений агрессивных кругов империалистических государств. Читатель узнает из книги много нового для себя достоверных фактов, проливающих свет на тёмные, коварные дела боннских реваншистов и их заокеанских вдохновителей, стремящихся развязать новую мировую бойню.

Материалы, приведённые в этой книге, настолько ярки, обладают такой убедительной силой, что каждый честный человек, ознакомившись с ними, не может не понять, что именно препятствует в наши дни восстановлению национального единства немецкого народа, преобразованию Германии в миролюбивое государство, смягчению международной напряжённости.

**В. ВОЛГИН,
А. АЛЕКСЕЕНКО.**

★

Правда о войне во Вьетнаме

Книга немецкого прогрессивного литератора Гюнтера Галле «Иностранный легион» посвящена разоблачению войны во Вьетнаме. Написанная на основе документов и сообщений легионеров-немцев, перешедших на сторону Вьетнамской Народной Республики, она раскрывает подлинную картину французской интервенции в Индо-Китае, охватывая события за период с 1946 по 1950 год.

Рассказывая об участии иностранных легионеров — платных наёмников колонизаторов — в происходящей войне, Г. Галле отмечает, что до восьмидесяти процентов личного состава Иностранного легиона составляют немцы и фактически он «в сво-

ём подавляющем большинстве — немецкий и лишь воюет под чужим флагом».

Немало в легионе бывших эсэсовцев и гестаповцев, совершавших злодеяния во Франции в годы гитлеровской оккупации. Теперь они распевают на центральной улице Сайгона фашистскую песню «Хорст Вессель», которую, посмеиваясь, слушают «хорошо одетые господа на тротуарах. Это французы, успевшие позабыть, что всего лишь несколько лет назад такие же солдаты с такой же песней шатались по Парижу и причинили французскому народу невыразимые страдания».

На такое человеческое отребье опираются империалисты в Индо-Китае, проводя политику «умиротворения». Что под ней следует понимать, показывают многочисленные факты, приведённые в книге Г. Галле.

Günter Halle. „Légion étrangère“. Berlin. 1952.
(Гюнтер Галле. «Иностранный легион». Берлин, 1952).

Так, например, командир крупного соединения марокканцев и легионеров Шюттерле, решив развлечь своих солдат, предложил им стрелять по буйволам — единственной тягловой силе крестьян в оккупированных захватчиками областях. Когда отчаявшиеся крестьяне хотели было спасти животных, огонь был направлен на людей. Вслед за этим Шюттерле приказал сжечь окрестные деревни.

Этому «колониальному герою» не уступает командир взвода Хора, сподвижник пресловутого Генлейна, пришедший, по его словам, в Индо-Китай, чтобы «сделать миллионы любимыми средствами». Под предлогом, будто его взвод был обстрелян крестьянами, он приказал уничтожить более тридцати мужчин, женщин и детей, сушивших на берегу рыболовные сети. По его распоряжению были разграблены и уничтожены близлежащие деревни, а уцелевшее население отправлено на подневольные работы.

Ему под стать и фашистский сержант Штейнбах, к слову сказать, участвовавший в 1922 году вместе с Аденауэром в сепаратистском движении в Германии. Бахвальясь, рассказывает он о своих расправах над вьетнамцами, о насилиях над женщинами и зверском уничтожении детей.

В книге указывается, что уже несколько лет американские миссии, в особенности военные, играют руководящую роль в оккупированной части Вьетнама. При непосредственном участии американских военных отправляются очередные партии пушечного мяса в Индо-Китай из Северной Африки. В порту Орана, например, при отплытии транспорта с войсками сплошь да рядом присутствуют представители американской военной миссии. Г. Галле называет, в частности, Джона Д. Кэннингтона, который являлся в порт, чтобы лично удостовериться, что «груз» отправлен, поскольку шеф комиссии американских военных инструкторов в Северной Африке хотел бы «действовать наверняка».

Стараясь всемерно разжечь пламя войны в Индо-Китае, США всё более щедро снабжают французские войска вооружением и боеприпасами. В книге отмечается, что в сражениях с вьетнамской Народной армией на стороне оккупантов участвуют американские танки «Шерман» и «Паттон», истребители «Геликат» и «Буффало» и т. д.

В январе 1954 года агентство Ассошиэй-

тед Пресс, ссылаясь на данные посольства США в Сайгоне, сообщало, что всего «с 1950 до конца 1953 года США направили в Индо-Китай свыше 400 тысяч тонн военных материалов, 1 400 боевых машин, 340 самолётов, 350 военно-морских кораблей, 150 тысяч штук лёгкого стрелкового оружия, 240 миллионов патронов и 15 миллионов снарядов». По данным агентства Юнайтед Пресс, командование американских военно-воздушных сил на Дальнем Востоке создаёт в Индо-Китае так называемый «воздушный мост» для прямой поддержки французских войск, и самолёты 315-й американской авиадивизии уже включились в это мероприятие.

США участвуют в войне не только поставкой вооружения. Фактически — и об этом рассказывается в книге Г. Галле — американская военная миссия в Индо-Китае уже давно руководит операциями французского экспедиционного корпуса. В этом отношении характерен эпизод, приведённый автором. Тяжёлое поражение и огромные потери, понесённые интервентами в 1950 году под Кока-Ха, привели в неистовство начальника военной миссии США, бригадного генерала Фрэнсиса К. Бринка, приказавшего своему помощнику полковнику Гендерсону «немедленно составить меморандум для мистера Хита» — нынешнего посла США в Сайгоне и бывшего резидента американской разведки в Болгарии, где он позорно провалился.

В «мероприятиях», намеченных генералом Бринком, указывалось, что должны сделать правящие круги Франции, чтобы «выправить» создавшееся положение. Однако, пишет Г. Галле, осуществление предписанных США мероприятий отнюдь не улучшило положения франко-американских интервентов.

Во время контрнаступления Народной армии в январе 1951 года создалась столь угрожающая обстановка для французских войск, что Хиту и генералу Бринку пришлось взять на себя руководство операциями, правда, и на этот раз без всякого успеха. Через год французский генерал Салан рапортовал в Париж о новых поражениях и потерях экспедиционного корпуса.

С тех пор прошло свыше двух лет, в течение которых положение интервентов намного ухудшилось. Народная армия наносит им всё более тяжёлые удары. В марте 1954 года газета «Пари пресс» — Энтранс-

жан» писала, что «генерал Наварр (командующий экспедиционным корпусом.—Д. У.) вынужден поспешно сдавать укрепленные пункты, пуская в ход то в одном, то в другом месте подкрепления. От всех наступательных планов ему пришлось отказаться». В мае войска вьетнамской Народной армии взяли крепость Дьен-Бьен-Фу.

В последнее время американские газеты, сообщая о намерениях правящих кругов США перейти к «прямому вмешательству» в военный конфликт, пытаются изобразить дело так, будто находящиеся в Индо-Китае американские техники и пилоты были до сих пор заняты лишь обучением французов и баодаевцев уходу за американскими самолётами. На самом же деле, как это явствует и из книги Г. Галле, американские лётчики уже давно участвуют в боевых действиях, в террористических бомбардировках вьетнамских деревень и других населённых пунктов. На самолётах, сбитых Народной армией, были обнаружены американские пилоты.

Поставкой вооружения, руководством военными операциями и бомбардировками не исчерпывается участие Пентагона в войне против Вьетнама. Его посланцы не остаются в стороне от расправы с вьетнамскими патриотами. Г. Галле рассказывает, как один из «экспертов» генерала Леклерка, американец Джон Кэртер, выдававший себя за француза Лакруа, пытался добиться показаний от пленных вьетнамцев. Когда же ему это не удалось, он приказал расправиться с ними, что и было выполнено в его присутствии.

Вьетнамская армия, защищающая родную землю, окружена любовью и повседневной помощью народа, в чём лично убедились солдаты Иностранного легиона.

«По дороге из Донг-Кхе в Тат-Кхе я понял, — говорит один из них, — что Франция никогда не победит Вьетнам. Я увидел колонну носильщиков — в большинстве женщин и девушек, — они несли на бамбуковых палках корзины с рисом, боеприпасами и оружием. До 40 килограммов тащили они через горы, через джунгли и болота. Они шли по 35 километров в день, лишь бы доставить пополнение своим солдатам... Я встречал солдат, которые переносили на плечах 7,5- и 10,5-сантиметровые орудия с одного фронта на другой. Они улыбались и боялись только одного — как бы им не опоздать».

Г. Галле рассказывает в своей книге и о борьбе народных масс Франции против войны во Вьетнаме. Солдаты экспедиционного корпуса нередко обнаруживают, что винтовки, патроны, пулемёты, парашюты, прибывшие из метрополии, непригодны для использования. Распаковывая военные грузы, они находят листовки с призывами французских трудящихся к прекращению «грязной войны».

В книге рассказывается о французском матросе, который по пути в Индо-Китай в простых, бесхитростных словах разъяснял солдатам, в интересах кого они собираются воевать: «Каждый выстрел — ради миллионов Индо-Китайского банка. Ради каучука, леса, золота, риса и всего ценного, что до сих пор давала эта богатейшая французская колония. И ради того, чтобы она давала это и впредь».

Известно, что интересы этого банка не только тесно переплетаются с интересами американских монополий, но фактически подчинены им. Автор указывает, что ежегодные доходы банка от каучуковых плантаций на юге страны составляли двадцать пять миллиардов пиастров в год. В 1946 году несколько американских концёрнов и прежде всего моргановская «Рэббер компани» забрали в свои руки три четверти каучуковых плантаций, принадлежавших их французским партнёрам. Как справедливо отмечает прогрессивный публицист Лео Фигер в своей книге «В свободном Вьетнаме», война «за второй захват Индо-Китая ведётся в интересах американских миллиардеров». Об этом не так давно откровенно писала реакционная газета «Нью-Йорк таймс»: «Продолжение войны имеет жизненное значение для наших интересов (американских монополий.— Д. У.) в этом секторе».

Однако устремления американских империалистов угрожают жизненным интересам народов и Вьетнама и Франции. Недаром даже некоторые буржуазные французские газеты, видя бесперспективность дальнейшей затяжки войны, называют интервенцию в Индо-Китае «безумной авантюрой», за которую «придётся отчитываться перед нацией». В самом деле, война стоила жизни более чем 380 тысячам солдат экспедиционного корпуса. По словам бывшего генерального инспектора французских вооружённых сил маршала Жюэна, французы теряют в Индо-Китае больше офицеров,

чем могут выпускать военные академии страны. Что же касается расходов на ведение войны, то, по данным еженедельника «Экспресс», они составили с 1946 по 1953 год около двух триллионов франков!

Требование подавляющего большинства французского народа прекратить «грязную войну» побудило даже американского обозревателя Уолтера Липпмана признать, что «в настоящее время во Франции существует единодушное мнение о том, что военным действиям следует положить конец... Когда военные действия перестают быть полезными и когда их продолжение не может привести ни к какой разумной цели, — добав-

ляет он, — мудрое правительство кладёт им конец».

Тем непригляднее выглядит политика руководящих кругов США, которые открыто выступают за расширение вооружённой интервенции.

Книга Г. Галле убедительно показывает, что войска оккупантов безуспешно пытаются поставить вьетнамский народ на колени. Под воздействием фактов всё большее число солдат экспедиционного корпуса, убеждаясь в преступности «полицейской акции» колонизаторов в Индо-Китае, участниками которой они являются, переходит на сторону вьетнамского народа.

Д. УМАНСКИЙ.

★

Теория и практика северного земледелия

Книга В. П. Дадыкина обобщает богатейший опыт северного растениеводства. В ней даётся краткое описание климатических и почвенных условий Крайнего Севера, излагаются связанные с ними особенности корневой системы, водного режима, питания, роста и развития растений, раскрываются приёмы агротехники на Севере. Основное назначение книги — помочь специалистам сельского хозяйства в борьбе за получение высоких и устойчивых урожаев в тех частях нашей Родины, которые ещё совсем недавно по «суровому приговору» буржуазных учёных обрекались на полное бесплодие.

Зачинателям северного земледелия нелегко приходилось при освоении новых районов. В середине XVII столетия якутские воеводы в своих донесениях писали правительству: «А в Якуцком де, государь, хлебной жатвы не чаять, земля и среди лета вся не оттаивает». Но уже в XVIII веке посеvy хлеба и картофеля, небольшие огороды появляются на Лене, в Северном Забайкалье, на Камчатке.

Для продвижения земледелия на Север много сделали декабристы, сосланные в разные места Сибири и проживавшие там. Так, Кюхельбекер своими руками возделал две с половиной десятины земли и посеял хлеб в Баргузине; Муравьёв-Апостол первым стал разводить картофель под Вилюйском, Якубович — под Енисейском, Шаховской — в Туруханске.

В. П. Дадыкин. «Как живёт растение на Крайнем Севере». Сельхозгиз, М. 1953.

Однако, пишет автор, в условиях царизма никто не поддерживал пионеров северного земледелия. Царские чиновники считали, что для русских хлеб можно завезти, а коренные жители Севера свободно могут обойтись и без него. В правилах и привилегиях для «Российско-Американской компании», разрабатывавшей природные ресурсы Аляски, Алеутских и Командорских островов, был специальный пункт такого содержания: «Компания имеет право или обязанность препятствовать развитию между аляутами роскоши, т. е. употреблению хлеба, чая и других подобных предметов».

Для народностей Крайнего Севера хлеб до Октябрьской революции и являлся таким «предметом роскоши». Не только в районах вечной мерзлоты, но и в чернозёмных степях Сибири крестьянское хлебопашество всячески подавлялось, чтобы оно не могло конкурировать на хлебном рынке с продукцией помещичьих хозяйств, располагавшихся почти исключительно в европейской части страны.

На помощь противникам северного земледелия пришла «научная теория», основанная на опытах некоторых иностранных учёных, особенно физиолога Шимпера. Последний в лабораторной обстановке выращивал на искусственно замороженной почве табак и тыкву. Оказалось, что эти теплолюбивые растения страдали от недостатка влаги, хотя почва в сосудах содержала много воды. Растения не могли поглощать её из охлаждённых слоёв почвы и погибали. Это наблюдение, основанное на очень небольшом чис-

ле опытов, из которых ни один не был проведён непосредственно в природе, послужило основанием для так называемой «теории физиологической сухости почвы». Подобная теория и начала обслуживать практику, «научно» обосновывая невозможность выращивания растений в тундре, на вечной мерзлоте, в высокогорьях.

И странное дело: мало кто обращал внимание на то, что выводы Шимпера находились в явном противоречии и с известными опытами возделывания многих культурных растений в холодных странах и с фактами географии диких растений. Ведь несколько миллионов квадратных километров великолепной сибирской тайги располагается на почвах с высоким залеганием вечной мерзлоты, не оттаивающей летом даже в самые тёплые годы. Зимой слой вечной мерзлоты крепко смерзается с почвой, охлаждающейся в здешнем климате до очень низких температур. И вот на такой промёрзшей и пронизанной льдом почве прекрасно растут красавицы-лиственницы, пихты, могучие кедры, не сбрасывающие на зиму своего зелёного наряда. Они, очевидно, «умеют» брать воду даже из замёрзшей почвы. Но, несмотря на все эти очевидные факты, теория физиологической сухости холодных почв заняла прочную позицию в учебниках ботаники и физиологии растений.

В советский период началось бурное освоение Севера. Быстро пошла вперёд и практика северного растениеводства. Автор отмечает, что уже в 1927 году в низовьях Печоры (Коми АССР) были получены урожаи озимой ржи, близкие к мировым рекордам урожайности зерновых культур,— по 75—90 центнеров с гектара! В Якутии, где раньше «не чаяли» хлебной жатвы, в некоторых колхозах стали собирать на отдельных участках до 50—60 центнеров зерна с гектара. На Кольском полуострове был организован первый заполярный совхоз «Индустрия», который в 1940 году имел около 1 700 гектаров освоенных земель, где выращивались высокие урожаи картофеля, овшей, кормовых корнеплодов.

Ещё в 1926 году академик Н. А. Максимов писал о недостаточной обоснованности теории физиологической сухости. Однако она пустила слишком глубокие корни, и нужна была специальная обобщающая научно-исследовательская работа для её опровержения. Этим и занялся советский биолог и агроном В. Дадькин. Он стремился не

только опровергнуть старую, но и создать новую, правильную теорию, которая могла бы служить научной основой северного земледелия. Не один год работал автор книги над заинтересовавшей его проблемой. Он исследовал поведение многих растений в условиях Крайнего Севера, провёл немало опытов с различными культурами как в природных условиях, так и в лабораторной обстановке.

В. Дадькин отмечает в своей книге, что корни многих растений — не только диких, но и культурных,— приспособившихся к условиям Севера, довольно глубоко проникают в холодную почву, иногда и в слой вечной мерзлоты. При этом корни остаются «живыми» и не теряют способности беспрепятственно поглощать воду из холодной почвы. Для этих растений вечная мерзлота является, таким образом, не препятствием для их развития, а, напротив, представляет неиссякаемый источник воды. Важно выбрать быстросозревающие растения, которые в короткий срок завершают свой жизненный цикл, и в таком случае мёрзлая почва, постепенно оттаивающая в течение лета, будет способствовать развитию этих растений и получению высоких урожаев.

Особенно хорошо к холодной почве приспособились дикие растения: было замечено, что корни моршки, осоки и хвоща уходили в мерзлоту. Культурные растения, пишет автор, ведут себя по-разному. Если взять для примера картофель, то лучше всего к почвенному холоду приспосабливаются скороспелые сорта, выведенные на Севере. Более южные сорта, завезённые из других районов, не в состоянии развивать глубокую корневую систему. Так разрешился вопрос о подборе сортов растений для возделывания на холодных почвах.

Но почему всё же многие культурные растения дают низкий урожай в районах Севера? Если здесь не играет решающей роли водный режим почвы, то не оказывается ли препятствием для развития растений недостаток в почве питательных веществ в усвояемой форме? В. Дадькин, отвечая на этот вопрос, приходит к новым серьёзным открытиям.

Растения нуждаются во многих питательных элементах, но особенно важно, чтобы в почве было достаточно фосфора, калия и азота в усвояемых для них формах. В северных почвах первых двух элементов содержится много, но азотной пищи явно не

хватает. Дело в том, что «приготовлением» этой пищи в почве занимаются особые группы бактерий, а они при низких температурах развиваются недостаточно интенсивно.

Улучшить азотный режим почв можно путём внедрения хорошей обработки, внесения навоза и торфа, разложение которых в почве сопровождается выделением некоторого количества тепла. Можно дать почве тепло и искусственно, используя энергетические отходы промышленных предприятий, например, отработанный пар. Однако главный способ, предлагаемый автором для обеспечения растений азотом,— это внекорневое питание, то есть опрыскивание листьев растений слабыми растворами азотнокислых солей. Известно, что растения могут усваивать питательные вещества не только с помощью корней, но и листьев. Так, повидимому, будет решён трудный вопрос обеспечения растений на холодных почвах азотной пищей. Техника внекорневого питания ещё недостаточно разработана, здесь имеется ещё много неясного, но путь намечен, открыт, а это очень важно.

На внекорневую подкормку азотом великолепно отзывается, например, капуста. Автор книги рассказывает об одном показательном опыте, проведённом с этой овощной культурой в природных условиях. Капуста без подкормки дала около тридцати тонн с гектара, а на участках с внекорневой подкормкой аммиачной селитрой — свыше пятидесяти пяти тонн, то есть почти вдвое больше. Эти цифры говорят сами за себя, и не удивительно, что внекорневая подкормка, ещё до опубликования книги, стала известна практикам северного земледелия, и они с успехом применили этот новый приём при выращивании не только капусты, но также картофеля, клевера и других растений.

Интересная и хорошо написанная книга В. Дадькина является яркой иллюстрацией того, какие поистине неисчерпаемые возможности для научных выводов даёт в наших условиях обобщение практики. Но в данном случае полезно было бы подчеркнуть и другое. Развитие земледелия на Севере исторически является этапом в развитии нашей русской науки и народной сельскохозяйственной практики.

В. Дадькин, очевидно чувствуя справедливость этого тезиса, включил в книгу главу «Из истории продвижения земледелия на Крайний Север». К сожалению, она является далеко не полной и содержит некоторые фактические ошибки. Хотя автор в других главах использует немало сведений о теперешних успехах земледелия на Кольском полуострове, он, однако, не упоминает интересные сообщения известного русского географа академика Н. Я. Озерецковского о выращивании здесь овощей ещё в XVIII веке. Учёный, совершивший в 1771 году путешествие в район нынешнего Мурманска, сообщает в своих «Записках» о трудных условиях для развития земледелия вблизи Колы, где почва оттаивает лишь в начале лета, а ранней осенью вновь замораживает. Тем не менее, отмечает Озерецковский, местные жители — русские поморы, — умело выбирая почвы и хорошо обрабатывая их, научились выращивать многие овощи. Репа и капуста, пишет он, здесь «родятся изрядно... и случаются репы весом до десяти фунтов». Урожай репы в отдельные годы были настолько велики, что её возили в лодках на продажу в недалеко расположенные норвежские приморские селения, где не было своих овощей.

Ничего не сказано в книге и об опытах А. Н. Радищева, который с большим успехом выращивал в Илимске разнообразные овощи.

Ссылаясь на академика С. Гмелина, автор пишет, что тот, «путешествуя по Сибири в конце XVII века, не нашёл возделанной земли севернее Иркутска». С. Гмелин не мог быть в Сибири в конце XVII века, поскольку он родился в 1709 году, а путешествовал по Сибири с 1733 по 1743 год. Точно так же известный географ академик А. Ф. Миддендорф не мог путешествовать по северу Сибири в «сороковых годах» XVIII столетия, ибо он родился в 1815 году.

Хотя подобные неточности в вопросах истории науки производят досадное впечатление, в целом книга В. Дадькина принесёт пользу всем интересующимся успехами биологии. Открытия её автора, несомненно, внесут свой вклад в продвижение земледелия на Север.

И. КРУПЕНИКОВ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Г. М. Маленков. Речь на собрании избирателей Ленинградского избирательного округа города Москвы 12 марта 1954 года. 16 стр. Цена 15 к.

Г. М. Маленков. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР четвёртого созыва. 24 стр. Цена 20 к.

В. М. Молотов. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 11 марта 1954 года. 16 стр. Цена 15 к.

Н. С. Хрущёв. Речь на собрании избирателей Калининского избирательного округа города Москвы 6 марта 1954 года. 16 стр. Цена 15 к.

Н. С. Хрущёв. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР четвёртого созыва. 20 стр. Цена 20 к.

К. Е. Ворошилов. Речь на собрании избирателей Кировского избирательного округа города Ленинграда 10 марта 1954 года. 16 стр. Цена 15 к.

Н. А. Булганин. Речь на собрании избирателей Московского городского избирательного округа 10 марта 1954 года. 16 стр. Цена 15 к.

Л. М. Каганович. Речь на собрании избирателей Ташкентского—Ленинского избирательного округа 11 марта 1954 года. 16 стр. Цена 15 к.

Л. М. Каганович. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР четвёртого созыва. 24 стр. Цена 20 к.

А. И. Микоян. Речь на собрании избирателей Ереванского—Сталинского избирательного округа города Еревана 11 марта 1954 года. 48 стр. Цена 40 к.

А. И. Микоян. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР четвёртого созыва. 16 стр. Цена 20 к.

М. З. Сабуров. Речь на собрании избирателей Минского городского избирательного округа 12 марта 1954 года. 16 стр. Цена 15 к.

М. Г. Первухин. Речь на собрании избирателей Тбилисского—Калининского избирательного округа 11 марта 1954 года. 16 стр. Цена 15 к.

М. Г. Первухин. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР четвёртого созыва. 16 стр. Цена 20 к.

П. К. Пономаренко. Речь на собрании избирателей Алма-Атинского городского

избирательного округа 10 марта 1954 года. 16 стр. Цена 15 к.

Н. М. Шверник. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 6 марта 1954 года. 16 стр. Цена 15 к.

А. И. Кириченко. Речь на собрании избирателей Киевского—Ленинского избирательного округа города Киева 9 марта 1954 года. 16 стр. Цена 15 к.

М. А. Суслов. Речь на собрании избирателей Саратовского—Ленинского избирательного округа 9 марта 1954 года. 16 стр. Цена 15 к.

П. Н. Поспелов. Речь на собрании избирателей Курского избирательного округа 10 марта 1954 года. 12 стр. Цена 15 к.

Н. Н. Шагалин. Речь на собрании избирателей Александровского избирательного округа Владимирской области 8 марта 1954 года. 12 стр. Цена 15 к.

А. А. Аракелян. Хозрасчёт и использование основных фондов промышленности СССР. 120 стр. Цена 1 р. 45 к.

А. В. Башкиров. Экспансия английских и американских империалистов в Иране. 284 стр. Цена 4 р. 30 к.

И. Волк, В. Корнилов. Возрождающаяся Корея. 56 стр. Цена 50 к.

А. Григорьев. Неуклонно повышать производительность труда. 64 стр. Цена 55 к.

Ал. Леонтьев. Борющийся Вьетнам. 68 стр. Цена 80 к.

Р. С. Лившиц. Очерки по размещению промышленности СССР. 360 стр. Цена 7 р. 20 к.

И. А. Лясников. Подготовка специалистов промышленности СССР. 112 стр. Цена 1 р. 25 к.

М. Овсянникова. Женщины в борьбе за народное счастье. 96 стр. Цена 90 к.

Четвёртая Всесоюзная конференция стенографиков мира. Москва, 2—4 декабря 1952 г. 264 стр. Цена 4 р. 70 к.

Ф. П. Шевченко. Нерушимая дружба украинского и русского народов. 96 стр. Цена 85 к.

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Заседания Верховного Совета СССР четвёртого созыва. Первая сессия (20—27 апреля 1954 г.). Стенографический отчёт. 580 стр. Цена 10 р.

Стенографический отчёт издан на языках: русском, украинском, белорусском, уз-

бекском, казахском, грузинском, азербайджанском, литовском, молдавском, латышском, киргизском, таджикском, армянском, туркменском, эстонском, финском, татарском, башкирском и кумыкском.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Асанов. Волшебный камень. Роман. 428 стр. Цена 7 р. 75 к.
А. Безыменский. Книга сатиры. 396 стр. Цена 8 р. 45 к.
Анна Вальцева. Осень в Щеглах. Повесть. 280 стр. Цена 5 р.
Андрей Головки. Мать. Роман. 248 стр. Цена 4 р. 80 к.
Георгий Гулиа. Чёрные гости. 180 стр. Цена 2 р. 40 к.
Иван Кочерга. Исторические драмы. 272 стр. Цена 7 р.
Павел Кудов. У нас на севере. 108 стр. Цена 1 р. 50 к.
В. Куриленков. Демьян Бедный. Критико-литературный очерк. 136 стр. Цена 4 р. 30 к.
Л. Первомайский. На крутых горах. Перевод с украинского. 56 стр. Цена 1 р. 55 к.
Семён Склярёнок. Путь на Киев. Роман. Перевод с украинского. 592 стр. Цена 10 р. 60 к.
Павло Тычина. Солнце дружбы. Стихи. Перевод с украинского. 152 стр. Цена 3 р. 80 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Демьян Бедный. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. Стихотворения, эпиграммы, басни, поэмы, сказки. 1921—1929. 416 стр. Цена 10 р.
Бомарше. Избранные произведения. Перевод с французского. 652 стр. Цена 10 р. 95 к.
В. В. Вишневский. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1. Пьесы. 1929—1950. 584 стр. Цена 11 р.
Вольтер. Философские повести. Перевод с французского. 356 стр. Цена 5 р. 95 к.
И. Д. Воронин. А. Полежаев. Критико-биографический очерк. 80 стр. Цена 1 р. 70 к.
С. И. Кирсанов. Сочинения в двух томах. Том 1. Стихотворения. Поэмы. 272 стр. Цена 7 р. 90 к. Том 2. Стихотворения. Поэмы. Переводы. 299 стр. Цена 8 р. 70 к.
Е. И. Наумов. Д. А. Фурманов. Критико-биографический очерк. Издание второе, исправленное. 183 стр. Цена 5 р. 30 к.
В. Петров. Ай Цин. Критико-биографический очерк. 116 стр. Цена 2 р. 30 к.
И. Рябов. Глеб Успенский. Критико-биографический очерк. 112 стр. Цена 2 р. 20 к.
Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. (Юбилейное издание. 1828—1928). Том 70—71. Письма. 1897—1898. 570 стр. Цена 18 р.
А. И. Эртель. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. Роман. 615 стр. Цена 9 р. 50 к.
А. Я. Яшин. Избранное. 423 стр. Цена 10 р. 35 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Сергей Антонов. Избранное. (1947—1953). 568 стр. Цена 10 р. 10 к.
Василий Ажаев. Далеко от Москвы. Роман. 616 стр. Цена 13 р.
М. Водопьянов. Валерий Чкалов. 288 стр. Цена 5 р.
Расул Гамзатов. Лирика. 191 стр. Цена 3 р. 85 к.
Голоса друзей. Сборник стихов к 300-летию воссоединения Украины с Россией. 192 стр. Цена 5 р. 90 к.
Владимир Замятин. Избранное. 174 стр. Цена 4 р. 10 к.
А. Котовщикова. История одного сбора. Повесть. 100 стр. Цена 3 р. 50 к.
Т. Печерникова. Смена растёт. 96 стр. Цена 1 р. 10 к.
Н. Н. Плавильщикова. Юным любителям природы. 256 стр. Цена 6 р. 50 к.
Александр Позднеев. Восходящий поток. Рассказы о лётчиках. 160 стр. Цена 3 р. 80 к.
М. Чернин. Год нашей жизни. Записки Юрия Горяева. 144 стр. Цена 4 р. 20 к.
П. Яхлаков. Бдительность — испытанное оружие советского народа. 40 стр. Цена 45 к.

ДЕТГИЗ

Г. Х. Андерсен. Сказки. Перевод с датского А. Ганзен. 64 стр. Цена 5 р. 55 к.
Н. Болгаров. Пароход. 168 стр. Цена 4 р. 40 к.
Н. Верзилин. Путешествие с домашними растениями. 336 стр. Цена 10 р. 35 к.
А. Вершинин. Плывущие против течения. Повесть. 216 стр. Цена 3 р. 70 к.
П. Воронько. Под красным знаменем. Стихи и поэмы. Перевод с украинского. 56 стр. Цена 70 к.
Вот она, весна! Рассказы и стихи современных немецких писателей. 360 стр. Цена 5 р. 75 к.
М. Ефетов. Флаг на мачте. 160 стр. Цена 3 р. 35 к.
Жизнь и творчество А. П. Гайдара. 384 стр. Цена 9 р. 10 к.
Ю. Збанацкий. Неожиданный попутчик. Рассказы. Авторизованный перевод с украинского А. Островского. 48 стр. Цена 65 к.
П. Козланюк. Башмаки. Авторизованный перевод с украинского Вл. Россельса. 32 стр. Цена 40 к.
И. Мазурук. Наша авиация. 112 стр. Цена 2 р. 80 к.
Л. Молчанова. Детство Лены. Повесть. 96 стр. Цена 2 р. 50 к.
А. Мусатов. Дом на горе. 336 стр. Цена 6 р. 85 к.
Л. Островер. Николай Шорс. 104 стр. Цена 3 р. 25 к.
По родной стране. Географический сборник для детей. 200 стр. Цена 6 р. 85 к.
Сказания о непобедимых. Из героического эпоса народов СССР. 180 стр. Цена 6 р. 30 к.

Сань Шан-фэй. Десять маленьких друзей. Перевод с китайского Н. Кричек. 14 стр. Цена 1 р. 50 к.

С. Смирнов. Друзьям-товарищам. Стихи. 144 стр. Цена 2 р. 15 к.

Солдаты Родины. Рассказы. 548 стр. Цена 10 р. 45 к.

Хон Киль Тон — защитник бедных. Корейские сказки. Обработка Н. Ходза. 32 стр. Цена 50 к.

Чудесная яблоня. Польские народные сказки. 32 стр. Цена 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК

Б. В. Асафьев. Избранные труды. Том II. Избранные работы о П. И. Чайковском, А. Г. Рубинштейне, А. К. Глазунове, А. К. Лядове, С. И. Танееве, С. В. Рахманинове и других русских композиторах. 382 стр. Цена 30 р.

С. Н. Бернштейн. Собрание сочинений. Том II. 627 стр. Цена 34 р. 60 к.

И. Бойко, В. Голобуцкий, К. Гуслистый. Воссоединение Украины с Россией. 111 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Г. Вихров. Строение и физико-механические свойства древесины дуба. 263 стр. Цена 14 р. 25 к.

Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси. Том II. 468 стр. Цена 21 р. 40 к.

Эразм Дарвин. Храм Природы. 237 стр. Цена 12 р. 80 к.

А. Ф. Зарубин. Восстановление и развитие орехово-плодовых лесов Южной Киргизии. 138 стр. Цена 6 р. 10 к.

С. Л. Зивс. Реакционная сущность уголовного права США. 95 стр. Цена 3 р. 75 к.

История Болгарии. Том 1. 575 стр. Цена 31 р. 70 к.

Литературное наследство. Том 59. Декабристы-литераторы. Том 1. 800 стр. Цена 47 р.

Н. А. Смирнов. Очерки исторического изучения ислама в СССР. 275 стр. Цена 11 р. 50 к.

Н. Н. Сушкин. Путешествие на остров Тюлений. 87 стр. Цена 1 р. 35 к.

Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений. Том X. Книга I. 580 стр. Цена 30 р.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Баковиков Уходим в море. Роман. 448 стр. Цена 8 р. 65 к.

Н. Личак. Во имя Родины. Очерки о Героях Советского Союза. 56 стр. Цена 80 к.

Е. Майков, А. Гнедин. Советские инженерные войска. 222 стр. Цена 3 р. 80 к.

Г. Соловьёв. Морская служба. Роман. 645 стр. Цена 11 р. 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Тим Бак. Тридцать лет коммунистического движения в Канаде. Перевод с английского. 239 стр. Цена 10 р.

Ван Ляо-и. Основы китайской грамматики. Перевод с китайского. 261 стр. Цена 13 р.

А. Р. Конэн. Стерлинговая зона. Перевод с английского. 215 стр. Цена 7 р. 80 к.

Ю. Кучинский. Очерки по истории мирового хозяйства. Перевод с немецкого. 190 стр. Цена 6 р. 35 к.

Се Ман Ир. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с корейского. 219 стр. Цена 6 р. 10 к.

Дж. Старобин. Вьетнам борется за свободу. Перевод с английского. 78 стр. Цена 1 р. 50 к.

Джейн Уолш. Так не должно быть. Перевод с английского. 141 стр. Цена 3 р. 65 к.

Факты о положении трудящихся в США (1951—1952 гг.). Перевод с английского. 226 стр. Цена 6 р. 25 к.

Франция и «европейская армия». Сборник материалов. Перевод с французского. 262 стр. Цена 6 р. 70 к.

«ИСКУССТВО»

А. Коссаковский. Техника постройки декораций. 160 стр. Цена 5 р. 15 к.

И. Мартынов. Государственный русский народный хор имени Пятницкого. 135 стр. Цена 7 р. 10 к.

И. Марьяненко. Прошлое украинского театра. 240 стр. Цена 12 р. 25 к.

Мольер. Комедии. 625 стр. Цена 18 р.

С. Фрейлих. Искусство кинорежиссера. 272 стр. Цена 17 р.

Л. Ходорковская. Бурят-Монгольский театр. 234 стр. Цена 13 р. 75 к.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

А. У. Власова. Пропаганда опыта новаторов в колхозном клубе. 24 стр. Цена 40 к.

Г. Г. Карпов. О советской культуре и культурной революции в СССР. 244 стр. Цена 6 р. 35 к.

Г. Поляновский. Пётр Ильич Чайковский. 64 стр. Цена 1 р.

И. И. Юденков, И. Е. Тропп. Клуб колхозной бригады. 24 стр. Цена 60 к.

ГОСЛЕСБУМИЗДАТ

П. В. Воропанов. Управление ростом и развитием деревьев в лесу на основе учения Мичурина—Лысенко. 112 стр. Цена 5 р. 30 к.

Г. Г. Самойлович. Применение авиации и аэрофотосъёмки в лесном хозяйстве. 488 стр. Цена 12 р. 10 к.

Ф. Г. Шухман. Бумагоделательные машины. 240 стр. Цена 8 р. 95 к.

МЕДГИЗ

И. М. Гейзер. Чехов о медицине. 140 стр. Цена 5 р. 60 к.

И. И. Мечников. Академическое собрание сочинений. Том 13. 244 стр. Цена 11 р. 10 к.

В. А. Плотицер. Психопрофилактика болей при родах. 68 стр. Цена 1 р. 5 к.

С. Н. Раева. Великая сокровищница науки. Учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. 88 стр. Цена 1 р. 30 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

И. Буянов. Что дают колхозу и колхозникам мероприятия партии и правительства по подъёму животноводства. 34 стр. Цена 45 к.

Э. Войнич. Овод. Роман. 294 стр. Цена 6 р.

В. Козловский. Антагонистические и неантагонистические противоречия. 85 стр. Цена 1 р. 5 к.

Стенная печать в борьбе за новый подъём сельского хозяйства. 106 стр. Цена 1 р. 25 к.

МУЗГИЗ

И. Бэлза. Антонин Дворжак. 28 стр. Цена 70 к.

М. И. Глинка. О музыке и музыкантах. 86 стр. Цена 1 р. 60 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

В. И. Белякова. Выращивание овощных культур на торфяных почвах. 64 стр. Цена 80 к.

А. С. Козменко. Борьба с эрозией почв. 232 стр. Цена 4 р. 10 к.

Сборник работ по биологии развития и физиологии льна. 192 стр. Цена 6 р. 10 к.

ТРАНШЕЛДОРИЗАТ

А. В. Бычковский. Экономия электрической энергии на электровозе. 52 стр. Цена 80 к.

Н. Т. Кисляков. Основы анализа эксплуатационной работы железных дорог. 126 стр. Цена 3 р. 45 к.

Ю. И. Колдомасов. Рационализация перевозок на железнодорожном транспорте. Издание 2-е, переработанное и дополненное. 111 стр. Цена 2 р. 85 к.

ГОСЮРИЗАТ

Д. Л. Златопольский. Образование и развитие СССР как союзного государства. 224 стр. Цена 9 р. 40 к.

Б. П. Кравцов. Верховный Совет СССР. 128 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Е. Пашерстник, А. С. Краснопольский. Бесправное положение негров в США. 128 стр. Цена 1 р. 55 к.

ВЛАДИМИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Аркадий Чеботарёв. Андрей Боголюбский. Драматическая поэма. 144 стр. Цена 4 р. 50 к.

ВОРОНЕЖСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. И. Петров. На просторе. Повесть. 196 стр. Цена 5 р. 10 к.

Г. Н. Рыжманов. Стихи и поэмы. 164 стр. Цена 3 р. 50 к.

КРАСНОЯРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. В. Волков. Наше родное. Роман. 228 стр. Цена 6 р. 85 к.

А. И. Панфёров. Третий горизонт. Роман. 270 стр. Цена 4 р. 30 к.

КУЙБЫШЕВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Корняков, С. Мазырин. Агротехника картофеля и овощей. 156 стр. Цена 3 р. 30 к.

А. П. Савватеев. Повесть о прошлом. 184 стр. Цена 4 р. 10 к.

НОВОСИБИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Г. Гарин-Михайловский. Повести. 616 стр. Цена 10 р. 40 к.

Казимир Лисовский. Край песен моих. 263 стр. Цена 5 р.

И. А. Мухачёв. Повесть о Демжее алтайце. Поэма. 88 стр. Цена 2 р. 80 к.

САРАТОВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. Н. Болдырев. На берегах полярного океана. Записки натуралиста. 120 стр. Цена 2 р.

ХАБАРОВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. Александровский. Счастливого пути. Повесть. 264 стр. Цена 4 р. 55 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

С. П. Антонов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора),

В. П. Катаев, С. С. Смирнов (зам. главного редактора),

С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 27/IV-54 г.

Подписано к печати 17/V-54 г.

А 04645. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 1153.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Свирцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.